

НОВАЯ
МИР

|| 88 ||

НОВАЯ МИР

|| 1968 ||

8



1968

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 8

Август, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ — На улице Широкой. повесть	3
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Новые стихи. Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев	61
Ю. ТРИФОНОВ — В грибную осень, рассказ	67
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Вся королевская рать, роман. Перевел с английского В. Голышев. Продолжение	76
Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Н. И. КРЫЛОВ — В боях за Одессу. Продолжение	131

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. КОЗЛОВ — Школа управления	201
------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных журналов

Дм. Сухарев — Чистая наука и грязная война	219
Н. Наумов — В поисках читателя	226

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Сила и цельность души (Об Эм. Казакевиче)	234
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН — К спорам о художественном документе	244
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Кондратович. Дневники военных лет.— Мирон Петровский. Возвращение Даниила Хармса.— В. Соколов. По совести.— И. Ярославцев. Веселый гений смеха.	255
<i>Политика и наука</i>	
Н. Рабкина. Еще о двенадцатом годе.— Е. Гнедин. Механизм фашистской диктатуры.— И. Виноградов. Экзистенциализм перед судом истории.	268
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Г. Кузнецов. Физика и экономика.— А. Мэддисон. Экономическое развитие в странах Запада.— А. Таланов. Большая судьба.— «Слово о полку Игореве»	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

★

НА УЛИЦЕ ШИРОКОЙ

Повесть

Июнь 195 ... г.

Дорогая Парасковья Григоровна, ты на меня обижаешься, почему я писем не пишу, не поделюсь лишний раз своей жизнью. Оно, милая Паша, то некогда, днем в хозяйстве, и затем ленивая письма писать, постарела: как вечер, так спать, а днем время нет.

Жене в мае исполнилось 18 лет, такой большой стал да умница, выше росту, как был дядя Ваня, такой бравый. Как папа его встал да посмотрел, то радости сколько б было. Он любил его маленького, мечтал выучить, чтоб из всей нашей родни хоть один был ученый, не то что мы, расписуемся, как курица лапой. Все соседи завидуют: Физа, какой у тебя сын умница. Я не могу представить, как я его буду провожать. Нигде дальше Кривошекова не был, собирается учиться в Москве или где-то поблизости, а я теперь уже думаю: он у меня, как гость... Ведь ты, Паша, сама подумай, как время быстро летит, я его столько лет без отца растила, а теперь он у меня вылетит, как птичка из гнезда, ума не приложу, как я без него останусь; у меня уже сердце болит об нем, только я виду не подаю...

...Дописываю через месяц... Проводила своего сыночка, наплакалась я досыта. Все переживаю о нем, выйду на крылечко и все как будто его выглядываю — не идет ли с площади, рукой по-отцовски помахивает... Вот так живешь, милая Паша, надеешься на будущее, а потом совсем одна останешься и уже ничего не надо, лишь бы детям повезло. Каждый день плачу, как-то у людей много ребят и они все возле родителей, а он у меня один, как палец, и тот уехал...

Август 195 ... г.

Здравствуй, дорогой сыночек, с приветом твоя родная мама. Получила письмо и телеграмму, которая меня очень обрадовала, не только я рада, но и соседи, все говорят: ну, слава богу. Теперь, Женя, у меня одно будет настроение — как тебе лучше помочь, я о себе теперь не думаю и не забочусь, мои годы ушли, только давай, Женя, смотри старайся, встраивай жизнь себе как следует, а то у меня годы идут не к молодости, а к старости, и так что, сынок, слушай мамин наказ, больше тебе никто так не посоветует, как родная мама.

Здоровье пока хорошее, живу по-старому, картошку выкопала артельно, с соседями выбирала, 15 кулей накопала, неважная, никак не ве-

зет мне на картошку: у соседей с загона по 30 кулей или 32 с половиной, а я... ну, ничего, как-нибудь прокормлю корову, не знаю, что и делать с ней, думаю оставить еще на зиму, а круто будет, то одам... На корову налог пока не приносили, наверно, с 1 октября, еще доится, ну мало дает, 3 литра, наверно, бросит рано. Нынче много денег надо: угля нет, пальто бы отдать шить (еще воротника нет), ты же купи себе обязательно костюм. Посмотри там по магазинам, возможно, там купишь, а я деньги соберу и вышлю, смотри, будь поаккуратней с деньгами, учись быть над собой хозяином, костюм бери только хороший, на 5 лет чтобы, пригласи товарища или девушку, они тебе посоветуют, как на тебе сидит. Насчет брюк не скажу, молодежь узкие стала носить. Я хотела тебе сразу выслать деньги, потом решила: отправляют в колхоз, после вышлю. Бери, если понравился, за эту цену, и также и ботинки купи заранее, не тогда, когда их обувать, припаси сразу, потом будешь спокойно учиться, а я получу следующее письмо, сразу переведу, а то я сомневаюсь, чтоб в колхоз не уехал... Или купи себе сапоги кирзовые, они тебе удобней будут для осени, носки, портянки, и будет тепло, там, рассказывают, что сильно грязно осенью, вот и купи в первую очередь сапоги.

Сено я вывезла 6 августа, спасибо большое производству, где работал Никита Иванович: крепко мне помогли. Ездили за сеном Демьянович и один чужой дяденька, за 200 км. Демьяновна сторожила двор, за коровой глядела. Машину большую нагрузили, в общем со всеми расходами 1000 рублей стало. Вот, Женя, я обеспечена сеном, теперь вся забота о тебе. Я пустила квартирантов на твою долю, четырех мальчиков, приехали учиться в техническое училище на 9 месяцев, будут мне платить, мальчики все пооканчивали 10 классов, и мне с ними веселей. Сейчас их тоже послали в колхоз до 1 октября, не знаю, как они мне оплатят: или за сентябрь, или позже. Так ребята попались хорошие, помогали забор городить. Я теперь, Женя, новый поставила, привезли сено и забор сломали. Никита ж Иванович только обещал переменить столбы, на том и кончилось, пришлось нынче новый ставить, опять давай копейку. Лесу выписывала на 200 рублей, перекрыли стайку и на дрова немножко. Теперь с меня самая главная забота свалилась — сено, буду кормить экономно и дотяну до марта. Ты спрашиваешь, много ли выручила за огород: в общем с огурцами 1000 рублей за все лето, я тебе их отдаю на костюм, а с коровы мало собрала, молоко было два рубля литра, столько много понесли нынче молока, уйма, так переводила — лишь бы не кисло, а сейчас дороже молоко, три-четыре рубля, ну корова моя уже сбавляет.

У нас уже прохладно, в осенних полтах ходят. Обещает бабушка приехать, как уберут картошку, не знаю, сколько она у меня проживет. Ребяток твоих не видела. Пропиши, где столуешься, у хозяйки или нет. Затем писать заканчиваю, пиши разборчивей, чтобы мне по соседям не носить читать. Целую, мама.

Ложу в письмо 5 рублей...

Глава первая

Они жили на окраине большого сибирского города, на левобережье, во втором доме от трамвайной линии. Улицу свою Женя Бывальцев так любил, что малейшие слухи о сносе старых домов и застройке улицы казенными повергали его, в то время еще мальчика, в уныние: а как же тогда? Как найдет он потом среди новых площадок, гротуаров, магазинов, балконов с мотающимся на ветру бельем свой прохладный двор, огород на болотце, палисадник с отцовской осиною, окно, в которое они с матерью все кого-то выглядывали, как будто им каждую минуту

должны были принести какую-то радость? А главное, думал он взрослым, куда же он вернется, чтобы вспомнить свою жизнь на улице Широкой? Идешь со станции, от самого хлебозавода видишь свою серую толеву крышу, потом крыши соседей и с удовлетворением отмечаешь, что стоит все на месте, хотя там, вдали, в стороне не своей, привыкал глаз к каким-то переменам.

Но улицу никто не трогал. Наоборот, заросла она на низах обрезанных огородов тесными строениями пришлых людей. И слава богу, что не трогали. Кому же охота бросать копаную-перекопаную землю, много везен питаемую навозом из коровьих стаяк! Кому охота загонять себя в каменные коробки и слышать по вечерам, как шелкают в чужой квартире выключатели! Старикам есть где выпрямлять гвозди, пожилым приятно посидеть на холодеющем закате на собственной лавочке, покричать через дорогу: «Антоновна, или стираться к вечеру надумала?» Легче и умирать в своем доме, постоят возле гроба близкие да соседи, горячее поплачут, подалее проводят.

Приезжал Женя теперь редко и неожиданно, обычно без телеграмм, шел на горку и думал о прошлом. Первые возгласы соседей были не о нем — о матери. То кто-то посылал своего парнишку мигом сообщить ей, то нарочно скрывали на минутку от нее новость, выпытывая: «Ну-ка, что тебе снилось?», то сажали Женю за стол с недопитой бражкой. Расспрашивали его, вытирали слезы, каждый как бы сочувствовал его матери, находя в сердце и свое собственное ожидание, свои слезы, свою судьбу. Ни разу не проворонила его приезд Демьяновна, толстая, чудная баба, в любой день бродившая из двора в двор в белом фартуке. Мать нередко жаловалась на нее в письмах. Тем досадней было узнавать о неладах, что Демьяновна была для Жени как родная тетка, каждый раз помогала при встрече готовить на стол и провожала его до самого вокзала на другой берег, целовала, совала в руку пятерочку, троячок, просила не забывать, обещала не давать его маму в обиду. И отчего-то мелко тряслась на его плече, всхлипывая. Что вдруг так трогало людей? Или по Жене было заметней, как меняет всех время, или привыкли переживать за их семью? Или просто старость напоминала им о себе?

И в первый день не хватило у Жени смелости спросить у матери о человеке, который бы еще и не так его встретил. Еще не так бы зашумели бы все вокруг, не такое бы еще застолье устроилось...

«Ехор-малахай! — кричал бы он после первой стопки. — Какого сына вырастили! А мы уж так и помрем в стайке, Физа! А давно ли он лопатку корове под г...цо подставлял! А теперь любая Алена подходит! Как тут не выпить, давай еще хряпнем, я доволен. По крайней мере на старости нет-нет да и подкинет отцу десяточку на похмелье. Мы уж со старушкой как-нибудь. Будем на охоту ездить, куплю ей ружье, хряп, хряп — и в сумку! Ну, потянем. Встречаем не по одежке, а по уму. Барахла у нас полная кладовка! Одних калош десятка два. Верно, скажи, сынок? Большой какой, слушает нас, дураков, и думает о чем-то, скажет: «Мне теперь не до вас, малограмотных, я не с такими вожусь». И в глазах проступили бы вдруг слезы. «Эха-ха-а», — вздохнул бы он, как раньше, потом превозмог бы себя и дурашливо заорал: «Соколовский хо-ор у Яра был когда-то знаменит...»

— Мам, — осторожно спросил как-то Женя, — ну, а Никиту Ивановича еще не позабыла? Вспоминается иногда?

— А чего теперь вспоминать? — ответила мать. — Чо хорошего мы с ним видели? В твоем костюме положили, когда пришлось. Чего хорошего... Все соседи меня жалели...

Это было правдой, но в те первые наезды Женя, даже сочувствуя матери, не мог целиком присоединиться к ее словам. Ему становилось

жалко Никиту Ивановича. Он всю юность зависел от него: от его голоса, замашек, словечек.

И то надо сказать: родного отца он не помнил.

В какой-то пасмурный летний день принесли повестку, кто-то (кого он потом вспоминал как отца) брал Женю на руки, мать плакала, и мальчик запомнил, как неловко и стыдно было ему оттого, что вокруг него плачут, а он не может: он не понимает, зачем все плачут.

— Повестку прислали, а он был на работе, — часто рассказывала мать. — Думаю, придет, поужинает, тогда скажу. Он промаялся за день, кашу с молоком с такой охоткой намолачивает, а я не вытерпела, заплакала и говорю: «Что тебе снилось?» Он и ложку отложил сразу. Понял. Ушел в военкомат, нет и нет. Корова наша паслась на площади, где ты теперь футбол пинаешь. Мы с тобой пошли за ней, и он от шоссейки к нам показался. Как сейчас вижу, — задыхалась мать и вытирала слезы. — «Сыночек, сыночек, иди скорей!» — закричал тебе, подхватил на руки.

С немymi лицами стояли соседи у порога, жалели покорно собиравшую мужа хозяйку. С тех дней, выгоняя коров в стадо на зорьке, бабы делились снами и в каждой мелочи с опаской ловили приметы.

— Хоть оглянись, — сказала мать отцу, когда уходили на станцию. Она потонула в его пиджаке, который он оставлял на память или на крайний случай, если иссякнут запасы. — Оглянись, а то, может, и не..

Женю отец нес на руках. Он нес сына под горку, где мальчик потом бежал без него с бичом за коровой, где он спускался на болото к тете Паше.

Отправили отца в военный лагерь. «Как бы ты, Физа, приехала, — писал он, — привезла бы курева, бумаги».

Мать поехала. Не так-то просто тогда было попасть на поезд. До Юрги было километров триста. Физа Антоновна ухитрилась как-то договориться с проводниками, пустившими ее в вагон без билета. Она залезла под скамейку и в духоте, в пыли, чувствуя запах ног, положив голову на сверток с папиросами и сухарями, терпела около девяти часов.

Вместо того, чтобы плакать и утешать друг друга (как воображал потом Женя), отец угрюмо и толково наставлял жену, как ей жить без него...

— Держи корову — не голодные будете. Женю корми как ни можно лучше, чтобы смалу был крепким: он растет, ему надо.

— Держи корову! — крикнул он и напоследок, спустился с подножки и заплакал.

Несчастен Женя, что не видел этого. «Не мог я быть чуть постарше», — сокрушался он в юности.

— Когда поехала в последний раз, — рассказывала мать уже взрослому сыну, — уезжала, так он наказывал, чтоб я все приготовила: курева, бумаги и сухарей в дорогу. Как только, мол, сообщу, то ты на воинскую площадку выезжай с Женей, я на него посмотрю хоть немного. Я насобирала, стояло все наготове, уже и сны предсказывали, что скоро должен приехать. Один раз приснилось: куда-то мы едем с тетей Пашей и на какой-то станции понадобилось мне купить луку. Поезд затормозил, а тогда торговали за столиками, порядком бежать от линии. Я поскорей. Только прибегаю, луж крупный, спросила: «Почем такой лук?» — и поезд мой «ту-ту-у». Я назад. Подбегаю — он только хвостиком мелькнул. Я кричать: «Обождите, обождите, не оставляйте меня одну!» Ну что ж, ушел мой поезд. Я тогда схватилась за голову, как давай голосить: «Ох, ничо мне так не жалко, как чемодан! Там единственный мой дорогой костюм, я его вовек не наживу! Он на верхней полке, а Паша не знает».

— В этот же день поехали мы с Женей на картошку, — вспоминала

Физа Антоновна вечером после салюта Победы. — Картошку сажали в Буграх, далеко. Взяла тележку, мешки, посадила Женю, скорей, скорей, выкопать три сотки и на станции узнать, не приходил какой состав. Притащились мы с тележкой, а картошки нашей уже нету: выкопали чужие люди. Заплакала я, насобираала с кастрюльку — да домой. Демьяновна встречает: «Физа, я слыхала, составы шли, не проворонь своего». Я Женю закрыла, побежала в чем была, тапочки с меня слетают.

Когда это было, в какой день, по какой погоде? Не помнит, не знает Женя. Как будто и не существовало его на свете.

— На станции пригородный стал на первый путь, и в эту минуту с разгону за его вагонами военный состав пролетел. Пригородный тронулся, а у воинского только хвостик мелькнул, солдаты машут. В этом составе мой Иван Федорович проехал. Вот тебе и сон..

Отцовский, неладного покроя костюм достался Жене в девятом классе, он надевал его и в школу, и на выступления в концертах, и на свидания.

— Остались мы с тобой вдвоем, — вздыхала мать. — Жили, горевали и молились богу, чтоб наш папка вернулся целый и здоровый. Я тебя учила богу молиться, мы с тобой ставали на колени поочередно, желали, чтоб наш папка не погиб. А когда ты забывал молиться, ляжешь в постель и говоришь: «Ох, мам, я богу не молился», — сразу соскочишь и молишься вслух и на конец молитвы говоришь: «Пожалей меня, господи, отпусти моего папку домой», — и поклонись до земли. Ходили всякие ворожейки, но я им не верила, а тетя Паша твоя, та все рубахи и кальсоны проворожила, и все карты говорили ей, что придет. Потом смеялась: ни одних кальсонов не осталось.

Женя лежал у той же печки, на той же кровати, и вечер был, кажется, такой же, что и десять — пятнадцать лет назад, и мать ему казалась молодой, потому что была она для него всегда как бы в одном возрасте, с тем же лицом и голосом, как в войну и после войны, когда она, вернувшись из женского общежития с пустыми кастрюльками из-под варенца, топила печку и разговаривала о жизни.

— Когда отец жив был, так он часто писал письма, спрашивал о тебе, как там сынок, наверно, уже скоро в школу. Бой пройдет — пишет письмо. «Все спят, а я пишу». Контузило в сталинградских степях, засыпало землей и вдобавок попал под машину. Догонял своих, идет — и каждый день пишет: думал, если убьют, хоть письмо попадет. Не убило. А тут вдруг писем не стало, два месяца не было ни звуку. Стали мне сны разные сниться: то корову увижу, а корова когда приснится, то обязательно мне так не пройдет — поплачу. То печеный хлеб. А тут перед несчастьем приснилось, будто иду на болото, где Паша жила, и вдруг повалился столб телеграфный. Я подбежала и стала его выдергивать. Выдернула, положила на землю, и с той ямки образовался колодезь, и в том колодезе закипела вода ключом, и полилось к нам во двор, в подпол, а с подпола на улицу. И тут пришло письмо: Иван Федорович не вернулся с боя. Вот я и выдернула столб, разве не закипело сердце, разве не полились слезы? Вот, говорят, сны врут. Нет, не так это, не дай бог их видеть и отгадывать. Когда отец был еще дома, было у нас три курицы, всем по курице: твоя была серенькая, папкина — черная, моя — белая. Как взяли отца на фронт, то стала черная курица по-петушину петь. Конечно, я переживала, курица не к добру поет, старые люди приметы знали: курица запела в доме — жди какого-нибудь несчастья. Тут отца взяли, тут ты заболел скарлатиной, лечить нечем, в больнице никаких лекарств: все шло на фронт.

— Это ты, Женя, за печкой лежал, — напоминала мать в институтские годы, — письмо лейтенант прислал, служил с твоим отцом и полую-

бил его. Вот он и написал моей племяннице, что дядя Ваня не вернулся с боя. Племянница взяла письмо и пошла к тете Паше, и с тетей Пашей они пришли в двенадцать ночи ко мне. Постучали, я сидела рукавички вязала, а ты спал за печкой. Открыла дверь, смотрю — стоят. Тетя Паша, как только переступила через порог, и сразу села на кровать и заплакала. Племянница тоже стоит плачет. Тетя Паша тогда говорит: «Ах, Антоновна, какую мы тебе весть принесли нехорошую». Я два раза спросила: «А что случилось?» Племянница молчала, а потом: «Дядя Ваня с боя не вернулся». Я не выдержала, упала на стол, я так и знала, что это будет, поэтому и писем не стало. Плакала да приговаривала: «Ох, милой ты мой Ванечка, да ты ж писал в письмах и говорил, что война кончится и я вас с сыночком увезу на запад, да-й сам там голову положил, да какая для нас с сыночком утрата, никогда я не думала и не чаяла, что мы с тобой, Ваня, разлучимся, да неужели это правда, да нигде мы с тобой и не увидимся и не повстречаемся, никогда нам с сыночком так ясно солнце не посветит, никогда нас так уж солнушко не обогреет, ниоткуда мы про тебя, Ваня, ничего не услышим, никакой весточки ты нам уж не пришле-е-е-ешь. Ох ты мой сыночек, да не будешь ты знать отцовской ласки, никто тебя не приголубит, как отец, ох...»

Тут мне не давали больше плакать ночью: старые люди говорили, за покойником ночью плакать нельзя, грех. Потом долго ничего не было, никаких писем. Пошла я в военкомат, там заполнили анкету по адресу, где он последний раз шел в бой, и через девять месяцев мне принесли извещение явиться в военкомат. Помню, в субботу, под трицу, убрала я в комнате, везде травой потрусилась и пошла. Разрешили мне войти, я села, меня стали спрашивать, где проживаете, какая семья, есть ли близко родственники. Потом выписал майор похоронную и зачитал, где отец погиб: Запорожская область, Васильевский район, село Зеленый Гай. Погиб за родину. Я оттудова не знаю как и вышла, подломились у меня ноги, затрясло меня, как в лихорадке, а заплакать я не могла.

— Плачь не плачь,— рассказывала она уже без Жени квартирантам,— а к зиме надо топливо запастись, иначе зима сибирская спросит, чего летом делал. Пошла в завком, чтоб выписали дров, а там говорят: надо идти поработать на лесоперевалку, три дня, потом вам выпишут. Вот я и ходила, трое суток работала за дрова. Встану рано, печку вытоплю, Жене сварю и закрою его одного на целый день. Так и добывала. Дали лошадь, возчика, перевезли. Уголь где мешок купишь, где ведрами брали. Выписала горбыля, стала строить сараюшку, горбыль толстый, я рублю, рублю, топор тупой, руки устают, зайду в избу, сяду на кровать, плачу, плачу, а Женя маленький был, подойдет ко мне и дергает: «Мам, не плачь, я подрасту, помогу тебе...»

Того горя Женя не помнил. Еще не было в его сердце места для горя. Он плакал, потому что плакал кто-то возле.

Письма от отца не сохранились. Мать склеила для них большой желтый конверт и берегла Жене на будущее. Однажды она белила и вместе с вещами вынесла письма в кладовку. За две ночи мыши источили их на кусочки. Она заплакала, не могла простить себе оплошности, и в те годы, когда Женя спрашивал ее, чувствовала себя перед ним виноватой. Письма пропали, пропали с ними слова, строчки, выведенные живой рукой. Как жалел Женя об этом потом...

Всю войну не растворяли они с улицы ставни, и вдруг грохнул, упав на завалинку, болт, комнату озарило солнышко, и мать вошла, громко крикнула с порога в каком-то радостном отчаянии:

— Женя, вставай! Вставай, сынок, война кончилась!

Две большие кастрюли варенца и бутылъ молока отдали они с матерью на базаре за бесценнок.

— Может, и моего Ваню там угощают.— Она все еще верила в чудо.

На вырученные деньги купили хлеба, гидрожира, мяса и водки. Десять рублей Женя получил на конфеты. По дворам пошли калеки и заброшенные в Сибирь войной одиночки.

С запада шли составы. Теперь Женя бегал на станцию со сверстниками. Всякий раз мать провожала его словами: «Ступай, сынок, а вдруг, да и встренешь папку». В раскрытых «телячьих» вагонах стояли солдаты, кричали, пели, махали руками и веточками и, когда поезд замедлял ход, бросали ребятишкам немецкие бумажки и монеты. «Если бы мой папка остался в живых, — думал Женя, протягивая руки к летевшим, как листья, бумажкам, — у, сколько бы он привез!»

То в праздники, то по случаю дня рождения или покупки костюмчика слышал Женя от матери: «Кабы был отец... Кабы встал да взглянул...» С этими словами проводила она его в первый раз в школу с новым портфельчиком и тетрадками и горько заплакала, чувствуя, как идут и ее годы.

О сыне же думала она, когда зачастили свататься мужики.

— Легла она спать, — рассказывали потом соседки, — и видит сон: входит почему-то к ней сам царь. «Здравствуйте», — поклонился. Она поднялась: «Здра-авствуйте, царь-батюшка». — «Знаешь что, женщина, — он ей, — услышал я, что ты одна, мужика убило, хочу с тобой сойтиться жить, со мной не пропадешь». Она: «Господи, батюшка! А у меня ж ничего нету, я как видишь, положить тебя не на что». — «Я не брезгаю тобой. Наживем. И у сына будет счастливое детство со мной». Он весь в военном, и шпоры бряцают на нем, погоны огнем полыхают, а лица не разобрать. Она, рассказывала, как сцепила руки: «Царь наш! Я боюсь! Тебе надо миром управлять, до моей семьи у тебя руки не дойдут. Спасибо, что хоть вспомнил». И проснулась. Встала, обдумала сон. Пошла старушкам рассказывать. Они и толкуют: «Раньше царя как увидят во сне, то обязательно беда будет. Не гонись замуж». Она и думает: «Ладно. Перебьюсь одна, а там жизнь подскажет».

И ему казалось: зачем приводить в свой двор чужого мужчину, вызывать пересуды соседей. Женя видел, как страдали его одногодки и ревновали матерей к «папкам», когда вечерами они ложились с ними спать на одной койке, как боялись признаться товарищам, что в семье их прибавился братик, сестричка...

И вот однажды подкатил к их дому «ЗИС-150» под номером «НБ 75-25». Из кабины вылез рыжеватый косолапый шофер с широким и чуть перекошенным носом, открыл борта, пробежал во двор, поднял с земли лопату и стал сгружать уголь на снег, потом таскал его в ведрах в сарайчик, а мать как-то заискивающе просила они поднести пустое ведро, послала за хлебом и потом посадила Женю вместе с шофером за стол есть борщ. Шофер уехал и вернулся ночью, машина стояла у ограды. Женя спал, а проснувшись, увидел, что шофер умывается в углу под рукомойником. И мать несет ему чистое полотенце.

«Теперь о моем папке нельзя будет говорить, — подумал мальчик. — Теперь мы с мамкой вечерами будем молчать».

Женя укрывшись с головой и лежал так, слушая тихий совещательный разговор, пока наконец шофер не хлопнул дверью и за воротами не заурчал мотор в машине.

Были в этот день мать и сын друг другу чужие и очень несчастные. К вечеру опять приехал шофер. И уже с подарками. Он неловко поздоровался, неуютно присел на краешек стула поужинать, хлебал без аппетита и хотел выпить побольше. Мать нарочно оставила их одних. Шофер, покурив, помявшись, вдруг сел к Жене на койку, положил тяжелую свою руку на плечо и сказал (Женя запомнил это на всю жизнь):

— Ну что, сынок... Родного папку твоего убило, маме одной трудно, мы решили сходиться. Буду тебе вместо папки...

Женя заплакал, и на глазах шофера тоже показались слезы. Он крепче обнял мальчика и поспешно полез левой рукой в карман за папирсой.

Вошла мать, стыдливо замерла у порога. И села рядышком, затряслась.

— Ничего, — сказал шофер. — Нормально.

Это был Никита Иванович Барышников.

4 ноября 195... г.

Дорогой сынок, первым долгом поздравляю тебя с праздником Великого Октября, желаю тебе здоровья и успехов в учебе. Хотела тебе к празднику маленько выслать денжат, ну раз ты пишешь «не надо», я огложу к следующему разу, целей будут. Смотри там сам, как сдумаешь съездить к дяде, если не такая холодная погода будет, конечно, посмотришь, как они живут в степях. Жена у него очень хорошая, она тебя встренет, как родного сына. Не обидься, сильно далеко, и у меня с деньгами плохо, негде зимой взять, летом-то с огорода, а сейчас негде взять копейку. Ребятам твоим — чего, у них матеря инженерами работают, им можно разъезжаться, так что я тебе советую не вырываться на зиму домой, не обидься, благополучно все будет — на лето вырывайся как ни можно домой, все ж больше отдых, и к дяде я тебе советую, там побудешь и продуктов наложут на полмесяца, и так недалеко...

Мы с тобой ошибку понесли, надо было не брюки шить, а пиджак, брюки всегда можно купить, в общем покупай, а я маленько помогу, только на меня много не рассчитывай, корова бросила доиться на два с лишним месяца, налог принесли, на зиму все припасла: угля, думаю, хватит, дров тоже, только и беда, что сена не хватит, ну ничего, как-нибудь.

Женя, смотри, на праздник будь поосторожней, сходишь на демонстрацию, соберись там где-нибудь с ребятами скромно, но не так, чтобы перепиться и по улицам ходить-качаться, это, сынок, не дело, ты сам понимаешь... Я тоже маленько завела, хочу позвать соседей, они мне много помогли, да, может, еще придется. Бабушка у меня гостила, вчера уехала, не стала больше жить — так мне опять скучно одной: ребята-квартиранты разъехались на праздник домой, будут до 10-го, я сейчас сижу, 9 часов вечера, тихо, только слышно, как часы чикают. Здоровье нормально, но горло после отравления, как Никита Иванович помер, чего-то бараклит, никак нельзя воды холодной пить и как остыну... Сынок, жалею твою голову, что до сих пор ходишь без фуражки, купи хоть дешевенькую, пуще будут девки любить (шучу...)... Я хочу вам, студентам, предложить, сделайте вы свою кассу взаимопомощи, как получите стипендию, то скиньтесь рублей по 30 или 40, человек 10 соберитесь, и у вас очень хорошо получится, сразу куча денег, оно когда вместе — жить не так плохо...

Еще раз, сынок, поздравляю тебя с народным праздником Великого Октября... Целую, твоя мама...

Глава вторая

Как ни одинаково жили тогда сын с матерью, а каждому из них досталось еще что-то свое. Детство есть детство. Оно запало в сознании мальчика целиком, сплошной картиной, одним днем детства. Субботой или воскресеньем, как для матери, — он не помнил.

Матери же воспоминания достались совсем по-другому. И через

двадцать лет глядела она назад с озабоченным вниманием и различала каждый день. В любом году выделяла она именно те месяцы и недели, субботы и четверги, от которых что-то зависело. Одежда напоминала ей о стоимости жизни, о переменах, очереди за хлебом и клеенками кончились для нее в т а к о й-т о день, плакала или обдумывала зимование в т а к у ю-т о погоду, приходила та-то соседка, приносила ей почта о п р е д е л е н н о й раскраски конверты. Туда-то пошла она, подвязывая на ветру косынку в г о р о ш и н к у, которую купила в п е р в о м универмаге за с т о л ь к о-т о рублей после распродажи, когда носила на базар д в е кастрюльки варенца, одну з е л е н е н ь к у ю, на с о р о к стаканов, другую коричневую, с о б и т о й крышкой, и когда пустила последние стаканы подешевле, потому что подбежавшая Демьяновна шепнула, что в универмаге выбросили платки и косынки и еще не разобрали, хотя баб набежало уйма и ты, мол, иди поскорей, а я отнесу кастрюли, скажу Жене, где ты есть, и передам, чтобы он разогрел борщ под столом и потом спрятал электроплитку, иначе оштрафуют, раз простили, другой не помилуют... И столько такого засело в голове навсегда!

Бежит мать то с базара, то из магазина (всю жизнь бежит перед глазами сына куда-то) и рада, что мало денег истратила, будет в жару что накинуть на голову, хотя лучше бы купить Жене рубашку, но рубашек хороших нет, она смотрела, на рубашку она скопит в следующий раз, коровка прибавила молока, и после работы хорошо берут варенец, надо бы назавтра еще две кастрюльки заквасить, если Женя не вылил остатки. Сидит там один в ограде, ребята в пионерлагерях, а ей отправить его невозможно, к тому же не на кого бросить дом... Бежит мать, торопится, думает. Бежит, торопится — и так всегда. И все помнит. «Физонька, — повстречала ее в тот день товарка на площади, — как живешь, милая? Ой, Физа, а мы так часто вспоминаем тебя, жалеем, давно собираемся в гости, да тут муж с весны головой мается. А Женя твой как? Хоть бы повезло тебе: ведь ты больше всех счастья заслуживаешь. Заходи обязательно, я знаю, что некогда, ну загляни, как будет минутка, мы тебя как родную вспоминаем: «Как там Физа, как там Физа...»

Как тут забыть.

Отчего позже в воспоминаниях Жене не хотелось жить своими восторгами от кинофильмов, купанием в речках, разбитыми губами и синяками под глазами, мечтательными вечерами на болоте? Отчего своя тогдашняя жизнь, свое детство утратили с годами интерес сами по себе, а скрытые переживания и хлопоты матери явились насущной заботой его памяти, отчего он так стремился приблизиться хоть на шаг к ее сердцу и поглядеть на то время не своими, а ее глазами?

Так всякое росное утро сидел Женя на еще холодных приступках крыльца и следил через низкий забор за пастухом. Пастух (то старик, то мальчик, то женщина) появлялся в любую погоду в плаще и с сумкой наперевес, в уголке которой белела головка бутылки с молоком, звонко щелкал бичом, дудел в свой рожок. На востоке, за базаром, точно подтаивала светом окраина неба. И пока просыпались, торопливо стучали друг к другу в ставни соседки или вскрикивали во дворах, хлопая ладошками по спинам своих Зорек, Катек, Буренок, свет разливался и уже проникал в пасмурные, с примятыми постелями комнаты. Если подумать, если разом представить всю русскую землю, то опять покажется вопреки расстоянию и разным часовым поясам, что каждое утро миллионы женщин в эти минуты провожали на дальних просторах в стадо коров — на торфяную пустошь, на луга, на лесные поляны... Столько места занимали в жизни коровы, и каждая сберегала по себе память, как человек. Даже имена-то они носили какие: Юля, Зоя, Катя... И когда они вздыхали по ночам в утепленных сибирских стайках, не так одиноко вроде бы

становилось на душе у хозяйки. Сколько было переживаний у матери, если корова оставалась на зиму нестельной. Захватывает зима, в доме ни денег, ни сена. Живи, как можешь. Корову хоть раскорми, она на кружку прибавит — и все. «Им чего, — говорили в казенных домах про хозяек, — каждый день выручка, молоко свое, деньги в чулки прячут, в стенки замазывают». «Им чего, — возражали хозяйки, — сделал не сделал — руку в кассу протягивают два раза в месяц, вынь-положь, а тут как осень — сена добудь, пошла, встаешь, только и болит голова — чем кормить, как до весны дотянуть. Что наторгуешь, то и отдашь. Попробовали бы подержать!»

Услыхала Физа Антоновна, что продавали на другой улице корову — молоденькую, стельную. Продавали потихоньку, по знакомству. Просили за нее дорого. И упускать не хотелось: дешевле не найдешь.

На следующий день поехала Физа Антоновна в город на толкучку сбывать патефон. Патефон был не старый, только поставила хорошую деревенскую пластинку — и тут же набежали покупатели. «Тетечка, — сказала одна женщина, — или как тебя звать, ты еще вроде молодая... Может, сбавишь?» — «Я бы никогда не продала, — пожаловалась Физа Антоновна, — но мне на сено. Да корова нестельная. Это у меня сынишкина память, отец покупал, когда уходил на фронт. Я тебе адрес дам, я не какая-нибудь спекулянтка или обманщица».

Сторговались, мать спрятала деньги за подкладку пальто, даже в избу свою не зашла, побежала к соседу через огород договариваться. Ткнула корову в бок: и стельная и красивая, но очень, очень дорогая. Пошла советовать.

— Как ты мужик, — сказала она Демьяновичу, мужу Демьяновны, — посоветуй.

— Спешу, — сказал он, — кто знает, что будет после реформы.

— Заколоть на мясо свою, что ли?..

— Колоть, — сказал Демьянович, — одни кости. На бойню дай, за место заплатишь да рубщику, еще меньше выйдет. Веди живую.

Всю ночь не спала, думала: у кого занимать денег? Еще вечером обещал ей полтысячи Демьянович, но сразу не дал, просил зайти утром: на ночь, говорили старые люди, денег не занимают, деньги тогда перестанут водиться. Утречком Физа Антоновна привела новую корову, поставила к сену, в залог отнесла плюшевое пальто, повела свою кормилицу по морозу в фуфайке на базар. Корова сроду была неаккуратная, где наляпает, так и ляжет, к бокам присохли кизяки, мать почистила ее железкой, оттерла, корову трясло, и она покрыла ее на базаре распоротым мешком. Демьяновна, в душе уже готовая обмывать продажу и покупку, увязалась с матерью, не скажешь же «не ходи», потом, может, и правда с ее язычком полетче столкнуть корову.

Киргизы пощупали:

— Одни кости.

— Какая ж корова без костей? — сказала Демьяновна. — А у вас мясо на чем держится? Худая баба и то молоком дите кормит.

— Зубы шатаются.

— Коронки вставишь. Ей не улыбаться, не видно.

— А теленочек?

— Гуляла осенью, — робко соврала мать, — стельная.

— Сейчас уже и коров честных нет — все гулящие, — сказала Демьяновна.

Все-таки дали за корову мало.

— Много добавлять, — горевала Физа Антоновна.

Полезла она дома в подпол, нагребла четыре мешка картошки, положила на санки и скоренько на базар. Употела. Ведерко стоило уже сто

пятьдесят рублей. За мешок выручила рублей девятьсот. Наступал вечер, и она вспомнила, что еще не уплатила налог. В кассе народу толпилось, как на вокзале. «Кто-то, видно, пожалел меня», — вспомнила она позднее, потому что едва она заплатила, банк закрыли по случаю реформы. Было пять часов вечера, и многие заплакали. Вот оно, счастье, благодарила она бога, и дома, раскаявшись, сразу же вынула из стола маленькую икону, лежавшую там в уголке за чашками и кусками хлеба со дня похоронной, вытерла ее чистым полотенцем, попросила тихо прощения и повесила в уголок над кадкой с фикусом.

«Чем теперь отдавать?» — думала она. Вечерами она терла с Женей картошку, утром плакала из нее пирожки с капустой и бежала, пока они горяченькие, раздать по малой цене рабочим, заглядывавшим в обеденное время на рынок. Тут сучка принесла пятерых щенят, дымчато-сереньких, милых, и она побросала их в старое ведро, укутала тряпочкой от мороза, стала в ряду, где продавали тазы, гвозди, краску и всякую утварь. Может, кому и понадобится шеночек, не великие деньги, а все же копейка. Шенков мигом расхватали женщины из казенных домов.

— Что-то мало я наторговала, — только и слышал маленький Женя. — Значит, сначала я понесла кастрюлю варенца и бидончик молока. По сорок стаканов, Женя, — это сколько будет? А ну давай считать. Потом вернулась и еще кастрюлю зеленую на тридцать стаканов. И сметана. Две баночки. Это уже сколько? И творожку килограмма два. Разобрали, хватали, как с огня, еще-й просили поменьше отпускать. Сколько ты насчитал? Чего ж не хватает, а ну в правом кармане посмотри, не завалилось? У меня ж чуть деньги не стащили, да стащили уже, женщина толкает меня под ногу, гляди, кастрюлю твою понесли, ай, а там выручка. Спасибо, дяденька поймал парня, так я как дала с размаху кулаком по морде, не знаю, откуда и смелость взялась, он сопляк, наверно, в десятом классе учится... Сиротские деньги унес...

«Ну, тетка, берегись...» — пригрозил парень, а в толпе, заметила она с острой от страха наблюдательностью, шныряли его дружки-оборванцы со злыми глазами.

Суеверная боязнь бродяг и хулиганов засела еще с войны. Там постучали, обманом вошли в избу и прирезали одинокую женщину, вещи на санках увезли; там в подполе закрыли старуху; там в очереди деньги вытащили. Как вечер — сиди и трясись.

Вышла она с базара, оглянулась через несколько шагов: за ней следят четверо! И люди кругом идут, каждый по своей тропке, но кто встретит? Ну все, думала она, подбегут, ударят в затылок — и прощай. Впереди пусто, далеко-далеко дяденька хромает.

«Пойду по другой дороге, — решила она, — запутаю след, домой нельзя, выследят, где живу, и ночью залезут».

Она свернула, догнала дяденьку с сумкой, вцепилась ему в руку, быстро объяснила, в чем дело. А дяденька был слабенький.

— Я вам заплачу, только доведите меня, — попросила она, — там на Лагерной у меня знакомые, а то мне голову проломают, у меня сын растет...

Но дяденька довел ее не до конца.

Два камня пролетели мимо, третий, самый тяжелый, попал между лопаток. Как они в голову не угодили, вспоминала она после. Так бы и раскрошили. Она плакала всю ночь, жалуясь на судьбу, обращаясь к засыпанному в запорожских степях мужу: «Милой мой Ванечка, если бы ты знал, как мы живем без тебя, как нам достается, и зачем тебя скосила немецкая пуля, мы так надеялись, что вернешься, ты и в письмах писал — обещал, а чужие мужья пришли, тебя нет и нет — и косточки твои гниют... А сегодня сиротские деньги хотели отнять...»

— Мам, — приставал Женя, — ну купи мне детский велосипед. Ребята катаются.

— У ребят отцы есть. Когда, сынок, вырастешь да начнешь зарабатывать, тогда узнаешь, куда копейка летит. А патефон, что отец подарил, мы как-нибудь вернем. Не плачь.

И Женя ждал, когда это время наступит.

В жизни вечно чего-нибудь ждешь. Сначала они ждали отца и окончания войны. Потом опять ждали отца, особенно в День Победы. Ждали, чтоб погуляла корова, чтоб отелилась, чтоб стало дешевле в магазинах. Соседи, как заметил мальчик со временем, тоже чего-нибудь ждали, жилились и просыпались с этим чувством: ну вот еще немного — и оно, желанное, наступит. Годы летели, мать проводила сына в дальнюю дорогу и молила теперь, чтобы скорее пронеслись пять лет учебы, иначе в случае ее болезни он никогда не выучится.

Женя рос хрупким мальчиком и, кажется, во всем понимал мать. Без упрека и жалоб принял он через два месяца после прихода Никиты Ивановича неожиданно появившегося Толика. Никита Иванович давал слово не отрывать своего сына от матери. Но получилось по-другому.

С женой своей Никита Иванович и до войны жил плохо. В мае 44-го прислали ему соседи письмо, из которого он узнал, что жена его всю гуляет. Он перестал писать.

Они разошлись.

Мать увезла Толика в Алма-Ату, сдавала его несколько раз в детский дом, он сбегал, она посылала его на вокзал, учила притворяться беспризорным, чтобы подобрала его милиция: ребенок мешал новому мужу.

Физа Антоновна уже стала привыкать к Никите Ивановичу, снова насела на нее бабья забота — стирать мужу рубахи, вырывать на работу. Успокаивала ее на первых порах и старательность Никиты Ивановича. Он торопился домой с работы натаскать воды, почистить у коровы, наколоть дровишек. Физа Антоновна стирала, гладила, обшивала, по нескольку раз белила печку, и когда он, помывшись, садился у окна к столу, старалась угодить, покормить свежим и потом убрать возле раковины, возя тряпкой под табуреткой и рассказывая, где была днем, кого видела и что продала-купила.

Подвыпив, Никита Иванович пускался в обещания.

— Физа! — вскрикивал он, поднимая в руке вилку. — Вот пусть Демьяновна будет свидетелем: через год нам вся улица позавидует! Первым делом разодену тебя, как принцессу, будешь, ехор-малахай, на базаре варенцом торговать в шелковой шале, как цыганка. Смеешься, старенька, а я тебе говорю точно: позавидуют нам. Ладом позавидуют. Парников настрою с отоплением, сделаем водопровод, веранду со стеклом, вот только шиферу на крышу пока нет, ну это уж мое двадцатое дело. Коровенку до февраля подержим — и за рога на бойню, я, слава богу, как-нибудь больше тыщи приношу в месяц, хватит... А как отпуск, в Сочи поедем, куплю тебе купальник, поедем людей пугать... Верно, Демьяновна?

— И меня возьмите. — Демьяновна сплевывала семечки и хихикала. — Я буду бутылки из-под пива сдавать.

— А это уж от тебя зависит. Как твой Демьянович решит: опасно тебя, девку, пускать?

— А он давно знает, что я любого залягаю.

— В Большой театр повезу старушку. «О, Ольга-а, отда-ай мо-ой па-ацелу-уй!»

— Там таких, как мы, не пускают. Там в таких нарядах являются, а я в чем — в фуфайке, что пятый год таскаю?

— Ничего. Будешь у меня не хуже королевы. Не сразу Москва строилась. Да, жить можно. Вот только бы дом кирпичный поставить. За-ломлю на всю улицу — ахнут! Старенька, гадом быть, раз уж сошлись — постраюсь. Лишь бы это дело (шелк по горлу) не подкачало. Разным кирпичом уложу, с железнодорожного моста видно будет. А чо? То ли мы беднее других? Хуже мы, что ли, Утильщика, вот он забор покрасил, подумаешь! Было бы здоровье! Садись, Демьяновна, поближе, Никита Иванович зря не треплется.

— А я, сваток, так и сразу поняла: ты с себя скинешь, мне отдашь.

— Э-э, хитра-а, сучка. Ну уж для тебя разве, ладно, себя обижу, а тебе отолью. — И он подлил ей из своей рюмки водочки. — Ладом, ладом. За мозоли! Видишь мозоли? Никита Иванович покажет вам.

Неожиданно он сказал как-то вечером о Толике. Два-три дня ходил мрачный, охотнее возился в хозяйстве, чаще спрашивал: «Физа, тебе помочь?» Потом сел возле печки, тяжело сопя кривым толстым носом, следя за женой, мывшей после молока глиняные крынки.

— Чего это ты зарядил каждый день? — спросила Физа Антоновна. — Денег некуда девать?

— А чо нам деньги... Деньги — трава, корове под хвост.

— Вот новое дело. Вокруг денег вся жизнь вертится. Ни шагу не шагнешь. Нонче за деньги и ценят.

— Ста-ренька... Богаче, чем есть, человек не будет. Была б голова и дети здоровые...

— Чего это ты детей вспомнил?

— Толик, сын мой, приехал... — ответил он. — Как ты на это по-смотришь?

— Как я посмотрю... — Физа Антоновна сразу окаменела. — Ты хо-зяин теперь... Не знаю.

Она вышла, будто бы понесла ведро в сенки, на самом же деле скрылась от растерянности.

«Война проклятая», — первое, о чем подумала она и тихо запла-кала. Она принимала Никиту Ивановича одного, но чтобы жить вчет-вером — такого уговору не было. Она, Физа Антоновна, по своему мяг-кому, доброму характеру и в угоду хорошей молве вынуждена будет кое в чем отказывать своему сыну: ладно, мол, свой, он поймет, пере-терпит и не обидится. Неродное — оно капризное. Положишь все силы, ни с чем не посчитаешься, а потом, не дай бог, как в один прекрасный день заявит: ты чужая тетка, ради себя да сына своего жила, была не-родной, неродной и осталась.

Про себя она знала с первых же минут, что не откажет, потому что рядом со всеми ее осторожными женскими размышлениями вились, как мошки, мысли о Никите Ивановиче. Уже жалела его она своим сла-бым сердцем.

— Буду, — сказал Никита Иванович. — как штык! Одной семьей, о, да там мы не пропадем. Слава богу, бычка за рога возьму и в землю упру, а где здоровье, там и деньги. Да мы вчетвером лучше Утильщика заживем, Женя, глядишь, кастрюльки тебе подтащит, Толик в стайке подчистит, я, — тут он лизнул языком по губам, — печку растоплю. Если ты дозволишь, старенька, — стал он дурачиться, — если ваше величество доверит...

— Да я чо... — сдавалась уже Физа Антоновна, — я не против, лишь бы оно не вышло, как у людей бывает: тот себе, этот себе, переру-гаемся.

— Не послушают мать с отцом — по обоим палка ходит одина-ково. А там выучатся, с нас уже песок посыплется, глядишь — один да принесет на четвертинку.

Он прослезился и обнял Физу Антоновну дурашливо, по-молодому, довольный, уже чувствуя полное согласие, затем пустился скоморошно приплясывать, кривляясь под какого-то артиста, и наконец стал на колени по-старомодному и заключил:

— Если бы не мой бы Алексей, то Кипина Дунька замуж не вышла! И так, и сяк, и жизни сок, и тихо сыплется песок! Нормально! Нормально! Так и проживем. Никогда плакать не будем.

Когда он уже покойно спал, в окошко торкнула Демьяновна. Она пришла как бы по делу. По плутоватым ее глазам Физа Антоновна поняла, что Демьяновна знает обо всем больше ее. Такая уж судьба была у Физы Антоновны: ничего ей не удавалось скрыть от людей.

— Он до того, как домой прийти, у нас сидел,— шептала Демьяновна.— «Не знаю, говорит, чо делать. Хочу вас попросить, чтоб поговорили с моей,— приврала она.— Как она уж вам доверяет, вы с ней подружки...» А, чую, выпить хочет с горя. У меня было в подполе немножко, полезла,— опять присочинила она,— налила ему, кувшинчик целый выдули с моим Демьяновичем... Конечно, говорю, не так просто Физе: ты вот пришел без ничего, то тебе рубаху, то брюки, теперь сына, дай-ка примет — тоже обувай, одевай... А вы, мужики, только по первости миленькие, потом: раз стопочку, два стопочку, а ей думай, выкручивайся. «Я до копейки несу, как Утильщик». Утильщик, говорю, чего,— сочиняла и сочиняла Демьяновна,— они богатые, спят по-английски: головы шубой накроют, а задница голая. Сама ходит в бархатном платье и кирзовых сапогах. Вы не такие культурные. Ну ты чего: решила? Ой, смотри, Физа, как бы хуже не пришлось. Я разбивать семью не хочу, мое, конечно, дело маленькое, только так может получиться, что он своего сына выучит, а ты своего на работу пошлешь. Не соглашайся.

— Хуже не будет,— решительно сказала Физа Антоновна и, отвернувшись, поморщилась от ее советов, как от боли.

— Не слушай, Физа, никого,— сказала наутро тетя Паша,— людам абы воду толочь. Тебе жить, ты и решай сама. Она, Демьяновна, такая. Здесь одно, там другое. Миленькая моя, какая ты хорошая, я гляжу на тебя и как пожалеть — не знаю. Кабы я была побогаче, мы б с тобой объединились, и никого нам не надо. Любовь наша прошла, не воротить, таких уж, как у нас были мужья, нам теперь не найти, милая...

Март 195 ... г.

Здравствуй, Женя, с приветом твоя печальная мама. Как получу твое письмо, обязательно безумно расстраиваюсь от твоей жизни. Пишу письмо, сердце волнуется, а много помогать — нет моих сил. Корова мало дает, зубов у нее нет, сено плохо ест, жмыху купила, картошку тру, а выжимки корове. Всю зиму никуда не хожу, тру картошку, 200 стаканов крахмала натерла, как-то надо выходить из положения. Принесли еще налог на огород, за квартирантов, за выгон, что корову пасти.

Ты пишешь, что стыдно просить, а до стипендии далеко, ничего, сынок, не сделаешь, у кого ж ты будешь просить и кто тебе посочувствует, как не родная мама. Я продала теленка за 400 рублей, купила поросенка за 200, завтра пойду платить налог — 500 рублей, и снова остаюсь без копейки, ну ничего, как-нибудь, куплю кулей 10 картошки корове, наверно, придется колоть, надоела она мне. Без коровы тоже плохо. Доходу нет, а расходы идут каждый день, ну ничего, буду тогда привыкать... Здоровье мое прекрасное.

У нас настоящая зима, сегодня буря, пишу письмо и поглядываю на запад. Милый сыночек, как ты от меня далеко...

Ложу в письмо 10 рублей.

Глава третья

В одном прекрасном месте на берегу реки
Стоял красивый домик, в нем жили рыбаки...—

пел каждый вечер хриловатый пацаничий голосок на крыльчке, и короткие пальцы с чернотой под ногтями скребли ржавые струны маленькой гитары.

Один любил крестьянку, другой любил княжну,
А третий молоду-ую...
Утильщика жену! —

кончал вдруг, высовываясь из уборной, Никита Иванович и становился в позу эстрадного певца.— Ля-лям, ля-лям-лялям! Выступают на проволочке отец и сын Барышниковы.

Толик, очень похожий на отца жестами и выражением лукавых глаз, такой же потешный, как он, с родимыми пятнышками по щекам, с торчащими ушами, которыми он умел шевелить, как циркач, с первого дня полюбился Жене своей бродячьей опытностью, ужимками и простодушной лаской. Он по-отцовски облизывал язычком губы и подмигивал Жене, готовый повторить все отцовские ужимки.

— Ух, ехор-мохор! — копировал он его.— Старенька, нема делов. Если бы не мой бы Алексей, то Кипина Дунька замуж не вышла! Вообще-то вы все босяки...

Физа Антоновна чистила картошку и улыбалась:

— А похоже.

Без отца им уже бывало скучновато, они ждали его, и если была получка, точь-в-точь передавали матери его появление, реплики, песни, вопросы, его при этом всегда богатые планы на жизнь, страсть пускать по ветру деньги.

Утром мать будила их в школу. Женя спал справа от входной двери, напротив печки. На зиму вносили в комнату клетушку с курами, в январе топтался возле стола теленочек, и Женя стеснялся водить к себе товарищей из культурных семей. Ходила же к ним вся улица. Иногда Физе Антоновне надоело мыть каждый день пол после гостей. А почему-то же любили скоротать свободную минутку у нее. Идет человек из бани — не может миновать Физино крыльцо. Плохое настроение у соседки, куда пойти: пойду-ка к Физе Антоновне, пожалуемся друг другу. Недостаток какой — Физа Антоновна поделится молочком в долг, картошкой, деньжатами: только просить надо не сразу, потом, при прощании. Она на секунду замолчит, вздохнет коротко и уже виновато, как будто у нее тысячи в огороде закопаны: «Да где они у меня, деньги» — и тут же вынесет бумажку: «На, у меня от базара осталась». А отдавать Физе Антоновне можно не сразу, она сама не напомним: ей стыдно вернуть свое, она лучше перезаймет, чем краснеть да придумывать, почему позарез нужны деньги. С появлением Никиты Ивановича ее и вовсе стали считать самой богатой, от попрошаек не было отбоя, а мужики по вечерам приходили подымить, поболтать о международных событиях. Вообще-то Физа Антоновна редко сердилась, так уж, когда кто-нибудь сильно заденет или бессовестно поведет себя, не понимая, что и у нее рубахи не золотом шиты, и у нее руки заняты, и некогда прохлаждаться до ночи хиханьками да хаханьками.

А в другие дни поднимались они с Толиком рано — солнышко еле

брезжило на востоке, лежала роса на заборе,— они выбежали в трусиках и выбирали на крыльчке место с солнечным пятном и сидели в еще сонном дворе, зябко сутулясь и грея между колен руки, поглядывая то через огород на низкое вдальке болотце, то на захлопнутые ставнями дома, в которых еще валяются на постелях сверстники, и вид родных мест, дорожек, лавочек, широкой поляны, где они бегали, обкалывая ноги, спросонья казался знакомым и все-таки немножко позабытым за ночь... «Чего это вы,— удивлялась мать, проводив корову,— спали бы еще. А то за хлебом идите».

Белого хлеба давали тогда только по одной булке. Инвалидов пускали без очереди, малышня с сумками и авоськами терлась среди мужиков, которых по выходным дням набиралось особенно много, каждый что-то выгадывал, лез вперед другого. С тех пор часто удивляла Женю эта иногда возникающая ненависть между людьми в толпе, в кассах, в очереди, пропадало куда-то сразу сочувствие к больным, к инвалидам, уже можно было давить, толкать, топтать друг друга и лишь бы пролезть, проташить свое тело к дверям, больно надавливая локтем в чью-то женскую грудь. Потом, выбравшись с булками, люди шли мирные и хорошие, делились своей жизнью, помогали нести сумки, подсаживали в трамвай, желали друг другу удачи и здоровья. И краснорожий, тучный рубщик с мясного прилавка, всю войну откидывавший себе в ведро кусочки мяса за услуги, притворно хромя, давил сади на толпу, кричал: «Не за то кровь проливали!» Он нагло выносил пять-шесть булок и, слыша вдогонку дразнящие крики Толика: «Я Бе-е-ерлин брал! Я кровь мешками проливал!» — не оборачивался, не злился, а как бы даже радовался: «Кричите, так вашу, не умеете жить, ну туда вам и дорога...» И Женя потом не раз поражался, если на базаре, торгуя телочкой, мать приветливо здоровалась с рубщиком, безропотно отдавала ему тяжелый кусочек мяска и еще благодарила его за что-то, совала ему в руку на сто граммов и прощалась почему-то довольная. Всем, чудилось, задолжала его мать, и только ей никто ничего не должен.

Подрастая, Женя чаще и чаще мечтал о том, как в будущем, когда он выучится, построит матери двухэтажный дом или получит за какие-то геройские заслуги большую квартиру со всеми удобствами и будет привозить мать на Широкую в гости на легковой машине, а если его зашлют далеко, будет высылать ей дорогие подарки и крупные суммы денег. Тогда станут говорить по улице, какой умный у Физы Антоновны сын, и тогда вспомнят, как жили они без отца во время войны и после. Женя ложился спать в прохладном чуланчике и с каждой минутой воображал еще более радостное: вот через несколько лет после Победы отворяется дверь и входит его отец! За двором стоит новая немецкая легковая машина, которую уже лапают пацаны, на руке у него не игрушечные, а настоящие золотые часы, у него фотоаппарат, снимающий на целых три километра, знаменитый немецкий аккордеон, звучный, с регистрами, на голос которого сбегутся все пацаны и попросят потрогать беленький клавиш, и еще велосипед, и губная гармошка...

Однако лица отцовского Женя представить не мог. И как только он пытался это сделать, перед ним выплывал Никита Иванович, косолапый, с широким ртом и улыбкой, и мальчик терялся: а куда же тогда деть Никиту Ивановича? Мечта рушилась моментально, и становилось больно от жалости к Никите Ивановичу. Он вообразил, как грустный Никита Иванович складывает свои вещички и мирно прощается, уходит навсегда в неизвестное место, неизвестно на какую жизнь вместе с Толиком, который умеет шевелить ушами. И вот они уже за воротами, большой и малый, печальные-печальные, с гитарой через плечо, они уно-

сят с собой все, к чему Женя привык, оставляя Женю одного по утрам, когда они с Толиком соскребали ложками жареную картошку, встречались в школе на перемене в буфете, тут же договариваясь, кому подносить с базара кастрюли, и сучка Розка убежит, видно, вслед за ними, и погаснут смешные шутки Никиты Ивановича.

Посторонние звуки — хруст соломы в стайке, где за сумрачным окошечком пускала слюну корова, звон капель по пустому ведру — постепенно отвлекли Женю от странных мечтаний, и он осознал, что никто никогда не придет и не выложит подарков. Никто не придет, даже писем прежних не воротить.

Мать доит корову, потом цедит молоко в темную крынку и заставляет Толика садиться за уроки.

— Отец явится, он тебе даст. А Женя где? Женя, сынок, что ты там?

— Скоро отец будет? — Женя уже хотел видеть его.

— За угол не зацепится, так вот уже должен. Пять уже есть?

В половине седьмого Никита Иванович показывался в дверях, и было стыдно думать, что Женя только что прогонял его, обижая, а он вот стоит в замазанной шоферской одежде и радуется:

— Чо, мужики! Силу у отца захотели попробовать? Ну, давай!

Женя и Толя прыгали на него, сопели, повторяли его словечки.

— Фамилие?! — Он брал за руку одного из них и чуть выворачивал.

— Па-ап! О-а-аа, бо-ольна-а! Пусти-и!

— Не пробуйте у отца силу... Ох, старенька, а я жрать хочу.

— Кипит уже, потерпите минутку, воды вон принесите: тарелки мыть нечем.

— Взвод! В одну шеренгу! Ведро знаете где? Колодец? Давай! Одна нога там, другая здесь... А красенькой нальешь? — спрашивал он у жены. — Так уломался на работе, насчет толя срядился, — прихвастывал. — Ну, стаканчик, ну ты же видишь, я как огурчик. Нема делов. Жизнь с каждым днем все лучше, да и работа пошла веселее, — с акцентом говорил он.

195 ... г.

...Я, Женя, на работу устроилась в техникум за базаром, на вешалку польта выдавать, хожу через день по 14 часов, бывает, когда перемена, то 3 дня подряд выходит, в общем 12 дней в месяц, уже получила свои денежки трудовые, работа не чижолая и близко, я даже довольна, что буду с народом, а то только и возись с кастрюлями. В мае гардероб закроют, если не найду работу по силе, перебыю лето с коровой, а там в сентябре опять... Мотаюсь, сынок, всюю, а ты учишь, государству пригодятся ученые люди, и мамке твоей радость, во всем нашем роду один ученый будет.

Извещаю тебя, что помирают на улице старики, один за одним, начали уже и фронтовики помирать от ран и болезней, а молодежь свадьбы гуляет. Толик приезжал проведать из Алма-Аты, так до сих пор и зовет мамкой, работает мотористом на кране, попал в аварию, кисти рук перебил, срослось, слава богу. Ухватками весь в отца своего. Жениться не думает, меня, говорит, бревном еще не стукнуло, никогда не поздно.

Мое здоровье пока ничего, приехала бабушка, сидит у печки, вяжет рукавички, жалеет тебя, а я собираюсь идти зубы дергать, потом запишусь на очередь, буду вставлять. Это не раньше, как через 3 месяца, очередь большая за стальными зубами...

Глава четвертая

Бабушка наведывалась обычно по осени, к Новому году или на великий пост.

Она жила близко, но старость и нескончаемый круговорот обязанностей в своем доме держали ее на месте, в деревеньке.

Никита Иванович сперва ей понравился, по веселому своему характеру напоминал первого, всегда хвалился: «Ко мне теща приехала», любил, заметила она, прихвастнуть. Хвастаться умел и смешно и приятно, и бабушка хорошо проводила время в гостях, а вернувшись в деревню, вспоминала и побавлялась за дочь. Очень уж покорна дочка в семье и лишнего не скажет.

— Ты не поважай его,— сказала бабушка в первый раз.— Потомхватишься, да поздно. Толику пальто справила наперед, а в чем Женя переходит зиму? Меньше Демьяновну приглашай. Она, пока выпивает, и хорошая, «милые да родные мои», а вышла со двора — еще и набрешет. Она вот подседа, да и говорит: «Никита Физе синяк посадил на прошлой неделе». Скажи: правда бил?

— Да что вы, мама, какой мне интерес скрывать? Ну, пошумит когда, за что меня бить? Выгоню и сапоги вдогонку покидаю.

— Знаю я тебя. Переплачешь — и опять за то же.

— Вы говорите: Толику пальто справила. А как же вы хотели, если решили жить? Надо считаться. Мальчишка смирный, я ему куплю, а он должен Жене припасти, если сознание будет. Делю всем по ровному кусочку. Я первая пример подаю, пусть видит, а как же иначе?

— Да оно-то так,— скажет бабушка.— Нам сроду ясный месяц не светит. Мы сроду чужие прорехи закрываем своим рукавом.

— Намучимся — научимся.

— Себе тоже пальто справь. Сорок градусов, а ты в фуфайке бегаешь.

— Налоги будут поменьше — уж на будущий год справлю. Снижение цен обещают.

Запомнились Жене долгие беседы с матерью перед приездом бабушки. Никита Иванович где-то прохлаждался у соседей. Толик протирали валенки, гоняя клюшкой хоккейный мячик, в доме жарко пылала печь, мать либо стряпала, либо варила в чугунках картошку свиные, сверяла ходики по радио, чтобы назавтра пораньше встать и встретить бабушку, а то она старенькая, сколько раз уже падала, пока пробиралась в сумерках на горку от станции.

— Тоже вот и бабушка,— говорила мать, присаживаясь.— Молодость ни за что пропала, потом мы выросли, к кому ни поедет — только расстройство: один болеет, другому не везет. Чем больше стараешься, тем тяжелее...

Потом, ставши взрослым, Женя со вниманием думал о материнской молодости. Была ли она счастлива? Любил ли ее отец?

— Когда стала я взрослой,— рассказывала мать,— как называется, девушкой, то познакомилась с твоим отцом. Вот бабушка услышала — в деревне бабы сразу как в колокол брякнут,— давай меня ругать, на улицу не пускает: он, мол, тебе не пара, ему скоро в армию идти, а ты еще чего — молодая, обманет, надсмеется, был да нет. Да он бабушке и красотой не понравился — курносый, вихлястый и матерщинник первый. Дождали лета, а мы все же продолжаем встречаться, бабушка выглядывала меня на пороге, не хотела страшно.

В десятом классе Женя впервые прибрел домой поздно, намерзся

у подъезда и не поцеловал свою девушку, а мать открыла ему заспанная, легла и, чтобы услышал Никита Иванович, построжилась:

— Какая тебя приморозила? Хорошая спит давно.

Женя вспомнил потом ее слова:

— Однажды поговорила бабушка с соседкой, говорит: «Поеду в город, отвезу ее туда, найму в няни, чтобы она не с ним встречалась». Уговорила меня. «Поедем, найму тебя на несколько месяцев, ты там заработаешь и оденешься, будешь видная девушка, а от Ивана отстань, лучшего себе летом найдешь, ты неплохая, не какая-нибудь Нюрка рябая». Куда денешься в таком возрасте? Поехали. Бабушка стала чем-то торговать, а я в няни наниматься. Сколько домов обходила по разным улицам, никому няни не надо. Зайду в дом, постучу, там уже нашли. И так я ходила полдня, сполняла мамин приказ, нигде и не подыскала. На конце города жила мамина племянница. «Давай туда заедем, может, у нее там по суседству кому надо няню». Заехали. «Не знаешь, кому надо домработницу?» — «Да нет, тут у нас никто не держит. А кого ты хотела отдавать?» — «Физу хотела оставить, боюсь, рано взамуж выйдет. Там познакомилась с этим Иваном, а они такие, эти ребята, женятся, а потом от жен бегают». Зимой дело было. Помню, на крещение приезжают меня сватать братья отцовы. На серой лошади. Поставили лошадь к соседу, взяли свою булку хлеба (повязана была белым платком), оба подвыпимши, с палочками, как и положено. Ох, давно как было. Постучались, заходят. «Здравствуйте». Ну, здравствуйте. Мама рассердилась, не принимает гостей, то есть сватов, не проводит их в комнату. Потом кой-как пробурчала: «Проходите». Они положили хлеба на стол и стали объяснять, зачем явились. «У вас, говорят, девушка есть». Мама: «Я, мол, не отдам, она у меня молодая, я, мол, ей еще и приданое не сготовила». — «Ладно, сами наживут». Мать ни в какую. Когда пришли в третий раз, то мама была уже мягче, запросила с жениха большой калым. У него в дому того не было, просто чтоб отвязаться, может, какими судьбами отстанут. Ушли сватовья, и вздумали мы через неделю уйти убогом.

Зашла к соседям вечером поздно, и оттудова отец твой не пустил меня домой. Соседка нас благословила, и мы пошли по огородам, по садам. Пришли к его дому, были сестры, и брат его лежит на печке. «Вот так бы и давно», — говорит. Три дня не являлись, конечно, я маму крепко обидела своими неприятностями. Потом на четвертый день пошли мириться. Мама сидит у печки, поздоровались, я разделась и заплакала. Мама и говорит: «Рано плачешь. Раз посамовольничала, так не плачь». Отец твой уговаривает, называет мамой, «давайте помиримся, простите нас». Он был боевой, смелый. Мама встала, пошла в другую комнату, пододелась и вышла опять на кухню, мы сразу попросили у нее прощения и поклонились в ноги, поцеловали ее. Жалко ее было, такое сиротское чувство у нее в глазах, дети, они хоть и мамыны, а живут уже по своему разуму, и матерям за их новой жизнью не угнаться. Так в старину было, так и сейчас. Поглядишь и не веришь: то ли время бежит от тебя, то ли дети забыли нашу жизнь.

На бабушку Женя глядел зачарованно. Для него в древнем человеке, как и в старинных годах его родины, скрывалась какая-то особенность, которая в его поколении не повторится. Он понял это позднее. Добрые молебные бабушки сказывали перед сном детям непонятные и оттого удивлявшие душу истории. «На Сианской горе, на Препитанской земле, там стояло древо купоросное, под тем древом матери божия почивала. Пришел сын Иисус Христос: «Мати моя, ты спишь или так лежишь?» Она: «Я немного, сынку, спала, а много во сне дива видала: не иначе ты на кресте разопьятый. Терновый венец тебе на го-

лову надевали, копыями ребра прибивали. Как хлынула кровь тремя реками, ангелы с небес слетали, золотые чаши подставляли, восточной крови до земли не допускали».

Все на свете заведено не нами, успокаивала бабушка своих детей, значит, угодно было богу, коли мать Жени ушла с отцом не послушавшись, значит, предписана была и война, убившая отца, и матери его суждено было пережить мужа с другим человеком. Отца убили, и с матерью что-то случилось. Не становился Женя уже на коленки, не шептал «отче наш», чувствовал даже чудное освобождение, когда перед сном достаточно помыть ноги и сразу брыкнуться в постель под одеяло, думать о чем угодно. Только временами бывало пусто и грустно без сказки-молитвы, которой выучила его бабушка. Не в словах было дело, как понял Женя потом. Поражало бабушкино сострадание и тайна милосердия, которой она жила. Музыка бабушкиной речи запомнилась ему навсегда.

— Темные люди старики,— скажет ей маленький Женя, подталкиваемый чужой учительской волей.— Книг не читали.

— Темные, да порядок блюли.

Казалось, бабушка жила еще до татар и всегда была старенькой. Казалось, она прожила целые века, да так и не заметила, что все в жизни меняется. Ей хотелось, чтобы все на свете было вечно и недвижимо — как звезды, небо и сама земля.

— Ну, а скажи мне,— спросила она как-то Женю,— у тебя на сердце не бывает такого, что бог есть?

— Не помню,— честно и виновато сказал Женя.— Кажется, нет.

— Э-эх, дурно-ой, дурной,— сокрушалась бабушка.— Как ты сам себя ни ведешь, а сочувствие богу должно быть. Бог дает терпение, толкает на добро.

«Ой, бабушка,— хотел потом ответить бабушке Женя,— надоело мне ваше русское терпение. Всех бы вы гадов простили. Сколько можно».

— Терпению конец бывает,— сказал он.

— Так суждено нам. От плохой жизни и плохого человека к богу иди. Сейчас народ страшный стал: не то что бога, и людей не признают. Чтоб у меня было, а у тебя не было — вот так живут. Чтоб в сундуке было, к себе землю гребем, все равно, говорят, на том свете ничего нет, да нет, лучше отдать: сегодня разговариваешь, живешь, а завтра тебя не станет. Нет, только добро надо делать, с душой добро нести. Пусть люди пьянствуют, насильничают, обманывают, а ты добро делай! Я век прожила и никого на волосок не обидела. Меня обижали, но я им прощаю, они грешники.

— Ну вот видишь, бабушка: опять прощаешь. Да только ли хороших?

— А ты послушай меня: вернешься в институт — и ребятам про свою бабушку расскажи.

— Не плачь, бабушка, я все запоминаю хорошее. Не плачь. Давай я тебя поцелую, не плачь. Смотри, внуки у тебя какие, разве мы дадим тебя в обиду? Ну что поделаешь, если старое прошло и не воротится. Будем жить дальше, будем стараться. Правда? Ну вот.

— Мне себя не жалко, мне вас жалко. Мы-то, слава богу, немножко да захватили, а вы уже того не увидите. Сейчас ни старого, ни пожилого дети не ценят.

Это был год прощания с чистой, какой-то бестелесной бабушкой. Каждый раз, приезжая, она думала, что видит его последний раз.

С приездом ее моментально появлялись в доме старенькие ее подруги с костыльками, в длинных и широких юбках с цветами по темно-

му, в платках, которые они снимали в избе, расчесывая большими гребенками редкие прямые волосы. Первой приходила баба Шама. Шла она с самого конца улицы, отдыхала в двух-трех дворах, успевая пожаловаться на свою сноху, и добиралась на другой край только часа через три. С крыльца еще был слышен ее ворчливый басовитый голос, и, входя, она продолжала разговор сама с собой:

— Бешовы дети, так-перетак, веничка у них нету, рубля жалеют венник купить, задавятся за рубль, как шноха моя, тоже, паразитка, скупится. Ох, давай, подруженька, поздоровкаемся.— Она обнималась с бабушкой и троекратно целовалась.— Будь ты неладна. Чего рты пораскрывали, хихиканьки развели?

Тут она развязывалась, чесала волосы и, положив на колени поношенный шерстяной платок, повязывалась белым, тонким, в горошинку.

Затем стучала в окошко высокая Секлетинья. Из одной деревни были, как же, в один год отдавали их замуж, из одного колодца воду брали и на глазах друг у друга прошла молодость — теперь видятся редко, зато хорошо встречаться на старости, перебирать новости у теплой печки. В замужестве была Секлетинья свирепа и властна, над хозяином своим куражилась, как хотела. В беззаботности и самовольстве прошла жизнь, и не понимала она бабушкиного вдовства. Но когда самой довелось остаться одной, плакала не переставая: «Ох, Степановна, как плохо без старика, нигде не нравится, никто не подчиняется».

Секлетинья целовалась с бабушкой без слез, садилась, отдувалась:

— Ох, понадевала на себя, а ну как, думаю, замерзну, нацепила старенькое, на смерть не хватит, новое берегу.

— Ладно, бешова душа, а то мы не знаем, сколько у тебя добра,— ругала ее баба Шама.— С сундука не слазишь — боишься, растянут. Стонешь, все тебе мало. Это у тебя от мужика осталось, так ты и хвалишься, я вот не похвалюсь, как у меня старика давно нет и купить не за что. Мы вот со Степановной не похвалимся. Иди за поллитрой, иначе здороваться не буду!

— Ишь ты кака! — заводилась Секлетинья, и со стороны это было смешно, потому что они не ругались, а только делали вид, что ругаются, кричали по старой привычке.

— Ну, ты ездила к сыну, как там тебя встрели? — спрашивала бабушка бабу Шаму.

— Нехай им черт! Ворожейка говорила: у тебя много детей, все рассеяны, ты будешь помирать у старшей дочери. Старшая дочь сама плохо живет, думаю: ну, сын возьмет. Он живет дай бог: домина, баба его вот такая разъелась, как кадушка. Встала, попила молока и не бей лежачего — по-ошла. А я сама себе билет купила, положила при сыне.

— А сын чего ж?

— Ай, и сыну, видно, того хотелось. Промолчал. Баба дороже матери. Когда воспитывала да все кусочки от себя отрывала: «Ешьте, деточки, может, и вы мать на старости не бросите», а как переженились — и мать на черта сдалась. В кладовке стоят открыто двадцать банок с вареньем, и ни одного раза не напоила чаем, хотя б я не видела, то б не обидно было. Когда разошелся с первой бабой, в чем стоял, в том ушел из дому; приедет на суд — я ему и мяска, и сальца, и картошки, все ж, думаю, не покупать ему, а сейчас он чужой стал. Хоть бы конфетку дал матери; как первую бабу боялся, так и эту. Вот он такой же растет.— Баба Шама показывала на Женю.— Выучится и мать свою погонит.

— Не погоню...

— Погонишь, бешов сын, куда ты от этого денешься? Возьмешь

кралю, такая привяжется, а матери твоей дашь на поезд пятерочку: езжай, мать, на все четыре стороны. А нет, скажешь: по-о-шла, такая, вон!

— Я свою мамку не брошу.

— И мои так говорили.

— Я никогда не женюсь! — кричал Женя.

— О-о! — поднимала руки бабушка. — Куда денешься? Сиди.

— Мы ее, сучку с крашеными губами, и на порог не пустим, — вмешивался в разговор плескавшийся после работы под умывальником Никита Иванович.

— Этот не бросит мать, — вдруг говорила баба Шама. — Оно смолу видно. Правда, Секлета?

Жаль было бабу Шаму. И Физа Антоновна частенько звала ее к себе, оставляла ночевать. Невестка ее тоже не во всем была виновата: еле-еле сводила концы с концами, она тоже измучилась.

Да и чем помочь чужому горю? Женя не знал. Что он мог?

Умерла баба Шама в полном несчастье, и хоронили ее в тот день, когда Женя сдавал письменный экзамен по литературе на аттестат зрелости. Перед смертью она никого не узнавала. «А ты чего со мной разговариваешь? Ты чья? В церкву сходи помолись. Тебе со мной грех разговаривать — я святая уже». На похороны прибыла бабушка, ночь сидела у гроба подруги с Секлетиньей и вспоминала жизнь.

— Как кончишь, — попросила мать, — то прибегай, сынок, постарайся, оно хорошо, когда люди есть...

Женя кликнул Витьку Зубарева, тот появился, несмотря на жару, в пиджаке, внутренние карманы которого были полны заранее написанных сочинений, и они шли и говорили, что обязательно предложат тему из Маяковского и Фадеева и еще что-нибудь про будущее.

— А вдруг, — сказал Витька, — достанется про социалистический реализм? Определение знаешь? Или новое определение типического?

— Запросто, — сказал Женя возле поворота на базар, где он последний раз встретил бабу Шаму и она его не узнала. — У меня цитаты выписаны. К любой теме подойдут. Типическое не то, что массово, а то, что выражает сущность данной социальной силы...

Он написал сочинение раньше всех, проверил два раза и побежал на свою улицу. Снизу уже медленно взбиралась телега с гробом бабы Шама, несли свежий крест, крышку на полотенцах, и бабушка Женина сидела сбоку подруги, поправляя после толчков ее голову, наверно, говорила с ней мысленно.

Женя пошел вслед за всеми, порою оглядываясь и наблюдая, как отстают и расходятся по дворам женщины и дети, не пожелав проводить старуху до кладбища.

195 ... г.

Как я тебя ждала домой — и вдруг получаю письмо «не приеду», прочитала, наплакалась, что не скоро увижу тебя, так напрасно ожидала. Не иначе прогулял где или чего такого купил, что денег нет и не хочешь признаться матери. Все же меня сомнение берет: ежели провел без дела, то, конечно, ты вольный парень, но ты должен посочувствовать, как твоя мама ногти заламует и трудится, все старается, чтоб люди не смеялись. Опять вот пальто тебе на зиму надо. Куда же мать денется, помогу пальто купить, хотела себе хоть какое-нибудь справить, а теперь тебе вышлю, как-нибудь перебыюсь. За товарищами гонишься, у товарищей, может, родители богатые, а ты за ними тянешься, у те-

бя мать одна, бьется как рыба об лед... Как прочитала письмо — и оно меня возмутило. Не стал ли ты за девушками ухлястывать, день и ночь пропадать с ними? Наверно, придет та пора, что ты напишешь: мама, я женился. Это-то неплохо найти предел своей жизни, ну, Женя, я тебе не советую, еще рано, еще долго учиться и трудно, когда появится у тебя семья. Такая моя просьба — не вздумай жениться, девушки — они куда не денутся, хорошая девушка будет тебя ждать, там на последнем курсе видно будет, я тогда не стану против, а сейчас не связывай свою голову, не бери на себя такую заботу. Я, Женя, в своей жизни все испытала, как тебе известно, не торопись, успеешь этого добра узнать, не обижайся, что подарок не купила ко дню рождения, так все с деньгами внатяжку. Как не поедешь в лагерь, то езжай домой, я так соскучилась, а поедешь, хоть отдохнешь да на людей посмотришь, может, чего и на себя заработаешь. А то я устала от забот. Купи себе рубаху, старые рубахи куда не девай, привезешь мне, я с них нашую ковров под ноги.

Были у меня твои ребята, читали твои письма, угостила их хорошо. Было б все тихо, пройдет год — увидимся. Так наскучалась, что и не могу передать, надоело без родных жить. Толик прислал письмо, в армию взяли, передает тебе привет, где-то на Кавказе служит. Больше новостей никаких, никто не помер, не женился. Второй том Паустовского еще не пришел.

Кладу 5 рублей...

Глава пятая

Сколько ни пытался Женя вести дневник, ничего не получалось. Учительница советовала купить тетрадку и прилежно записывать все хорошее, что было вокруг.

А что записывать? Встал, позавтракал, побежал в школу. В школе те же ребята, дома — те же лица. Удивительных историй с завязкой и развязкой не совершалось. Бегали, дрались сумками. писали изложения, недавно ночью караулили с Толиком очередь за жмыхом для коровы. Ну и что? А еще пацаны с Горской бегали допоздна зимой с клюшками, весной таскали за пазухой голубей, играли «в чику», в пристенок на мелочь и помогали мамкам колоть дрова, поливать огород. В этом ничего необыкновенного нет, а вот люди пишут про интересные случаи — где они?

Было как бы две жизни: одна где-то там, с красивыми чистыми людьми, другая — дома, на улице, на площадях и в магазинах.

«...дак он в фуражечке ходил да в ботиночках, где лужа, грязь, он, чтобы не замазаться, остановится, обойдет, подумает. А э-этот в сапоги обутый. ломит напрямую, не разбирая, лишь бы скорей! Только брызги во все стороны. Великий! Великий, когда он стоит, а люди сидят. А как люди встанут, его и не видно». Кажется, сказал Демьянович. О ком?

Вот взять Никиту Ивановича, попробуй его записать, да он такого за день наметет, что не разберешь.

— Ну что? Бил уток?

— Ох, ели... И били. Идешь — лед тресь, тресь. Одно утро чирок шел, мороженый чирок причем.— Никита Иванович облизывался от вранья и раскладывал карту области.

— По карте охотились?

— А как же! Вот здесь мы были. Тах, тах! Целый тамбур привезли. Не веришь? Слушай... Эх, как ударишь и...

В тот день Никита Иванович вернулся с охоты. Уезжал он километров за двести на целую неделю. Сманили его товарищи, отпуск ему не намечался, и он взял без содержания. За стаканом он как-то похвастал-

ся товарищам, что заработал нынче много и неплохо бы отдохнуть за свой счет, жена от благодарности посылает в Сочи, но зачем эта жарница, лучше мешок уток привезти. На самом же деле Физа Антоновна не пускала его, жаловалась на нехватку денег — поедет, последние промочает, тогда как лучше бы пустить их в дело: обувь купить, толя на крышу, да и куда ж ехать, когда крыша прохудилась.

— Старенька! — обнимал жену Никита Иванович. — Все ты жалуешься, хнычешь! Чего нам не хватает? Птичьего молока? Я прошлый месяц тыщу двести принес.

— Ка-аких тыщу двести? — так и села Физа Антоновна. — Двести рублей Ложкину отдал, должен был. Пятьдесят, говоришь, с завгаром пропили, для дела ли, без дела, ну, это ладно, допустим, начальство угостил, может, машину на покос даст. Да на охоту с собой триста взял... и сегодня две пол-литры... за третьей посылаешь...

— Не будь скупердяйкой, как Утильщица. Сегодня есть — и ладно. Всю жизнь трясемся над рублем, надоело. Без дела не пью.

— Дела-то и не видно.

— Ехор-малахай! — Никита Иванович вздевал руки вверх. — Роденька, у меня душа, как у Есенина, а он, между прочим, тоже любил заложить!

— Ой-ой, не мели, не мели ради бога.

— Ну, чего ты? Ну, хошь — рыбкой расстелюсь? Стихотворение прочитаю? Пушкина... — Он театрально становился на колени. — Хошь, под Козловского спою?

Физа Антоновна слабовольно улыбнулась и взялась чистить картошку. Долго перечить она не могла. Она уже знала, что раз он завелся, отхлебнул немножко — его не остановишь. Она начистила побольше картошки, потому что непременно кто-нибудь зайдет, так всегда случалось, если Никита Иванович тешил душу. В одиночестве он не любил колдовать над стаканом.

— Старенька, — сказал он, — не в том дело, главное дело, а вот в чем дело, главное дело: сходи за Демьяновной.

— На что она нужна? Это как засядете, еще да еще. Дай-ка сама притащится. То пара она тебе.

— На веселье лучше нету. Заодно поглядит, как Никита Иванович живет.

— То она не знает. Пока выпиваешь — богаче всех.

— Ну, старенька... — прикинулся Никита Иванович. — Тыщу поцелуев...

— Да ну тебя...

Физа Антоновна вытерла руки о фартук, вышла недовольная и через несколько минут вернулась.

— Идет. Я ж говорила. Кричит на всю улицу: «Новое платье купила, как раз к сапогам. Пойду покажусь».

На Демьяновну невозможно было долго сердиться. Как ни обижала она Физу Антоновну за глаза, не поздороваться с ней или прогнать со двора не хватало мужества. Как только эта толстая, с вечным фартуком на животе баба отворяла калитку и, зажимая в руке бутылочку самогонки, начинала с прибаутки, с матерков и притворных жалоб, ей все прощалось, и даже больше того — становилось неловко от недобрых мыслей.

На этот раз Демьяновна появилась в огrade с тарелкой холодных вареников.

— Сваток, — сказала она, — слыхала я, что жена тебя не кормит, так я вареников тебе сготовила. Демьянович, правда, ругать будет: последние отдаю, но ты, сваток, не проболтайся ему.

— Или ты не знаешь, как я живу? У меня своей муки два вагона.

— Твоя мука еще в поле растет, а моя на столе. Муки у тебя много, а выпить нечего. А у меня дома целое ведро в подполе припрятано.

Она знала, куда клонит.

— Принести? — хитрила Демьяновна.

— Сиди!

— Мне тебя хочется угостить. Мне для тебя копейки не жалко.

Последнюю рубашку сниму, голой по Широкой пройдусь.

— Да ну тебя к черту! Ты уже дряблая.

— Я, сваток, коленками любого залягаю.

Она взяла у Физы бидончик и пошла будто к себе, и едва скрывшись, повернула к соседке, выпросила две кружки самогона, опять соврав, что дома в погребе стоит целое ведро, но туда не пробраться, пока муж на работе.

— Ну, сваток,— она вошла, задыхаясь,— еле из погреба вылезла.— Бродит мое вино, сахару придется подсыпать. Наливай, раз своего нет,— сказала она с укором и высморкалась в фартук. Но, как и предполагала, Никита Иванович полез в сени и стукнул на стол поллитровочку «московской».

— Лицом в грязь не ударим,— сказал он, подтягивая штаны.— Живем пока хорошо. С охоты уток привез — на всю зиму.

— Ты б мне хоть одну дал, сваток.

— Да он брешет,— сказала Физа.

— Принеси буревестника!

Физа отказалась, и Никита Иванович встал, ушел в сени, принес худенькую, несчастную птицу.

— Я куропатку одну убил на разъезде,— сказал он, вернувшись,— отдал варить. Баба одна варила.

— Как эта баба была — ничего? Вари-ить умела?

— Только уговор — без политических намеков! Старенька, садись с нами.

— Да я не хочу.

Женя и Толик были в школе. Женя записался в художественный кружок и просил сегодня денег на масляные краски и бумагу, и Физа Антоновна ему не дала, сказала, что рисовать можно и карандашом, тем более что все равно он художником не будет, а переводить деньги на это удовольствие им нельзя. Он заплакал, сложил в портфель карандашники и альбом, сказал, что он и так хуже всех: летом не ездит в лагерь, корову эту пасет по вечерам, зимой нету ему коньков, и тогда Физа пообещала, что на следующий год, дай бог, станет корова давать побольше, она сэкономит ему на краски, хотя у нее у самой еще пальто нет. Всем дай, всем надо. Толик ходит в авиамодельный, тоже просит на клей, на курительную бумагу для крыльев, а отец помешался на охоте. Как раз бы то, что пропил, и пошло ребятам на пользу. Так нет.

— Эх,— затянула Демьяновна,— не за тем пришла, не гулять пришла, пришла пробовать вино — не прокисло ли оно? Я с выторгов. Два ведра капусты продала.

— Ну и трепушка.

— Заяц трепаться не любит.

— Вообщем-то косою не треплется. Изредка.

— Изредка и надо пульнуть. Правды сейчас что-то много стало, кому-то же надо и солгать.

— Ты умная баба. Почти как я.

— У тебя не голова, а Дом Советов. Тебе бы там сидеть, может, и нам бы обломилось. Глядишь, и угля бы скорей выписали.

— У меня задница тонкая. «Я достаю из широких штанов...» — встал он и заорал Маяковского, стихи которого читали им в перерывах между боями московские артисты. — Нас туда допускать нельзя, мы с тобой люди простые, сегодня есть, и ладно, про завтра не спрашивай. А что нам там делать, мы и так все знаем.

— Правильно, сваток. Не смотри, что мы малограмотные.

— Вообще-то ты баба та ли еще. На месте мужика я б тебя порол каждый день.

— У меня мужик немой. Придет — молчит, ляжет — молчит, где выпью — тоже молчит. На тарном заводе, говорят, тоже молчит. Обсчитают его, в выходной день вызывают, со смены на смену переводят, нагрузки на него — молчи-ит! Вот, говорю, меня там нет, я б, едрит твою, за чубы потаскала. А чо толку, говорит? Их не переспоришь.

— Он у тебя мудрый! Вы, бабы, ничего не понимаете.

— Я правду люблю.

— От тебя тоже правды не дождешься.

Правду Демьяновна любила наводить только на других, если можно назвать правдой те побасенки, на которые она была великая выдумщица.

«Вот баба! — восклицали соседи. — Ну, она придет ко мне — я ее проучу!»

А Демьяновна не лезла под горячую руку, выдерживала срок, положенный для успокоения, и кричала под воротами: «Можно?» — как добрая мать.

Ничто на нее не действовало, она запутала и переврала свою жизнь в болтовне за стаканом, и уколоть ее было невозможно.

Демьянович по молодости пытался ее бросить.

— Никуда не делся! — хвалилась она Физе. — Я его приворожила. Как в отпуск поедет, я печку открою, зажгу бумагу и кричу в дыру: «Раб Демьянович, вернись к рабе Демьяновне». Через неделю заявляет: «Соскучился! Ну его к черту, этот дом отдыха». По первости вздумали расходиться, пошли в суд, а я забежала наперед, через порог веток набросала да дома заранее еще в ботинок ему иголку швейную вложила. Только входить судиться, а он и раздумал. Мужик у меня — золото. Он царь, а я правлю.

Однако перед людьми она постоянно показывала, что якобы боится его и считается с ним.

— Стаканчики, рюмочки доведут до сумочки, — сказала Демьяновна. — Я по-своему: сама сочиняю, сама пою. На той неделе на могилках была. Ни один покойник не встал. Я поглядела: и по хорошему плачут, и по плохому плачут. Да лучше пить с горя. Поверишь, сваток, ненавижу, когда плачут.

— По кому тебе плакать? — сказала Физа. — Мужик целехонький, сама здорова.

— Я по жизни плачу. Мне и тебя жалко, и его, и Утильщиков. Они вон деньги получают — идут под ручку, деньги кончатся — спать поврозь. Я им свои отдаю, лишь бы спали вместе. Я для тебя, для Физы ничего не пожалею. Ты спроси у нее, как мы дружили. Она мне, я ей. Все общее. Правда, Физа?

— Правда, — как-то робко подтвердила Физа.

— В прошлом году сено привезли. «Физа, займи!» Физа от себя оторвет, а мне уделит. Мы как сестры. А я, сваток, за тебя ее отдала, к ней много сваталось, инженера, один патефонами торговал, у него каждый день выручка, не то что ты, в одном пиджачке перешел. А я баба с умом, не смотри, что в грязном фартуке. Я говорю: «Физа! Гляди не просчитайся».

— Хватит тебе. Ну что молоть про то, что было?

Никита Иванович нахмурился, Физе тоже было не по себе от того, что Демьяновна так бесцеремонно вмешивалась в их жизнь.

— Я ее как первый раз увидела — она мне понравилась. А мой глаз не ошибается. Ну, думаю, теперь у меня есть подружка на худой день. Она не обидит. Дай ей бог счастья. Ты ее, сваток, так не любишь, как покойный мужик любил.

— Что было, то прошло. А раз мы сошлись, то будем жить. Нечего...

— Надежда на тебя, Никита Иванович. Будешь обижать — я первая про тебя в «Крокодил» напишу. Хе-хе. «Ох, милка моя, шевелилка моя!» — запела Демьяновна и мгновенно переменилась, как будто ничего и не было.

— Во! — сказал Никита Иванович. — Утятинку попробуй.

-- Я уже.

--- Демьяновна!

--- По отцу Захаровна. По свекру Демьяновна, по отцу Захаровна.

--- Если бы не мой бы Алексей, Кипина Дунька замуж не вышла. Так мой дед приговаривал.

-- У меня ни отца, ни матери не было. Я сама вылупилась. Потому и не подсказал никто, как детей делать. С чего начинать, когда свет тухнет. Хе-хе. Похоронить нас с Демьянычем некому будет.

— Я пару лопаток кину на твою могилу.

— «На мою на моги-илу-у... Знать, никто не-е-е при-идет...»

— А жизнь проходит, — сказал Никита Иванович, — как с белых яблонь дым. Сорок пять уже! Что нам со старушкой надо? — Он обнял Физу. — Детей выкормим, выучим, переженим — только за всякую сучку ни-ни.

— Сучка и попадетя. Ты, сваток, плохо знаешь баб. Плохой бабе хорошего парня обкрутить ничего не стоит. Надо подход знать. Хорошие люди всегда страдают.

— Как послушаешь вас, — смутилась Физа, — мелете черт-те чо. У людей работа, а у вас каждый день праздник.

— Старенька! Послезавтра отпуск кончается, пойдем вкалывать. Работать так работать, гулять так гулять.

— Кончай, у меня дела много.

— Мы ко мне пойдем, — сказала Демьяновна. — У меня дома заварено.

— Да мне не жалко, сидите, для вас же оставила, — тут же перебила Физа, боясь, что получится скандал.

Она по крошкам собирала свою семейную жизнь. Каждый шаг ее был обдуман, многому она научилась в одиночестве, много страху набралась и теперь готова была иной раз перетерпеть, перемолчать даже в минуты, когда хотелось поругаться. Она верила, что человек со временем сам все поймет, надо только подавать пример в хорошем.

— А ты уже рассерчала? — оборачивался к ней Никита Иванович, ловил рукой ее за бок и прижимал, громко целовал в щеку, подражая молодым. — Дверь не прибита второй месяц. Да разве это время, мы по семьдесят лет будем жить. В этот год не приедем — перенесем по плану на следующий. Мелочишка, два гвоздя вгоню — и ладно. Завтра приедем. А ты уже и рассерчала. Да мы, будь-будь, уж живем так живем... Не пускаем сопни, как некоторые: «Ой, знаешь, Никитушка, так худо, так худо, болею, болею, сам тоже болеет, хотели стайку перекрыть, рука не поднимается, отняло». А мешки таскать — рука ничего. По пять-шесть мешков картошки продают в день. Нема делов! Мы не такие! У нас всего много, любой заходи, все бери, жри и уноси, еще и нам достанется! Хлеба надо? У меня только кусочек, ну подумаешь, мелочишка, я без хлеба

поем — на, бери да помни Никиту Ивановича! Лопату надо снег откидать — на! Ковер персидский на свадьбу — на, только не обсопливь.

— А ковер-то твой где?

— В магазине.— Никита Иванович сощурил глаза и лизнул языком по губам.— Дети у нас — орлы! Женя отличник, в самодеятельности занимается, рисует, давече меня сонного изобразил. Лежу, как король, и ноги волосатые. Уток вижу во сне — тах-тах! Что хорошо, Демьяновна, то хорошо. Хоть и не родной он мне, а могу гордиться: сын во, любая Алена подходит. Толик мой не скажу что отличник, но, слава богу, на троечках, а переходит. Шалопай, немножко в отца. Зато на гитаре играет! Куда твой Иванов-Крамской. «В одном прекрасном месте, на берегу реки» — в два голоса, на что твоя опера. Баян хочу купить, денег достану. Если вижу стремление, ничего не пожалею! На! Учись! Пока я живой, здоровый, не курю, не выпиваю,— сам засмеялся,— учись, сколько влезет. Рыбкой растянусь! Полечу, как утка. Денег кому займы дать? На, у меня тут бренчит мелочишка. Голым не останусь. Богатый... куда с добром.

— Правильно, сваток. Деньги — прах. Деньги — как пух. У моего мужика знаешь сколько денег? Пятьдесят миллионов. Незаработанных! Лес его. Заводы его. Коровы народные, а мы кто? Народ или нет?

— Масса,— сказал Никита Иванович, таская ложкой кисель.

— В любое время пошел заплатил — и твое. Верно? А что рубль? Человек больше стоит. Давай, сваток, чокнемся.

— Нет, я этого не понимаю,— сказал Никита Иванович, не слушая Демьяновну.— Я не люблю жить, как некоторые. Строишь, мужик был как мужик, вместе в баню ходили, пивко дули, вечером поел — на лавочке отдохнул, а то в кинцо проветрился. Да решил дом строить. Давай, значит, денежки копить с получки. А с получки не скоро нахватаешься. Стали отказывать себе во всем. Парников наделал, весной высаживает рассаду, там поливка, там базар, сюда-туда, уже не до кино и ни до чего. Полторы смены тянет. Да начальству надо угодить; раньше повернулся да пошел — теперь подлизнуть надо, не до товарищей, лишь бы себе.

— А что ж людям делать тогда, если по-твоему? — сказала Физа Антоновна.— Домов не строить, как же иначе? Выпивать?

— Дело хозяйское. Водки навалом. В магазинах того нет, другого нет, а водка всегда. Не выбывает. На Кавказе вино едят и вином запивают. И живут дольше ста лет. Поедем, старенька, на Север, дом продадим, куплю тебе унты. Карлы-бурлы, как чукча. Как фамилье? Вербованный! На три года. Я не люблю, чтоб начальство с меня требовало. Чтoб я с их требовал!

— Одни слова,— сказала Физа Антоновна и вышла встречать корову.

Когда она вернулась в дом, Демьяновна начала прощаться:

— Пошла я. Пошла, пошла. Спасибо вашему дому, пойду к другому. Я очень довольна, как день прошел. Незаметно. Завтра приходите ко мне. А на троицу — обязательно! Физа, ты меня знаешь, хоть серчай, хоть нет, а я к тебе с дорогой душой. «Ох, не за тем пришла, не гулять пришла», — запела она, вывалилась на крыльцо, покатила на толстых ногах за ворота, потом мимо своего дома.

— Вот так и день прошел,— сказала Физа Антоновна.

— Другой будет. Мне послезавтра на работу.

— Ложись отдыхай.

Он прикрыл глаза и уснул. И, как часто бывало, скромно появился на пороге Демьянович, искавший свою жену по дворам. Физа Антоновна с сочувствием поднесла ему стул. Демьянович был мужик крупный, достойный на вид, и его покорность, мягкость в семье удивляли соседей.

Над другим бы посмеялись, но его как-то еще более уважали за одинокое молчание.

Посидев, посудив кое о каких делах, он встал и как бы между прочим, словно не за тем приходил, спросил:

— А моей у вас не было? Почему-то дом на замке.

— Да, наверно, отлучилась куда-нибудь,— вежливо, с непониманием ответила Физа Антоновна.— Была у нас, посидела, говорит: надо идти готовить. Наверно, где-нибудь здесь. Ты спроси у Моти.— Она посылала его в другой дом, чтобы он не наткнулся на свою жену, которая где-то болтала и без конца вспоминала о муже:

— Набьет он меня еще. Набьет, как Физу Никита Иванович недавно бил.— Она нарочно говорила.— С синяками ходила, говорит: упала. Ну, это он поднес. Детей свели, никак не ладят. Кому охота за чужим смотреть? Приехал с охоты, она ему и на чекушку не дала. Я полезла к себе в погреб, принесла бидончик — нате, раз вам жалко.

А Физа Антоновна искала ее.

— Иди, Демьянович пришел. Иди, он заболел.— Она придумала это нарочно.— Не все б тебе прохладиться. Мужика тоже надо жалеть.

— Физа! Подружка моя! Я тебя в обиду не дам. А ты иди первой, скажи, что я чижелая, была у маменьки на могилке, разнервничалась и ты меня угостила. Я одна боюсь идти. Сама знаешь, меня везде зовут, без меня скучно. А Демьянович этого не любит. Он заснет, и я приду.

«Везет же людям,— думала Физа Антоновна.— Им все с рук сходит. А ты стараешься, не знаешь, как лучше угодить».

Когда она вернулась, ребята готовили уроки. Женя иногда посматривал в окно и обдумывал, с какого места он будет завтра рисовать чужие заборы с тополями в палисалнике. Дневник пустовал.

Толик сопел над составлением плана «Тараса Бульбы». На еще пустой, но уже запачканной пальцами странице он смог написать только две строчки:

«А) положительные черты Тараса.

б) отрицательные черты Тараса».

Составление плана всегда было для него казнью.

— Жень, а какие у Тараса Бульбы отрицательные черты?

— Не знаю.

Старый Тарас им до того нравился, что они не замечали в нем ничего плохого.

Ноябрь 196 ... г.

Во первых строках своего письма сообщаю тебе, что я жива и здорова, того и тебе желаю. Живу, как тебе известно, знаешь мою одинокую жизнь, не сильно-то улыбнешься. Правда, ходят соседи, побудут — и ушли, а я опять сама, почти каждый вечер сижу одна-одинешенька, квартиранты то на работе, то дружить уйдут. Скука меня заедает, ну ничего не поделаешь, видно, моя судьба такая — одной мотаться: куда уйду — меня никто не задерживает, и приду домой — никто не ждет. Здоровье пока хоршее, не обижаюсь, аппетит хороший, только плохо, что от родных далеко, так скучно по всех, особенно по тебе, пишу письма во все концы, получаю от всех, чтоб мне веселей. По радио песню исполняют, грустно так слушать, как же не грустно, доведись каждому такая судьба — тоже заплачешь. Оно вон посмотришь на других, как воскресенье — выйдут мужья с женами на базар или в кино, любовь да совет, а я куда ни кинусь — кругом одна, утром и вечером, обсуждаю с собой,

как дальше выкручиваться... Одна, сынок, надежда на тебя, что выучишься и станешь человеком и не забудешь свою маму. Старайся, чтоб люди тебя любили, не подражай бессовестным, их сейчас много поразвелось, будь правдивым, как все в нашей породе: за копейку не удушатся, свое еще отдадут, хоть без копейки, сам знаешь, никуда.

Я, кажется, тебе писала, что я корову опять оставила, никак не расхлебаюсь с ней, уже и выгоды нет, ну помучусь еще год, потом все равно развяжусь, она мне уже все руки оборвала...

Сена купила машину за 1500 рублей, ну машина небольшая, немного не хватилс, за помидоры выручила 100 рублей, огурцы плохие нонче, помидоры тоже неважные уродились. На будущий год, жива буду, посажу побольше, не стану разной дребедени садить. Картошки накопила 15 кулей, выбирали коллективно — ребята, как раз были выходные, спасибо, помогли, выбрали и сразу привезли. Все налоги поплатила, а долга еще на будущий год осталось 1500 рублей. Теперь с нового года, как корова отелится, тогда только помаленьку расплатимся. Бабушка обещала тебе выслать денег к празднику. Не вздумай так погулять, как гулял нонче в мае, а потом объявлять себе великий пост. Не шикай, не смотри на тех товарищей, у которых родители богатые, нам не с чего взять, корову оставила, та уже покаялась, мало молока дает... У товарищей твоих шаг широкий.

Поздравляю тебя с великим праздником Октября, передают тебе привет все соседи. От меня передай своим друзьям и подругам праздничный привет.

Кладу 10 рублей...

Глава шестая

Впервые Женя горько сознательно плакал в шестом классе весной, когда погибла собака Розка.

Наступил май, покопали огороды, распушили грядки, вечерами, в свете красного заката, на западе обкладывали назьмом лунки для огурцов. Физа Антоновна работала сама, Толик с отцом рыл под погреб яму, Женя прибирал в кладовке, лазил на чердак, еще сырой и душно пахнувший опилками и старыми тряпками. С крыши во все стороны расстилался перед глазами район с кривощековскими болотцами по низине, поближе к железной дороге, с пекарней за высоким забором, мимо которого Женя боялся идти в войну, ежеминутно ожидая, что в какую-нибудь дырку нырнет сейчас сорвавшаяся с цепи на длинной проволоке собака и схватит за штаны. Пекарня тогда строго охранялась, берегли хлеб, и кто-то же все равно пробовал выносить к забору и передавать буханки, кто-то травил собак, кидая им куски хлеба с вколотыми туда швейными иглами.

Теперь двор пекарни буйно порос травой, и как-то бедно и тихо стало у ее ограды, да и все изменилось, как взглянешь с высоты, и на болоте, где жила тогда тетя Паша, Парасковья Григоровна. Там, где понижалась Широкая, на самой ее середине, пролегал от хлебного магазина на горке до станции деревянный длинный мостик, по досточки затопляемый весной водой, весь кривой, шаткий. По этому мостику-тропинке с семи и до девяти утра шла такая густая тьма рабочих, что при виде ее становилось легче жить. Другая дорога вниз на заводы вела сбоку от их дома и сходилась с мостиком на Болотной улице, как раз у пекарни. Женя любил смотреть отсюда, как движутся вереницы людей. Подобно клубам дыма, эта черная живая струя, редевшая возле дома. Откуда-то рождалась внезапно, и этой струе не видно было конца. Шагов за двести Женя различал соседей и тех, кого он уже запомнил по одежде и походке, знал, в какое время они идут и куда повернут, и знал даже, кто

ходит парочками, кто с сумочкой, с завернутой в газету буханкой, кто не спешит, кто торопится в баню, на футбол. С тех пор на всю жизнь в нем хранилось радостное сочувствие к тем, кто бежит на работу в общей толпе.

С крыши он также наблюдал за движением поездов и пригородных передач. Казалось, никогда ему никуда не поехать, не сидеть в этих мягких вагонах с желтыми лампами на столиках, не выглядывать на торговки из окошка.

Когда жили они вдвоем с матерью, много дней просидел Женя во дворе и на крыше. Если мать выезжала на картошку или косить сено, караулил дом; мальчишки бегали купаться на Обь, а ему нельзя было бросать свой двор — в сарайчике подрастали цыпушки, за ними нужен был глаз. Порою мать уезжала в центр, за Обь, по каким-то редким делам, и Женя сидел на крыше, считал вагоны. Поезд появлялся из-за поворота, и Женя гадал, в каком вагоне находится его мать, искал ее после остановки в толпе: сначала в числе первых, потом в запоздавших, потом в числе последних. Ее не было и не было. Вон показалась голова в ее платке, конечно, это она, и рукой машет, и в сумке несет что-то для него, но ошибался — это была не она, не мама, а чужая тетенька. Темнело, ревели по улице коровы, цыпушки пищали и просили пшена, реже тянулись поезда, и где же она, мама? Не попала ли под трамвай, не обворовали? Не пырнул ли ножом какой хулиган? А что, если она и правда не вернется, с кем же тогда останется Женя на свете? Ну, придут соседи, пожалеют, подоят корову, закроют ее и постерегут дом. Встанет он утром без матери, никто не сжарит ему картошки, некому будет прийти на собрание в школу. Приедет бабушка, заберет его к себе, но как же он забудет свое место, свое болото, свои вечера вместе с ней, как же привыкать жить без нее не только первое время, но уже и всегда, вечно, в другие, взрослые дни, как же не порадует ее, ничего не узнает, что случилось с ее сыном в дальнейшем, и там, под землей, ей будет вдвойне обидно за него, маленького Женю, такого несчастного.

— Же-еня! — вдруг раздавался во дворе ее голос. — Где ты? Женя! Где ты, сынок? Заждался, сыночек, а я тоже так торопилась, так наплакалась, сыночек, сегодня. Корову подоили без меня? Кто доил, тетя Мотя?

— Наверно. Я не видел. Я на крыше сидел.

Он брал на руки Розку и спускался на землю.

К Розке он привык, как к человеку. Она провожала его в школу, до самого базара бежала вслед и хватала за краешки валенок, как бы задерживала: не хотела, чтобы он бросал ее одну на дороге. Жене было жалко ее, когда она отставала и стояла на дорожке, все вытянувшись вперед, лая, виляя хвостом, думая, наверно, что он не вернется. Он показывал рукой, мол, до свиданья, и она, глупенькая, снова неслась к нему, прыгала возле него, как мячик, и опять хватала за валенки. В иную пору Розка ждала его во дворе школы, и Женя выскакивал на переменах проверить, не издеваются ли над ней ребята. Сколько бы ни держали они в доме собак, все они были подобраны и выхожены из жалости. Едва Физа Антоновна собиралась завести щенка, как откуда-нибудь приставала к их калитке собачонка: то больная, то голодная, кинутая каким-то хозяином.

Люди шли к Физе Антоновне по всякой надобности. «И все к нам, — говорила она. — Как кому что надо, так к нам. К кому ж мы, сынок, пойдем? Только что к тете Моте, она такая же». Глаза, наверно, у нее были такие, и люди чувствовали в них слабость сердца. Не раз она ругала себя за характер, но только в минуты обиды, потом опять же прощала, пускала ночеватьобирушек.

Розка терпеть не могла привязи, без конца перегрызала веревки. Она скакала по грядкам, словно желая угодить хозяевам, вытаптывала и обнажала семена. Однажды в первые теплые дни весны она, глупенькая, пробралась на огород к Демьяновне и перепоганила там грядку с луком. Едва Физа Антоновна пришла с базара, Демьяновна явилась с упреками.

А мать не пошла бы жаловаться. Всегда почему-то совесть брала, и за свою же правду она никогда не могла постоять. Пойдешь жаловаться — обидишь человека, что-нибудь не так скажешь или скажешь-то по нормальному, но не так поймут.

— Подумай-ка! — разорялась Демьяновна. — Рассаду с таким трудом достала, копала, пушила и теперь без луку сидеть буду? Не приду же я осенью к тебе за луком! Мне чужого не надо. Подумай-ка, что получилось. Хоть криком кричи.

— Я ей сейчас дам! — отвечала Физа Антоновна. — Я похожу по ней палкой!

— Подумай-ка, — Демьяновна пошла за ворота, нарочно сообщая встречным, — ни стыда, ни совести...

— Ты будешь у меня по чужим огородам шляться? — Физа Антоновна била Розку ладонкой и приговаривала: — Ты зачем у соседей лук погубила, ты зачем пакостишь? Вот! Вот! — Она тянула ее к забору и указывала пальцем на грядки: — Не ходи туда, не ходи туда, гадина!

Она закрыла Розку в сарайчик, а утром Женя снова ее выпустил. Демьяновна в другой раз вспушила грядку, посеяла лук. В тот день Розка только пробежала по ее огороду. Физа Антоновна куда-то надолго отлучилась. Пришла она отчего-то расстроенная, усталая и не могла чистить картошку на ужин. В это время Демьяновна устроила ей скандал.

Она позорила мать, как хотела, кричала на всю улицу, припоминая, что было и чего не было. У матери, как обычно, от растерянности не нашлось слов. Она молча поймала Розку и повела ее в стайку. Розка не сопротивлялась и, видно, все предчувствовала: в жалостных ее собачьих глазах сверкали слезы. На минуту Физа Антоновна дрогнула, но обида затопила ее сердце. И не о Розке она думала в эту минуту, а о том, что, сколько ни делай людям добра, достаточно одной ошибки, чтобы тебе насолили сполна. «Без тебя у меня мало неприятностей», — сказала Физа Антоновна Розке и полтянула ее к потолку. И когда уже Розка дернулась в последний раз, она сняла ее, помолилась за преступную душу свою и заплакала, как ребенок. Она и на кровати плакала и жалела собачку, жалела своего Женю, который вот-вот примчится с портфельчиком и сразу поймет неладное, жалела и плакала уже о своей жизни.

Женя толкнул дверь в воротах, кинул портфель и спросил у матери: — Где Розка? Мам! Где моя Розка?

Розка лежала в пряслах, прикрытая сеном.

Он зашел в избу и упал на постель. Он не мог вообразить себе, что Розка не дышит.

— Она вон у Демьяновны опять по грядкам бегала, — оправдывалась Физа Антоновна. — Не плачь, сынок, — и сама утерлась платком, — мы нового щенка достанем. Будем мы еще за собаками плакать — слез не хватит. Не плачь, получше Розки заведем. Она вон меня материла перед всеми, ты и такая, ты и... ты и не работала сроду, и деньги от мужа таила, и рада была, что муж погиб. Ты и патефон, дескать, Женин продала. Куда я его продала, себе на платье, что ли? Или я его пропила, прогуляла? Хотела же не остаться без коровы — вот и продала. Ей бы на мое место.

В эту минуту вошел Никита Иванович. Он нес с полочки рыбу и был веселее прежнего.

— Ты чего? — Он увидел, что Физа Антоновна плачет. — А?

Она молчала и оттого, что он спросил, заплакала пуще.

— Письмо от кого, может?

Он сел на стул подле.

— Так что такое, я не пойму? Мать плачет, сын лежит. Что такое?

Женя молчал. Все для него были кругом виноваты.

— Ну, давайте я тоже сяду и заплачу: может, нам легче будет? Давайте до утра плакать и не говорить. Долго вас спрашивать?

— А то, что... — начала Физа Антоновна, — ко всем с добром, а...

— Демьяновна, наверно? Я ей... — он выругался, — ноги поотрываю, спички вставлю.

— Сиди! Ты, ради бога, не вмешивайся. Побольше бы звал да выкладывался. Все про тебя знают. Сиди, без тебя. Надо раньше домой приходить — вот это лучше будет.

— Опять двадцать пять. Я в Криводановку ездил.

— Не знаю я, куда ты ездил.

— Вот ты, старенька!

— Какая я старенька. И тридцати пяти нет. С вами состарисься.

Поели да пошли. И душа ни об чем не болит.

— Ну что ты расплакалась?

— А того я расплакалась, — затряслась Физа Антоновна, и Женя тоже спрятал лицо в подушку, дал волю слезам, и опять в детское сердце проникла обида на всех, — того и расплакалась, что...

Она не могла говорить.

— Ехор-малахай! — сказал Никита Иванович. — Ты ее не принимай во внимание. Чешут люди языками, ну и пусть чешут, а ты иди себе, ноль внимания, они и отстанут. Надо гордей быть. Будем мы еще из-за всякого дерьма расстраиваться! Завтра воскресенье, я полочку принес, пойдем в магазин, куплю чего-нибудь ребятам. Пойдешь, Женя?

— Никуда я не пойду! — буркнул Женя, вскочил и вышел на крыльцо.

Он положил мертвую Розку на тряпочку и понес закапывать в конец огорода. На дно могилки постелил сена, бережно укрыл от земли тряпочкой и засыпал. Потом в набегающих сумерках быстро скользнул за ворота и пошел к большой травяной площади с футбольным полем и сел у камня. Он не придет домой, не придет совсем. Его начнут искать, будут по нему плакать, ну и пускай плачут, ему никого не жалко, потому что, казалось, и его никто не жалеет. Пусть они там живут, ругаются, пусть притворяются, будто им хорошо, и не замечают своего несчастья. А Женя исчезнет навсегда, он вырастет в далеких местах и не вернется ни за что на свете, не поклонится, не покажется, или уж коли покажется, то первым делом напомним: «А помните, как вы меня обидели?» Или пожалеет из всех только мать, старенькую, убитую разлукой с ним. Прискочит противная Демьяновна: «Ой, как вырос!» — и он не поздороваётся с нею, как будто ее и нету. Довольно прощать ей. Пусть знает. Накроют столы, а Демьяновна, как нищенка, будет стоять у порога, едва скрывая обиду и стыд, и такой одинокой-одинокой покажется, что, когда запоют: «Сронила колечко...» — и она высоко, тревожно потянет первым голосом, Женя нальет ей в стаканчик и немножко простит: «На, тетя Марусь, да не делай так больше...»

Меж рабочих тропинок и домов белее неба сверкали под густым полотном ночи болотца, в одном месте кто-то кидал в воду камешки, и желтая тень окна чуть заметно покачивалась. Лягушки молчали. За

базаром возвышался четвертый этаж школы, пустой, с потухшими классами, со сценой, с кабинетом завуча.

— Же-е-еня! — звали его, и по голосу он понимал, что мать стояла возле крайнего дома и глядела в ночь. — Же-еня, иди домой! Иди ужинать!

«Вот и пусть, — думал Женя. — Пусть ночь побегают... Поищут. В милицию заявляют».

— Же-еня, сынок! — уже ближе в потемках кричала мать.

— Же-еня! — кричал Толик. — Репортаж передают!

И футбол не купил. У ребят в казенных домах есть и мячи и бутсы, из Москвы привезли. А Женя что ни попросит — на все отказ: погоди, сынок, дай мамке пальто справить. Пусть ищут. Он нарочно сидит на прохладной земле, простынет и заболит. И умрет. Теперь в шестом «Б» придется выбирать нового старосту. Женя умрет назло, чтоб ценили лучше.

— Женя, да куда ж ты пропал? Иди, я тебе что-то скажу. Бабушка приехала, иди!

И когда он умрет, мать совсем не найдет себе места. Кто ей ни повстречается, она перед всяким заплачет и скажет, какое большое горе случилось в ее доме. После отца вся была надежда на сыночка, такой рос послушный и грамотный, и вот бог за что-то наказывает ее еще раз. Женя заплакал, встал, стряхнул с брюк мелкие камешки и сор и пошел с радостным сознанием, что он жив и здоров, навстречу голосам в темноте:

— Женя, Женя!

Май 196 ... г.

Письмо твое давно получила, но отписать не пришлось, а тут немного приболела, провалялась неделю, со здоровьем у меня стало хуже, ну сейчас все прошло, береглась, никуда не выходила. Ты просишь, чтоб я почаще писала о себе, по-моему, я ничего не таю, все как есть... Тепла не видно, на огороде ничего не растет. Хожу по очередям и тому подобное, и так день за днем летит. Сама все мечтаю, скорей бы заканчивал учиться. У нас ничего не стало по магазинам: ни мяса, ни масла, ни колбасы, и на базаре мясо дорогое, совсем мало, потому что частникам запретили держать скотину, и все бросились по магазинам, потому и недостача... Все в заботе, в работе, так время идет в канители...

Ты спрашиваешь, в чем хожу. Тоже хотела купить хоть немудрящее пальто. Ну, с деньгами скуповато, купила вместо пальта плюшевую жакетку. Не вздумай, сынок, поехать куда, привыкнешь разъезжать, как наш Никита, этот везде побывал с подарками. Ты уж не маленький, тебя учить нечего. Рассчитываю на тебя тут, что ты помнишь нашу жизнь и ведешь себя сознательно. Грех забывать, что нам досталось. Это пускай пузатые забывают, им чо, их дело такое — побыл и нету. Чувствую, приворожил тебя там кто-то, не девушка ли какая нечистая, не считаешь нужным сознаться перед матерью? Я уже все передумала, сны плохие вижу. Еще раз заклинаю тебя, сынок, не поддавайся плохому, как ни можно береги себя в целости, оно в тяжести да в правильном пути все же лучше, чем хвостом трепать.

Хотелось к бабушке съездить, а тут погреб завалился.

Пишу на скору руку, не обижайся.

Кладу 3 рубля...

Глава седьмая

Никите Ивановичу редко сиделось на месте. На картошке едва пропальывали или выкапывали две-три сотки, врезал в землю лопату и шел курить на чужое поле.

— Считай, выкопали. Покурим.

Лень? Наверно, не то слово.

Любил тесное общество, любил, чтобы его звали к себе, и ради гостей, разговора бросал все.

А счастья, видно, хотелось. Зудила порою мысль о первенстве. С войны ехал покорителем, казалось, невысоки теперь золотые горы — рукой подать. А лежали горы развороченной на недостроенных местах земли. И конца краю не было напряжению. И он устал скорее других, дело заменил словами. Слова же вели далеко-далеко. В мечтательном сне дарил детям богатые вещи, возил их по всему свету, гордился собой и жизнью своей. И постепенно привык к этому.

Но у матери-то, Физы Антоновны, не угасала надежда на него: иначе бы зачем жить и топтаться рядом? Покорная надежда была у нее от природы. И как Жене ее, как ей самой в детстве, чудилось, что вот скоро кто-то и поймет их, смилостивится, и одарит, и спасет. Это было похоже на то, как в войну один только бодрый голос по радио укреплял веру, что там где-то есть люди, которые думают и спасают всех.

— Никит,— мягко приставала она,— ну когда уже начнется дело? Тебя сознание когда-нибудь берет?

Как-то зимой пригласили его на свадьбу в родную деревню Верх-Ирмень.

— Старенька! — вспыхнул он, сбрасывая с себя в угол грязную одежду.— Повезу тебя в свою деревню, поглядишь, где я сопливым бегал.

— Ты и сейчас носом шмурыгаешь.

— Вообще-то есть маленько.— Он громко сморкнулся в тазик под умывальником.

— Мы ж надумали телка резать.

Теленочка корова принесла два месяца назад. Сперва его спасали от холода в избе, держали между умывальником и обеденным столом, подставляли ему консервную баночку, если он, вздрогнув, поднимал хвост, подтирали после пойки молочные пятна на исчерканном копытцами полу, потом увели к матери в морозную стайку и долго решали, что же с ним делать дальше: держать на мясо или скорей резать, пока цены на базаре высокие? Женя и Толик обычно уговаривали оставить теленочка. Едва Никита Иванович брал нож и наказывал матери приготовить клеенку, ребята убегали со двора. Они приходили к вечеру, когда уже на сквородах подавали поджаренную кровь, печенку, почки, и ложились в постель без ужины. Так было каждую зиму.

— Оставим его,— сказал на этот раз Никита Иванович.— Черт с ним. А там посмотрим. Поедем. Поедем, старушка. Семьдесят пять километров, а последний раз в тридцать шестом году был. Увидишь, как меня встретят. Никиту Ивановича нигде не забыли. В крайнем случае телка после прирежем.

Ради двух-трех дней в деревне Никита Иванович, казалось, готов был и дом продать.

— А я? — сказал Женя.— Я тоже хочу в Верх-Ирмень.

— У-у, я один не останусь,— сказал Толик.— Я тоже поеду.

— Двоек много.

— Чего вы там не видали? — сказала мать. — Свадьба, все напьются, начнут петь, материться, а вы будете слушать! Занимайтесь лучше книжками.

— Ой, — сказал Женя, — и так нигде не бываем. Ладно, ладно.

— Да одевайся, жалко мне! — согласился Никита Иванович. — Одевайся. Толик, покараулишь, тебе аккордеон куплю. Корову соседи подоят. Поехали!

— Три двойки получил, так уже и не берут. Ладно... Как что, так Толик за водой сходи, за хлебом постой, в стайке откидай, а взять с собой — ни разу.

А Жене повезло.

Что и было обидного, давно растаяло в памяти, и если бы детство действительно возвращалось к человеку наяву, в нем бы хотелось пожить еще и затем, чтобы не знать разочарований и не видеть в старших отступников и хитрецов. И все таким же бы чудесно-забавным летел перед ним образ Никиты Ивановича, русского мужика, которому хотелось во всем подражать. С отцом, думал Женя, нигде и никогда не пропадешь, с ним изо дня в день интересно, легко и весело. Как часто Женя вспоминал потом в бедные, растерянные часы жизни его русский обычай презирать неудачи и тяжести, находить утешение в том, что есть, потому что сегодня неважно, а завтра, может быть, и похуже — жизнь есть жизнь! Но точно ли запомнил он Никиту Ивановича? Не забыл ли чего главного и не подкрасил ли за давностью лет?

Приличного костюма на свадьбу у Никиты Ивановича не было. Оделись как могли. Физа Антоновна показала Толику, где что брать, куда сливать молоко, в какое время греть и носить пойло корове, накрыла чистую посуду полотенцем и наконец вышла к ожидавшим в кошевке Никите Ивановичу и Жене.

— Стой-ка... — сказал Никита Иванович. — Надо же подарить людям что-то.

— Деньгами положим, сейчас деньгами кладут, какой подарок найдешь в магазине? Кирзовых сапог и тех нету.

— Пускай другие деньгами, а мы в грязь лицом не ударим.

— Никит, у нас ничего нет, ты как маленький.

— Аппарат отдам!

— Да ты что! Ты ж Толику привез, он не твой. Дареное не возвращается.

— Подумаешь. немецкий. Гэ на палочке. Я ему «зоркий» куплю, в сто раз лучше. А чо я там с бумажками полезу, хуже других, что ли?

— Ох ты какой богач! Пока спишь да по гостям разъезжаешь, у тебя прямо кошелек гремит.

— Не будем спорить. Какое ваше двадцатое дело до отца — отец хозяин, он сам знает. А вы доверяйте. А кто цыкнет — в рот ему сайку с маслом!

Никогда больше Женя не ездил в кошевке по прибитому сибирскому снегу, не закутывался в тулуп, припасенный в тот раз колхозником, пригнавшим за ними лошадей. Счастье было во всем: в белых чистых просторах, в беге лошадей, в длинном сверкающем дне, в раннем незнании жизни, в том, что люди еще воображались подряд хорошими.

В каком-то ужасно далеком восемнадцатом веке после восстания Пугачева пришли неизвестно по какой дороге на реку Ирмень два мужика и построили потаенную займку. И пошла жизнь, и взялись откуда-то деды и прадеды Никиты Ивановича и волостной писарь, которому поставили четверть зелья за щедрый надел.

— «Ну, запишите земли», — передавал в саях Никита Иванович давно умолкший разговор, будто сам жил в то время. — «Запишем, чего ж». Вывел в поле: «Вот, бери». — «Да где?» — «А вон, видишь кусты?» Версты полторы. «Да это много, куда мне ее». — «А как хочешь». — «А туда?» — рукой в другую сторону. «А туда тоже сколько видишь».

Как и в длинные вечера, когда к ним в дом приезжали колхозники, хотелось без конца слушать о чалдонском житье. Одно цеплялось за другое, и чем ближе было до Верх-Ирмени, тем интереснее складывались истории, и пусть бы подальше отстояла деревня, так, чтобы слушать да слушать отца на морозе под снежным небом.

Не понятно, отчего все-таки люди вспоминают старую жизнь?

За пригорком показала деревня Никиты Ивановича.

— Э-эх! — крикнул он и встал, раскручивая над головой вожди. — А-эх, с ветерком...

— Сумасшедший! — Физа Антоновна била его рукой по спине. — Повыкидаешь на снег! Никит! Никит, слышь, нет?

Но Никита Иванович не слушал. Он въезжал в родное место и был охвачен молодым чувством, когда хочется погордиться и прихвастнуть. Едва кошевка подкатила к воротам, с крыльца сбегали бабы и мужики, и началось целование, возгласы, что ждут с утра и очень рады: «Да проходите, с полдня начали, ой как хорошо, что вы приехали, и Демьяновна здесь, ну вы совсем молодцы!»

А с крыльца уже ступал баянист, и Демьяновна в тулупе завертелась на снегу в пляске.

В просторной избе с большими заставленными закуской столами сидели чужие люди, похоже было, что гулявшие немножко устали — охрипли от песен, а Никита Иванович, скинув тулуп на койку, где глазе-ли дети, мигом разбудил всех. Так всегда было, сколько помнит Женя. Отца протолкали за стол к окну, Женю пристроили к ребятам, подали вареной картошки с мясом, соленой капусты, киселя, и он ел с дороги жадно, не пропуская мимо ушей ни слова.

— Ладно, за молодых... Много не пьем, по маленькой...

— Кум! Забыл, как тебя звать.

— На «мэ».

— Мой отец, бывало, говорил: у меня три сына, и все на «мэ»: Митрий, Миколай и Микита.

— Я гость! Золотой гость причем. Правда, Демьяновна?

— Ты гость только серебряный, а золотой будешь, когда песок посыплется.

— Ой вы гуси, молодья! Прилетайте к нам опять! Я был старшина полковой школы. — Отдает честь. — Строй, равняйся! Смирно! Отставить! Смирно! Отставить! Так, бывало, по десять — пятнадцать раз. Потом: штаны спу-устить! Отставить! Не вместе. Буду мучить-учить. Спустить! Левый фланг не частить, правый не брызгать!

— Ты и приврешь, с тебя взять нечего.

— Ну, давайте. До дна.

— Как хозяин, так и гость.

— Да оно у вас что-то горчит...

— Горька-а-а!

А к окончанию первого дня свадьбы появились откуда-то ряженые. Тогда Женя впервые увидел мать бесконечно веселой и большой шутницей. Никита Иванович переделся, конечно, в бабье, ломался, кривил подкрашенными губами, поднимал пальцами подол юбки, обнажая кривые волосатые ноги, и томно клонился к Демьяновне — она была в замазанных штукатуркой брюках с расстегнутыми пуговицами, в фуражке и с гладкой деревянной толкушкой в руке.

Потом брали Никиту Ивановича за ноги, распинали на полу — поднимали и укладывали на постель, и ряженный в доктора щупал у него в неподложенном месте пульс, ставил под хохот диагноз, просил инструменты для срочной операции. Демьяновна несла полотенце и столовую ложку, связывала руки и ноги и начинала зализывать подол.

— Аппендицит! — кричала она. — Вот он, аппендицит, я ж вижу.

— Усыплять будете? — спрашивал Никита Иванович мучительным голосом.

— Снотворное скорей! — приказывала Демьяновна, и ему подносили к губам стакан вина и огурец. — Теперь спи, а мы вырезать будем.

— Все не вырезайте, хоть немножко оставьте.

— О-о-о-о-о!

Стон оглушал дом. Демьяновна в конце концов бросала больного под звуки запевшей в горнице гармошки, под тонкие голоса женщин и дробь каблуков. Тогда Физа Антоновна охотно затягивала что-нибудь старинное. Она редко пела. Женя не привык видеть ее захмелевшей, когда, как он понял в дальнейшем, русский человек забывает свое горе и не просит от жизни милостей — только бы отвести на денек душу свою, надурочиться и напиться властью. Чувство это постепенно передалось Жене, и он не знал, после чего оно особенно завладело им: после смерти ли Никиты Ивановича, или когда читал материны письма в институтском общежитии, или в песнях открывалось что-то. Много раз потом собирались на его приезды-отъезды люди в их доме, и как же он чувствовал их, подвыпив, как он желал утешить их хоть чем-нибудь постоянным! Ему и понравились многолюдные посиделки не за бестолковый шум и хмельные крики, ему полюбились глядеть в эти минуты на мать, на отца, на соседей, которых он слышал и видел каждый божий день на улице, на базаре, за отдыхом и работой, глядеть и изумляться, до чего же они живые и не пропащие, никакою бедою и участью не сложенные.

И лица их попадались ему позднее повсюду на большой земле — на вокзалах, в общих вагонах, в очередях, во всяких избушках, и, сталкиваясь близко с ними, сразу превращался он в маленького, тихо изумленного Женю. «Живем, пока живы!» — кричал в нем голос Никиты Ивановича. «Когда гуляешь — все видят, заплачешь — никому не заметно», — вспоминал мать.

И правда.

На другой день свадьбы, под вечер, Никита Иванович внезапно пропал. Только что потешался, плясал и как в воду канул. Физа Антоновна забеспокоилась, подождала еще с полчаса, накинула чужое пальтишко и легкий платок, вышла с Женей поглядеть его на улице. Спускались январские сумерки, за огородами нарастало сугробами поле, ветер бесконечно дул и волочил снежную пыль в другие деревни, на запад. Не боялись вот селиться когда-то тут люди, хотя кругом такая жуткая пустота. Зато как тихо, как, наверно, вольно пацанам в летнее время и как таинственно слушать в волчьих морозы сказки и были стариков. А Никита Иванович жил тут с детства и, наверно, потому и вырос таким бесшабашным и неунынным.

Они прошли с матерью закоулочек, вдали кто-то стукнул о приступки топором ли, лопатой, и затем они услышали вздох человека и остановились, испугавшись. Впереди ничего не было, белел понизу снежок, и справа, на краю спадающей к речке земли, черной промерзлой тенью высился тополь.

— Физа-а... — звал жалобный мужской голос. — Физа, иди сюда... Иди посмотри...

Женя подумал, что отца кто-то ударил.

Физа Антоновна побежала к тополю.

У Жени все опустилось внутри! Что они будут делать, если не станет Никиты Ивановича? Он побежал тоже и обогнал мать.

Никита Иванович обнимал ствол руками и плакал.

— Что с тобой, что такое? — спрашивала Физа Антоновна, склоняясь к нему. — Перепил?

— Старенька-а... — выдохнул он, стирая рукой слезы и сморкаясь.

— Вот новое дело, — сказала Физа Антоновна. — Не хватало только тебе заплакать. Смеялся, песни пел — и на тебе. Да что такое?

— Какое ваше двадцатое дело.

Вдруг он, кажется, повеселел, скривился в улыбке, вздохнул и опять высморкался. И опять замотал головой, растирая слезы.

— Женья, сынок! Смешно, что отец плачет, сопли распустил? Бык тоже здоровый, а и ему кольцо в ноздри продергивают. Вот, видишь, подойди, сынок, вот тополь, у которого я рос, а тут два метра — и дом наш стоял...

— Ну чо ж теперь... — сказала Физа Антоновна. — У всех у нас свой дом был... Этому не поможешь.

— Пап, — тянул его Женья, — пойдем, замерзнешь...

— Лошадку как запрягешь, выведешь, а она аж блестит! Нема делов, — сказал он слабо. — Не хочу вспоминать. А где моя фуражка?

— Ты ее надевал?

— Разве? Ах, старенька, ты, да я, да мы с тобой... Они что, — показал на Женю, — ничего еще не понимают. «В одном прекрасном месте, на берегу реки-и», — пошел вперед и запел. — Сынок! Видал, как меня уважают? Вот. Видал, как встречают Никиту Ивановича?

Звездным далеким светом покрылась деревня. Женья шел, поддерживая Никиту Ивановича, и думал о своем доме, об осине в палисаднике.

Перед двором Никита Иванович стал дрыгать ногами, и, войдя в дом, где без него на время все стихло, он быстро переменился, недавние переживания свои как отрезал.

— Жить стало лучше, — он протянул руки, как чтец, — жить стало веселей: шея стала тоньше, но зато длинней.

Этого было достаточно. Все засмеялись.

— И стоит без шапки у тополя, плачет, — простодушно и весело сказала кому-то Физа Антоновна. — Так и замерзнуть можно.

— Нашел об чем плакать! — удивилась Демьяновна, не снимавшая мужских брюк. — Да мы не такое теряли. Раньше я девушка была, а теперь где лягу, там и мягко.

— Нема делов! — Никита Иванович пошел за стол. — Что вы скисли? Нема делов! Чей бережок, того и рыбка. Баянист, давай. Ладом, ладом только!

И снова хозяева и гости были довольны Никитой Ивановичем. Жене так и запомнилось: Никита Иванович всем очень понравился. Физу Антоновну тоже полюбили, как любили ее всегда и везде.

— Физа, милая, — говорили ей, — как же мы тебя раньше не знали, сколько раз останавливались у Моти, мясо привозили торговать, ну, слышишь — «Физа» и «Физа», а это ты, оказывается. Теперь как повезем сено на базар, буду знать, где моя новая подруга, может, еще и ночевать пустишь. А мы в долгу не останемся. И ты, Физа, не обходи нас, как что — и приезжай со своим. Он, смотрю, веселый у тебя, наверно, ладно живете. А насчет сена — как не хватит вам до марта, то пусть Никита звякнет, не посчитает за трудность, мы уделим возок. Тесней надо жить. Друг друга не пожалеем — никто больше не пожалеет. Ну, Никита Иванович, — обращались тут к нему, — как жена мне твоя понравилась, какая она у тебя молодая душой да спокойная, где ты ее, черт носатый,

нашел? Жалеть должен, с таким характером не каждый день попадается.

— А то я не жалею. Скажи, старенька!

— Ой,— отгалкивала его Физа Антоновна, смущенная и довольная, в надежде, что после этого немножко старательнее будет, подумает.— Сиди уж.

— Нормально! Приезжайте смотреть, как я живу. На полу, а полу-жу. С огорода — на целый год жрать. Сколько мы нонче насолили? Кадки четыре будет?

— Да ты что! Кадушку я насолила.

— Ты тоже трепушка не хуже. По соседям не бегаем. Сыновья в шелковых кальсонах.

— Проживем как-нибудь,— стараясь угодить мужу, говорила Физа Антоновна.

Она не выносила сору из избы. Она всем отвечала, что живет ничего, с неба, конечно, манна не сыплется, но не жалуется во всяком случае. Она многому научилась за время войны: тому, что никто не постарается, если сам не добьешься, что у каждого своя жизнь и в каждой семье свои недостатки, что лучше перемолчать, чем лезть с бабскими криками, что всегда и во всем следует, по совету отцов, не поддаваться на злобу, а жить, как положено хорошему человеку.

Она ждала, чтобы поскорей вырос Женя.

А Женя был еще все-таки маленький и слепой. Его чему-то учили там в школе, и он мало размышлял о Широкой улице. Однако и от него порой не скрывалось что-то неладное: например, в их семье отец не разговаривал два-три дня с матерью, ужинал после работы и ложился спать поверх одеяла в брюках, напуская на себя какую-то обиду.

Но вдруг приезжали из Верх-Ирмени колхозники. Растворялись тогда ворота, тесно, шурша сеном, проталкивались меж столбов возы на санях, заслоняли во дворе вид на соседские окна, лошадей ставили в огород, поднимались к небу оглобли, а изба наполнялась кисло-прекрасным духом сыромятных ремней, овечьих тулупов, на кудрявой теплой изнанке которых спали колхозники. Сени заваливались мерзлыми телячьими тушами, дугами, упряжью, на печке подсыхали туго обтянутые литой резиной валенки, до полуночи висел под потолком махорочный дым, и Физа Антоновна часто раскрывала двери в холодные, подернутые инеем сенцы. Тотчас забыв о недоразумениях с женой, Никита Иванович присаживался чистить картошку и ласково покрикивал:

— Ты, старенька, по-скорому отвари, а то гости с дороги.

По воскресеньям Никита Иванович помогал им торговать. Крик стоял во всем ряду, и никто не мог так привлечь покупателя, как он. Изредка согреваясь глотками из чекушки, приплясывая, подманивал он покупателей к своим весам.

— Ну, молодой человек! — кричал он. — Берите последнее. За пол-цены отдаю.

— Старое?

— Кого! Телочка молодая, девушка, семнадцатый годок, замужем не была.

— Ну, это не Никита Иванович, а черт! — хвалили его вечером. — Как скажет, так продаст, как продаст, так еще скажет. Сено — не успели воз подогнать, он уже, ровно чужой, идет цену набавлять. Что твой цыган.

Это было приятно слушать, и думалось, что если достатка и нет, то он будет завтра, потому что в это верит и сам Никита Иванович, верит совершенно серьезно, без всякой брехни.

196 ... 2.

...Ты, сынок, спрашиваешь, до се ли я покоряюсь всем, мол, на мне все воду возят. А что я, сынок, покоряюсь, я не покоряюсь, ко мне по-хорошему, и я по-хорошему, ну, когда и бывает — задерется кто-нибудь, да та же Демьяновна, например, знаешь, какая она на язычок вольная, с ней не хочется вступать в ругань, перетерпеть лучше, где и переплакать, а что поделаешь, наша доля такая — помалкивать. Ты там не качай права без толку, правды у людей не добьешься, себе только хуже сделаешь. Так припишут тебе за язычок — и пропал, не поймут, что ты из хороших намерений чего-то добивался, тогда и молчать будешь, да поздно, все будут пальцем показывать: а, вот он какой, мы его знаем. Нет, давай-ка, сынок, не связываться с плохими людьми, их не переспоришь, тем более если в кармане пусто и своей руки вверху никакой нету. Твоя мама усердием брала, а обижали — ну так редко кого в жизни не обижают. За правду, сынок, конечно, надо бороться, но сперва выучись, силу почувствуй, узнай, почему жизнь, тогда к каждому делу умное слово припасешь, а не так чтобы: покричал за компанию да разошелся и забыл. Советую тебе осмотрительней быть, ты развитой, не глупый, а иной раз такое завернешь, что страшно... А мама, она за всех переживает...

Глава восьмая

Никите Ивановичу производство выделяло траву далеко в лесу. Помнит Женя приготовления к отъезду.

Физа Антоновна покупала хлеб, дешевую колбасу, сворачивала в одеяло рабочую одежду, старалась расторгнуть за остаток дней молоко. Задержка всегда была за машиной. На скопленные деньги брали несколько бутылок водки и добавляли бидончик «со своего завода» — рыжей мутноватой бражки на сахаре и дрожжах. Никого нельзя обделить: будь то завгар, подписывающий на законном основании в далекий рейс путевой лист, будь то объездчик в лесу, отрезавший делянку, или просто помощники, свой брат рабочий. Скупись не скупись — без этого не обойдешься.

Жене и Толику отец готовил маленькие литовки.

Хозяйство оставляли на соседей. Дружили домами не первый год, еще с ненастных дней войны, и навечно врезалась в память эта скорая готовность к помощи и сочувствию. Беднее были — как-то лучше выручали друг друга, потом уже, когда понаставили каменных домов, повырастили детей, стали потихоньку завидовать и порой ссориться. А тогда любо было глядеть на сборы в дорогу — на покос ли, на картошку.

— Если что, — попевала Демьяновна, — я корову привяжу и подою.

— Да ладно уж, — довольная, отказывала Физа Антоновна. — Мотя подоит, я на нее оставляю все тут, если захочешь, распоряжайтесь вместе. У кого когда время будет. Молоко пейте, придет кто купить — налейте, а что останется — отдавайте этим: баба у них слепая, у них детей много. Ведро эмалированное поставила в сенках, помидоры, какие посекали, сорвите да в корзину, огурцы, если сможешь, насоли кадочку, а я тогда в долгу не останусь. Тут, может, Груша придет, я ей обещала чугунок пороссятам варить, дашь ей, он под лавкой в сенках. Что еще? Ровно все.

— Не сомневайся. То ты не знаешь меня, — кричала Демьяновна. — Я лишнее все пораскидаю. Приедете — одни стены. Дай вам бог.

— Ой, да хоть бы трава хорошая попалась. Шутка — в такую даль забраться. Да не дай бог дожди польют.

— Я телеграмму отобью: корова сдохла, приезжайте хоронить.

Они целовались, крестились, Физа Антоновна даже всплакнула. Внезапно как-то жалко было оставлять дом.

Уезжали с росой — на ранней зорьке. Женя просыпался позже всех; дальняя дорога, которой он радовался с вечера, заспанному была нежеланной, за часок-другой сна он, казалось бы, отдал все на свете и уже сожалел, зачем у них корова, о которой думают больше, нежели о человеке, зачем дальний покос, поспать бы, поспать.

— Вставай, сынок, вставай,— толкала его мать, обычно дававшая понежиться,— вставай, там доспишь.

Никто потом его так не жалел и никогда не звучал так ласково голос. Сама она вроде бы и не спала. Удивительно, когда вообще спят русские женщины. Куда бы он потом ни поспешил — всюду впереди были женщины. Боже мой! Как можно забыть свой порог и руки сестер и теток, поднимавших на печь чугунки!

Помнится, до глубокой ночи сверкала над Женей лампочка, мать что-то доваривала, подшивала, укладывала и под утро лишь вздремнула на часок. Еще не доили коров, и солнце еще тонуло где-то в море на востоке. Никита Иванович, ткнув для бодрости стаканчик, заорал: «Ой вы гуси. гуси молоды-ыя-я» — и, посадив мать в кабину, залез в кузов к ребятам.

— А веревку ты взял? — спрашивала Физа Антоновна.— Держите бидончик крепче, молоко выльется.

— Я флаг сошью к вашему приезду! — кричала Демьяновна.

Никогда уже не повторится это, не собратъся им вместе. Уже взрослым Женя все как-то старался задержать утекающее, долго видел детскими глазами поэзию там, где взрослые просто жили, старались и торопили дни.

Но, может быть, думал Женя порою, настроение счастья создавалось Никитой Ивановичем, и Женя, к сожалению, к счастью ли, никогда этому не научился — не научился обманывать самого себя.

На пути их стояла древняя Колывань. Падали от ее домов луговые тропы к большой реке, зноем дымились леса, конца краю не было зеленому сибирскому небу. Жизнь обещала заглотнуть за последними рядами деревни, за стадами коров и полянками, но детское воображение ошибалось: под горою, точно прибитая, темнела на голубой воде облинявшая пристань.

— Ну, бабоньки,— говорил Никита Иванович в кузове деревенским пассажиром,— на бензинчик, на бензинчик. Дорого не берем, брали бы больше, да милиция не позволяет. По рубчику с рыла.

Женя и Толик отворачивались, стыдно же было просить за провоз на казенной машине.

— На четушку бензинчика уже есть,— усмехался Никита Иванович и часа через два объявлял, прыгая из кузова прямо на крыльцо магазина без окон:

— Остановка «Сельское по»!

— Никита Иванович, здорово! — тыкал его в бок какой-то косой мужик в кожаной фуражке.

— Здорово, как жизнь? — спрашивал с ходу Никита Иванович, словно ненадолго разлучался с мужиком.

— Ничего.

— Достань там огурчиков,— обращался он к жене,— угости, у них в деревне такого нету. Хе-хе. Живем ничего, кто с базара, а мы на базар.

«Куда ни приедет.— с недовольством слушала Физа Антоновна,— все у него друзья, и когда он успел их порасплодить? Сейчас угощать

будет. Вот наказание. И тучи находят, в самый бы раз ехать, еще вон сколько лесом».

— Старенька, у тебя там мелочишки не найдется?

— Никита, ты куда собрался, ты думаешь или нет? У каждого угла будем...

— Пригодится.— Он моргнул жене по-деловому, но она-то знала, что все впустую.— Я мимо не лью.

— Не льешь. Поворачивай тогда назад.

— Да хватит тебе уже! — Толик брал его за руку.— Мам, не давай ему.

— Да поедем. Никит, что пустое молоть, кому это понравится?

— Дай с человеком поговорить, успеем. Пусть трава подрастет.

В то время, как мать упиралась и мучительно подчинялась неотложным делам, Никита Иванович умел находить усладу в любой мелочи, и чем скорее дорожка уводила от главного, тем готовней он поддавался, откладывая на дальнейшее заботу, утешал себя, что вот потом-то он и возьмется за главное, а пока передохнет. Ему всегда не терпелось передохнуть, и он все обманывал себя. А Женя толкался возле него и не спешил, хотя до потемок еще было ехать и ехать, провожая глазами мостики и поселения и босых девчонок, к которым уже странно влекло его. Стеснительность была дана ему от роду. И даже в лучшие славные дни и он и мать его не избегали в себе робости, когда, кажется, будто все на свете лучше, чем ты. «Как-то совестно,— говорила мать по всяким поводам.— Ровно в чужой карман лезешь. Пусть люди похвалят».

А Физу Антоновну отвлекали свои мысли — она точно все складывала и вычитала в уме, косила, поднимала навильники с сеном, думала, сколько понадобится бражки на угощение, сколько денег уйдет, пока поставишь стог в огороде. Только бы справиться вовремя — начнется осень, ребята пойдут в школу, опять нужны обувка, теплые штанишки, книги... Никита Иванович пел в кузове, ребята смеялись, и она глядела на дорогу и не чаяла добраться до места, казалось, не успеет — либо трава посохнет, либо захватят их делянку другие.

Мысли перескакивали с одного на другое, и всплывали картины, слова. Вспомнила письмо Паши, Парасковьи Григоровны, как она подписывалась в конце длинных, без запятых строк, давней ее подружки, оставившей Кривошеково после войны. С нею еще в деревне сошлась Физа Антоновна, в один месяц, на масленицу, вышли они за братьев Ивана и Василия, в одной комнате жили на заработках в Донбассе, гуляли, крестили детей и не разлучались в Сибири, особенно когда проводили мужей на войну.

Сникшее лицо Физы Антоновны с напухшей у брови бородавкой грустнело, замкнутый взгляд видел что-то далекое, ведомое ей одной. Не так уж часто выпадали в ее житье-бытье минуты, чтобы ненадолго всколыхнуть забытую пору и удивиться, будто не с нею это и было. Самое главное — иметь рядом человека, которому всегда охота пожаловаться в печали. Без такого человека трудно — она убедилась. Перехватить денег, попросить на кваски под варенец, перетаскать сено, покараулить дом или посмеяться в хорошем настроении — кого-нибудь сыщешь. Но для доли душевной очень редко. И Паши вот не было уже сколько лет. Время пролетело, как в песне, которую они, бывало, тянули вдвоем в застолье, и все надежды перенесли они теперь на своих деток.

Физа Антоновна отчетливо сознавала, как не просто будет ее сыну на своем веку. Вот сидит он сбоку вместе с Толиком, неродным, а привычным, сидит еще ребенок, все с книжкой, и, худо ли, бедно, сидит возле матери: она и поругает, она и погладит. А вырастет, попадет к чужим людям да, не приведи господи, в далекую сторону — кто последит за

ним, кто построжится, кто вовремя пожалеет? И она только и будет гадать: где он, что с ним, обедал ли? Спасибо хоть уберег его бог, единственного из шестерых, поумиравших грудными, ну что бы она делала теперь, во имя чего жила?

Она, вздохнув, чувствуя в сердце любовь ко всему живому, лезла рукой в мешок, брала круглые ташкентские яблоки и неожиданно предлагала Жене, и Толику, и отцу в кабину, сама же и не надкусывала.

Небо кололо звездами, и непонятно было, когда доедут до места. А место, где они косили несколько раз подряд, всем очень нравилось. «Курорт! — восклицала мать. — Настоящий курорт».

Вот какое-то утро какого-то дня. Белый дым еще ползает над прудом за дсмиком, в котором спят на полу ребята.

— Подымайсь! — будил громкий голос. — Спать, что ли, приехали! Уже все девки заждались. А ну-ка по-военному! Лошадь ждет, мать завтрак сварила.

Отец слергивал одеяла и щипал за попку. Ребята вскакивали и выходили на росистые ступеньки крыльца.

— Бегом, бегом, пока девок нет, — гнал их Никита Иванович. — Вон за угол. Жалеешь ты их, мать, разбаловала. Вот так женятся и будут обед в постели встречать.

— Им только и время понежиться. Еще успеют намаяться. Не дай бог, корову будут держать.

От пруда тонко текла прохлада, круглые его берега блестели травой. Мошки вихрились над сонной водою, чуть тронутой первым широким ответвом восточного неба. Никто не угадает, что таится под этим ровным сверкающим покровом, только у края чувствуешь, опустив ногу, жидкую землю, а через шаг, через два — падаешь вниз с головой. Пруд мигом становится живым, шелково-скользким; Женя пугается омутов, пиявок и, не добравшись к другому берегу, поворачивает и с испугом плывет к колышкам.

Всего в нескольких шагах мать расстилает на траве мешковину под хлеб и посуду.

У телеги возился с низенькой худой лошастью дурачок Коля.

— Садись с нами, Коля, — с преувеличенной серьезностью звал Никита Иванович.

— Благодарю, — отвечал Коля. — Я съел две пол-литры молока и даже обожрался.

Женя помнил, как был на покосе последний раз. Никита Иванович брал тогда в помощники Демьяновича. Демьяновичу некуда было девать свои отпускные дни: по курортам не ездил, выпивать не любил, сидеть же с утра до вечера дома душа тоже не выносила, тем более что жена его совсем распустилась, шастала по дворам, смеялась да плясала, и никакого сладу с ней не было. По дому он справлялся один. С каких пор еще приучила Демьяновна мужа обедать в столовой, на работу уходил с куском сала, и ужин не всегда поспевал к его приходу. Он подметал в ограде, поливал в огороде, встречал корову, что-то закапывал, пристраивал и постепенно привык к одиночеству.

— Ты бы ей поднес раза два под глаз, — советовали мужики. — Она тебя за тряпку считает.

— Ну, я-то ее получше вашего знаю. Ее ничем не возьмешь. Такая уродилась. Пес с ней. Хватится, да поздно будет. Наверно, сразу надо было учить. А раз спустил — потом не поправишь.

Женя так и не узнал его до конца, был слишком мал, потом совсем потерял его. А на покосе, на вольном воздухе, Демьянович становился неузнаваем. Вот еще секрет жизни, понятый Женей уже в юности: толь-

ко присутствие располагающих к себе людей помогает человеку раскрыться. Наверно, в работе только и было хорошо Демьяновичу. Крупный, сильный, он ворочал за четверых и этим немножко унижал ленивого Никиту Ивановича и даже подшучивал над ним, на что у Никиты Ивановича не находилось почему-то достойных ответов. Демьянович широко заносил косу и дрожавшим голосом заводил песни, которые ему передались от дедов, еще от тех, кого орловский барин выменял на ворон, дал им вольную и тем самым пустил в дальний сибирский край.

Но едва кончали работу и садились подле костра возле чашки с картошкой, вступал в свое Никита Иванович, и Демьянович уже снова был тих, скромн и неуклюж.

Чаще другого вспоминали войну.

— Там у них, Демьянович,— рассказывал Никита Иванович,— особенно у немцев, кладбище — как музей. Скульптуры, каменные гробы, идешь — ну точь-в-точь по музею. И цветы, цветы, деревья. Не жалко и лежать. У нас этого нет. Матушка Россия закопала, фотокарточку прилепили, как дождь пошел — смыло, крест опустится, бурьян, ограду из труб сварят — лежи! Учитель какой-то к своей жене ходил. Не поверишь — каждый день! Дождь, снег — ему все равно. Круглый год могила в цветах. Я, дай-ка, откину копыта, кто ко мне ходить будет? Физа? На родительский день только что. Ребята забудут.

— Не забудем,— уверял Женя.

— Только уговор: с поллитровочкой приходить. С «московской». Стаканчик мне нальете. А пить там нигде не умеют. Нальют в бокальчик кислого и cedят сквозь зубы. Ну что нашему брату тянуть резину, да подь ты к черту, раз — и там... А дороги какие! Ну, правда, и земли-то там мало, у нас до Колывани сколько — это область, а до востока еще столько! Широка Россия, а отступать некуда! Кто сказал? — выкрикнул он и облизнул языком губы.

— Кутузов.

— Я!

Демьянович смиренно слушал и, чтобы подавить смущение, часто кашлял в кулак. Он не воевал, ему давали бронь как лучшему мастеру на заводе.

— Да-а...— кричал он,— да, конечно... нам бы надо не так жить. Земли вон сколько.

— Сомнения нет! — поддерживал его Никита Иванович.— Разве я думал, что мы с Физой по сто сорок литров молока будем налог относить? Только молоком одним, а это еще не все...

— Ну, а что, Никита Иванович,— спрашивал его Демьянович, как лектора, словно меньше всех понимал обстановку жизни,— война-то будет? Вон в Корее, видишь...

— Не...— Никита Иванович отводил рукой его опасения.— Нема делов. Наши тоже не моргают. Не думай. Сейчас те-ехника... Не, это дело такое. Всем по мозгам дадим. Вон знаешь в ту войну еще, сто лет назад, один адмирал писал, в Севастополе, говорят, его слова висят: преклоняюсь, дескать, перед мужеством русского солдата, пусть поищут такого в других нациях со свечой! И верно. А куда денешься? Так. Четыре года, подумать страшно, что мы вынесли. И не болели! У меня язва желудка была, в болоте полторы суток сидел — ни хрена не чувствовал! Не, Демьянович, не бойся, еще попьем водочки.

Сколько бы ни слушал Женя мужиков за вечерней беседой и тогда и после, всегда возникало в нем чувство спокойствия и гордости. В самом деле, спокойно было рядом с Никитой Ивановичем и Демьяновичем. Он и ложился к ним поближе, временами испытывал желание скрутить

такую же «козью ножку» и порассуждать о чем-либо, да куда там: умишко был незакаленный. Мужики на покосе у костра, на завалинке, в буфете у стоек, на стадионе, в компании после какого-нибудь горячего дела! Есть ли что прекраснее на свете их слов, грубых шуток, историй, их смешной мгновенной щедрости, внезапных признаний друг другу, заключения споров «на что хочешь» — и порою слез, и вздыханий, и тайных откровений! Как тесно иногда может жить человек!

Может, тогда и воспитался Женя.

Он потом часто навещал старые места — только бы поглядеть, только бы убедиться, что они не исчезли. А они были, и была сенокосная пора, и последний стог на широкой поляне, который они утапывали с Толиком. Демьянович кидал самые грузные навильники. Никита Иванович попевал вслед за ним и, отходя, по-жеребьячьи орал, вызывая смех.

— Ладом, ладом топчите! Подчистую. Вот так, старенька,— он поворачивался к Физе Антоновне,— а ты говорила: не хватит. Хватит! Кому другому, а нам по горло.

Он кинул вилы в сторону и принялся танцевать, дурашливо ломаясь и высовывая язык, как во дворе в хорошие дни.

А Женя все смотрел, все смотрел и восхищался. Он не понимал еще в те минуты, что Никита Иванович замолкнет в его памяти не только бесшабашным, но и загадочным.

Развесистый воз сухого, с цветами сена покачивался под топтавшими его наверху детскими ногами, еще далеко было везти его, следить, как бы не растряслось оно по дороге и не перевалилось набок. В этом стогу заключалась жизнь. Физа Антоновна вскидывала глаза к облакам, молила их не сгущаться и переждать. Воображение Никиты Ивановича играло вовсю. Что ему дожди, ему — шоферу первого класса. Обманчивый ум его наслаждался мечтами, дом стоял вдалеке полной чашей, откуда-то рекою текли в карман деньги, переносил он погреба, заборы, заводил обстановку и уже красовался перед соседями, вызывая зависть, уже не знал, куда поместить себя в жизни повыше — все вроде было!

А стог еще лежал на машине. Демьянович, пока Никита Иванович прижимал вилы под мышкой и дымил, отряхивал сено со всех сторон, подчищал внизу, выдергивал руками пучки и никуда не спешил, готов был и завтра еще косить, согребать...

— Скорей, скорей,— говорил Никита Иванович.

— Тебе лишь бы как,— сердилась Физа Антоновна.— Один уж раз отмяться.

— Да чего там! Двух коров прокормить можно.

— Трех.

Никита Иванович считал, что она, Физа, из ничего выдумывала лишнюю работу. Но что самое интересное — ребята были на его стороне, зуд нетерпения тоже томил их.

Наконец побросали наверх фуфайки, обвинили литовки тряпками, Никита Иванович отошел полюбоваться назад и сказал: «Ну, слава богу»,— а Физа Антоновна попросила:

— Подождите. Еще веников наломать.

Плечо у нее побаливало — прижали ее как-то в очереди к дверям, когда давились в универмаге за клеенкой,— и устала порядком, тоже с удовольствием залезла б на мягкое сено и помчалась домой, но надо довести до конца: за нее никто не постарается. Ломая березовые ветки, она напоследок разогрелась, почти счастливая вынесла зеленую охапку и сказала:

— Кончился наш курорт. Если б ребятам не в школу — и не уезжала бы!

Оставив мужиков курить и разговаривать, она пошла к стану сама, там Толик топил летнюю печку и дымом разгонял комаров.

— Да-а,— повторял Никита Иванович, наполняя стакан,— вот это мы дали! Какой воз! Красавец! На базар вывезти — три-четыре тыщи с закрытыми глазами ладут. Вы как хотите, а я допью. Чтoб коровка двадцать пять литров в день — и нема делов. Сено уже в городе.

— Ты сперва привези, поставь.

— Утром в семь ноль-ноль дома как штык. Поедем в ночь.

— Кто это в ночь едет? Утречком, на зорьке, и поедем.

— Как звать? — Он схватил за локоть Физу Антоновну. — Перед начальством не спорить. Начальство за вас думает. Повалитесь на верхотуре — и спать, не все вам равно? Едем!

— Выпивши поедешь — права отберут.

— На всех не угодишь. Это, Демьянович, в позапрошлом году едем с картошки, останавливает меня товарищ в фуражке. «Почему за рулем пьете?» — «Я за рулем не пью». Повели в участок. Я права скинул Физе, вышел. «Документ». — «Документы на проверке. Можете позвонить в город Кипиной Дуньке». — «Какой Дуньке?» — «Кудрявая, — пускаю пыль, — девяносто килограммов весу, в ухе серебряную подкову носит». — «Вы не забывайте, где находитесь». — «Нету документов! Не верите? Обыщите! Могу штаны снять, одна голая задница, факт налицо». Расстегиваюсь. Уморил от и до. Ржа-али. Однако на пол-литру пришлось дать. Сатира и юмор.

Немножко отдохнули. Женя и Толик искупались в теплом пруду, кричали, как лешие, звали к себе дурачка Колю, надеясь почудить над ним по-отцовски, и, когда обсохли, натянули штанишки и рубашки, жалко стало расставаться с деготной густотой леса, с костром, с печкой, на которой серебрились чугульки, со спутанными, пущенными Колей в ночь лошадьми, с самим Колей. Они потрясли его черствую руку, месяцами державшую вожжи, и сложили ему в мешочек остатки консервов, масла, хлеб и спички, сторожу мать отдала стаканы, ложки, бидончик из-под молока, и, покачиваясь, задевая сеном листву, поехали на длинную, ускользящую вперед струю света от фар.

Ребят не впервые заставала в дороге темная ночь на отцовской машине. Ночью. наедине со всем миром, было даже интереснее, и они часто просили взять их с собой. То раскинешь ноги в кабине и слушаешь старую песню горластого отца, то прячешься от ветра в кузове — один или с попугачком, — и всегда видишь звезды, как на воде, стекающее к земле небо, черноту затаивших все живое полей. Крестами протянется неогороженное кладбище, и не подумаешь еще, что тебе тоже когда-то лежать под холмом, как всем. кого ты знал и кого не видел. Нету пока смерти для тебя, она назначена кому-то, ты еще не взял от земли отпущенной тебе доли, еще не обмахивали тебя на свадьбе веником по голове, и не били перед молодыми наутро посуду, и не собирали тебе узелок на войну, и не пропал ты еще для родной души без вести на широкой земле...

Ехали без остановок, а когда машина на минуту тормозила, Физа Антоновна прыгивала на землю и окликала лежавших в сене Демьяновича и детей:

— Не дует вам? А то укутайтесь олеялами.

— Нормально, ехор-мохор! — кичал, подражая отцу, Толик.

Отец пел не переставая. Женя лежал на спине и глядел на небо, на звезды, искал Большую Медведицу. И Демьянович, и мать, и отец знали: небо — небо и есть, и чему удивляться? Как и бабушка, они знали, что если оно затягивается тучками с севера — к ветру, если на нем красные облака до восхода — к ветру, если радуга вдоль земли — к

дождю, если поперек — к хорошей погоде. Мудрый Демьянович знал землю, и песни он любил понятные, и все, чем ни жил, было ясно как день, а попробуй раскуси, что у него на душе.

Спина Демьяновича закрывала их от ветра, но вдруг она колыхнулась, вскрикнул Толик, и в короткой тишине они тюкнулись с глухим звоном о твердые ведра и вилы.

Женя открыл глаза и снова увидел спокойное небо с высокими звездами. Ведра и грабли валялись около, и под руками была земля. Он пошевелился, привстал с болью в коленке.

— Ой-ей, ой-ей,— плакал материн голос,— ребята убились! Толик, Женя, где вы?

— Здесь, мам.— Хромая, Женя пошел ей навстречу.

Мать ощупала его.

— А Толик? Толи-ик! А Демьянович живой?

Толик уже стоял вдалеке, прижимал локоть к животу.

— Ну, целы? — Никита Иванович вышел из машины и стал искать Демьяновича. Того отбросило дальше всех.— Демьянович! Сильно убились? Ты слышишь, ты живой, целый? И как я не заметил! — Он бил себя по ляжке, переживая и чувствуя стыд.— Ну, давай берись за меня, давай подниму.

Демьянович встал, туго разгибая спину.

— Говорила тебе: поедем, как люди добрые ездют,— с утра!

— Кто мог подумать, кто ж мог подумать, что так выйдет! Ну, ничего, ну, слава богу, живы... Где у меня папиросы? Паразиты, дорогу не могут выстлать, голову некому оторвать, сукиным сынам.

Он пошел, матерясь и горюя, отыскивая дорогу, по которой надо было ехать, плевался и винил кого-то. Грустно стало. Отдалились куда-то мечты, встреча с домом, трезво стало и пусто.

«Не хотелось же мне ехать, как чувствовала»,— думала Физа Антоновна. Демьянович молчал в стороне. Толик соображал, как будут поднимать машину.

Впереди выпирал мост через узкую речку, сбоку к нему поднималась ровная мягкая дорожка в два следа. Никита Иванович газовал напрямую. Торопился.

Апрель 196 ... г.

Добрый день, веселый вечер. Письмо твое, Женя, меня крепко огорчило, распечатала, обрадовалась, что большой лист написан, стала читать, на третьей странице остановилась, не могла больше слов видеть, как забилось в груди, появилась материнская обида, стала вспоминать, скольких лет ты остался без отца, как ты, мой сыночек, быстро вырос, я никогда не ожидала, что ты скоро женишься, я так плакала, мне казалось, что я для тебя буду уже не такая родная. Пишу письмо, а сама строчек не вижу. Я знаю, Женя, что это плохо, ну не плакать не могу. Если у тебя так дело складывается, то я тебя, сынок, благословляю родительским словом вступить в законный брак с тем другом, который останется на всю жизнь. Желая я вам счастья и любить друг друга всегда и везде, хотя я и поплакала, но не могу против жизни, так что уж я против ничего не имею. В тот день, когда ты писал, я себе места не находила, ровно чувствовала, и сон мне был какой-то странный. Жалко, что не смогу приехать, недостатки наши мешают, да и дом с хозяйством бросить не на кого, и далеко ты забрался. Если ничего не стрясется, увидимся. Желая быть вам счастливыми на многие лета... Деньжат пришло.

Глава девятая

Какое счастье — вернуться к своему забору, взглянуть на родные портреты по стенам. Только в родном доме висят одни и те же портреты. Неподвижные лица родителей с каждым годом становились для Жени моложе. А в жизни мать потихоньку старела, Женя догонял отца, уже вступал в тот возраст, когда отец нянчил и хоронил детей, братьев и сестричек Жениных. С гладко причесанным зубом, в плоском галстуке, глядел он с высоты день и ночь на пустую белую стену комнаты. Он и в братской могиле под Запорожьем лежал тридцатипятилетним, и если бы встал, не угадал бы ни сына, ни жены своей Физы с русыми кудрявыми волосами и свежим покорным лицом. В ночную бессонницу Жене верилось, что мертвые следят за живыми из своего темного сиротского мира.

В последние годы Физа Антоновна чаще и чаще рассылала письма по городам и деревням, где жили ее постаревшие подруги молодости. Было чем поделиться.

Сын стал гостем, к тому же приезжал не каждое лето.

Мать суеверно боялась за Женю: он повторял ее характером, тяжело ему будет такому.

Они чувствовали друг друга за тысячу верст.

По всей дороге, с запада на восток, торговали на станциях женщины в белых платочках.

— Бери, сынок,— говорили они,— с картошки поправляются.

Мать заворачивала картошку в листики из школьных тетрадок. Старательным детским почерком выполнял Женя когда-то упражнения по русскому языку.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» — переписывал Женя и тогда еще не содрогался от мысли, как это верно!

Мать говорила таким языком.

Еще в Москве и в вагоне он бывал добр и даже беспечен, по-особенному блестели его глаза, с легкой дорожной надеждой рисовалось ему его скорое и уже полное причащение к жизни и неслись в воображении, подобно полям и тропинкам, будущие спасительные для него и его матери дни. Только вчера, кажется, вынесла ему мать в дальнюю дорогу бидончик молока, переживая, чтоб не обворовали в вагоне, а вот уже и на ногах он, наступило его время.

Когда после первого курса Женя приезжал домой, то, едва умывшись, первым делом стучался к Демьяновне. Редко он находил ее в избе. Последний раз сидела она на траве в зимней шапке, в штанах, со страшными зубами, вырезанными из картошки.

Она изображала нищенку. Плела черт-те что. Она и инвалидка, ее и обокрали, и последнюю-то рубашку унесли, хибарка развалилась, детки ее бросили, а сама она едет-то из Белоруссии на целину — там, дескать, няньки нужны,— да ссадили ее с поезда, еле пустили. На все вопросы Демьяновна отвечала серьезно, правдоподобно и с такой выдумкой, что животы лопались. Несли ей, поддаваясь внезапному спектаклю, огурцы, хлебушка, вареных яиц и холодец на тарелке, и Демьяновна тут же, снимая картофельные зубы, с голодной жадностью заталкивала пищу в рот.

— А пожиже ничего нет? — спрашивала она.— Рыженькой, «ананы» нету? Говорят, в первом магазине выбросили, сбегал бы, кто помоложе. Лекарственная.

В первые минуты Женю одолевало разочарование. Он представлял ее почему-то другой, самой близкой подругой матери, он позабыл всякие нехорошие случаи и помнил только, как она постоянно выделяла его на улице, называя по-родственному, а потом провожала, плакала. А сейчас она уминала толстым задом траву и дурачила соседей.

— У, родненький мой! — Она бросилась к бледному, отвыкшему от нее Жене, который опять ощущал себя мальчиком. — Ух ты, сынок наш, Женечка, какой большой стал да красивый, приехал, голубчик, к матери, мы с ней тебя так ждали, я с радости — как чувствовала! — расчала сегодня баллончик и зубы в шестой поликлинике вставила, видишь, зубы белые, ровные, не из какого-нибудь железа, а от слона!

И смех и горе с этой Демьяновной.

— Это еще ничего, — говорила мать вечером, — а вот недавно у нас было уличное собрание, участковый милиционер насчет нового Указа говорил, как применять будут плетки за происшествия с хулиганами и пьяницами. Демьяновна пришла, снаряженная, как на большой праздник, губы намазала, слегка была выпимши, слушала, сидела в одном месте, потом перешла в другое: видно, хотела что-то сказать, но мало была выпимши. не посмела. Уйти с собрания было неудобно, ну а как она всегда находчивая, то будто бы кто ее позвал из баб. «Иду, иду сейчас!» — а и вовсе никто не звал, все засмеялись. Пошла и тут скоренько вернулась, сняла с себя праздничную юбку, цветастую кофту, заложила уже и быстренько подходит к участковому, говорит: «Товарищ участковый, вы меня извините, я вас не знаю, как звать-величать, у меня есть к вам партийно слово». Ну-у, конечно, пока сходила, уже и в партию записалась. Ой, это не Демьяновна, а... Я уж сколько на нее сердилась, да чо толку. «Пожалуйста, я прошу, чтоб плетки отменили, надо воспитывать народ ласковым словом та правдой, вот как я: чо ни сбрешу — все правда». Участковый засмеялся... Квартиранты ее не почитают, за свет не платят, как соберутся женщины против нашего двора и она подойдет — сейчас замолкают, никто на ее шуточки уже внимания не обращает, надоело. Одна я по слабости своей угощаю яблоками, говорю: «От Женю». Поблагодарила и заплакала: «Все ж одни вы всегда меня понимали, я виновата перед вами, а в душе всегда молюсь за вашу семью, до чего вы, Физа с Женей, милостивые». Конечно, тяжело ей в эти годы без хозяина, я на своей шкуре испытала. Села — и давай плакать по Демьяновичу: «Миленький мой, как я соскучилась, нигде я не услышу твоего голосочку», а потом запела «Сронила колечко».

«Обязательно надо позвать ее вечером!» — думал Женя, прощая Демьяновне беспутность, только жалея ее. И за широкое отношение к человеку он еще пуще любил мать.

— А я, сынок, — тихо сообщила мать, когда Женя приехал после третьего курса и они шли с вокзала, — я, сынок, продала наш дом. Купила через шесть дворов. Там и огород побольше, а в нашем пол завалился, ремонтировать — денег всадишь, и только, его все одно книзу тянет, старый, с твоего года рождения, при отце еще покупали. Был бы живой, рази...

— Денег хватило?

— Отдала, что выручила, да у соседей перезаняла. Выкрутимся. Первый раз, чо ли, крутиться. Наверно, до смерти.

«Ах, деньги, проклятые деньги, — думал Женя. — Всюду деньги, всюду деньги, как пел Никита Иванович, всюду деньги без конца. Можно бы хорошо заколачивать, ну тогда прощай совесть, прощайте друзья, которые тебя сразу же проклянут. Озолотил бы мать, чтоб и не думала ни о чем, отдохнули бы руки. Деньги, конечно, нужны, ну да как-нибудь, проживем и без них».

Их старый дом с голой осиною в палисаднике уже перестраивался новым хозяином. У ограды лежали кирпичи, забор повалили, сенки, хранившие до грустного дня отцовские письма, крыльцо, где так часто топал Никита Иванович, можно было только представить. Так всегда: появится новый хозяин — и начинаются его дни, будут копиться тут его воспоминания.

Обещал Никита Иванович отгрохать каменный дом, да не запас даже кирпичика. Конечно, уж не погреться на крыльце на зорьке, на первом солнечном кружке под окном. Из окна уже не взглянешь на сорок по легкому снежку, из бани кто пройдет — не сразу увидишь, как бывало. Все было и не вернется — и очертания, простор самих комнат, в которых ждал мамку в войну поздним вечером, в пугающем стрекоте ходиков, когда носила она молоко в девичье общежитие, передачи «Огонь по врагу» с Хмельковым и Ветерковым, молитвы, уже забытые, гости, колхозники, последние известия, песни, слезы, Толик... Поразительно, что накануне продажи явился Физе во сне Иван, до этого долго не снувшийся. Стоял перед зеркалом, а она якобы сидела на мешке с картошкой, мешок этот порвался, и картошка посыпалась, и Физа гребла, гребла ее руками к себе. «Это твой первый мужик не хочет, чтобы ты уходила из дому», — сказали соседки.

К приезду сына она припасала кисленького вина и бражки, и к вечеру стол густо обсаживался гостями. Перед этим Женя ходил в первую баню попариться. Там в гулком прохладном зале ожидания он на минуту присаживался на тяжелую лоснившуюся скамейку и мигом вспоминал такую далекую теперь послевоенную пору. В кассе, словно нарочно, словно чтобы растравить Женины чувства, так же сидел на низеньком стульчике усатый корявый инвалид, и так же в три часа заступал его сменщик на деревянной ноге, и они, постно переговорив в тесной кабине, даже не подозревали, сколько связано с ними у Жени воспоминаний. В бане всегда встречались месяцами не видевшие друг друга проводники дальних рейсов, старые товарищи, фронтовики. Жили в разных концах Кривошекова, а по субботам стекались именно в первую баню, потому что тут частенько торговали пивом из бочек. В том, как они стояли, рассказывали, как обмахивали лица мокрыми полотенцами, одновременно держа в руке кружку с пивом, в том, как узнавали друг друга, сближались, шутили, было много прекрасного. Дверь в раздевалку мужского отделения не закрывалась, слышался короткий стук тазов, слышались голоса: «Откройте двадцать восьмую», «Откройте тридцать вторую»...

Женя любил ходить с Никитой Ивановичем.

— Кто крайний? — громко спрашивал Никита Иванович и оглядывался. — Пар ничего? Кто пустит без очереди — дам свой веник. Из карельской березы, трофейный. Весь хмель вышибает!

Толик занимал в женском зале очередь для матери. Женщин почему-то всегда больше, и, значит, целый вечер будут они поджидать Физу Антоновну, а за вечер Никита Иванович не один разок наполнит большую кружку и домой пойдет чуть-чуть хороший. Везде он был своим русским мужиком; в парной открывал кран на полную и лежал, постигиваясь веником, на самом верху, пел песни. До сих пор, едва Женя сел на каменную скамью с тазиком, спина просила сильных рук Никиты Ивановича, натиравшего мочалкой до боли, его словечек: «Похудел, заездила какая-то сопливая». И все-таки что-то неизбежно тихо убывало, как убывает вода в отсутствие человека, вернешься — ее нету и наполовину. Сначала стихал, хуже ловился оттенок его голоса, неживым мерещилось в воображении лицо, потом реже вспоминался он сам, потом жизнь унесла старое чувство. Но иногда — и очень немножко — было и

старое. Иногда вспыхивало и пропадало: дом, крыльцо, какой-нибудь вечер, кусочек этого, кусочек того, кусочек, кусочек... Да и строже, без детской слепоты, стал он видеть его и вроде бы даже скорее глазами матери, нежели своими. И Женя с сожалением понял, что помнить прожитое ничего не стоит. Гораздо реже (и в этом все) удается впасть в свое давнишнее состояние, чувство, и тогда заметней, что жизнь и в самом деле проходит.

Он шел домой к матери, на свою Широкую улицу.

— Когда я тебя не встречала, когда я тебя не провожала! — отнимая веник, лезла Демьяновна. — Хоть ты и далеко, а мы с мамой думаем о тебе каждый день. Я знаю, ты любишь меня, я песни пою и сама не хуже любого сочиняю, только записывать некому. Ох, кто б пришел да послушал!

Жизнь менялась год от году, но все же неизменно было ее повторение в чем-то.

Рос, менялся и Женя. Взрослея, все больше убеждался он в простонародной мудрости, в том, что порою надо вовремя подчиниться жизни, вовремя прислушаться к ней, отступить иногда от своих снов и желаний.

— Да, братцы, — сказал на прощальной студенческой вечеринке товарищ, рубаха-парень, — кончилось наше золотое времечко. Были мы относительно равны, без знаков отличий, ночами бегали друг к другу за сухой корочкой, комнаты наши были всем открыты, и вот увидите, сегодня еще плакать будем на расставание, плакать оттого, как здорово мы жили! Что бы там ни писали в сборниках «Мудрые мысли», а человеком в наш век редко движет чистая идея. Большинство просто-напросто добывают кусок хлеба, с вечера и с утра думают об одном. Братцы мои, сейчас выпьем, но не дай бог, братцы, чтобы мы, — он встал, — беспечные, искренние хлопцы, поставили наши пусть глупые порывы в прямую зависимость от куска хлеба. Это так страшно! Давайте выпьем и останемся студентами из триста восемнадцатой комнаты. Хорошо ведь жили! Женя! Как ты нам копировал своего Никиту Ивановича: ехор-мохор, если бы не мой бы Алексей...

Этот прощальный вечер вспоминался Жене и по дороге домой, когда он возвращался к матери насовсем.

Он приехал и почти три дня ни к кому не показывался. Демьяновна ждала, когда же он позовет ее.

Утром петрова дня она проснулась с больной головой. Росный ходонок обдавал теплые ноги, она спустилась в огород, зевнула и фартуком вытерла рот. Одна, никто на белом свете ей не указ, она сама правила жизнью, с шуткой обходила топкие места и назад не оглядывалась.

Покричать через заборчик было некому: у новых соседей ставни закрыты до обеда, старики на пенсии, им спешить некуда, а сын их Марка, позавчера по пьянке гонявшийся с веником за женой, домой ночевать, по ее наблюдениям, не явился. У нее был меткий глаз, и она про всех знала секретное, ей везло, где она — там обязательно откровенность. А это помогало ей, когда надо было кого-нибудь положить на лопатки. Она знала, что приехал Женя, пусть рассерчавшая Физа Антонова таила от нее, но она слышала через окно, что Женя прибыл насовсем и без молодой — молодая на море, подозрительно, конечно, что он еще не показал ее матери; однако бабы — дуры, и только Демьяновна в курсе, что они живут хорошо. Парень серьезный, не из тех, кто лазает к ее квартиранткам в окно. Она сама рассказывала бабам, как опозорила молодого кобеля, прыгавшего от ее милицейского свистка в окно, да еще и прибавила, что прыгал-то он без штанов, потом она их отнесла в комисионный.

Нюхая табачок, Демьяновна обошла заросшие грядки, нащупала под вялыми листочками огурец и подумала, что неплохо бы к нему на похмелье стаканчик. А где его взять? Когда бросали Демьяновну все, она сохраняла надежду на Физу. Начинала она с жалоб на долю или спрашивала про Женю, неожиданно припоминала, во что он одевался, как провожали его и как они шутили с ним за столом при ребятах.

«Почему бы всегда ей не быть такой,— жалела ее Физа Антоновна.— И ей и людям приятно».

— Пора уже нам жить как-то...— говорила Физа Антоновна,— подружней. Уже дети какие, а мы все бузастимся, грязь собираем.

— А я всегда была за это. Вот придет Женя, и ты, Физа, посмотришь, как я его встречу. Как сына. Увидишь — ему дорожке Демьяновны никого нет. Даром что он тебя любит, что Никиту Ивановича не забыл, а ты забыла, меня он тоже уважает. Дай ему бог счастья и здоровья, у него сердца на всех хватит. Я баба не промах, я его как увидела маленького: «Ну, этот зря не обидит, у него на лбу написано». А вы говорите: «Баба Демьяновна языком треплет!» Баба Демьяновна, говорила Шама, все видит, бешова. Вот помру,— плакала она,— ведь все равно плакать да жалеть будете, другие похихикают, а ты, Физа, и сын твой все равно заплачете.

— Да я уже плачу.

— То-то я брешу, брешу, а потом опять к вам. Опять к вам. И так всегда будет: что ни случилось, а прибегу к вам.

А Женя и не прибежал. И впервые ей стыдно было пойти и навязаться самой. Впервые, может, она ловким умом своим заметила, что люди за эти годы куда-то ушли, переменялись в страдании и хлопотах, а она осталась в своей канители, в пустом доме, среди нестираных постелей и неполотого огорода.

Сегодня бы Демьянович уходил на пенсию, и она вдруг обрадовалась: значит, был предлог помириться.

«Петров день к тому же, куплю поллитровочку, позову их, они в долгу не останутся».

Она плакала у могилы Демьяновича:

— Все друзья-товарищи, Демьянович, в сваты лезут, а зачем мне? Не было, Демьянович, хомута на шее и не повешу. За таким мужиком жила, а теперчи за Кузю. У него на руке кольцо, рубаха черная, а воротничок белый. «Будешь моих внучат нянчить?» — «А сколько их у тебя?» — «Сколько будет». — «А, ну тогда, как внуки помрут, приходи ночевать». Лежишь, Демьянович, тебе что, для тебя жизнь только начинается, золотое царство видишь.

И как быстро повалило его, кто бы подумал. Вспомнилось теперь все хорошее с ним и хотелось вернуть здоровье назад, чтобы жить повнимательней. Каялась, нет ли Демьяновна до конца — об этом ей лучше знать. Но в тот день, когда скрутило его на тарном заводе, жена крестила двойняшек в чужой семье.

Умирал он в сознании, до последней судороги держался за краешек платья жены и мычал, наверно, просил жену не печалиться.

— Демьянович,— говорила ему Физа Антоновна,— потерпи немножко, оно пройдет...

Обмануть его уже было нельзя, он и умер на заходе солнца, и как ни принято сочувствовать вдовам, жалели прежде всего его.

— Почки отбиты,— заключили врачи,— наверно, падал когда-то...

С этих пор Демьяновна то и дело провожала покойников.

— Они без меня туда дороги не знают!

Не дрогнув, она искала несчастных в мертвецкой, обмывала, одевала их, закрывала глаза и связывала на груди руки тесемкой. Она, конеч-

но, не даром работала, благодарить ее приходилось долго. Частенько оказывалось, что она уже похоронила тех, кто и не думал умирать, и некоторых она относила на кладбище по два-три раза.

— Где ты была?

— Да бухгалтера хоронила. Который раком болел, в очках. Очень плохой был. Отвезли.

— Ой! Ой, Демьяновна! Я его вчера на базаре видела. Огурцы брал.

— А сегодня отправили. Вертолетом. Подумаешь — ну, ошиблась немножко. Не соврать — тоже неинтересно. Не все ж правду говорить, я устала от нынешней правды. Где правда была, там, знаешь, говорил Никита Иванович, что выросло? Да вы чо, бабы, скисли? Ну и жизнь настала! Не жизнь, а малина. Ушла еще со вчерашнего утра из дому и сейчас только иду, знаю, что меня никто не ждет и мне бояться некого. Покойник такой был, не любил, чтоб я по гостям ходила, перед смертью стал злой. А сейчас я барыня, дождалась свободы, никого не боюсь. Дура была, три года плакала, сколько слез пролила, слепая сделалась. На могилу, дура, ходила: «Милый мой, как я соскучилась!» Все на свете забывается, и чем скорее, тем лучше. Я теперь не плачу — если когда грустно на душе, то я пойду на базар, там есть буфет, продают на розлив вино, то я один стаканчик выпью, и на душе веселей. Что толку: по хорошим плачем, а плохие все равно дольше живут.

До полудня Женя загорал в огороде, потом рылся в сенках в старом чемодане, набитом книжками, тетрадками и письмами — своими, от бабушки, от тети Паши, Парасковьи Григоровны, дядиной жены. Какое бы письмо ни раскрывал, оно хотя бы одной строчкой, но напоминало о разлуке. Пять лет Женя провел без матери. Ложился и просыпался без нее, не видел, как пришел ее день, и лицо ее возникало перед ним реже, чем всегда. Так странно: несет тебя все дальше от матери, и ты ходишь среди посторонних людей, участвуешь в чьей-то судьбе, а та, которая не спала над тобой, будто еще двести лет просторожит родной дом и ты увидишь ее — еще не поздно. Да так ли?

«Мама, — писал ей Женя недавно, — не скучай, не печалься. Самая трудная полоса для нас скоро кончится. Вот-вот меня выучат — и начнется новое время, тогда тебе не надо будет таскаться с кастрюлями и занимать деньги и обо мне перестанешь думать с тревогой. Пожалуйста, не беспокойся, я не залезу ни в какое грязное дело, никого не обматерю напрасно, не свалюсь под забором, и никакая гадина меня не собьет. Ребята меня окружают — ты знаешь какие. А ты себя в обиду не давай, перестань, как ты говоришь, покоряться кому попало, чуть-чуть будь гордей, тебя любят, я знаю, но и пользуются твоим характером, как хотят. А я все равно вернусь».

Как сна его читала?

Вот писала тетя Паша:

«Теперь ты еще пишешь, Физа, что о себе уже не думаешь, только скучаешь за сыном. Я тебе верю, ну этой скорби нам уже не миновать. милая Физа. Я тоже осталась одна, дочка уехала на три года в Германию по работе, скоро год, много кой-чиво там себе приобрела, три ковра купила, нам бы их никогда не купить в другом случае. Годы мои подались уже старые, и не верится, что мне будет 12 июня 58 лет, скоро на сельмой десяток разменяю. Вспомни, Физа, какие мы были молодые, когда повышли замуж, не гадали о будущем, и ты вот просишь выслать молодое фото, какое — я даже не могу понять: на котором ты снята была с Иваном своим или на котором была снята со мной на крылечке, наряженная, красивая, бывало, все чего-нибудь начудишь, и не верится. А с тех пор наших мужей братиков все косточки сгнили, ну мы еще жи-

вем, да и нам пора уже собираться к ним. Всегда тебя вспоминаю только по-хорошему, роднее тебя ровно у меня никого не было, теперчи, наверно, никогда нам не увидеться с тобой, милая Физа, разбила нас судьба по разным сторонам. Сколько было горя пережито, и немножко радости между этим горем было, а теперь будто и горя нет, ну и радости большой тоже нет. Я живу хорошо, отвыкла уже жить так, как мы в Сибири жили, садили огороды, вспомню, как мы на базаре стояли-мерзли, то мне не верится, что это было, сейчас все есть. ну если смерть придет, ничем не откупишься. Теперчи, Физа, пропиши мне про всех, про всех знакомых, кто где, кто помер, там моя печальная жизнь прошла с ними, пропиши и про Демьяновну, у меня с ней никогда не было дружбы, ну интересно, что из нее получилось, была баба чудная, не могу вспомнить без смеха, наверно, и ее годы подкосили. Поздравляю тебя с великим октябрьским праздником, желаю тебе с Женей счастья и здоровья на многие лета, подними за меня рюмку, твоя сестра по мужу Парасковья Григоровна».

Женя опустил лицо на ладони и оцепенело сидел перед раскрытой дверью кладовки.

«Как жить?» — думал Женя.

— Надо жить, как бежит: просторно и вольно, — сказала Демьяновна непонятно к чему. — Если двумя стаканами губы разъело, надо поллитру принести.

Она пришла сама, со слезами потянулась к Жене руками, и он обнял ее, забывая про смутное свое недовольство. Подтащив к носу застиранный фартук, Демьяновна сморкалась, терла блестящие табачным оттенком глаза, плакала и смеялась одновременно.

— Миленький сынок, — сказала, — за то и люблю тебя, что ты всегда был смысленный насчет людей. Я специально на огород выходила, чтоб тебе покричать. А тебя, наверно, мать Физа неправильно настроила.

— Чего я настроила, — мягко ответила Физа Антоновна. Она сейчас бы помиловала любого. — Никого я не настроила. Он сам себе хозяин. Разберется без нас. Тебя б вообще-то стоило ругать.

— Лежачего не бьют. Пойдемте ко мне. Вы не ко мне придете, вы придете туда, где мой Демьянович жил. Я к тебе как домой, ты ко мне как домой, хочется ведь по-хорошему, правда? Не пойду ж я Утильщика звать, сопли в тарелку распустил, — изобразила она, — а Демьянович всегда рад был вам, а я по мужу рада. Давайте не обижайте меня, а то ты, Физа, такая стала...

Женя пошел первый, мать задержалась, прибирая комнату. Дом Демьяновны строился по-старинному, с высоким крыльцом, и внутри было просторно, широко, густо крашено и свободно от мебели. Четыре года назад, еще при хозяине, шумно и щедро обмывали на огороде окончание строительства. По-старинному и входили в него, соблюли дедовские церемонии, благо что Демьяновна отличалась редкой памятью на древние обычаи, как и на песни.

Весело было. Она ведь артистка! Талантливая, умная, хитрая, на пару с Никитой Ивановичем и вовсе неистощимая. Вот еще чем восхищались они Женю оба в старое время. И как умеют люди, однако, разбазаривать свой талант, пускать его по ветру.

— Ты книжки читаешь, — говорила она Жене, — а я и так все знаю. Вон у нас один лекции в саду читает, мелет абы что и все про одно... И мелет и мелет с бумажки цифрами. Хэ! Меня б пустили, все б слова в рот попали.

Сейчас Демьяновна босиком ходила из кухни в горницу, подносила к столу свеженькос, сопровождала все словом, шуткой.

— Так и живем, милый сынок, бутылки сдадим, маргарину купим — и довольны.

— Да куда вы наставляете столько? Не поедем.

— Ночь еще знаешь когда будет. До ночи съедим. Тебя ждала, — подчеркнула она, — для тебя, милый, и огурца не жалко. Физа Антоновна, занимай место возле сына. Взял бы да жену свою привез, мы б поглядели, как она тебя любит.

— Она у него переработала нынче, пусть отдохнет, к нам ехать-то не дай бог: туда-обратно, и отпуск кончится. Приедет.

Физа Антоновна точно оправдывалась и себя, казалось, уверяла, что с сыном не должно случиться плохое в семье. К тому же нельзя было смолчать, Демьяновна сказала с намском.

— Тоже переработал, строился, строился, Женя, сам лежит, а я с квартирантами живу. Как ночь — к ним в окошко парни лезут. По койкам разлягутся и... стыдно говорить при Жене, я б выразилась. Каждый день плачу. Сегодня бы ему на пенсию идти.

— Что ты плачешь, — сказала Физа Антоновна, — ты хоть пожила, а мы и не жили. Детей родили, а мужей не видели.

— Как услышу, где похоронная музыка, бегу бегом, провожаю, на могилу упаду, слезами оболью.

Демьяновна медленно скребла вилкой клеенку и смотрела в одну точку понурившись.

— Я его никогда не забуду, — сказала она спокойно и взвешенно, — но отвыкать отвыкаю. — А потом добавила: — Помру — чтоб похоронили, как положено. Рядом с ним положили.

— Места нет, — сказала Физа Антоновна. — Впритирочку к твоему Демьяновичу лежат.

— В одну могилу опустите.

— А это если райисполком разрешит.

— А вы Демьяновича откопайте, сторожу пятерку в зубы, притопчите Демьяновича и меня на него положьте. Обниму я его ручками. «Милой мой Демьянушка, сколько я тебе новостей принесла: дед Гришка помер, Домовой помер, Никита Иванович замерз. Дом наш пустой стоит». Помнишь, Женя, как ты придешь, он меня за руку: «Ну, Женя приехал, пойдём-сходим». Как красиво было. Красиво, дружно жили, или мне кажется? Давайте по первой. — Она подняла рюмочку с водкой. — Всяко бывает: грабли и то стреляют, — продолжала Демьяновна. — Вот Никита Иванович, отец твой, кто мог подумать, что так его бог приберет.

Физе Антоновне не хотелось слушать об этом, однако она перетерпела.

— Что мы делали, Физа, в воскресенье, я забыла. Не то у меня сидели, — соврала она, — не то я белила у тебя. Или нет: мы ж капусту возили на базар! На тележке моей. Я пристроилась к знакомой торговать пивом, себе баллончик нацедила, Никите поднесла, он еще капустой закусывал. И чо-то быстро мы, Физа, расторговались, однако и часу не стояли, народу перло больше, чем всегда, а ну выходной день, жрать надо, с магазина не больно напасешься. А мы еще потому быстро продали, что я с шуткой-смехом грозила, что, если брать не будете, мол, мы капусту в Африку отправим другим народам задаром, скоро без капусты останемся, прости господи, все свои, не выдадут, а милиционер услышит — я ему поднесу, он тоже выпить хочет. Домового теперь не страшно, он под каменным крестом лежит, в раю тротуары чистит. Может, не так что сказала? «Если бы не мой бы Алексей, Кипина Дунька б замуж не вышла», — говорил Никита Иванович покойник, вот его рюмка полная стоит, как бы он выпил ее нонче... И он, Женя, после базару на следующую

ший-то день на работу пошел, получка обещалась. Он к вечеру подцепил с дружками, ночь-полночь — его нету. Мать твоя ко мне, я к ней: «Пришел?» Уж и коров позакрывали, на ночь потянуло холодком, ветер. Полегли, ты, кажется, говорила, Физа, якобы не спала. И тут ровно постучали! Громко, несколько раз! Толик дома был? Ну да, был, это он после смерти, когда мать его заболела, поехал и в армию попал, был, был, я еще ставки закрывала, он с ведрами к колонке бежал... В другой раз постучали. Опять, да громко-громко. Она, мать-то твоя, Женя,— и тут Демьяновна заплакала, и не было никакого сомнения, что переживала она сейчас за Физу,— выходит этак, распахнула дверь, уже собиралась отчитывать: «Где бродишь? На ночь не оставили?» — и глядит никого! Да неужели ошиблась? Ведь слышала, как стучали. Ну и легла опять, какой уж сон. А Никита Иванович к тому времени уже мертвый лежал. Это он и стучал. Ровно с того света, где Демьянович мой.

«Нелепая смерть, а подумать хорошенько, так этим и должно было кончиться рано или поздно. Всей жизнью к этому шел»,— подумал Женя.

— Возле сапожной будки нашли... Какой леший его туда занес — неизвестно. А деньги — десятку-то он пропил — остальные тесемочкой обмотал и в карманчик в брюки засунул, ровно чувствовал, сроду не прятал, и милиция брюки передала Физе, она стала потом стирать — 85 рублей-то тесемочкой перевязаны. Нет Никиты Ивановича, такая ему смерть пришла, от судороги. Товарищи выпили за его денешки, а он же знаешь какой — нате, берите, я богаче всех! — они выпили и бросили, нет бы довести, видно же, человек плохой. Вот тебе и так, и сяк, и жизни сок. Все нас дурят, Женя, а мы с мамой твоей всякого принимаем.

— Как жил, так и помер,— без чувства сказала Физа Антоновна. Она была недовольна Демьяновной.

Проводила Физа Антоновна Никиту Ивановича хорошо, отметила, как полагается, и девять, и сорок дней, и полгода, и год, и, может, некоторые и не помянули принародно так заботливо своих самых близких людей, не помянула так и Демьяновна своего мужа ни разу. Жалко всякой смерти, и она никогда не желала ему несчастья и горько и громко плакала над его гробом — и по нем и по себе,— пускай бы жил. Но раз уж случилось, раз уж не воротить, то не грех и признаться, что хорошего она за ним мало видела. А Женя, наоборот, очень долго его вспоминал, чего-то не хватало ему без Никиты Ивановича, как-то неуверенней чувствовал он себя в неудаче и не заводился уже без него в компании.

Так оно и было в чем-то. Женя не отпирался. Но он никогда не говорил об этом матери, не возражал на ее слова: «А чо хорошего мы с ним видели?» — понимая, что его детскому чувству тогда было достаточно слов, которые материну судьбу никак не спасали. И Демьяновна не заметила теперь спокойного внимания, с каким Женя слушал ее. Наверное, юное желание любить всех безраздельно прошло.

— Надо жить, как бежит,— сказала Демьяновна и запела «Ох мороз, мороз...».

Никто ее не поддержал.

Так тихо еще никогда не было за столом. Постарели женщины. А Женя слушал, думал и молчал. Мать была довольна, что он теперь рядом. Чего ей еще? Жизнь, считай, прошла, плакать бесполезно.

Они вышли на улицу.

«А мать моя все-таки несчастнее других,— почему-то подумал Женя.— А уж как она была ласкова, как добра, смиренна... Наверно, когда бросали в нее пылающую головешку, она кричала: «Руки, руки береги!» Да не наверно, а точно... Вот был Толик, звал мамкой, а после смерти Никиты Ивановича и писем не пишет. При встрече, может, и заплачет, и

подарок сунет, а вот не пишет, своя мамка плохая, бросала — мучила, а простилось... Какое детство прожили, а не переписываемся».

— Ну, ты ей хоть кол на голове теши,— сказала мать о Демьяновне,— а она свое.

— Ма-ам! Да только ли Демьяновна. Дурили тебе голову и будут дурить. Рассердилась да забыла. «Да я чо, я ничо» — оправдываешься перед всеми. Тебе ли оправдываться? Перед тобой должны оправдываться.

— А чо ж ты хочешь, мать одна, что ли, будет жить? Так, сынок, тоже нельзя.

— Зачем одна? От себя, конечно, не уйдешь. Но люди знают: а, с Физой Антоновной можно, она простит. Я и сам в тебя... Да пора уж погордей быть.

— Ты и правда, сынок, раньше не такой был. Я мать, я приглядываюсь к тебе, хоть ты и взрослый. Ты, сынок, не иди за теми, кто на язычок острый. Чего вам соваться не в свое дело? А то как бы вместо того, чтобы выслушивать твои наставления, я тебя в оборот не взяла. Тебя выучили, вот и старайся. Отец на фронт уходил, просил, чтоб не баловала, а без меня ты там не спортился ли?

— Ну, чего я, мам, испортился. Я не особый. Тоже смотрю вокруг и думаю, как нам лучше жить. Лучше и лучше надо.

«Кого прощать, кого любить...— думал Женя перед сном в кладовке.— И как все-таки жить... Это сейчас самое главное».

Никита Иванович, Никита Иванович... Годы украсили его, но хотелось вспомнить его таким, каким он был. По крайней мере в последний раз, на проводах в институт. Он чувствовал, наверное, свою вину перед детьми и в темный и теплый вечер, вытащив стол и табуретки под окно, долго рассказывал о своем детстве, о войне, а потом наставлял Женю на дорогу.

— Вот учись,— говорил он.— Между товарищами будь самый хороший. Вот с меня пример бери, я без грамоты, а меня любят товарищи. Правду отстаивай. Как я. Смеешься, а ты знаешь, как отец на собраниях выступает? Пыль столбом! Президиум не успевает воду из графинчиков наливать. Во. А кто я? Простой мужик, выпить люблю.

— Папк,— сказал Толик,— хватит, смотри, комар в бражку сел.

— И думает выпить! Не-ет, не получится. Женя, давай по маленькой, тебе уже можно.

Они чокнулись и поцеловались.

— Какие мы никакие,— сказал Никита Иванович у поезда,— а ты не забывай нас, не бросай.

— Да нет... не забуду...— пообещал тогда Женя сквозь слезы.

Июнь 196 ... г.

Дорогая Парасковья Григоровна, сообщаю тебе, что Женя мой отучился и приехал домой насовсем. Жена его тоже вот-вот приедет, позовем мы бабушку нашу, она еще жива, еще сама корову доит, теперь бы жить да радоваться, сердце мое успокоилось, но здоровье уж не то... Сейчас вечер. Женя ушел к друзьям, а я тебе хочу послать длинное письмо, пропишу тебе, милая моя Паша, про всех родных и знакомых — кто жив, кто помер, как чо, почему...

Новосибирск — Краснодар.
1967—1968 гг.



ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С грузинского

* * *

Отчего такая тишь в долине,
лишь вчера шумевшей, как река?
О, прощай, прощай! —
твержу я ныне.
Кто ответит мне издалека?

Почему становятся все строже
перебои сердца моего?
Если кто забыл меня — то кто же?
Если потерял я — то кого?

Что во мне погасло и пропало?
Что наружу вырвалось, как крик?
И какой мне силы не достало?
И какой я цели не достиг?

И каких теперь ищу скитаний
среди каких неведомых лесов?
И дыханий чьих? И щебетаний?
Чьих неповторимых голосов?

Отчего такая тишь в долине,
лишь вчера шумевшей, как река?
О, прощай, прощай! —
твержу я ныне.
Кто ответит мне издалека?

ОДИН ДЕНЬ У ПОТЕРЯННОЙ МОГИЛЫ НИКО ПИРОСМАНИ

Стоит весна —
такой не помню прежде:
как в декабре,
весь день идут дожди.
Порвалась нить:
конец любой надежде
и никаких просветов впереди.

Но ведь пройдет
и это наважденье.
Не век нам жить
под проливным дождем.
И вот он день —
день твоего рожденья, —
мы все сошлись
на кладбище твоём.

В твою ли честь
вдруг небо прояснилось,
не то ты сам
все осветил вокруг —
но как все расцвело,
скажи на милость!
Как день красив,
как ярк и упруг!

Земля была
цветной и просветленной
и вся цвела кустами диких роз,
когда ты мир, тобою сотворенный,
рукой дрожащей
богу преподнес.

ПАМЯТИ ПАОЛО ЯШВИЛИ

Может,
и этот бедный листок
старой печали
взял бы с собой я:
молча уйти
должен мужчина.
Что же я дрогнул?
Что же уста не промолчали?
Груз полувека
на плечи лег —
вот в чем причина...

Если услышишь
эту строку, жившую нemo, —
может,
отпустишь мысли мои?
Это свобода!
Может,
замолкнет
этого дня гневное небо!
Может,
отступит
желтый, как желчь,
вечер ухода!..

Что мне догадки —
будь в них и ум,
будь в них и нежность:

страшный твой выстрел —
он для тебя
зло или благо?
Необходимость
это была
или поспешность?
Бой или бегство?
Боль или гнев?
Страх иль отвага?

Ты — Человек был.
Богом самим
создан для встречи
с другом,
с любимой,
с яркой строкой,
с полным кувшином.
Пусть ты не первый
так вот ушел —
были предтечи,—
а как подумаю:
именно ты! —
холод по жилам!..

Общий любимец,
ты восседал в центре застолья —
кто же сумел бы
так оценить бычью лопатку?
О, как любил ты,
наш тамада,
встать, чтобы стоя
щедро прославить
в острых словах
всех по порядку!

Вечно беспечный,
как наш припев «хари-харали»,
всем-то ты верил:
часто не зря, часто напрасно.
Щедлость Паоло
всякий грузин помнит прекрасно.
Эх, все, что видел,— все позабыл,
это — едва ли...

Ты не упреком правду считал,
не похвалою.
Не обижался,
да и смешно:
ты — и обида!..
Только и я ведь
заговорил — так уж не скрою:
слишком, Паоло, щедро ты жил,
слишком открыто.

Знаю, все знаю:
дескать, теперь просто — об этом,

время ведь — лекарь,
даром что гнет статные плечи.
Ты же был молод.
Был удальцом.
Ты был поэгом.
С собственной волей
был в роковом
противоречьи.

Жил без оглядки —
всем раздавал радость удачи.
Жил без поводов,
если влекла страсть иль привычка.
Думал наивно:
всяк тебе друг — как же иначе?
Ведь для вражды-то
ссора нужна
или хоть стычка.

В пьяном от жизни сердце твоём
денно и ночью
к страху рассудка
торжествовал бог вдохновенья.
И невозможно,
вижу и сам, что невозможно,
встретив Паоло,
не полюбить в то же мгновенье!..

К битве двух Грузий
ты приковал взгляд опаленный:
старая гибла.
Прежней была только природа.
Так и стоял ты,
в обе страны насмерть влюбленный,
сыном,
обнявшим мать и отца
в час их развода.

И убедившись:
эта вражда непримирима
и на священной старой земле
все — по-иному, —
ты
хоть и с болью,
но по-мужски —
неумолимо —
в собственном сердце
сам убивал
тягу к былому.

Впрочем, зачем же
я говорю то, что не ново?
Разве ты станешь
слушать стихи
без откровений?

Вот напишу я этим пером
верное слово:
если ты — жертва,
то — не борьбы
и не сомнений.

Разве не знал ты
в этой стране
всяк ее камень?
Разве не мог ты
древней земле
жарко молиться?
Поздно!..
На Картли движется тень —
это не птица:
это над нами
тяжко взлетел
проклятый Каин.

В Грузии смутно.
Год роковой.
Каин вещает.
Выйдут на травлю.
Скажут, что — враг.
Имя отымут.

...Четверть столетья
душу мою взор твой смущает.
Только ли боги,—
я говорю,—
смерти не имут?

(1957)

* * *

Чего же мне еще?
А все недостает
цветенья — от земли,
а от небес — сиянья.
Впрямь — задохнусь,
когда не утолят желанья
цветущая земля и яркий небосвод.

И от болнисских стен,
от их святых камней,
и от святых дерев
из парка Цинандали
чего-то, что я сам смогу назвать едва ли,
нетерпеливо жду —
чем дальше, тем жадней.

И не хватает мне
уже самой весны,

и тесно мне уже
в самом апрельском звоне
Арагвы и Куры, Лиахви и Риони —
так им самим порой их берега тесны...

Разбег дорог и троп
и переулков сеть,
поля в сплошных цветах,
растений запах слитный —
всем существом своим,
всей грудью ненасытной
к ним враз ко всем припасть!
Припасть — и умереть...

Перевел Юрий Ряшенцев.



Ю. ТРИФОНОВ

★

В ГРИБНУЮ ОСЕНЬ

Рассказ

Надя возвращалась с Колюшкой и Витей из Москвы, куда ездили на день купаться, а Антонина Васильевна оставалась на даче: сентябрь стоял ясный, грибной, решили пожить до холодов, ребятам последний вольный годик до школы. Было около семи, уже чуть свечерело, кое-где зажглись окна, и Надя, лишь только зашла с ребятами на участок и стала подходить к дому, бессознательно заметила темную веранду и темное окно в кухне, что в следующую секунду показалось ей странным, но не очень, потому что мама забывчива и могла задремать, хотя обычно она зажигает свет рано. Надя поднялась по крыльцу, ребята за нею, она постучала в запертую дверь веранды, никто не отозвался, стала стучать сильнее, потом звать громко, ребята весело, изо всех сил орали: «Ба-ба! Ба-ба!» — и, сцепив руки, размахивали ими, глядя друг на друга, как два восторженных дурачка, а Надино беспокойство вспыхнуло внезапно и жутко, и она, задыхаясь, сбежала по крыльцу вниз и стала кричать с клумбы. На втором этаже стукнула ставня, высунулась белая голова Веры Игнатьевны. Надя спросила, не видела ли Вера Игнатьевна сегодня маму, старуха ответила, что видела утром: Антонина Васильевна колола возле сарая полешки.

— Зачем же она это делала? — крикнула Надя с возмущением. — Почему не могла подождать нас? Я столько раз говорила!

Сердце ее сильно колотилось, она снова взбежала по крыльцу наверх, стала рвать дверь, та не поддавалась, тогда Надя побежала к дому Евлентьевых — она задышалась уже не только от волнения, но и от физического напряжения, при ее восьмидесяти пяти килограммах и нетренированном сердце бегать было тяжело, — на дверях Евлентьевых висел замок, но лестничка лежала, как обычно, прислоненная к стенке гаража. Надя схватила лестничку — правую. Надину руку все еще оттягивала сумка с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфлями мальчишек, взятыми из починки, — и потащила лестничку к веранде. Ребята стояли, притихнув, и испуганно смотрели на мать.

— Господи, господа! — повторяла Надя шепотом.

Она бросила сумку на землю, приставила лестничку к тому месту веранды, где, Надя знала, было окно, которое легко можно было открыть снаружи, и забралась на лестничку, толкнула раму, с трудом взгромоз-

дилась коленями на подоконник и рухнула оттуда на пол веранды с таким громом, что на втором этаже могли подумать, что опрокинулся гардероб. Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была пуста, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок полуобгоревшей газеты, в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнулась, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное, лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов — господи, он же уехал позавчера в Серпухов, — она все делала, повинувшись какой-то темной силе, возникшей внезапно, как ураган, которая с этого мига овладела ею.

В комнате совсем смерклось, но Надя, не зажигая света, одревеневшими руками стала втаскивать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча одно и то же:

— Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, сейчас.

Надины руки и все ее существо дрожали от напора этой сверхчеловеческой силы, с которой никогда прежде не соприкасалась Надина жизнь, и вдруг она поняла, что эта сила есть время, превратившееся в нечто совершенно реальное, вроде ураганного ветра, оно подхватило Надю и несет. От платья Антонины Васильевны шел сильный запах валиерианы, а из кухни пахло горелой бумагой.

И как у каждого человека, у нее был поступок, осветивший всю жизнь: двадцать пять лет назад она прогнала мужа, которого любила, но он стал пьяницей, и жизнь с ним сделалась невозможной. Он уехал в другой город, на край земли. Наверное, он там погибал. У него была женщина. Иногда он писал детям странные письма: «Милая Надюша! Дом, в котором я сейчас живу, представляет собою деревянный барак в два этажа, с двадцатью четырьмя окнами, тремя дверями, водоразборная колонка недалеко, дымоходы отличаются хорошей тягой...» Надя показывала письма матери, та читала, мучаясь, но не выдавая себя — по аккуратному и бессмысленному слогу понимала, что письма писаны в пьяном виде, — и плакала украдкой, но сделать ничего было нельзя. А когда-то была хорошая жизнь, она плакала, вспоминая, а не жалея: отец был главным инженером завода, ездил в «эмке», приносил паек, была дачка в Крюкове, казенная, от завода, и на участке росли яблони. И вдруг все разрушилось так внезапно и быстро. Мать постарела, выбивалась из сил, особенно в войну, металась от одного занятия к другому — работала нормировщицей на фабрике, секретарем-машинисткой в конторе ОЗГУПа, ходила с группой дегишек на бульваре, была шеф-поваром в столовой, красила дома шелковые платки для одной артели — тянула детей, никто не помогал, старшая сестра тетя Фрося хотя жила богато (муж ее, дядя Лева, тридцать лет по министерствам) и была бездетна, но в чужую жизнь не вникала. Ах, бог с ней, с тетей Фросей! Она будет рыдать. Их оставалось двое из большой семьи, она и мама. Она такая завистливая. Чему завидовать? Она находила, и завидовала маме. Мама говорила, что у Фроси дурной глаз. Только раза два в голодные годы, дойдя до точки, мама стучалась к Фросе за помощью, и та помогала самой малой малостью, но с разговорами («Кто ж тебя неволил детский

сад заводить?» или «Кто тебе виноват, что ты женихов гоняешь, о детях не думаешь?» — намекая на одного ветврача, родственника дяди Левы, приехавшего из Орши в надежде тут прописаться), и мама заклалась когда-нибудь у Фроськи просить.

Мама ее жалела. Говорила, что дядя Лева подлец, обманывает ее, а она все знает и терпит. Пусть она приезжает завтра, сегодня не надо, сегодня один Володя. «Никого не хочу, не могу видеть, кроме Володи. Господи, если только он дома, если не ушел играть в шахматы к Левину!»

Темный ветер гнал Надю по шоссе. Она бежала на станцию звонить в Москву. Навстречу шли люди только что с поезда, нагруженные сумками, свертками, портфелями, — из другого мира, где можно идти медленно, можно быть усталыми. Некоторые из них с изумлением смотрели на Надю. Что-то было в ее лице, заставлявшее их смотреть; может быть, она шевелила губами.

Она сейчас думала об одном: о том, что Володи может не быть дома. Когда они ссорились, он всегда уходил из дому — на футбол или к Левину играть в шахматы. Надя была уверена в нем. Ничего другого быть не могло. Однако когда мирились, она спрашивала, томясь тайным, непобедимым страхом: «А все-таки где вы были вчера, молодой человек? Скажете, опять играли в шахматы у Левина?» — «Какие там шахматы! — говорил он. — Мы были у девочек. Чудесно провели время». Обрывалось и холодело внутри, хотя она твердо знала, что это шутка, примитивная шутка. Ничего не могла поделать с собой. Он тут же старался поцеловать ее, а она закрывала глаза и отворачивала лицо. Когда касалось Володи, его отношения к ней, что-то происходило с сознанием, какое-то затмение мозгов: она становилась тупа, теряла чувство юмора. Проклятая дача! Еще в мае, когда приезжали снимать, она не понравилась Наде — место невзрачное, хозяйка какая-то угрюмая и хапуга — триста пятьдесят за две комнатки с верандой, — но Володя и мама настояли, потому что близко от станции, и хозяйка до октября уезжала на юг, и надоело искать, а для мамы было главное, что рядом базарчик. Как чуяло Надино сердце, что дача проклятая. Они с Володей почти и не жили там, завезут продукты на неделю и исчезнут, мама одна управлялась. Вечерами играла в карты с ребятишками на кухне, где было всего теплее, а так-то дача холодная, даже летом подтапливали, стены дощатые — и за доски такие деньги дерут! «Где же наши гулены? Верно, в концерт пошли. По радио передавали — сегодня большой концерт в Москве...» Но Надя и Володя ходили в концерты редко. Чаше в кино, к приятелям на чаек или на футбол, а то сидели дома и телевизор смотрели. И как раз больше всего Надя любила дома сидеть, чтоб с Володей вдвоем, никаких приятелей, и чтоб знать, что дети в порядке, дышат сосной, едят вкусно и правильно, потому что мама — великая кулинарка, и полежать на тахте в тихой квартире с книжкой в руках, под верблужьим одеялом, и чтоб Володя спустился в «Гастроном», купил бы сырку, колбаски, и пораньше лечь спать, часов в полдесятого нырнуть в свежие простыни — но зачем же, зачем мама выбрала это проклятое место, куда душа не лежала приезжать?

Он был дома. Надя услышала его недовольный голос. Не смогла договорить, он закричал на другом конце провода: «Надя, я еду! Меня ждет Левин! Я к нему на секунду и сейчас же беру гакси!» Зачем к Левину на секунду? Она силилась понять. Сора вчера была ничтожна: она рассердилась на то, что он собрался идти в субботу на день рождения своей двоюродной сестры Риты, вместе с Надей, разумеется, но Надя должна была ехать на дачу, дать передохнуть маме. И, кроме того,

Надя не любила Риту, считая ее фальшивой и скрытно недоброжелательной. Не простила ей, что когда-то, давно, когда они с Володей еще не были знакомы, Рита хотела женить Володю на своей подруге. Подруга могла там быть. Конечно, все это вздор, подруга давно замужем, родила детей и превратилась в драную кошку. И Володя сам не пошел бы, но тут он впал в амбицию. Решил, что ущемляют его свободу. «Ну, конечно! — говорил он. — Я должен делать только так, как тебе угодно!» Мама умела их мирить. Всегда держала сторону Володи. И сколько раз Надя злилась на нее из-за этого, называла оппортунисткой, а мама была просто умница, самая настоящая умница. Что ж теперь будет? Как жить? Вдруг Надю охватил страх: она оставила ребят у Веры Игнатьевны, старуха рассеянна, и у нее открытый балкон. Телефон тети Фроси все еще был занят.

Надя побежала в другой конец здания, где принимали телеграммы, и отправила срочную брату Юрию в Петрозаводск. Потом вернулась, и тут как раз дали Москву, но номер не тети Фроси, а Ларисы, Надиной лучшей приятельницы. Лариса похоронила свою мать полтора года назад, она сразу сказала дельное: «Обязательно достань снотворное и прими на ночь. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». Надя подумала: завтра? Наконец дали номер тети Фроси. Надя не понимала, говорит ли она тихо или кричит. Когда она вышла из кабинета, к ней подошла незнакомая женщина и, глядя ей прямо в глаза, сказала тихо:

— Выдержать, выдержать!

Наверное, Надя кричала.

Только одна фраза, сказанная ею самой, как только она прибежала на почту, врубилась в сознание: «Девушка, мне нужно срочно в Москву: умер человек!» Почему она назвала маму человеком? Ужаснуло даже не это, а то, что она смогла произнести эту фразу, она стояла спокойно, протягивая девушке рубль, и потом взяла у нее сдачу.

На улице было темно. Надя перешла через пути: аптека находилась в другой части поселка. Из шашлычной вышли два человека. У одного на груди болтался транзистор, из которого раздавалась музыка. Когда Надя проходила мимо, человек с транзистором сделал движение, чтобы схватить Надю за руку, и позвал:

— Эй, чудачка!

Надя увернулась и побежала. В аптеке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотворное. Она задыхалась, сильно щемило сердце, и она посидела две минуты на стуле, приняв валокордин. Она подумала о том, что все ее болезни, ее полнота, гипертония, все, что ее угнетало и мучило, теперь будет угнетать и мучить ее одну. Но страх перед всем этим, ее привычный страх исчез: она подумала, что могла бы легко расстаться с жизнью вот сейчас же, здесь, в аптеке. Ничто не остановило бы, даже дети. «Лариса так же убивалась в прошлом году, — вдруг вспомнила Надя. — А сейчас бегает по Москве, ищет осеннее пальто». Но и эта подлая мысль, которая пришла нарочно, чтоб облегчить, ничего не облегчила. И было что-то, о чем Надя не могла думать, что она отталкивала всем существом, всей кожей.

Володя приехал в двенадцатом часу вместе с Левиным. Они где-то выпили, как видно, на скорую руку: Надя почувствовала запах водки, когда Володя поцеловал ее. Левин работал в том же НИИ, где и Володя, но в другой лаборатории. Надя его не очень любила, считала, что он дурно влияет на Володю, и хотя прямых улик такого влияния не было, но теоретически они могли быть: Левин был холостяк, игрок, а Володя легко поддавался чужой воле.

В первую минуту Надя болезненно поразились, увидев Левина, но потом ей стало все равно. Левин, стягивая берет с лысой головы и целуя Наде руку, бормотал слова соболезнования и извинения за свой приезд, в котором виноват Володя. В маленьких карих глазках Левина, как всегда, что-то посверкивало.

— Может быть, я окажусь чем-то полезен,— говорил Левин.— Куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. Нет? Не нужно? Я все знаю, дорогая, все понимаю. У меня самого столько потерь за последнее время.— Он поправил манжет, вытянул здоровенную руку и стал загибать крепкие толстые пальцы.— В начале шестьдесят пятого — мама. В июле того же года — родной дядя, брат отца. И сразу через неделю — бабушка. Представляете? Крематорий стал для меня, простите, родным домом. А в прошлом году — мой старинный друг, со школьной скамьи. Скоротечный рак, и ни-че-го нельзя было сделать! Красавец парень, семья, малытки-дети. Талантливейший биохимик. И ни-че-го! А как умирала моя мама? Тоже кошмар. Десятимесячные мучения. Теперь скажите вот что: вы отсюда повезете или с городской квартиры? Я советую отсюда. Во-первых, вам не надо будет дважды заказывать машину. Во-вторых, зачем вам лишние волнения, перенос тела вверх, вниз? Теперь так: этот дачный эскулап, который констатировал смерть, для вас ничто, пустое место, вам нужно вызвать врача официально, и тот напишет заключение, причем вызывайте сейчас же, тогда у вас с утра будут развязаны руки и вы сможете действовать. Только надо решить: отсюда или с городской квартиры?

Надя смотрела на Левина, как будто не слыша вопроса. Она встала и вышла в соседнюю комнату, где было темно. Володя пошел за ней. В темноте он обнял ее, и они стояли несколько минут обнявшись посредине комнаты.

— Ничего не понимаю, что он говорит...— сказала она дрожащим шепотом. Было похоже, что у нее начинается озноб.

— Ну, ладно. Сейчас ни о чем не думай.— Он обнимал ее одной рукой, а другой гладил ее спину.

Она прижималась к нему. Зубы ее стучали, она не могла остановиться.

Было слышно, как Левин, скрипя ботинками, ходит по кухне. Он передвинул стул, что-то упало.

— Кстати, машину надо заказывать тоже с утра,— раздался из кухни его голос.— Там всегда очереди. И заказывайте только на Смоленской.

Володина рука замерла.

— Дурак, зачем я его привез? — прошептал Володя.

— Ничего. Пусть...

Ребята спали наверху, у Веры Игнатьевны. Часа в три ночи Надя разделась и легла спать, приняв снотворное. Левин и тут оказался на высоте.

— Что вы глотаете? Дайте сюда! — Почти силой он вырвал из Надиных рук таблетки.— Выкиньте и забудьте. Вот что пьет интеллигенция...

Володя посидел немного на кровати, держа Надину руку в своей. Надя лежала, закрыв глаза. Сил не было. Вдруг она заснула. Проснувшись, испуганно вскочила на кровати, отбросила одеяло: ей показалось, что давно уже утро или вторая ночь, что она проспала что-то бесконечно важное. В следующую секунду услышала голос из сна: умерла мама.

Эти слова были бредом, не имели смысла, но прошла еще одна секунда, еще, и еще, и смысл возникал, рос, становился гигантским, отчетливым, опрокинул, она упала навзничь и лежала неживая, со стиснутым сердцем. Часы рядом на стуле показывали без четверти четыре. В шелке двери, которая вела на кухню, был виден свет. Надя надела платье, боясь подошла к двери и приоткрыла ее. За кухонным столом сидели Володя и Левин и играли в шахматы.

Через два дня погода испортилась, полил дождь, и после похорон все приехали озябшие, тетя Фрося забыла зонт в траурном автобусе, ругала за это дядю Леву и погнала его в гараж искать пропажу. Сидели на кухне. В комнате уложили мальчишек, которые все равно не спали, а хулиганили: го и дело прибежали на кухню, нацепив волчьи маски, и рычали; утихомирить их не удавалось. Кончилось тем, что Надя сильно нашлапала обоих, Володя заступался, они ревели, тетя Фрося со словами: «Ах, бедные мои сиротки!» — бросалась целовать внучатых племянников, те ревели пуще, с ними случилось что-то вроде истерики, никто не мог успокоить, и Надя с тяжелым отчаянием думала: «Господи, как все разваливается без мамы!» Она долго сидела в комнате, разговаривая с сыновьями, напрягая силы, чтобы говорить спокойно, и проделала весь традиционный — когда-то она улыбалась в душе, а сейчас было невыносимо, потому что вспомнилось, с какой серьезностью это делала мама, — обряд примирения: шлепая ладонями о раскрытые ладошки сыновей, повторяла трижды:

— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться.

Наконец заснули, а Надя все сидела в потемках на стуле. В кухню идти не хотелось. Заходил Володя, спросил шепотом: «Ну, что ты?» — она отослала его к гостям:

— Иди, а то неудобно.

Через стенку было слышно, как он разговаривал с Аркадием, мужем Надиной двоюродной сестры Зиной, о парапсихологии. «Примерно за час до Надюшкиного звонка я почувствовал очень сильную боль в сердце. Причем никогда в жизни я на сердце не жалуюсь. Потом я вычислил...» Голос тети Фроси: «Ребята оч-чень тяжелые. Не ребята — бой...» «Абсолютно точно вычислил: это было именно в ту минуту, когда у Антонины Васильевны случился удар. Другой случай был со мной в Гурзуфе...» Аркадия и Зину, так же как мать Зиной, Евгению Глебовну, — все это была семья погибшего на войне брата Антонины Васильевны — Надя видела раз в пятилетку, а то и реже. Встреть она Аркадия на улице, наверное, не узнала бы. И вот эти чужие люди сидели на кухне, ели, пили, смотрели сочувственно, что-то вспоминали, лица их были скорбные, но вдруг, забывшись, они начинали говорить оживленно и совсем о другом. Все время слезилась одна тетя Фрося, которая пришла вдвоем со старухой Марией Давыдовной, дальней и малоизвестной Наде родственницей. А от Юрия пришла телеграмма из Петрозаводска о том, что он болеет воспалением среднего уха и находится в госпитале. Была еще одна женщина, которую Надя не знала по имени: она когда-то работала с Антониной Васильевной в артели, красила шелковые платки. Эта женщина пила водку наравне с мужчинами и несколько раз порывалась рассказать, какая прекрасная была эта работа — красить на дому шелковые платки анилиновыми красками — и как выгодно за нее платили. Была там еще Лариса, Надин подруга, и Левин, которые раньше не были знакомы, но сегодня в крематории нашли друг друга и весь вечер

разговаривали вдвоем. Но почему же они не уходят? Уже одиннадцать часов.

Надя еще и потому тяготилась идти к гостям, что все это происходило на кухне. Весь вид этой комнатки, где с утра и до вечера проходила мамина жизнь, был нестерпим и ранил каждой своей подробностью. Надя слышала через стенку, как кто-то открывал ящик кухонного стола — задребезжали ножи, вилки, — и Надино сердце содрогнулось потому, что Надя мысленно увидела этот ящик, который мама так часто приводила в порядок, застилала внизу чистой белой бумагой, в особые отделения складывала ножи, в особые вилки, ложки, а в углу ящика хранила стопку бумажных салфеток. Сидя в темноте с закрытыми глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью: полки большого чешского шкафа, где внизу в правом отсеке лежали кастрюли, терки, чугуны, старинная медная ступка, принадлежавшая еще маминной маме, а в левом отсеке — разные снадобья, лекарственные травы в пакетах, банки с сушеной малиной, цикорием, содой, аккуратно связанные кусочки шпагата, которые мама берегла, за что Надя звала ее Плюшкиным, и там же стояли пустые пол-литровые банки и баночки из-под майонеза и сметаны, вымытые маминими руками и припрятанные для чего-то. Все это осталось, все жило. Остались газеты, сложенные кипой на столе рядом с гладильной доской и успевшие выцвести за лето. Передник из темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на фаянсовом крюке. Только нет, нет, нет. Нет ни в ванной, ни в прихожей. Нет на даче. Там темные комнаты, все закрыто, на этой проклятой даче, по деревянному крыльцу льет дождь. Нет нигде.

В кухне задвигали стульями. Кто-то уходил. Надя встала с осторожностью и вышла на цыпочках из комнаты. Левин и Лариса уже стояли в коридоре, близко друг к другу, разговаривали тихо. Надя прошла мимо них, Лариса шепнула ей очень ласково: «Ну как, уснули ребятки?» — и поцеловала Надю в шею. Щурясь от света, Надя вошла на кухню. Она сразу увидела сонные, в красных веках, замученные Володины глаза. Поняла, что он выпил лишнее, что ему худо, тоскливо, но, как подобает хозяину, он продолжает вести с гостями разговор. От теплоты уже перешли к грибам. Все в эту осень помешались на грибах.

Зина подвинула Наде тарелку с салатом:

— Ешьте, Надя. У вас должны быть силы.

Володя налил ей водки. Его рука легла на могучую Надину спину. Надя любила, когда он трогал ее. Но сейчас она ничего не испытывала. Его рука была как чужая, а ее собственное тело было бесчувственно, и она движением плеча слегка сдвинула его руку. Ей стало неприятно оттого, что он говорил о грибах.

Тетя Фрося упорно смотрела Наде в глаза. Лицо тети Фроси было рыхло, вислощeko, густого розового цвета, какой бывает у хорошо промытого в воде парного телячьего мяса. Из глаз тети Фроси катились слезы — она тоже говорила о грибах, но при этом вытирала щеки платком, — и Надя вдруг сердцем почувствовала, что тетя Фрося — единственный тут родной ей по крови человек. Увидела знакомые, похожие на мамини пальцы, знакомую неуловимую скуластость. И испытала к тете Фросе внезапную нежность, как никогда прежде.

— Наденька, — сказала мать Зины Евгения Глебовна. — А ведь я в этой вашей квартирке первый раз. Это вы выменяли свои комнаты на Мытной?

Надя кивнула.

— Там у вас, кажется, были две комнаты в коммунальной квартире? В старом доме?

— Да,— сказала Надя.

— А тут однокомнатная?

Надя кивнула.

— Сколько же метров тут?

Так как Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюдо с салатом, Володя сказал:

— Двадцать четыре вроде.

— Я почему спрашиваю, Володя,— сказала Евгения Глебовна,— потому что мы тоже загорелись меняться. У нас ведь очень прекрасные две комнаты. Ну, я потом, потом! — Она вдруг замахала рукой и зашептала: — Потом спрощу! Как-нибудь. Ладно, потом!

— Тоня-то где спала? — спросила старушка Мария Давыдовна.

— Здесь,— сказал Володя.

— Где же ей спать? — сказала Евгения Глебовна.— Там у них дети, и их двое. А здесь очень хорошо и отдельно. Только, конечно, газом чуть отзывает, но можно проветривать.

Мария Давыдовна с сомнением оглядывала кухню, где сейчас нельзя было повернуться.

— Это как же здесь?

— Стол сдвигаем сюда, к рукомойнику. А здесь ставим раскладушку,— показал Володя.— Неудобно, конечно, да выхода не было. Мне квартиру обещают на будущий год.

Мария Давыдовна кивала.

— Очень хорошо, верно, верно...

Тетя Фрося вдруг грубым и долгим голосом всхлипнула, закрыла лицо платком и залилась рыданьем. Надя, тоже едва сдерживая слезы, обняла ее, стала успокаивать:

— Тетя Фросечка, милая, ну, не надо же, миленькая...

— Заездила мать! — рыдающим голосом проговорила тетя Фрося, локтем отодвигая Надю.

— Ну, что вы, тетя Фрося! — еще не почувствовав удара, все так же нежно и успокаивающе говорила Надя.

— Заездила, заездила мать,— повторила тетя Фрося, трясая головой.

— Зачем такое говорить? Ах ты, боже мой! — сказала женщина, красившая с Антониной Васильевой платки.

Тетя Фрося сделала слабое движение рукой, означавшее: «Да что говорить...» Ее лицо перекопилось от нового приступа рыданья; она зачлупала, засморкалась и, посмотрев на Надю, заговорила плаксиво:

— Ты прости меня, Надежда. Я очень Тоню люби-ила... Я правду говорю, истинную правду...

Надя почувствовала лицом, как побелела: так бывало у нее в часы мигреней, когда она валилась на кровать колодой. Стиснула ладонями лоб. И удивление: «Почему никто не возражает?» Она видела со стороны свое белое лицо, такое белое и невозможно маленькое по сравнению с грузным, отяжелевшим и старым телом. Потом услышала, как заговорили, задергались. Возник Левин, ухватил Надю под мышки. Потасил из-за стола вверх. Володя кричал: «Вы! Злобная тварь! Чтоб вашей ноги!..» Надю увели в комнату. Она лежала в темноте, слыша — сквозь забытье, озноб,— как кричат в коридоре.

Очнулась глубокой ночью. Володя спал рядом. Все ушли. Надя встала, вышла, шатаясь, в прихожую — посмотреть на себя в зеркало,— оттуда на кухню. Грязные тарелки были сложены в раковине. Ходики показывали три часа. Надя открыла кран горячей воды, взяла свившуюся жгутом тряпочку из обрывка капронового чулка, висевшую на кране, замылила ее и принялась за посуду.

На другой день, в четверг, Надя должна была выходить на работу. Она работала на заводе за Крестьянской заставой, ездила в один конец час двадцать минут, метро и автобусом, и обычно выходила из дому в половине седьмого. Но в четверг она договорилась по телефону — позвонила своей начальнице в ПТО, — что придет к десяти часам, потому что надо было устроить ребят. Детский сад «Ласточка» при ЖЭКе № 4 был самый близкий, одна остановка троллейбусом, а можно и пешком. Говорили, что дети там часто болеют. Но выхода не было. На работе Наде выражали сочувствие, каждый по-своему. Знакомая старуха гардеробщица сказала Наде: «С печалью тебя!»

Одни целовали ее, и Надя даже видела мелькавшие на миг слезы, другие молча трясли руку, а некоторые просто смотрели чуть пристальней обычного Наде в глаза, стараясь что-то понять. Были и такие, которые делали вид, будто ничего в Надиной жизни не произошло. Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше.



РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ*

Роман

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я приезжал домой и встречался с матерью, каждый раз происходило то же. Я удивлялся, что это происходит, хотя заранее знал, что так оно и произойдет. Я приезжал домой с твердым убеждением, что я ей совершенно безразличен, что я — лишь один из мужчин, которых она хочет иметь около себя, ибо она была из той породы женщин, которые хотят, чтобы около них вились мужчины и плясали под их дудку. Но стоило мне ее увидеть, как я обо всем этом забывал. Иногда забывал, еще и не успев ее увидеть. Так или иначе, забыв, я удивлялся, почему мы не можем с ней ужиться. Я удивлялся, хотя прекрасно знал, что произойдет, знал, что сцена, в которой я должен выступить, и слова, которые я произнесу, — все это уже было и будет, что сейчас я шагну в просторную высокую белую прихожую с полом, отсвечивающим, как темный лед, и в дальнем конце ее, в дверях комнаты, освещенной неверными отблесками камина, появится моя мать и улыбнется невинно-радостной улыбкой, как девочка. Она пойдет мне навстречу, дробно и нетерпеливо постукивая каблуками, смеясь торопливым горловым смехом, подойдет, прищипнет большими и указательными пальцами борта моего пиджака — по-детски слабым и в то же время требовательным жестом — и поднимет ко мне лицо, слегка наклонив его набок, чтобы я мог запечатлеть на нем положенный поцелуй. Щека ее будет твердой и гладкой, прохладной; я вдохну запах ее любимых духов, увижу точно выщипанную линию брови, тонкую сетку морщин на коричневатом веке и в углу быстро мигающего голубого глаза. Глаз, блестящий и чуть-чуть выпуклый, будет смотреть на что-то за моей спиной.

Так бывало каждый раз: когда я возвращался из школы, когда я возвращался из походов, когда я возвращался из университета, когда я приезжал в отпуск, — и так же точно было в тот дождливый день на пороге весны 1933 года, когда я вернулся домой после долгого отсутствия. С последнего моего приезда прошло месяцев шесть или восемь. Тогда мы поссорились из-за того, что я работаю у губернатора Старка. Рано или поздно мы всегда ссорились, а в последние два с половиной года, с тех пор, как я начал работать у Вилли, все ссоры в конечном счете сводились именно к этому предмету. Даже если не упоминалось его имя, тень его все время стояла у нас за плечами. Впрочем, и неважно, что было поводом для ссоры. Над нами стояла другая тень, длиннее и сумрачнее тени Старка.

Но я всегда возвращался — вернулся и на этот раз. Что-то помимо воли тянуло меня домой. И всегда казалось, будто начинаешь с чистой страницы, отмечаешь все, что на самом деле нельзя отместить.

— Оставь чемоданы в машине, — сказала она, — их принесут. — И повела меня к открытой двери гостиной, где горел камин, и через всю гостиную к длинной

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

кушетке. На стеклянной крышке стола я увидел вазу со льдом, сифон с содовой и бутылку шотландского виски; на них играли отблески камина.

— Садись, — сказала она, — сядь, мальчик. — И пальцами правой руки прикоснулась к моей груди, как бы толкая.

Толчка почти не было, я не потерял равновесия, но все же сел на кушетку. Она налила мне стакан и чуть-чуть плеснула себе — из вежливости, потому что пила мало. Протянув мне стакан, она опять засмеялась быстрым горловым смехом.

— Выпей, — сказала она с таким выражением лица, будто предлагала мне нечто совершенно исключительное и по ценности не сравнимое ни с чем на земном шаре.

Много виски есть на свете, даже шотландского, но я взял стакан и, отпив, почувствовал, что это и в самом деле нечто исключительное.

Она легко опустилась на кушетку, напомнив мне этим движением птичку, которая вспорхнула на ветку и начинает охорашиваться. Отпив из стакана, она закинула голову, словно желая поскорее пропустить виски в горло. Одну ногу она подвернула под себя, а другую вытянула, едва касаясь пола острым носком серой замшевой туфельки. — изящно, как балерина. Затем она повернулась ко мне всем торсом, не сгибая талии, отчего ее серое платье слегка перекутилось. Свет камина обрисовывал ее тонкие правильные черты, оставляя половину лица в тени и оттеняя голодную, призывную впадинку под скулой (я всегда думал — с тех пор как подрос настолько, чтобы думать, — что этим она и брала их — трогательной впадинкой) и плавный стремительный подъем ее взбитой прически. Волосы у нее были желтоватые, как металл, тронутые уже сединой, но и седина отливала металлом, словно канитель, вплетенная в желтое. Казалось, все так и было задумано с самого начала — дьявольски дорогое украшение.

Я смотрел на нее и думал: да, ей пошел пятьдесят пятый, однако надо отдать ей должное. И вдруг я почувствовал себя стариком, начало моих тридцати пяти лет утонуло в бесконечно далеком прошлом. Однако надо отдать ей должное.

Она смотрела на меня молча, тем взглядом, который всегда говорит: «У тебя есть то, что я хочу, что мне нужно, что я должна иметь» — и еще говорит: «У меня для тебя тоже что-то есть, я пока не скажу что, но и для тебя что-то есть». Впадинки под скулами — голод. Влеск в глазах — обещание. То и другое — вместе. Целый фокус.

Я допил и продолжал держать стакан в руке. Она взяла его, глядя на меня по-прежнему, и поставила на столик. Затем сказала:

— Мальчик, у тебя усталый вид.

— Нет, — ответил я, чувствуя, как во мне пробуждается упрямство.

— Ты устал, — сказала она и, взяв меня за рукав, потянула к себе.

Сначала я не поддавался. Я просто расслабил руку. Она тянула едва-едва, но все время смотрела мне в лицо. Я сдался, опрокинулся на спину. Я лег головой к ней на колени, как и предвидел с самого начала. Левую руку она опустила мне на грудь и двумя пальцами стала крутить пуговицу рубашки, а правую положила на лоб. Потом накрыла ею глаза и медленно провела вверх, по лбу. Руки у нее всегда были прохладные. Это одно из первых моих детских впечатлений.

Она долго молчала — только водила ладонью по моим глазам и лбу. Я знал, что из этого выйдет, знал, что выходило и будет выходить всегда. Но она умела устроиться на маленьком островке прямо посреди времени и вашего знания, которое — всего лишь след, оставленный на нас временем.

Наконец она сказала:

— Ты устал, мальчик.

А я не был усталым, и не усталым тоже не был, и усталость не имела никакого отношения к тому, что происходит. Потом, немного погодя:

— Ты много работаешь, мальчик?

Я сказал:

— Так, не очень.

И погода еще немного:

— Этот человек... этот человек, у которого ты работаешь...

— Ну что еще? — сказал я. Рука на моем лбу остановилась, и я знал, что остановил ее мой голос.

— Ничего, — сказала она. — Только тебе не обязательно работать у этого человека. Теодор мог бы устроить тебя...

— Мне не нужно никакой работы от Теодора, — сказал я и попробовал сесть, но попробуйте сесть, если вы лежите навзничь на мягкой кушетке и кто-нибудь держит руку у вас на лбу.

Крепко прижав ладонь к моему лбу, она наклонилась и сказала:

— Ну зачем ты, зачем? Теодор — мой муж и твой отчим, зачем ты так говоришь, он с удовольствием...

— Слушай, — сказал я, — можешь ты понять...

Но она перебила:

— Тсс, мальчик, тсс, — накрыла мне ладонью глаза и снова стала гладить меня по лбу.

Больше она ничего не сказала. Но она уже сказала то, что сказала, и ей пришлось опять начинать свой фокус с островком. Может, она для того и завела разговор, чтобы показать фокус еще раз, показать, на что она способна. Словом, она его показала, и он опять получился.

Вскоре хлопнула входная дверь и в прихожей раздались шаги. Я понял, что это Теодор Марел, и опять попробовал сесть. Но даже сейчас она не отпускала меня и нажимала ладонью на лоб до самой последней секунды, пока шаги Теодора не зазвучали в гостиной.

Я встал, чувствуя, что пиджак у меня сбился на плечи, а узел галстука съехал под ухо, и увидел Теодора, у которого были прекрасные золотистые усы, щеки яблочками, светлые волосы, уложенные на круглой голове, как сливочная помадка, брюшко, набирающее солидность (делай наклоны, балда, сто наклонов каждое утро, и доставай пальцами до пола, балда, иначе миссис Марел тебя разлюбит, и где ты тогда будешь?), и слегка гнусавый голос, как будто в отверстие под золотистыми усами сунули ложку горячей овсянки.

Мать подошла к нему своей радостной походкой, откинув плечи назад, и остановилась прямо перед Молодым Администратором. Молодой Администратор обнял ее правой рукой за плечи и поцеловал отверстием из-под золотистых усов; она схватила его за рукав, подвела ко мне, и он сказал:

— Здравствуй, здравствуй, старина, рад тебя видеть. Ну как она, жизнь? Как делишки у старого политика?

— Прекрасно, — ответил я, — только я не политик, я — наемная сила.

— Хо-хо, — сказал он, — не разыгрывай меня. Говорят, вы с губернатором вот так. — И он сцепил два толстоватых, очень чистых и наманикюренных пальца, чтобы я мог ими полюбоваться.

— Ты не знаешь губернатора, — ответил я, — потому что единственный, с кем губернатор вот так, — я сцепил два не очень чистых и совсем не ухоженных пальца, — это сам губернатор, и время от времени — господь-бог, если губернатору нужно, чтобы кто-нибудь придержал свинью, пока он режет ей глотку.

— Да, судя по его поступкам... — начал Теодор.

— А ну, садитесь, — приказала мать.

Мы сели и послушно взяли протянутые нам стаканы.

Она зажгла свет.

Я откинулся в кресле, сказал «да», потом «нет» и окинул взглядом длинную комнату, которую знал, как ни одну другую комнату на свете, и в которую возвращался всегда, что бы я себе ни говорил. Я заметил новую мебель. Высокое шератоновское бюро сменило прежний письменный стол. Стол теперь, наверно, стоял на чердаке, в запаснике музея, в то время как мы находились на выставке, а Боуман и Хидерфорд, лимитед, Лондон, вписывали большую цифру в свой гроссбух. Я каждый раз заставал здесь перемены. Приехав домой, я оглядывался в по-

исках новых предметов, потому что через эту комнату прошла целая вереница отборных вещей — спинетов, секретеров, столов, кресел, — одна отборнее другой, и каждая отправлялась на чердак, уступая место новому шедевру. С тех пор как я ее помню, комната проделала большую эволюцию к некоему идеальному совершенству, созданному воображением матери или торговцев из Нью-Орлеана, Нью-Йорка, Лондона. Может, перед самой ее смертью комната достигнет идеального совершенства — и она сядет тут, подтянутая старая дама с высокой седой прической, быстро мигающими голубыми глазами и шелковистыми складками под красивым подбородком, и выпьет чашку чая в ознаменование этого события.

Мебель менялась, но менялись и обитатели. Когда-то здесь жил коренастый сильный человек с копной черных волос, очками в стальной оправе, привычкой криво застегивать жилет и большой золотой цепочкой от часов, за которую я любил цепляться. Потом он исчез, а мать прижала мою голову к своей груди и сказала:

— Папа больше не вернется, мальчик.

— Он умер?— спросил я.— У нас будут похороны?

— Нет,— сказала она,— он не умер. Он уехал, но ты можешь думать о нем, как будто он умер.

— Почему он уехал?

— Потому что он не любил маму. Вот почему он уехал.

— Я люблю тебя, мама,— сказал я.— Я всегда тебя буду любить.

— Да, мальчик, да, ты любишь твою маму,— сказала она и крепко прижала меня к груди.

Итак, Ученый Прокурор исчез. Мне было тогда лет шесть.

Затем появился Магнат, который был худ и лыс и задыхался на лестнице.

— Почему папа Росс пыхтит, когда идет по лестнице? — спросил я.

— Тсс,— сказала мама,— тсс, мальчик.

— Почему, мама?

— Потому что папа Росс нездоров, мальчик.

Затем Магнат умер. Он протянул у нас недолго.

И мама отдала меня в школу в Коннектикуте, а сама уехала за океан. Когда она вернулась, с ней приехал другой мужчина, который был высок и строен, курил длинные тонкие сигары, носил белые костюмы и тонкие черные усики. Он был Графом, а моя мама была Графиней. Граф сидел в комнате с гостями, часто улыбался, но говорил мало. Люди смотрели на него искоса, а он смотрел им в глаза и улыбался, показывая белейшие зубы под тонкими черными усиками. Когда никого не было, он целый день играл на рояле, а потом выходил в черных сапогах и тесных белых брюках и катался на лошади, заставляя ее прыгать через забор и скакать по берегу до тех пор, пока бока ее не покрывались пеной и не начинали ходить так, что казалось, она вот-вот падет. Потом Граф возвращался домой, пил «виз-кни», держал на коленях персидскую кошку и гладил ее рукой, небольшой, но такой сильной, что мужчины хмурились, когда он жал им руку. А однажды я увидел на правой руке моей матери повыше локтя четыре иссиня-черные отметины.

— Мама,— сказал я,— смотри! Что случилось?

— Ничего,— ответила она.— Я ушиблась.— И она стянула шаль на руку.

Фамилия Графа была Ковелли. Люди говорили: этот малый, граф,— сукин сын, но верхом ездит, как черт.

Потом он уехал. Я жалел об этом, потому что Граф мне нравился. Мне нравилось смотреть, как он скачет на лошади.

Потом довольно долго не было никого.

Потом появился Молодой Администратор, который стал Молодым Администратором при последних потугах его матери и будет Молодым Администратором до тех пор, пока ему не выпустят кровь и не впустят бальзамирующую жидкость. Но это случится не скоро, потому что ему всего сорок четыре года и сидение за сто-

лом в нефтяной компании, где он зарабатывает себе на карманные расходы, не подрывает его здоровья.

Я сживал в этой комнате с каждым из них — с Ученым Прокурором, с Магнатом, с Графом, с Молодым Администратором — и наблюдал, как менялась обстановка. Вот и сейчас я сидел, глядя на Теодора и на новое шератоновское бюро, и спрашивал себя, надолго ли они тут задержатся.

Я приехал домой. Я был предметом, который никуда не девается.

Всю ночь шел дождь. Я лежал в большой старой семейной кровати, которая раньше принадлежала другой фамилии (когда-то в моей комнате на циновках стояла белая железная кровать, а в комнате матери — семейная, красного дерева кровать Бёрденов, большая, старая и красивая, но недостаточно красивая, почему она и попала на чердак), и прислушивался к шипению дождя на листьях дубов и магнолий. Утром дождь перестал и выглянуло солнце. Я вышел во двор и увидел на черной земле лужицы, тонкие, как листочки слюды. Вокруг камелии в мерцающих черных лужицах плавали белые, красные и коралловые лепестки, сбитые дождем. У одних края загнулись вверх, как у лодок, другие уже зачерпнули воды или плавали перевернутые, словно после веселого сражения в далекой безалаберной счастливой стране, где боевой корабль выпустил пару залпов по флотилии гондол и карнавальным баржам.

Толстая камелия росла около самых ступенек. Я наклонился и подобрал несколько лепестков. Вода была очень холодная. С лепестками в руке я пошел по кривой дорожке к воротам. Там я остановился, сжимая лепестки в кулаке и глядя на залив, блестящий за белесой полоской песка, исчерканной плавником.

К полудню опять пошел дождь — нудный сеянец с пропитанного, как губка, неба — и зарядил на двое суток. В этот день и в следующий я надевал дождевик Молодого Администратора и гулял. Я не большой любитель прогулок как способа проветривать легкие озоном. Но тут мне захотелось погулять. В первый день я прошелся по берегу мимо дома Стентонов, остывшего и пустого среди мокрой ливня, и заглянул к судье Ирвину, который усадил меня в кресло перед камином, открыл бутылку старого ржаного виски и пригласил завтра вечером пообедать. Но, выпив стаканчик, я вышел от него и двинулся туда, где уже нет домов, а только кустарник и дубовые заросли, среди которых там и сям поднимается сосна и изредка, на прогалине — серая лачуга.

Назавтра я пошел в другую сторону, по городским улицам и дальше, к полукруглой бухточке, где сосновая роща спускается прямо к белому песку. Я пересек рощу, глубоко увязая ботинками в рыхлом игольнике, и очутился на берегу. Там есть место, где лежит обгорелое бревно, совсем почерневшее от воды, а вокруг него — намокшие угли и черный плавник, особенно черные оттого, что под ними белый песок. Люди до сих пор устраивают здесь пикники. Я и сам когда-то устраивал. Я знал, какие здесь получаются пикники. Один из них я хорошо помню.

Однажды, много лет назад, я приехал сюда с Анной и Адамом; но дождя тогда не было. Он начался в самом конце. Было очень жарко и очень тихо. Видно было, как море за бухтой, наклонно поднимаясь, вращается в небо, словно горизонта нет. Мы выкупались, позавтракали, лежа на песке, и стали удить рыбу. Но в тот день не клевало. Потом набежали тучи, затянули все небо, кроме маленького уголка на западе за соснами, где еще пробивался свет. Вода стала гладкой и вдруг потемнела темнотой неба, а на другом краю залива, над белой полоской далекого берега, полоска леса из зеленой превратилась в черную. В той стороне, наверно в миле от нас, маячила лодка с гафельным парусом, и под пасмурным небом, над темной водой, на черной стенке леса вы в жизни не увидите ничего блее и ослепительнее этого косога паруса.

- Надо уходить, — сказал Адам, — будет гроза.
- Еще не скоро, — отозвалась Анна, — давайте выкупаемся.
- Не стоит. — Адам нерешительно посмотрел на небо.
- Ну давайте, — настаивала она, дергая его за руку.

Он не отвечал и по-прежнему глядел на небо. Вдруг она выпустила его руку, засмеялась и побежала к воде. Она бежала не прямо к воде, а вдоль берега к маленькой косе, и ее короткие волосы трепались в воздухе. Я смотрел, как она бежит. Она бежала, слегка отставив согнутые локти, и движения ее ног были легкими и свободными, но немного угловатыми, словно она еще не совсем отвыкла бегать по-старому, по-ребячьи, и не совсем научилась бегать по-новому, по-женски. Ноги держались чересчур свободно, даже разболтанно в маленьких ягодицах, не совсем еще округлившись. Тут я заметил, что ноги у нее длинные. Раньше я этого не замечал.

Не звук, а, наоборот, тишина заставила меня обернуться к Адаму. Он смотрел на меня. Когда я встретил его взгляд, он покраснел и отвел глаза как будто от смущения. Потом хрипло сказал: «Не догонишь» — и пустился за ней. Я тоже побежал, и песок из-под ног Адама летел мне навстречу.

Анна уже плыла. Адам бросился в воду и поплыл быстро и энергично, все больше отрываясь от меня. Он миновал Анну, не сбавляя скорости. Он был сильным пловцом. Он не хотел купаться, но теперь плыл быстро и энергично.

Я поравнялся с Анной, поплыл тише и сказал: «Привет». Она подняла голову грациозным движением, как всплывший тюлень, улыбнулась и, вильнув спиной, мягко ушла под воду в длинном нырке. Ее сжатые острые пятки болтулись в воздухе и исчезли. Я догнал ее, и она опять нырнула. Каждый раз, когда я догонял ее, она поднимала голову над водой, улыбалась мне и ныряла. На пятый раз она не стала нырять. Она лениво перевернулась и легла на спину, раскинув руки и глядя в небо. Тогда я тоже перевернулся и стал смотреть в небо.

Небо стало еще темнее и отливало теперь пурпуром и зеленью. Как спелый виноград. Но оно еще казалось высоким, и под ним была бездна свободного воздуха. Прямо надо мной в вышине пролетела чайка. На фоне туч она была блее, чем даже парус. Она пересекла все небо надо мной и скрылась из глаз. Мне захотелось узнать, видела ли ее Анна. Когда я посмотрел на нее, она лежала с закрытыми глазами. Руки ее были широко раскинуты, а волосы колыхались в воде вокруг головы. Затылок ее ушел в воду, а подбородок смотрел вверх. Лицо было совсем спокойное, будто она спала. Лежа на воде, я видел ее четкий профиль на черном фоне далекого леса.

Вдруг она перевернулась, затылком ко мне, словно меня не было, и поплыла к берегу. Ее медленные гребки казались заторможенными, но в то же время легкими, не требующими усилий. Ее худые руки подымались и входили в воду с рассеянной, вялой, изысканной размеренностью, какую вы чувствуете в своих движениях во сне.

Мы еще плыли к берегу, когда начался дождь и первые редкие капли зачмокали по глянцевой поверхности воды. Потом дождь хлынул, и поверхность воды исчезла.

Мы вышли на берег и стояли на песке, следя за Адамом. Дождь хлестал нас по коже. Адам был еще далеко. Позади него, на юге, в темном небе над заливом зажигались вилки молний и мерно перекатывались гресмы. То и дело Адама скрывала подвижная пелена дождя, подметавшая бухту. Анна следила за ним, нагнув, словно в задумчивости, голову, скрестив руки на маленькой груди и обняв себя за плечи, так что казалось, она сейчас задрожит. Коленки у нее были сжаты и слегка согнуты.

Адам вышел из воды, мы подобрали свои пожитки, сунули ноги в размокшие сандалии и побежали через рощу, где ветер раскачивал черные кроны сосен и скрип сучьев изредка прорывался сквозь рев грозы. Мы влезли в нашу машину и поехали домой. В то лето нам с Адамом было по семнадцать лет, а Анне на четыре года меньше. Это было еще до первой мировой войны, вернее — до того, как мы в нее вступили.

Тот пикник я запомнил на всю жизнь.

В тот день, наверное, Анна и Адам впервые предстали передо мной как самостоятельные, независимые личности — каждая со своей особой манерой поведе-

ния, полной таинственной значительности. Возможно, в тот день я и себя впервые осознал как личность. Но речь сейчас не об этом. Прозошло же вот что: в моем уме запечатлелся образ, сохранившийся на всю жизнь. Мы многое видим и многое можем вспомнить, но это — другое. В голове у нас редко остается законченный образ, такой, о котором я говорю, такой, который с каждым годом становится все живее и живее, словно бег лет не затемняет его, а наоборот — снимает один покров за другим, обнажая смысл, о котором вначале мы лишь смутно догадывались. Может быть, последний покров так и не спадет, потому что век наш короток, но образ становится все яснее, и мы все больше убеждаемся, что ясность — это смысл образа или знак смысла, и без этого образа наша жизнь была бы лишь старым куском пленки, брошенным в ящик стола вместе с письмами, на которые мы не собрались ответить.

Образом, запечатлевшимся во мне тогда, было лицо Анны на воде, очень спокойное, с закрытыми глазами, под пурпурно-зеленоватым небом, в котором плывет чайка.

Это не значит, что я уже в тот день влюбился в Анну. Она была ребенком. Это пришло позднее. Но образ остался бы, даже если бы я никогда не полюбил Анну, или больше не увидел ее, или она стала бы мне отвратительна. Потом бывали времена, когда я не любил Анну. Анна сказала, что не пойдет за меня, и вскоре я женился на Лоис, девушке более красивой, чем Анна, — таких провожают глазами на улице, — и я любил Лоис. Но тот образ не исчезал, он делался все яснее, роняя один покров за другим и обещая еще большую ясность.

Поэтому, когда я вышел из рощи в дождливый весенний день много лет спустя и увидел обгорелое бревно на белом песке, где кто-то устраивал пикник, я вспомнил пикник летом 1915 года — последний перед моим отъездом в колледж.

Мне не пришлось ехать за знаниями к черту на кулички. Всего-навсего в университет штата.

— Мальчик, — сказала моя мать, — почему ты упрямишься и не хочешь в Гарвард или Принстон? — Для женщины из арканзасского захолустья моя мать была замечательно осведомлена о наших показательных учебных заведениях. — Или, например, в университет Вильямса — говорят, это очень культурный институт.

— Я уже ходил в школу, которая тебе нравилась, — сказал я, — и она была культурная, дальше некуда.

— Или, например, в Виргинский, — продолжала она, глядя на меня чистыми глазами и не слыша ни слова из того, что я говорю. — В Виргинском университете учился твой отец.

— Казалось бы, для тебя это не такая уж хорошая рекомендация, — ответил я и подумал, как ловко мне удалось вернуть. Я приобрел привычку в спорах с ней делать намеки на его уход.

Но этого она тоже не расслышала.

— Если бы ты учился на востоке, тебе проще было бы приезжать ко мне на лето.

— Там сейчас воюют, — сказал я.

— Война скоро кончится, — ответила она, — и тогда это будет проще.

— Ага, а тебе будет проще говорить, что твой сын в Гарварде, а не в какой-то дыре, о которой они и слыхом не слышали, — вроде нашего университета. Они даже названия штата не слышали, в котором этот университет.

— Я забочусь только об одном, мальчик, — чтобы ты учился в приличном месте и имел приличных друзей. И опять-таки тебе будет проще приезжать ко мне на лето.

(Она поговаривала о новой поездке в Европу и была очень раздосадована войной. Граф отбыл довольно давно, еще до войны, и она снова собиралась за океан. За океан она съездила после войны, но новых графов не привезла. Возможно, она решила, что выходить за графов замуж слишком дорого. В следующий раз она вышла за Молодого Администратора.)

Ну, а я сказал ей, что не желаю учиться в приличном месте, не желаю приличных друзей, не намерен ехать в Европу и не намерен брать у нее никаких денег. Последнее замечание, насчет денег, вырвалось у меня горяча. Тут я, конечно, зарвался, но эффект настолько превзошел мои ожидания, что я уже не мог идти на попятный. Это был удар в солнечное сплетение. Он почти уложил ее. Надо полагать, что никто еще, одетый в брюки, с ней так не разговаривал. Она пыталась меня переубедить, но спесь во мне взыграла, и я уперся на своем. Сколько раз я проклинал себя за это в последующие четыре года. Я был официантом, печатал на машинке, а в последний год даже подрабатывал в газете — и все время думал о том, как выкинул чуть не пять тысяч долларов только из-за того, что прочел где-то в книжке, будто мужчине подобает самому зарабатывать на жизнь в колледже. Мать, конечно, присылала мне деньги. На рождество и на день рождения. Я брал их и устраивал большой загул с многодневной заправкой, а затем возвращался на работу в ресторан. В армию меня не взяли. Плоскостопие.

С войны он вернулся живчиком. Он был полковником артиллерии и прекрасно провел время. Он отправился туда достаточно рано, чтобы власть пострелять в немцев и поклоняться под их гостинцами. В испано-американской войне дело у него не пошло дальше дизентерии во Флориде. Зато теперь его счастье не имело границ. Он чувствовал, что все годы, проведенные за составлением карт кампаний Цезаря и строительством действующих моделей катапульта, баллист, скорпионов, диких ослов и таранов по средневековым образцам, не пропали даром. Они и не пропали — если говорить обо мне, — потому что в детстве я помогал их строить, и это были чудесные машинки. Для ребенка во всяком случае. Война тоже не пропала даром, потому что он посетил Ализ-Сент-Рен, где Цезарь разбил Верцингеторикса, и к концу лета, когда он вернулся домой, Фош и Цезарь, Першинг и Хейг, Верцингеторикс и Критогнат, и Кассивелава, и Людендорф, и Эдит Кейвел порядком перемешались у него в голове. Он достал все свои катапульты и скорпионы и принялся стирать с них пыль. Говорили, однако, что он показал себя хорошим офицером и храбрецом. В доказательство этого он мог предъявить медаль.

Помню, я долго относился с пренебрежением к героизму судьи — одно время была мода пренебрежительно относиться к героям, а я рос в это время. А может быть, все дело в том, что у меня нашли плоскостопие и я не попал ни в армию, ни даже в корпус высшей вневойсковой подготовки, когда учился в университете, — старая история с лисой и виноградом. Может быть, если бы я попал в армию, все пошло бы по-другому. Но судья был храбрым человеком, хоть и мог доказать это медалью. Он доказывал свою храбрость и до медали. И ему предстояло доказать ее вновь. Однажды, например, человек, которого он засудил в свое время, оставил его на улице и сказал, что убьет. Судья рассмеялся, повернулся к нему спиной и пошел дальше. Человек вытащил пистолет и окликнул судью два или три раза. Наконец судья оглянулся. Увидев, что человек целится в него из пистолета, он повернулся и, не говоря ни слова, пошел прямо на этого человека. Он подошел к нему и отнял пистолет. Что он делал на войне, он не рассказывал.

Пятнадцать лет спустя, в тот вечер, когда мы с матерью и Молодым Администратором пришли к нему в гости, он снова вытащил свои игрушки. Кроме нас, там была чета Паттонов, тоже обитателей набережной, и девица по фамилии Дьюмонд, приглашенная, как я понял, в мою честь, а также в честь судьи Ирвина и всех остальных. Валлиста, наверно, тоже была вытащена в мою честь, хотя он всегда проявлял склонность наставлять гостей в военном искусстве допороховой эры. Весь обед мы жевали былые дни, опять же в мою честь, ибо, когда ты приезжаешь в родной город, они выкапывают эту кость — былые дни. Былые дни перед самым десертом подошли к тому, как я, бывало, помогал ему строить модели. Поэтому он встал, вышел в библиотеку, вернулся с полуметровой баллистой, и, сдвинув в сторону свой десерт, поставил ее на стол. Потом он взвел ее, поворачивая ручку маленького барабана, оттягивающего тетиву, так, словно не мог сделать это одним движением пальца. Затем оказалось, что нечем стрелять. Он позвонил и велел негру принести булочку. Разломив булочку, он попытался скатать из мякиша

пульку. Пулька получилась неважная, поэтому он обмакнул ее в воду. Он зарядил баллисту.

— Вот, — сказал он, — она работает таким образом. — И тронул спуск.

Она сработала. Пулька была тяжелой от воды, а баллиста за эти годы не потеряла убойности, потому что в следующий миг в люстре что-то взорвалось, миссис Паттон вскрикнула, выронила изо рта мороженое на свой черный бархат, и осколки стекла дождем посыпались на стол и в большую вазу с камелиями. Судья залепил прямо в лампочку. Кроме того, он сбил хрустальную подвеску люстры. Судья сказал, что он очень виноват перед миссис Паттон. Он сказал, что он очень глупый старик и впал в детство, забавляясь со своими игрушками; после этого он сел в кресле очень прямо, и гости могли убедиться, что грудь и плечи у него не так сильно пострадали от времени. Миссис Паттон доедала оставшееся мороженое, перемежая эту деятельность подозрительными взглядами в сторону подлой баллисты. Затем все перешли в библиотеку, чтобы выпить кофе и коньяку.

Я же задержался на минуту в гостиной. Я сказал, что за эти годы баллиста не потеряла убойности. Но это было не точное утверждение. Она и не могла потерять. Я подошел к машине и осмотрел ее — из побуждений скорее сентиментальных, чем научных. Тут я обратил внимание на жгуты, от которых и зависит ее убойность. Во всех этих штуках — баллистах, некоторых типах катапульта, скорпионов и диких ослов — есть два жгута жил, в которые вставлены концы рычагов, связанных тетивой как бы в виде двух половинок лука и образующих вместе некий сверххарбалет. Мы жульничали, влетая в жгуты кетгута тонкие стальные струны для большей упругости. И вот, посмотрев на машину, я увидел, что жгуты в ней — совсем не те жгуты, которые я скручивал в прекрасные былые дни. Ни черта похожего. Они были совершенно новые.

И вдруг мне представилось, как по ночам в библиотеке судья Ирвин сидит у стола с проволочками, струнами, кетгутом, ножницами и плоскогубцами и, нагнув старую рыжую лобастую голову, разглядывает прищуренными желтыми глазами свое ремесло. И, вообразив себе эту картину, я почувствовал грусть и растерянность. Когда-то увлечение судьи этими игрушками не вызывало у меня никаких чувств — ни плохих, ни хороших. В детстве мне казалось естественным, что всякий человек в здравом уме хочет строить эти штуки, читать о них книжки и рисовать карты. Я и до нынешнего дня не видел ничего странного в том, что судья строил их раньше. Но теперь картина, возникшая перед моим мысленным взором, выглядела иначе. Я почувствовал грусть и растерянность, почувствовал себя в чем-то обманутым.

Я присоединился к гостям, навсегда оставив часть Джека Бёрдена в гостиной, у баллисты.

Они пили кофе. Все, кроме судьи, который откупоривал бутылку коньяка. Когда я вошел, он поднял голову и спросил:

— Рассматривал наш старый самострел, а?

Он сделал легкое ударение на слове «наш».

— Да, — ответил я.

Секунду его желтые глаза буравили меня, и я понял, что он догадался о моем открытии.

— Я починил ее, — сказал он и рассмеялся самым чистосердечным и обезоруживающим смехом. — На днях. Чего ты хочешь от старика — заняться нечем, поговорить не с кем. Нельзя же целый день читать юридические книги, историю и Диккенса. Или удить рыбу.

Я улыбнулся ему, ощущая необходимость отдать этой улыбкой дань чему-то, что я не смог бы определить вполне точно. Но я знал, что улыбка моя так же убедительна, как холодный куриный бульон в пансионе.

Затем я отошел от него и подсел к девушке Дьюмонд, приглашенной для моего удовольствия. Девушка была хорошенькая, темноволосая, со вкусом одетая, но чего-то ей не хватало; слишком хрупкая и оживленная, она все время старалась

заарканить вас своими жадными карими глазами, а затягивая петлю, хлопала ресницами и говорила то, чему ее научила мама десять лет назад:

— Мистер Бёрден, говорят, что вы занимаетесь политикой, — о, это, должно быть, так увлекательно.

Этому ее, несомненно, научила мать. Однако ей было уже под тридцать, а наука до сих пор не помогла. Но ресницы все еще не знали покоя.

— Нет, я не занимаюсь политикой, — сказал я. — Я просто служу.

— Расскажите мне о вашей службе, мистер Бёрден.

— Я мальчик на побегушках.

— Говорят, вы очень влиятельная особа, мистер Бёрден. Говорят, что вы — человек с большим весом. Это, должно быть, так увлекательно, мистер Бёрден. Пользоваться влиянием.

— В первый раз слышу, — сказала я и обнаружил, что все на меня смотрят так, словно я сижу на кушетке рядом с мисс Дьюмонд совершенно голый, с чашечкой кофе на колене.

Такова судьба человека. Всякий раз, когда вы налетаете на даму, подобную мисс Дьюмонд, и начинаете разговаривать с ней так, как приходится разговаривать с дамами, подобными мисс Дьюмонд, все поворачиваются и начинают вас слушать. Я увидел на лице судьи улыбку, полную, как мне показалось, злорадства. Затем он сказал:

— Не позволяйте себя обманывать, мисс Дьюмонд. Джек — очень влиятельная персона.

— Не сомневаюсь, — ответила мисс Дьюмонд, — это, должно быть, так увлекательно.

— Ладно, я — влиятельный. Есть у вас дружки в тюрьме, для которых я мог бы выхлопотать помилование? — сказал я и подумал: ну и манеры у тебя, Джек. Мог хотя бы улыбнуться, если уж хочешь так разговаривать. И я улыбнулся.

— Да, кое-кому не миновать тюрьмы, — вмешался старый м-р Паттон, — прежде чем все кончится. То, что происходит в городе. Весь этот...

— Джордж, — шепнула ему жена, но напрасно, потому что м-р Паттон был из породы грубоватых толстяков с кучей денег и мужественной прямоотой в речах.

Он продолжал:

— Да, сэр, весь этот сумасшедший дом. Человек разбазаривает наш штат. Это бесплатно, да то бесплатно, да се бесплатно. Скоро всякая деревенщина будет думать, что все на свете — бесплатно. А платить кто будет? Вот что я желаю знать. Что он об этом думает, Джек?

— А я его не спрашивал, — ответил я.

— Ну так спросите, — сказал м-р Паттон. — И спросите заодно, кто на этом наживается. Столько денег проходит через их руки — только не рассказывайте мне, что к ним ничего не прилипает. И спросите его, что он будет делать, когда его отдадут под суд. Скажите ему, что у штата есть конституция, вернее была, пока он не послал ее к чертям. Скажите ему.

— Скажу, — пообещал я и рассмеялся, и рассмеялся снова, представив себе, какое будет лицо у Вилли, если я ему это расскажу.

— Джордж, — сказал судья, — вы — старый ретроград. В наши дни правительство берет на себя такие функции, о каких мы с вами в молодости и не слышали. Мир меняется.

— Да, он уже так изменился, что один человек может прибрать к рукам целый штат. Дайте ему еще несколько лет, и его не скинешь никакими силами. Половину штата он купит, а другая половина вообще побойится голосовать. Шантаж, запугивание, бог знает что.

— Он крутой человек, — сказал судья, — и взялся за дело круто. Но одно он хорошо усвоил: лес рубят — щепки летят. Щепок эт него много, и, может быть, он срубит лес. Не забывайте, что верховный суд до сих пор поддерживал его по всем спорным вопросам.

— Еще бы, это его суд. С тех пор как он ввел туда Армстронга и Талбота. И речь идет о вопросах, которые были подняты. А как насчет тех, которые не были подняты? Поскольку люди боятся их поднять?

— Да, разговоров идет много, — спокойно сказал судья, — но мы, в сущности, мало знаем.

— Я одно знаю: он хочет задушить штат налогами, — сказал м-р Паттон, глядя злобно и ерзая в кресле. — Выжить отсюда всех предпринимателей. Он повысил арендную плату за угольные залежи. Нефтяные залежи. За...

— Да, Джордж, — засмеялся судья, — и хлопнул по нас с вами высоким подоходным налогом.

— Что касается положения с нефтью, — оживился Молодой Администратор, услышав священное имя этого минерала, — насколько я понимаю, положение...

Да, мисс Дьюмонд определенно открыла ворота загона, заговорив о политике, и теперь был лишь стук копыт да туча пыли, а я сидел на голой земле, прямо под ногами. Сначала я не видел в этом разговоре ничего странного. Но потом увидел. Ведь я в конце концов ходил в подручных у парня с хвостом и рожками, и это было — или стало теперь — великосветским событием. Я вдруг вспомнил об этом факте и сообразил, что дискуссия приняла странный характер. Потом я решил, что по сути дела ничего странного в ней нет. М-р Паттон, Молодой Администратор и миссис Паттон, которая от них не отставала, и даже судья — все они считали, что я, хоть и работаю у Вилли, душой — с ними. От Вилли мне просто перепадает кое-какая мелочь — может быть, даже много мелочи, — но сердце мое в Бёрденс-Лендинге, и у них нет от меня секретов, они знают, что я на них не обижусь. Пожалуй, они были правы. Пожалуй, мое сердце и было в Бёрденс-Лендинге. Пожалуй, я на них не обижался. Но, промолчав час и надыхавшись тонкими духами мисс Дьюмонд, я вмешался в разговор. Не помню, на каком месте я их прервал, да и неважно: разговор вертелся вокруг одного и того же. Я сказал:

— Нет ли тут простого объяснения? Если бы правительство штата за много лет сделало хоть что-нибудь для народа, разве смог бы Старк так легко прорваться наверх и прижать их всех к ногтю? Пришлось бы ему идти напролом, чтобы наверстать то, что могло быть сделано давным-давно, если бы кто-нибудь ударил палец о палец? Я предлагаю вам этот вопрос в качестве темы для дискуссии.

Полминуты не раздавалось ни звука. М-р Паттон надвигался на меня своим гранитным ликом, словно падающий монумент; подбородки миссис Паттон прыгали, как мешок с котятками; тихо шумели аденоиды Молодого Администратора; судья сидел, обводя собрание желтыми глазами; ладони матери поворачивались на коленях. Наконец она сказала:

— Ну, мальчик, я не думала, что... что ты так... к этому относишься!

— Да... э-э... нет, — сказал м-р Паттон, — я тоже не знал... э-э...

— Я говорю не о своем отношении. Я предлагаю вам тему для дискуссии.

— Дискуссии! Дискуссии! — взорвался м-р Паттон, придя в себя. — Меня не интересует, какое правительство было у штата в прошлом. Такого никогда не было. Никто еще не пытался прибрать к рукам целый штат. Никто еще...

— Это очень интересная тема, — сказал судья, потягивая коньяк.

И пошло, и пошло. Только мать сидела молча, поворачивая ладони на коленях, и свет камина взрывался в большом бриллианте, который был подарен отнюдь не Ученым Прокурором. Они не унимались, пока не настало время расходиться по домам.

— Кто такая эта мисс Дьюмонд? — спросил я у матери на другой день, когда мы сидели возле камина.

— Дочь сестры мистера Ортона, — ответила мать, — и его наследница.

— Ясно, — сказала я. — Надо подождать, пока она получит наследство, а потом жениться на ней и утопить ее в ванне.

— Не надо так говорить.

— Не бойся,— ответил я,— я с удовольствием утопил бы ее, но зачем мне ее деньги? Деньги меня вообще не интересуют. Иначе мне стоило бы только руку протянуть, чтобы получить десять тысяч. Двадцать тысяч. Я...

— Мальчик... мистер Паттон тут говорил... эти люди, с которыми ты связан... мальчик, держись подальше от их махинаций.

— Махинацией это называется тогда, когда человек, который это делает, не знает, какой вилкой что едят.

— Все равно, мальчик... эти люди...

— Эти люди, как ты их называешь,— я не знаю, что они делают. Я вообще стараюсь поменьше знать, кто что делает и когда.

— Мальчик, пожалуйста, не надо, не надо...

— Чего не надо?

— Не надо ввязываться... ну, ни во что.

— Я только сказал, что в любую минуту могу получить десять тысяч. Без всяких афер. За информацию. Информация — это деньги. Но говорю тебе, меня не интересуют деньги. Совершенно. И Вилли они не интересуют.

— Вилли? — повторила она.

— Хозяина. Хозяина деньги не интересуют.

— Что же его интересует?

— Его интересует Вилли. Очень просто и непосредственно. А если человек интересуется собой очень просто и непосредственно, так, как интересуется собой Вилли, то он называется гением. Только недоделанные Паттоны интересуются деньгами. Даже тузы, которые действительно умеют зарабатывать деньги, деньгами не интересуются. Генри Форда не интересуют деньги. Его интересует Генри Форд, и поэтому он — гений.

Она взяла меня за руку и серьезно сказала:

— Не надо, мальчик, не надо так говорить.

— Как — так?

— Когда ты так говоришь, я просто не знаю, что и думать. Просто не знаю. — Она смотрела на меня с мольбой, и оттого, что свет камина скользил по ее щеке, впадинка под скулой казалась глубже и голоднее. Свободной рукой она накрыла мою ладонь, которая покоилась в другой ее руке, а когда женщина делает такой сэндвич из вашей ладони — это означает прелюдию к чему-то. В данном случае вот к чему: — Мальчик... не пора ли тебе... не пора ли тебе остепениться? Почему ты не найдешь себе какую-нибудь славную девушку и...

— Я уже пробовал,— напомнил я. — А если ты хочешь свести меня с девушкой Дьюмонд, то это напрасный труд.

Ее чересчур блестящие глаза смотрели на меня напряженно, испытующе, как на далекий и непонятный еще предмет. Затем она сказала:

— Мальчик, знаешь, вчера вечером ты вел себя как-то странно... держался особняком... и потом этот твой тон...

— Ладно,— сказал я.

— Тебя как будто подменили, раньше ты таким не был, ты...

— Если я когда-нибудь стану таким, как раньше, я застрелюсь,— сказал я,— а если тебе было неловко за меня перед этими слабоумными Паттонами и слабоумной Дьюмонд — прошу прощения.

— Судья Ирвин... — начала она.

— Оставь его в покое,— перебил я. — Судья тут ни при чем.

— Мальчик! — воскликнула она. — Почему ты так себя ведешь? Мне не было неловко, но почему ты стал таким? Все из-за этих людей... из-за этой работы... почему ты не женишься, не подыщешь приличной работы — ведь и судья Ирвин и Теодор могли бы тебя...

Я вырвал свою руку из сэндвича и сказал:

— Мне ничего от них не нужно. Ни от кого не нужно. Мне не нужна семья, не нужна жена, не нужна другая работа, а что до денег...

— Мальчик! Мальчик. — сказала она, складывая руки на коленях.

— ...денег мне хватает тех, которые у меня есть. Кроме того, мне нечего беспокоиться о деньгах. У тебя их достаточно... — Я встал с кушетки, зажег сигарету и кинул обгорелую спичку в камин. — Достаточно, чтобы оставить и меня и Теодора вполне обеспеченными людьми.

Она не пошевелилась и ничего не сказала. Она только посмотрела на меня, и я увидел, что в глазах у нее слезы и что она любит меня, своего сына. И что Время ничего не значит, но что лицо с блестящими большими глазами — старое лицо. Кожа под впадинками на щеках и под блестящими глазами обвисла.

— Не думай, что мне нужны твои деньги, — сказал я.

Нерешительным, робким движением она взяла меня за правую руку — не за самую кисть, а за пальцы, и крепко их сжала.

— Мальчик, — сказала она, — ты ведь знаешь: все, что есть у меня, — твое. Разве ты не знаешь?

Я ничего не ответил.

— Разве ты не знаешь? — повторила она, держась за мои пальцы, словно за конец каната, который ей бросили в воду.

— Ладно, — услышал я свой голос и зашевелил пальцами, стараясь освободиться и чувствуя при этом, что сердце размякло и размокло у меня в груди, как снежок, когда его сдавишь в ладони. — Ты извини, что я так разговаривал, — сказал я. — Но, черт подери, зачем мы вообще разговариваем? Почему я не могу приехать домой на день или два и не открывать рта, не заводить с тобой никаких разговоров?

Она не ответила, но продолжала держать меня за пальцы. Я отнял их и сказал:

— Пойду наверх, приму ванну до обеда. — И двинулся к двери.

Я знал, что она не обернется и не посмотрит мне вслед, но, шагая по комнате, чувствовал себя так, словно за мной забыли опустить занавес и тысячи глаз смотрят мне в спину, а аплодисментов нет. Может, эти кретины не поняли, что пора хлопать.

Я поднялся по лестнице и лег в горячую ванну с ощущением, что все кончилось. Все кончилось еще раз. Я сяду в машину сразу после обеда и рвану в город по новому бетонному шоссе среди темных полей, покрытых полосами тумана, приеду в город к полуночи, поднимусь в свой номер, где нет ничего моего, где никто не знает моего имени и никто не скажет ни слова о том, как я жил и живу.

Лежа в ванной, я услышал шум автомобиля и понял, что это вернулся Молодой Администратор, что сейчас он откроет входную дверь и женщина с хрупкими прямыми красивыми плечами встанет с кушетки, быстро пойдет ему навстречу и поднесет ему свое старое лицо, как подарок.

И пусть он попробует не выразить благодарности.

Двумя часами позже я сидел в машине, Бёрденс-Лендинг и залив были позади, и дворники на ветровом стекле деловито отдувались и пощелкивали, словно какая-то машинка внутри вас, которую лучше не останавливать. Потому что опять шел дождь. Капли криво влетали из темноты в огонь моих фар, будто автомобиль раздвигал портьеру из блестящих металлических бисерин.

Нет одиночества полнее, чем в машине, ночью, под дождем. Я был в машине. И был рад этому. Между одной точкой на карте и другой точкой на карте лежит одиночество в машине под дождем. Говорят, что вы проявляетесь как личность только в общении с другими людьми. Если бы не было других людей, не было бы и вас, ибо то, что вы делаете — а это и есть вы, — приобретает смысл лишь в связи с другими людьми. Это очень утешительная мысль, если вы едете один в машине дождливой ночью, ибо вы уже не вы, а не будучи собой и вообще никем, можно откинуться на спинку и по-настоящему отдохнуть. Это отпуск от самого себя. И только ровный пульс мотора у вас под ногой, тянущего, словно паук, тонкую пряжу звука из своих металлических внутренностей, — только эта нематери-

альная нить, только этот волосок связывает того вас, которого вы оставили в одном месте, с тем, кем вы станете, прибыв в другое.

Стоило бы как-нибудь свести обоих этих вас на вечеринке. А то можно устроить семейную встречу со всеми вами и зажарить где-нибудь под деревом поросенка. Забавно будет послушать, что они скажут друг другу.

Но пока что ни одного из них нет, и я еду в машине, ночью, под дождем.

Вот почему я в машине: тридцать семь лет назад, в 1896 году, коренастый положительный человек лет сорока, в очках со стальной оправой и темном костюме — Ученый Прокурор — приехал в лесопромышленный городок южного Арканзаса, чтобы опросить свидетелей и провести расследование по крупному делу о лесоразработках. Городок, наверно, был неказистый. Деревянные домишки, пансион для инженеров и начальников, почта, магазин компании — все это растет прямо из красной глины, а вокруг насколько хватает глаз — пни, и вдалеке среди пней — корова, и визг пилы, как потревоженный нерв в глубине вашего мозга, и сырой, тошнотворно-сладкий запах опилок.

Я не видал этого городка. Нога моя вообще не ступала на землю штата Арканзас. Но мысленно я вижу этот городок. На крыльце магазина стоит девушка с тяжелыми желтыми косами, большими голубыми глазами и едва наметившимися нежными впадинками под скулами. Скажем, она одета в ситцевое платье салатного цвета, потому что салатный цвет свеж и к лицу светловолосой девушке, если она стоит на крыльце под утренним солнцем, слушая визг пил и глядя на плотного человека в темном, который осторожно пробирается по красной грязи, оставшейся от последнего весеннего ливня. Девушка стоит на крыльце магазина, потому что в магазине работает ее отец. Это все, что я знаю об ее отце.

Мужчина в темном костюме проводит здесь два месяца, занимаясь своими юридическими делами. Вечером, перед закатом, он и девушка гуляют по улице города, теперь уже пыльной, и идут дальше, туда, где пни. Я вижу, как они стоят на разоренной земле, а за ними вижу латунно-красный летний закат Арканзаса. Я не могу разобрать, о чем они говорят.

Закончив свои дела, мужчина уезжает из города и забирает девушку с собой. Он — добрый, наивный, застенчивый человек, и в поезде, сидя рядом с девушкой на красном плюшевом диване, он держит ее руку в своей неловко и осторожно, словно боясь разбить дорогую вещь.

Он приводит ее в большой белый дом, построенный его дедом. Перед домом — море. Это ново для нее. Каждый день она подолгу глядит на море. Иногда она выходит на берег и стоит там одна, глядя на воду, поднимающуюся к горизонту.

Я знаю, что это было — это стояние у моря, — потому что много лет спустя, когда я уже вырос, мать мне однажды сказала:

— Вначале, когда я сюда приехала, я подолгу стояла у ворот и смотрела на воду. Я могла стоять целыми часами, сама не знаю почему. Но это прошло. Это прошло задолго до того, как ты родился, мальчик.

Когда-то Ученый Прокурор поехал в Арканзас, а на крыльце магазина стояла девушка, и вот почему я был в машине, ночью, под дождем.

Я вошел в вестибюль моей гостиницы около полуночи. Портье поманил меня и дал номер телефона, по которому меня просили позвонить.

— Довели телефонистку до бесчувствия, — сказал он. Номер был незнакомый. — Велели попросить дамочку по фамилии Бёрк, — добавил портье.

Я не стал подниматься к себе в комнату и позвонил из будки в вестибюле.

— Гостиница «Маркхейм», — ответил бодрый голос.

Я попросил мисс Бёрк, и в трубке послышалось:

— Ну, слава богу, наконец-то. Я звонила в Бёрденс-Лендинг бог знает когда, и вас уже не было. Вы что, пешком шли?

— Я не Рафинад, — ответил я.

— Падно, давайте скорей сюда. Девятьсот пятый номер. Тут черт знает что творится.

Я аккуратно повесил трубку, подошел к портю, попросил его отдать мой чемодан коридорному, выпил стакан воды из фонтанчика, купил две пачки сигарет у сонной продавщицы в киоске, распечатал пачку, закурил и, глубоко затянувшись, окинул взглядом пустой вестибюль, словно меня нигде не ждали.

Но меня ждали. И я поехал туда. Быстро, раз уж поехал.

Сэди сидела в холле номера 905 возле телефона и пепельницы, полной окурков; вокруг ее обкромсанных черных волос витал дым.

— Ну,— сказала она из-за дымовой завесы тоном надзирательницы дома для заблудших девиц, но я не отозвался.

Я подошел прямо к ней, минуя очертания Рафинада, храпевшего в кресле, сгреб в горсть черные ирландские лохмы, чтобы откинуть ей голову, и чмокнул ее в лоб, прежде чем она успела послать меня к черту.

Что она и сделала.

— Вы и не подозреваете, почему я так поступил,— сказал я.

— Мне все равно, лишь бы это не вошло у вас в привычку.

— Это не относилось лично к вам,— объяснил я.— Я это сделал потому, что ваша фамилия не Дьюмонд.

— А из вас сделают котлету, если вы сейчас же не явитесь туда.— Она кивнула головой на дверь.

— А может, я хочу уволиться,— сказал я по-прежнему игриво, и вдруг, словно вспышка магния, в голове у меня сверкнула мысль, что, может, я и вправду хочу.

Сэди собиралась мне что-то сказать, но тут зазвонил телефон, и, кинувшись на него так, словно она хотела его удушить, Сэди сорвала трубку.

По дороге к двери в смежную комнату я услышал, как она говорит:

— Ага, поймали? Везите его в город, прямо к нам... Черт с ней, с женой... Скажите ему, что он хуже нее заболел, если не явится... Да, скажите...

Затем я постучал в дверь и, услышав голос, вошел.

Хозяин, без пиджака, сидел, завалившись в кресле и положив ноги в носках на стул; галстук его свесился набок, глаза были выпучены, а указательный палец вытянут вперед, как кнутовище. Потом я увидел, с чего сшибал бы мух кнут, если бы палец Хозяина был кнутовищем: передо мной стоял Байрам Б. Уайт, ревизор штата, его длинное тощее парафиновое лицо выделяло нездоровые капельки пота, а его глаза протянулись ко мне и уцепились за меня, как за последнюю надежду.

Я понял, что помешал разговору.

— Извините,— сказал я и попятился к двери.

— Закрой дверь и сядь,— приказал Хозяин и, взмахнув кнутовищем, без всякого перехода в голосе закончил фразу, прерванную моим появлением: —...и заруби себе на носу, что тебе не положено быть богатым. Такому человеку, как ты, на шестом десятке, с язвой желудка, с чужими зубами и без гроша всю жизнь — если бы господь-бог собирался сделать тебя богатым, то давно бы сделал. Да ты погляди на себя, черт возьми! Это же чистое кощунство — думать, будто ты можешь сделаться богатым. Погляди на себя. Разве не кощунство?— И указательный палец направился на Байрама Б. Уайта.

М-р Уайт не ответил. Он стоял и горестно смотрел на палец.

— Ты что, язык проглотил, мать твою за ногу?— спросил Хозяин.— Не можешь ответить на простой вопрос?

— Да,— выдохнул м-р Уайт, едва шевеля серыми губами.

— Отвечай, не мямли, повтори: «Да, кощунство, это гнусное кощунство»,— требовал он, наставив на м-ра Уайта палец.

Губы м-ра Уайта посерели еще больше, и, хотя в голосе его не было металла, он повторил. Слово в слово.

— Так, это уже лучше,— сказал Хозяин.— Теперь ты знаешь, что тебе полагается делать. Тебе полагается быть бедным и послушным. Твое целомудрие меня не интересует, судя по твоему виду, на него никто не покушается — я говорю

о бедности и послушании, и запомни это. Особенно последнее. Время от времени кое-какая мелочь может приплыть тебе в руки, но за этим присмотрит Дафи. Никакого частного предпринимательства, понял? Никаких персональных Клондайков здесь не будет. Ты понял меня? Отвечай!

— Да, — ответил м-р Уайт.

— Громче! Говори: «Я вас понял».

Он проговорил. Громче.

— Ладно, — сказал Хозяин. — Я не отдам тебя под суд, прекращу это дело. Но не думай, что из любви к тебе. Просто я не хочу, чтобы эти ребята решили, будто они могут кого-то съесть. Мои мотивы ясны?

— Да, — сказал м-р Уайт.

— Так, теперь сядь за стол. — Хозяин указал на письменный столик, на котором стоял телефон и чернильный прибор. — Вынь из ящика лист бумаги и возьми ручку в руку.

М-р Уайт призраком скользнул по комнате и сел за стол, сделавшись вдруг удивительно маленьким, словно джинн, уходящий в бутылку; он скрючился и вжался в стул, будто хотел вновь принять утробное положение, спрятаться в темноте, где ему было когда-то так тепло и уютно. Но Хозяин говорил:

— Теперь пиши, что я скажу. — И он начал диктовать: — «Дорогой губернатор Старк, в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, которое не позволяет мне добросовестно выполнять...» — Тут Хозяин остановился и сказал: — Ты написал добросовестно? Не вздумай пропустить. — Затем деловито продолжал: — «...обязанности ревизора... прошу освободить меня от занимаемой должности в ближайшее удобное для Вас время». — Он взглянул на сгорбленную фигуру и добавил: — «Уважающий Вас...»

Наступила тишина, только перо царапало по бумаге и наконец замерло. Но узкая лысая голова м-ра Уайта не поднималась от стола, словно он был близорук, или молился, или просто потерял ту косточку от затылка, которая держит голову прямо.

Хозяин осмотрел его спину и склоненную голову. Потом спросил:

— Ты подписал?

— Нет, — сказал голос.

— Так подписывай, черт возьми! — И когда перо перестало царапать бумагу, Хозяин добавил: — Числа не ставь. Я сам поставлю, когда захочу.

Голова м-ра Уайта не поднималась. С моего места мне было видно, что его пальцы еще держат ручку, а перо так и остановилось на последней букве его фамилии.

— Давай сюда, — сказал Хозяин.

М-р Уайт встал, повернулся, и я заглянул в его опущенное лицо, чтобы увидеть там то, что там можно было увидеть. Во взгляде, скользнувшем мимо меня, не было мольбы. В нем не было ничего. Глаза были пустые и окоченелые, как серые устрицы на половинках раковин.

Он протянул листок Хозяину, тот прочел его, сложил и бросил в ноги кровати, возле которой сидел.

— Да, — сказал он, — я поставлю число, когда понадобится. Если понадобится. Все зависит от тебя. Знаешь, Уайт, сам не могу понять, почему я сразу не взял у тебя такого заявления об отставке, без даты. У меня их целая пачка. Но тебя я не раскусил. Я увидел тебя в первый раз и подумал: чепуха, старикашка совсем безвредный. Такой забитый. Я думал, ты сам понимаешь, что господь не собирался сделать тебя богатым. Чепуха, подумал я, в нем не больше пороха, чем в мокрой тряпке на полу ванной в пансионе для старых дев. Я был не прав, Уайт, могу в этом признаться. Пятидесяти лет от роду — и все пятьдесят лет ты ждал своего часа. Ждал праздника на своей улице. Приберегал закваску, как малосильный к свадебной ночи. Ждал своего часа, и вот он пришел, и все должно было пойти по-другому. Но, — он снова наставил указательный палец на м-ра

Уайта,— ты просчитался, Байрам. Твой час не пришел. И не придет никогда. К таким, как ты, он не приходит. А теперь — убирайся!

М-р Уайт убрался. Исчезновение произошло почти беззвучно: секунду назад он был здесь — и вот уже его нет. Осталось только пустое место, занятое прежде пустым местом по имени Байрам Б. Уайт.

— Ну,— сказал я Хозяину,— ты, я вижу, повеселился.

— А, черт,— ответил он,— у них глаза такие, что ты не можешь разговаривать по-другому. Он холуй, этот Уайт, у него на лице написано, с ним просто невозможно обращаться по-другому.

— Да,— сказал я,— в эту чашу можно плевать всю жизнь, и она не переполнится.

— А кто ему велел терпеть?— угрюмо отозвался Хозяин.— Кто ему велел? Кто ему велел писать под диктовку? Кто ему велел меня слушать? Он мог уйти и хлопнуть дверью. Мог поставить число на этом заявлении. Мог сделать что угодно. Но сделал он? Нет, черт подери. Нет, он будет стоять, и моргать глазами, и жаться к ноге, как собака, когда ее хочешь ударить. Честное слово, кажется, если его не ударишь, то пойдешь против воли божьей. И бьешь — просто помогаешь Байраму выполнить свое предназначение.

— Мое дело, конечно, сторона,— сказал я,— но из-за чего шум?

— Ты газет не читал?

— Нет. Я был в отпуске.

— И Сэди тебе не сказала?

— Я только что приехал,— ответил я.

— Уайт, видишь ли, придумал план, как стать богатым. Снюхался с компанией по торговле недвижимостью, а потом с Хемилом из бюро земельных налогов. Все бы хорошо, но они не хотели ни с кем делиться, а кто-то обиделся, что его не взяли в долю, и накапал ребятам Мак Мерфи из Законодательного собрания. И если я доберусь до того, кто это сделал...

— Что сделал?

— Накапал людям Мак Мерфи. Должен был пойти к Дафи. Все знают, что жалобы рассматривает он. Теперь против него возбуждено дело.

— Против кого?

— Уайта.

— А что с Хемилом?

— Переехал на Кубу. Знаешь, климат мягче. И, судя по газетам, времени не терял. Сегодня утром там был Дафи — Хемил успел на поезд. Но на руках у нас дело Уайта.

— Вряд ли они чего-нибудь добьются.

— А они и не попробуют добиваться. Тут только позволь начать — и неизвестно, что из этого выйдет. Сейчас самое время прижать их к ногтю. Мои ребята собирают всех нытиков и ненадежных и свозят сюда. Сэди с утра сидит на телефоне — следит за новостями. Кое-кто из пташек попрыгался — почуяли, что пахнет жареным,— но ребята их достанут из-под земли. Трое уже побывали здесь, и мы их взяли в работу. У нас на всех на них кое-что припасено. Ты бы посмотрел на Джефа Хопкинса, когда он узнал, что мне известно о том, как его папаша подторговывает спиртным в своей захудалой аптечке в Толмадже, а потом подделывает рецепты для отчета. Или на Мартена, когда он узнал, что мне известно, что банк в Окалусе держит закладную на его дом, которая кончается через пять недель. Ну,— и Хозяин самодовольно зашевелил пальцами в носках,— я им успокоил нервы. Старое лекарство, но оно еще действует.

— А что от меня требуется?

— Поезжай завтра к Симу Хармону и постарайся вправить ему мозги.

— Больше ничего?

Прежде чем он успел ответить, Сэди просунула голову в дверь и сказала, что ребята доставили Уидерспуна, который был представителем северной окраины штата.

— Посадите его в соседнюю комнату, пусть дойдет.— И когда голова Сэди скрылась, он повернулся, чтобы ответить на мой вопрос:— Нет, только до отъезда дай мне все, что у тебя есть на Эла Койла. Ребята вот-вот найдут его, а я хочу подготовиться к разговору.

— Ладно,— сказал я и поднялся.

Он посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Мне показалось, что он даже подбирает слова, и я подождал, стоя возле своего стула. Но тут высунулась Сэди.

— Тебя хочет видеть мистер Милер,— произнесла она тоном, не обещающим ничего приятного.

— Зови,— сказал Хозяин, и я увидел, что он уже забыл, о чем хотел говорить со мной и сейчас на уме у него совсем другое. Хью Милер — юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайета, Croix de Guerre, честное сердце, чистые руки, генеральный прокурор — вот кто был у него на уме.

— Ему это не понравится,— сказал я.

— Да,— отозвался он,— не понравится.

А в дверях уже стоял высокий, худой, сутуловатый человек со смуглым лицом и черными нечесаными волосами, чернобровый, с грустными глазами и значком Фи-Бета-Каппа¹ на мятом синем пиджаке. С секунду он стоял там, мигая грустными глазами, словно вышел из темноты на яркий свет или по ошибке попал не в ту дверь. Что и говорить — не такие люди появлялись теперь в этой двери.

Хозяин поднялся и зашлепал по комнате в носках, протягивая руку:

— Привет, Хью.

Хью Милер пожал ему руку, вошел в комнату, а я начал пробираться к двери. Но тут я встретился взглядом с Хозяином, и он коротко кивнул мне на стул. Тогда я тоже пожал руку Хью Милеру и вернулся на свое место.

— Присаживайтесь,— сказал Хозяин Милеру.

— Нет, спасибо, Вилли,— медленно и торжественно отвечал тот.— А вы садитесь, Вилли.

Хозяин упал в свое кресло, снова задрал ноги и спросил:

— Что там у вас?

— Думаю, что вы сами знаете,— ответил Хью Милер.

— Думаю, что да,— сказал Хозяин.

— Вы пытаетесь спасти Уайта, так ведь?

— Плевал я на Уайта,— сказал Хозяин.— Я спасаю кое-что другое.

— Он виновен.

— На все сто,— весело согласился Хозяин.— Если понятие виновности применимо к такому предмету, как Байрам Б. Уайт.

— Он виновен,— сказал Хью Милер.

— Господи, вы говорите так, как будто Байрам — человек! Он вещь! Вы не судите арифмометр, если в нем соскочила пружинка и он начал врать. Вы его чините. Я и починил Байрама. Я его так починил, что его праправнуки намочат в штаны в годовщину этого дня и сами не поймут почему. Говорю вам, это будет шок в генах. Байрам — это вещь, которой вы пользуетесь, с сегодняшнего дня от нее будет польза, можете поверить.

— Все это прекрасно, Вилли, но суть в том, что вы спасаете Уайта.

— Плевать мне на Уайта,— ответил Хозяин.— Я не его спасаю. Нельзя, чтобы шайка Мак Мерфи в Законодательном собрании решила, что такие номера сойдут ей с рук,— тогда с ней сладу не будет. Вы думаете, им нравится то, что мы делаем? Налог на добычу полезных ископаемых? Повышение аренды за разработку недр? Подоходный налог? Программа дорожного строительства? Законопроект о здравоохранении?

— Нет,— признал Хью Милер.— Вернее, не нравится тем, кто стоит за спиной Мак Мерфи.

¹ Старейшее в США студенческое общество.

— А вам нравится?

— Да, — сказал Хью Милер. — Это мне нравится. Но мне не нравится то, что иногда сопутствует этому.

— Хью, — сказал Хозяин и улыбнулся, — беда ваша в том, что вы юрист. Юрист до мозга костей.

— Вы тоже юрист, — возразил Хью Милер.

— Нет, — поправил Хозяин, — я не юрист. Я знаю право. Даже хорошо знаю. Я зарабатывал этим на хлеб. Но я не юрист. Поэтому-то я и понимаю, что такое право. Право — это узкое одеяло на двуспальной кровати, когда ночь холодная, а на кровати трое. Одеяла не хватит, сколько его ни тащи и ни натягивай, и кому-то с краю не миновать воспаления легких. Черт возьми, законы — это штаны, купленные мальчишке в прошлом году, а у нас всегда нынешний год, и штаны лопаются по шву — и щиколотки наружу. Законы всегда тесны и коротки для подрастающего человечества. В лучшем случае ты можешь что-то сделать, а потом сочинить подходящий к этому случаю закон, но к тому времени, как он попадет в книги, тебе уже нужен новый. Вы думаете, половина того, что я сделал, записана в конституции штата?

— Верховный суд постановил... — начал Хью Милер.

— Да, они постановили, потому что я посадил их туда, и они поняли, что от них требуется. Половины того, что я сделал, не было в конституции, а теперь есть. А как это туда попало? А очень просто: кто-то взял и вставил.

Кровь прилила к лицу Хью Милера, и он начал подергивать головой — тихо, едва заметно, словно медлительное животное, когда ему досаждают муха. Наконец он произнес:

— В конституции ничего не сказано о том, что Байрам Уайт может безнаказанно совершить уголовное преступление.

— Хью, — мягко начал Хозяин, — неужели вы не понимаете, что сам по себе Байрам ничего не значит? В этой ситуации. У них одна цель — свалить нынешнюю администрацию. Байрам их не интересует — разве лишь в той мере, в какой человеку вообще ненавистна мысль, что кто-то другой набивает карман, а ты нет. Их одно интересует — поломать все, что сделала нынешняя администрация. И сейчас самая пора поставить их на место. Когда начинаешь работать, — он выпрямился в кресле, оперся на ручки и приблизил лицо к Хью Милеру, — приходится работать с теми, кто у тебя есть. Приходится работать с такими, как Байрам, Крошка Дафи и эта мразь из Законодательного собрания. Ты не слепишь кирпичей без соломы, а солома твоя — по большей части прелая солома, из коровьей подстилки. И если ты думаешь, что можно работать по-другому, ты спятил.

Хью Милер слегка распрямил плечи. Он смотрел не на Хозяина, а на стену за его спиной.

— Я уйду в отставку с поста генерального прокурора, — сказал он. — Вы получите мое заявление утром с посылным.

— Вы долго собирались это сделать, — сказал Хозяин мягко. — Долго, Хью. Почему вы так долго собирались?

Хью Милер не ответил, но и не перевел взгляда со стены на лицо Хозяина.

— Я вам скажу, Хью, — продолжал Хозяин. — Вы пятнадцать лет сидели в своей адвокатской конторе и смотрели, как сукины дети протирают здесь штаны и ничего не делают, а богатые богатеют и бедные беднеют. Потом пришел я, сунул вам в руку дубину и шепнул на ушко: «Хотите их раздраконить?» И вы их раздраконили. Вы отвели душу. От них только пух летел. Вы посадили девять хапуг — из тех, кто играет по маленькой. Но тех, кто стоял за ними, вы не тронули. Закон для этого не приспособлен. Все, что вы можете, — это отогнать их от правительства и не подпускать к нему. Любым способом. И в душе вы это знаете. Вы хотите сохранить свои гарвардские руки в чистоте, но в душе вы знаете, что я говорю правду, вам надо просто, чтобы марался кто-то другой. Вы знаете, что вы дезертируете, подавая в отставку. Вот почему, — сказал он еще

мягче прежнего и наклонился вперед, заглядывая в глаза Хью Милеру, — вы так долго собирались это сделать. Выйти из игры.

С полминуты Хью Милер смотрел сверху на поднятое мясистое лицо с выпуклыми немигающими глазами. Собственное его лицо омрачилось, стало озадаченным, словно он пытался что-то прочесть, и не то свет был тусклым, не то написано было на языке, который он плохо знал. Потом он сказал:

— Мое решение — окончательное.

— Я знаю, что окончательное, — сказал Хозяин. — Я знаю, что не смогу вас переубедить, Хью. — Он встал с кресла, поддернул брюки привычным движением человека, полнеющего в талии, и зашлепал в носках к Хью Милеру. — Очень жалко, — сказал он. — Мы с вами хорошая пара. Ваши мозги и мой напор.

На лице Хью Милера появилось слабое подобие улыбки.

— Расстаемся приятелями? — сказал Хозяин и протянул руку.

Хью Милер пожал ее.

— Если вы не бросили пить, может, зайдете как-нибудь, выпьем? — сказал Хозяин. — Я не буду говорить о политике.

— Хорошо, — сказал Хью Милер и повернулся к двери.

Он почти подошел к ней, когда Хозяин его окликнул. Хью Милер обернулся.

— Хью, вы бросаете меня одного, — сказал Хозяин с полушутливой скорбью, — с сукиными детьми. Моими и чужими.

Хью Милер улыбнулся натянуто и смущенно, покачал головой, сказал: «Да-а... Вилли...», умолк, так и не досказав того, что начал, — и юридического факультета Гарварда, эскадрильи Лафайета, Croix de Guerre, чистых рук, честного сердца больше не было с нами.

Хозяин опустился на кровать, закинул левую щиколотку на правое колено и, задумчиво почесывая ступню, как фермер, разувшийся перед сном, посмотрел на закрытую дверь.

— С сукиными детьми, — повторил он и уронил левую ногу на пол, не переставая смотреть на дверь.

Я снова встал. Это была моя третья попытка выбраться отсюда и вернуться в гостиницу, чтобы поспать. Хозяин мог не ложиться всю ночь, несколько ночей подряд, на нем это никак не сказывалось, но для сотрудников было сущим проклятьем. Я опять двинулся к двери, но Хозяин перевел взгляд на меня, и я понял, что будет разговор. Поэтому я остановился и стал ждать, а глаза Хозяина ощупывали мое лицо и пытались проникнуть в серое вещество моего мозга, словно концы пинцета.

Наконец он сказал:

— По-твоему, надо было отдать Уайта на растерзание?

— Ну и время ты выбрал задавать такие вопросы.

— По-твоему, надо?

— На до — смешное слово, — сказал я. — Если ты спрашиваешь, надо ли для победы, — на это ответит будущее. Если ты спрашиваешь, надо ли, чтобы быть правым, на это тебе никто и никогда не ответит.

— А ты как думаешь?

— Думать — не моя специальность, — сказал я. — И тебе я тоже советую не думать, поскольку ты и так прекрасно знаешь, что ты намерен делать. Ты намерен делать то, что делаешь.

— Люси собирается уйти от меня, — сказал он спокойно, словно в ответ на мои слова.

— Что за черт! — сказал я с искренним изумлением, ибо давно занес Люси в разряд долготерпеливых, на чью грудь проливаются в конце концов слезы раскаяния. В конце концов и не ранее того. Я невольно перевел взгляд на закрытую дверь, за которой сидела Сэди Бёрк с ее черными, как вар, глазами, рябым лицом и буйными обкромсанными волосами, в которых, словно утренний туман в сосновой чаще, запутался дым.

Он поймал мой взгляд.

— Нет,— сказал он,— не это.

— Да? По обычным понятиям и этого было бы достаточно.

— Она не знает. Насколько я знаю.

— Она — женщина,— сказал я,— они это чувствуют...

— Не в этом дело,— ответил он.— Она сказала, что, если я заступлюсь за Байрама, она уйдет.

— Похоже, что все хотят распоряжаться твоими делами вместо тебя.

— Проклятье!— сказал он и, вскочив с кровати, в ярости заходил по ковру — четыре шага, поворот, четыре шага обратно,— и, глядя на это хождение, на тяжелые взмахи головы при поворотах, я вспомнил те ночи в бедных гостиницах, когда его шаги доносились до меня из соседней комнаты, те времена, когда Хозяин был еще Вилли Старком, а Вилли Старк был растяпой с ученическими речами, полными фактов и цифр, и с вывеской «дай мне пинка» под хлястиком.

Теперь я видел воочию это тяжелое безостановочное движение, которое слышалось прежде за тонкими перегородками в соседних комнатных гостиницах. Но теперь оно вышло из пределов комнаты. Теперь он рыскал по вельду.

— Проклятье! — повторил он.— Они ничего об этом не знают, ничего не смыслят, и объяснить им невозможно.— Он прошелся еще два раза взад и вперед и повторил:— Ничего не смыслят.— Потом он снова повернул, прошел по ковру, остановился, вытянул шею ко мне:— Ты знаешь, что я сделаю? Как только переломлю кости этой шайке?

— Нет,— сказал я,— не знаю.

— Я построю громаднейшую, роскошнейшую, никелированнейшую, формалинно-вонючейшую бесплатную больницу и медицинский центр, каких еще свет не видывал. И клянусь тебе, в каждой комнате будет по клетке с канарейками, которые умеют петь итальянские арии, и не будет няньки, которая не победила бы на конкурсе красоты в Атлантик-Сити, и каждое судно будет из золота семьдесят шестой пробы, и в каждом будет музыкальный ящик и будет играть «Индюшк в соломе» или секстет из «Люцини» — выбирай на вкус.

— Замечательно,— сказал я.

— Я ее построю,— сказал он.— Ты мне не веришь, но я построю.

— Я верю каждому твоему слову,— ответил я.

Я падал с ног — так мне хотелось спать. Я раскачивался с носков на пятки и видел сквозь туман, как он мечется по комнате, поворачивается и мотает большой головой с упавшим на глаза чубом.

Тогда мне казалось необъяснимым, почему Люси давно не упаковала свои чемоданы. Я удивлялся, как она может не знать о том, что почти ни для кого не было секретом. Когда это началось, я не знаю. Но когда я об этом узнал, все уже было в полном разгаре. Месяцев через шесть или восемь после того, как его выбрали губернатором, Хозяин поехал в Чикаго по кое-каким частным делишкам и взял меня с собой. С городом нас познакомил Джош Конклин — человек, для этого самый подходящий, большой дородный мужчина, рано поседевший, краснолицый, с черными кустистыми бровями, во фраке, который сидел на нем, как корсет, с квартирой, похожей на кинодекорацию, и записной книжкой в два пальца толщиной. Он не был золотым парнем, но хорошей имитацией — безусловно, а это зачастую еще лучше, потому что золотой парень может утомиться, а имитатор не имеет права, он все время должен доказывать, что в нем хоть на золотник, да больше золота, чем в просто золотом парне. Он повел нас в ночной клуб, где на полу развернули рулон чистой воды льда и под комнатными сплохами на настоящих коньках выехали «северные нимфы» в серебряных лифчиках, с серебряной бахромой на бедрах — и кружились, и скакали, и раскачивались, и вскидывали ноги под музыку, а коньки сверкали, и белые колени сверкали, и белые руки извивались в голубом свете, а маленькие сдвоенные упруго-мягкие полоски мускулов на голых спинах ездил и работали в изумительно согласном движении,

а то, что под лифчиками, дрожало в такт, и девственные распущенные серебряные шведские волосы плавали и развевались в воздухе.

Мальчика из Мейзон-Сити разобрало — он в жизни не видел другого льда, кроме инея на лошадиных яслях.

— Ух ты,— произнес мальчик из Мейзон-Сити в откровенном восхищении. И опять:— Ух ты,— глотая с усилием, словно в горле у него застрял кусок чертовой кукурузной лепешки.

Представление окончилось, и Джош Конклин вежливо осведомился:

— Вам понравилось, губернатор?

— Ничего катаются,— ответил губернатор.

Потом одна из нимф со шведскими волосами появилась из своей уборной без коньков, в серебряном плаще, накинутом на голые плечи, и подошла к нашему столику. Она оказалась подругой Джоша Конклина, и такую подругу приятно иметь, даже если волосы ее не из Швеции, а из аптеки. У нее была подруга в труппе, она позвала ее, и подруга быстро подружилась с губернатором, который на все остальное время нашего пребывания в Чикаго стал для меня практически недостижим, если не считать ежевечерних посещений клуба, где происходили танцы на льду. Там он сидел, наблюдая за теловращением и заглывая сухую кукурузную лепешку, застрявшую у него в горле. Потом, когда кончился последний номер, он говорил: «Спокойной ночи, Джек» — и вместе с подругой подруги Джоша Конклина уходил в ночь.

Люси, по-моему, так и не узнала о фигуристках, а Сэди узнала. Ибо у Сэди имелись каналы связи, недоступные домашним хозяйкам. Когда мы с Хозяином вернулись домой и «северные нимфы» стали всего лишь приятным воспоминанием, мягким сладким пятнышком на сердце, как ямка на боку побитой дыни, Сэди подняла великий ирландский содом. В то утро, когда мы с Хозяином прибыли в город и я стоял в его приемной, болтая с молоденькой секретаршей, которая сообщала мне последние сплетни, из его кабинета донесся грохот. Я услышал шум, как будто кто-то хлопнул книгой по столу, и потом голос — голос Сэди.

— Скажите, что тут происходит?— спросил я у секретарши.

— Сначала вы скажите, что происходило в Чикаго.

— А-а,— простодушно воскликнул я,— вон оно что!

— А-а,— передразнила она,— оно самое.

Я ретировался в свою комнату, дверь которой выходила в приемную. Я еще стоял на пороге, не успев закрыть дверь, когда из кабинета Хозяина вылетела Сэди — так, как, должно быть, выскакивали большие кошки из клетки в дальнем конце арены, чтобы броситься на христианского мученика. Ее волосы развевались, а лицо, совершенно белое, походило из-за оспин на выщербленный гипс — скажем, на алебастровую маску Медузы, служившую какому-нибудь мальчишке мишенью для духового ружья. Но посреди алебастровой маски происходило явление, не имевшее ничего общего с алебастром, — ее глаза, и они были как двойное бедствие, как черный взрыв, как пожар. Она неслась на всех парах — вот-вот взорвется, — и было слышно, как трещит по швам ее юбка.

Потом она заметила меня, не сбавляя хода, завернула ко мне в комнату и захлопнула за собой дверь.

— Сукин сын,— проговорила она, тяжело дыша и сверкая глазами.

— Я ни в чем не виноват,— сказал я.

— Сукин сын,— повторила она, не сводя с меня глаз,— я его убью, клянусь богом, я убью его.

— Вижу, вы чем-то озабочены,— сказал я.

— Я его уничтожу, выживу из штата, клянусь богом. Сукин сын, обманывать меня после всего, что я для него сделала. Слушайте,— сказала она, схватила меня своими сильными руками за лацканы и потрянула. (Руки у нее были широкие, сильные и жесткие, как у мужчины.) — Слушайте...

— Душить меня не обязательно,— сварливо запротестовал я,— а слушать вас я не хочу. Я и так знаю черт знает сколько лишнего.

Я не шутил. Я не хотел ее слушать. Мир был полон вещей, о которых я не желал знать.

— Слушайте, — она опять тряхнула меня, — кто сделал из этой свиньи человека? Кто его сделал губернатором? Кто подобрал его, когда он был первым растяпой страны, и сделал ему карьеру? Кто вел всю его игру, ход за ходом, чтобы он не проиграл?

— По-видимому, вы хотите, чтобы я сказал, что это сделали вы.

— Да, я, — подтвердила она, — и в награду за все этот двуличный...

— Нет, — возразил я, пытаюсь освободить лацканы из ее клешней, — о двуличии могла бы говорить Люси, а вам тут нужна какая-то другая арифметика. Не знаю только, умножать или делить надо в подобных случаях.

— Люси! — крикнула она, кривя губы. — Люси — дура. Если бы она могла поставить на своем, он пас бы теперь свиней в Мейзон-Сити, и он это знает. Он знает, что бы она из него сделала. Если бы он ее слушался. У нее была возможность, она... — Сэди остановилась, чтобы перевести дух, но было ясно, какие слова горят у нее в мозгу, пока она ловит ртом воздух.

— Я вижу, вы думаете, что время Люси истекает, — сказал я.

— Люси, — произнесла она и замолчала, но тон ее выразил все, что следовало сказать о Люси, которая была деревенской девушкой, ходила в заштатный баптистский колледж, где верили в бога, учила белобрысых сопляков в школе округа Мейзон, вышла за Вилли Старка, родила ему ребенка и прозвала свое счастье. Потом Сэди добавила тихо и с какой-то мрачной деловитостью: — Вот увидите, он ее вытурит, сукин сын.

— Вам лучше знать, — ответил я просто потому, что не мог устоять перед логикой этого вывода; но не успел я кончить фразу, как она дала мне пощечину. На что вы и спрашиваетесь, когда лезете в чужие дела, частные и общественные.

— Вы попали не по адресу, — сказал я, трогая щеку и отступая на шаг от жара, потому что она была на грани воспламенения, — не я герой этой пьесы.

Вдруг весь ее пыл погас. Она как будто оцепенела в своем мешковатом костюме. Я увидел, как во внутренних уголках ее глаз собираются слезы, собираются очень медленно, набухают и обе одновременно с правильностью крохотных заводных игрушек ползут вниз по обе стороны от ее рябоватого носа и разливаются по жирному темному пятну губной помады. Я увидел, как высунулся кончик языка и осторожно прошелся по верхней губе, словно пробуя вкус соли.

Она все время смотрела мне в лицо, точно надеялась, что если будет смотреть достаточно упорно, то прочтет в нем какой-то ответ.

Потом она прошла мимо меня к стене, где висело зеркало, и стала в него смотреть, близко придвинув лицо к стеклу и слегка поворачивая из стороны в сторону. Ее отражения я не видел — только затылок.

— Какая она из себя? — спросила она надменно и бесстрашно.

— Кто? — спросил я, искренне недоумеваю.

— В Чикаго, — сказала она.

— Нормальная потаскушка, — ответил я, — с фальшивыми шведскими волосами на голове, с коньками на ногах и почти без ничего в промежутке.

— Хорошенькая? — произнес высокомерный бесстрастный голос.

— Черт, — сказал я, — я ее не узнаю, если встречу завтра на улице.

— Она была хорошенькая? — повторил голос.

— Да почему я знаю, — проворчал я, — в той обстановке, в которой она зарабатывает свой хлеб, просто не успеваешь заметить, какое у нее лицо.

— Она была хорошенькая?

— Да забудьте вы о ней, Христа ради, — взмолился я.

Она повернулась и пошла на меня, держа руки примерно на уровне подбородка, слегка согнув пальцы, но не касаясь щек. Она подошла ко мне вплотную и остановилась.

— Забыть? — повторила она, будто только что услышала мои слова. Потом

она немного подняла руки и прикоснулась к выщербленной алебастровой маске — осторожно дотронулась до щек, словно они распухли и болели. — Смотрите, — приказала она.

Она придвинула лицо, чтобы я мог получше его разглядеть.

— Смотрите! — мстительно приказала она и вонзила ногти в кожу. Потому что это была живая кожа, а совсем не алебастр. — Да, смотрите, — сказала она, — мы валялись в нашей богом забытой халупе — оба, брат и я, — еще маленькие — у нас была оспа, а отец был пьяница — пил без просыпу, плакал и пил в салуне, и клячил медяки — плакал и рассказывал, как его детки болеют, милые ангельские детки, — он был никчемный, добрый, запойный, слезливый ирландец и бил нас немилосердно — и брат умер — а ему бы жить, ему бы это было не страшно — мужчине все равно — а я не умерла — я не умерла и выздоровела — а отец — он смотрел на меня, а потом хватал и начинал целовать, все лицо, каждую дырку, и плакал, и пускал слюни, и дышал перегаром — или вдруг посмотрит и скажет: «У-у» — и начинает бить меня по лицу — это было одно и то же — все равно, потому что не я умерла — я осталась...

Придушенный речитатив вдруг оборвался. Она протянула ко мне руки, схватила меня за пиджак и прижалась головой к моей груди. И я стоял, обняв ее правой рукой за плечи, похлопывал ее, похлопывал и делал этикие разглаживающие движения ладонью по ее спине, которая вздрагивала, как я понял, от беззвучных рыданий.

Потом, не поднимая головы, она заговорила:

— Так всегда будет — от этого никуда не денешься — это на всю жизнь...

Это, подумал я, и подумал, что она говорит о лице.

Но она говорила о другом:

— ...всегда — целуют и пускают слюни, а потом бьют по лицу, что бы ты для них ни сделала, как бы ни старалась — вытаскиваешь их из канавы, делаешь из них людей, и они бьют тебя по лицу при первом удобном случае, потому что у тебя была оспа, — увидят голую шлюху на коньках — и плюют тебе в морду...

Я продолжал похлопывать и делать разглаживающие движения, потому что ничего другого мне не оставалось.

— ...всегда так будет — какая-нибудь шлюха на коньках, какая-нибудь...

— Слушайте, — сказал я, продолжая похлопывать, — все обойдется. Не все ли равно вам, как он развлекается?

Она вскинула голову.

— Что вы в этом понимаете? Ни черта, — сказала она и, вцепившись пальцами в мой пиджак, снова тряхнула меня.

— Если вам так тяжело, — сказал я, — отпустите его на все четыре стороны.

— Отпустите! Отпустите! Я его убью сначала! — крикнула она, свирепо глядя на меня покрасневшими глазами. — Отпустите? Вот что, — она снова тряхнула меня, — если он побежал за какой-то шлюхой, он все равно вернется. Должен вернуться. Должен, понятно? Потому что он не может без меня обойтись. И он это знает. Без этих шлюх он может обойтись, а без меня — нет. Он знает, что ему не обойтись без Сэди Бёрк. — Она подняла ко мне лицо так, будто я должен был чертовски гордиться тем, что мне его показали. — Он всегда будет возвращаться, — завершила она меня угрюмо.

И она была права. Он всегда возвращался. На свете полно было шлюх на коньках, даже если некоторые из них были без коньков. Некоторые из них танцевали в мюзик-холле, некоторые стучали на пишущей машинке, некоторые выдавали номерки на вешалке, некоторые были замужем за членами Законодательного собрания, но он всегда возвращался. Правда, его не обязательно встречали с распростертыми объятиями и нежной улыбкой. Иногда это было холодное молчание, подобное полярной ночи. Иногда — белая горячка для всех сейсмографов на континенте. Иногда — один хорошо подобранный эпитет. Однажды, например, нам с Хозяином пришлось совершить небольшую поездку на север штата. Когда мы вернулись и вошли в Капитолий, там в пышном вестибюле под большим бронзо-

вым куполом нас встретила Сэди. Мы подошли к ней. Она дождалась, пока мы приблизимся, и тогда сказала просто и без всяких предисловий:

— Ты, ублюдок.

— Ну-у, Сэди,— сказал Хозяин и улыбнулся улыбкой обаятельного шалунишки,— у тебя даже не хватает терпения выслушать человека.

— Ты просто не можешь ходить застегнувшись, ублюдок,— сказала она так же лаконично и пошла прочь.

— Ну вот,— удрученно сказал мне Хозяин,— в этот раз я ничего не сделал, а посмотри, что получается.

Знала ли что-нибудь Люси Старк? Не знаю. Судя по всему, она не знала ничего. Даже когда она сказала Хозяину, что уходит, она объяснила это тем, что он не отдал под суд Байрама Б. Уайта.

Но она и тут не ушла.

Она не ушла потому, что была слишком благородной, слишком доброй или слишком еще какой-то, чтобы толкнуть его, когда он и без того, как ей казалось, падал. Или был на грани этого. Она не хотела и пальцем тронуть ту чашу весов, где лежало нечто, похожее на аккуратный сверток несчастий с пятнами крови, проступавшими на оберточной бумаге. Ибо преследование Байрама Б. Уайта отошло на задний план. Они откопали настоящую жилу: дело Вилли Старка.

Не знаю, так ли они его планировали. Или они были вынуждены начать атаку раньше запланированного срока, когда увидели, что Хозяин загнал их в угол и у них нет другого способа отбить его нападение. А может, они решили, что господь отдал врага в их руки и теперь любой суд признает его виновным в попытке подкупа, принуждения и шантажа законодателей, не говоря уже о прочих мелких злодеяниях и злоупотреблениях. Возможно, они уже нашли героев, готовых присягнуть, что губернатор оказывал на них давление. А для этого действительно были нужны герои (или хорошие деньги), потому что ни один человек в здравом уме не поверил бы, памятуя о прошлой деятельности Хозяина, что сейчас он блефует. Но, по-видимому, они решили, что им удалось найти, или купить, таких героев.

Во всяком случае они сделали попытку, и жизнь наша завертелась так, что все вокруг слилось. Я сильно сомневаюсь, чтобы Хозяин спал хоть раз за две недели. Вернее, спал в кровати. Конечно, ему удавалось урвать несколько минут на задних сиденьях автомобилей, носившихся ночью по шоссе и на дорогам, или в кресле в промежутке между тем, как из кабинета выходил один человек и входил другой. Он носился по штату со скоростью восемьдесят миль, ревя клаксоном, из города в город, из поселка в поселок — от пяти до восьми выступлений в день. На трибуну он поднимался лениво, вразвалочку, словно времени у него было сколько угодно и он не знал, куда его девать. Он начинал спокойно:

— Друзья, в городе у нас начинается небольшая заваруха. Между мной и гигиеноголовами, собакодержими, вислобрюхими, брыластыми суканными детьми, которые засели в Законодательном собрании. Вы знаете, о ком я говорю. Я так долго смотрел на них и на их родичей, что решил, не пора ли мне проехаться и поглядеть, на что похожи человеческие лица, пока я их начисто не забыл. Ну вот, вы тут похожи на людей. Более или менее. И на людей разумных. Несмотря на то, что они говорят о вас в Законодательном собрании — и получают за эти разговоры по пять долларов в день из вашего кармана. Они говорят, что у вас куриные мозги, если вы выбрали меня губернатором штата. Может, у вас и вправду куриные мозги. Меня не спрашивайте, я — лицо заинтересованное. Но, — и он уже не стоял в небрежной позе, задумчиво наклонив голову к плечу и глядя из-под опущенных век: он вдруг бросил свою тяжелую голову вперед, и глаза, красные от недосыпания, выкатывались, — я задам вам один вопрос. И хочу получить ответ. Я хочу, чтобы вы ответили мне честно, как на духу. Отвечайте обманул я вас? Обманул? — И не успевало еще затихнуть последнее слово, как он, резко подавшись вперед, скидывал правую руку и выкрикивал. — Стоп! Не отвечайте, пока

не заглянете к себе в душу и не увидите правды. Потому что правда — там. Не в книгах. Не в сводах законов. Она — не на бумаге. В вашем сердце. — В долгой тишине он ободил взглядом толпу. Потом: — Отвечайте!

Я ждал рева. Каждый раз. Я знал, что он будет, но все равно ждал его, и молчание перед ним казалось невыносимо долгим. Это похоже на глубокий нырок. Ты начинаешь всплывать к свету и знаешь, что вдохнуть еще нельзя, еще нет, и чувствуешь только одно — стук крови в висках, в невыносимом безвременье. Потом раздавался рев, и ощущение было такое, как будто ты выскочил на поверхность, воздух хлынул в легкие и свет пошел кругом. Нет ничего подобного реву толпы, когда он вырывается вдруг и одновременно у всех людей в толпе, — из того, что сидит в каждом из них, но не является им самим. Рев поднимался и нарастал, затихал и снова рос, а Хозяин стоял, воздев правую руку к небесам, с выпученными красными глазами.

И когда рев умолкал, он говорил, не опуская руки:

— Я заглянул в ваши лица!

И они ревели.

Он говорил:

— О, господи, я увидел знак!

И они опять ревели.

Он говорил:

— Я видел росу на руне, а землю — сухую.

И снова рев.

Потом:

— Я видел кровь на луне! Бочки крови! Я знаю, чья это будет кровь. — Потом, наклонившись вперед и хватая правой рукой воздух, словно что-то висело в нем: — Дайте мне топор!

Это или что-нибудь похожее происходило каждый раз. И гудя, завывая клаксоном, носился по штгату кадиллак, и Рафинад проскакивал под носом у бензовозов, и слюна его брызгала на стекло, и беззвучно работали губы, выговаривая застрявшее в горле: «З-з-зар-раза». И Хозяин стоял на возвышении с поднятой рукой (иногда под дождем, иногда под ярким солнцем, иногда ночью, при красном свете бензиновых факелов, зажженных на крыльце деревенской лавки), и толпа редела. И голова у меня пухла от недосыпания, становилась огромной, как небо, а ноги были ватными, и казалось, будто ходишь не по земле, а по облакам взбитого хлопка.

Вот как это было.

Но бывало и так: Хозяин сидит в машине с потушенными огнями, в переулке, возле дома, поздно за полночь. Или за городом, у ворот. Хозяин наклоняется к Рафинаду или к одному из приятелей Рафинада, Большому Гаррису или Элу Перкинсу, и говорит тихо и быстро:

— Вели ему выйти. Я знаю, что он дома. Скажи, пусть лучше выйдет и поговорит со мной. А не захочет — скажи, что ты друг Эллы Лу. Тогда он зашевелится.

Или:

— Спроси его, слышал ли он о Проньре Уилсоне.

Или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащий, с лицом, белеющим в темноте, как мел.

И еще: Хозяин сидит в прокуренной комнате, на полу возле него — кофейник или бутылка: он говорит:

— Впусти гада. Впусти.

И когда гада впускают, Хозяин не торопясь оглядывает его с головы до ног и произносит:

— Это твой последний шанс. — Он произносит это спокойно и веско. Потом он внезапно наклоняется вперед и добавляет, уже не сдерживаясь: — Сволочь ты такая, знаешь, что я могу с тобой сделать?

И он правда мог. У него были средства.

Во второй половине дня 4 апреля 1933 года улицы, ведущие к Капитолию, были запружены народом, но не тем народом, какой вы привыкли видеть на этих улицах. По крайней мере видеть в таких количествах. Вечером «Кроникл» сообщила, что, по слухам, готовится поход на Капитолий, но заверила, что никакие запугивания не пошатнут законности. К полудню 5 апреля число загорелых лиц, войлочных шляп, синих комбинезонов и крепдешиновых, неровно подрубленных платьев с запорошенными красной пылью подолами заметно увеличилось; к ним прибавилось множество лиц и одежд менее захолустного происхождения — в стиле окружных центров и заправочных станций. Толпа двигалась к Капитолию без пения и криков и рассеивалась по большой лужайке, где стояли статуи.

В толле сновали люди со штативами и фотоаппаратами, расставляли свои треножки на ступенях Капитолия и карабкались на постаменты статуй, чтоб снимать оттуда. Там и сям вокруг толпы возвышались синие мундиры конных полицейских, а на свободном пространстве лужайки между толпой и Капитолием тоже стояли полицейские и несколько патрульных — очень складные и деловитые с виду в своих ярко-синих мундирах, черных ботинках и широких черных ремнях с отвесными кобурами.

Толпа начала скандировать:

— Вилли, Вилли, Вилли, мы хотим Вилли!

Все это я увидел из своего окна на втором этаже. Интересно, подумал я, доходит ли этот шум до тех, кто спорит, причитает и разглагольствует сейчас в палате представителей? Снаружи, на лужайке, под ярким весенним солнцем все было очень просто. Никаких споров. Очень просто. «Мы хотим Вилли — Вилли, Вилли, Вилли!» — в протяжном ритме, с хриплыми подголосками, как прибор.

Потом я увидел, как к Капитолию медленно подъехала большая черная машина и остановилась. Из нее вылез человек, помахал рукой полицейским и подошел к эстраде на краю лужайки. Это был жирный Крошка Дафи.

Потом он обратился к толпе. Я не мог расслышать его слов, но знал, что он говорит. Он говорил, что Вилли Старк просит их мирно разойтись, подождать до темноты и вернуться сюда, на лужайку, к восьми часам — тогда он сможет им кое-что сказать.

Я знал, что он скажет. Я знал, что он встанет перед ними и скажет, что он еще губернатор этого штата.

Я знал это потому, что накануне вечером около половины восьмого Хозяин вызвал меня и дал мне большой коричневый конверт.

— Лоудан в гостинице «Хаскел», — сказал он. — У себя в номере. Пойди туда и покажи ему это, но в руки не давай. И скажи, чтобы оттащил свою свору. Впрочем, не так уж важно, согласится он или нет, потому что они все равно передумали. — (Лоудан был вожаком у ребят Мак Мерфи в палате представителей.)

Я пошел в гостиницу и поднялся в номер Лоудана, не предупредив о своем приходе. Я постучал в дверь и, услышав его голос, сказал:

— Почта.

Он открыл мне — большой, жизнерадостный человек с хорошими манерами, в цветастом халате. Сначала он меня не узнал — он увидел просто большой коричневый конверт и над ним какое-то лицо. Но когда он протянул руку, я отвел конверт и шагнул в дверь. Тогда он, наверно, заметил и лицо.

— А, добрый вечер, мистер Бёрден, — сказал он, — говорят, последние дни вы в хлопотах.

— Слоняюсь, — ответил я, — просто не знаю, куда себя девать. Случайно оказался в вашем районе и решил зайти, показать вам одну вещь, которую мне дал приятель. — Я вынул из конверта длинный лист бумаги и поднес к его глазам. — Нет, не трогайте, бо-бо, — сказал я.

Он не тронул, но стал смотреть очень пристально. Его кадык подпрыгнул раз или два, погом он вынул изо рта сигару (хорошую сигару, центов на двадцать пять, не меньше, судя по запаху) и сказал:

— Фальшивка.

— Подписи, по-моему, подлинные, — сказал я, — но если вы сомневаетесь, можете позвонить одному из ваших друзей, чье имя стоит здесь, и спросить его как мужчина мужчину.

Он подумал над моим предложением, кадык его подпрыгнул, уже с усилием, но он принял удар, как солдат. Или все еще думал, что это фальшивка. Затем он сказал:

— Рискну вам не поверить, — и пошел к телефону.

Дожидаюсь соединения, он оглянулся на меня и сказал:

— Может быть, присядете?

— Нет, спасибо, — ответил я, ибо не рассматривал свой визит как светский. Наконец его соединили.

— Монти, — сказал он в трубку, — тут у меня заявление, в котором сказано, что нижеподписавшиеся считают привлечение губернатора к ответственности необоснованным и вопреки любому давлению будут голосовать против. Так и сказано: «любому давлению». Под заявлением ваша фамилия. В чем дело?

Наступило долгое молчание, потом м-р Лоудан сказал:

— Ради бога, перестаньте крутить и мямлить, скажите по-человечески!

Опять наступило молчание, после чего м-р Лоудан завопил:

— Вы... вы...

Но, так и не подобрав слова, бросил трубку и поворотил свое еще недавно жизнерадостное лицо ко мне. Он ловил воздух ртом, но не издавал ни звука.

— Ну что, — сказал я, — сделаем еще попытку?

— Это шантаж, — сказал он очень спокойно, но сипло, словно в его легких не осталось воздуха. Потом, как будто слегка отдышавшись: — Это шантаж. Насилие. Подкуп, это подкуп. Говорю вам, вы запугали, вы подкупили этих людей, я...

— Я не знаю, почему эти люди подписали заявление, — ответил я, — но если ваши подозрения справедливы, то я вывожу отсюда такую мораль: Мак Мерфи не должен был выбирать законодателей, склонных к мздоимству или совершивших поступки, которыми можно шантажировать.

— Мак Мерфи... — начал он и опять погрузился в молчание, склонив свой цветастый корпус над тумбочкой с телефоном. У него еще будут неприятные разговоры с Мак Мерфи.

— Маленькая деталь, — сказал я. — И вам, и в особенности подписавшим этот документ, по-видимому, будет спокойнее снять свой проект, не доводя его до голосования. Вы могли бы проследить, чтобы это было сделано к завтрашнему вечеру. У вас будет достаточно времени, чтобы предпринять все необходимые шаги и найти наиболее достойный путь отступления. Разумеется, губернатор добился бы большего политического эффекта, если бы этот вопрос был поставлен на голосование, но он не хочет доставлять вам лишних огорчений, тем более что в городе к этому делу наблюдается повышенный интерес.

Насколько я мог судить, он не обращал на меня ни малейшего внимания. Я подошел к двери, открыл ее и обернулся.

— В конечном счете губернатору безразлично, какой путь вы предпочтете. Затем я закрыл дверь и стал спускаться.

Это было вечером 4 апреля. А 5-го я смотрел из высокого окна на толпы, заполнившие улицы и просторную лужайку перед Капитолием, испытывая легкую грусть оттого, что знаю всю подоплеку происходящего. Если бы я не знал, то, может быть, стоял бы здесь, с волнением ожидая исхода, гадая, что будет дальше. Но я знал, чем кончится пьеса. Это было похоже на генеральную репетицию после того, как пьесу уже сняли с репертуара. Я стоял у окна и чувствовал себя, как Господь-Бог, размышляющий над ходом Истории.

А это, должно быть, скучное занятие для Господа-Бога, который заранее знает, чем все кончится. Который, в сущности, знал это еще тогда, когда не знал, что История вообще будет. Но это рассуждение — полная бессмыслица, ибо предполагает наличие Времени, а Бог вне Времени, ибо Бог — это Полнота Бытия и

в Нем все Концы суть Начала. О чем вы можете прочесть в брошюрах, которые пишет и раздает на перекрестках толстый неопрятный старик с сутулыми плечами, обсыпанными перхотью, и в очках с железной оправой, бывший некогда Ученым Прокурором и женившийся где-то в Арканзасе на девушке с золотыми косами и свежими, слегка впалыми щеками. Но брошюрки его безумны, думал я. Я думал тогда, что Бог не может быть Полнотой Бытия. Ибо Жизнь — это Движение.

(Я пользуюсь заглавными буквами, как и старик в своих брошюрах. Я сидел напротив него за столом, заваленным с одного конца грязной посудой, а с другого бумагами и книгами, в комнате, смотревшей окном на железную дорогу, и старик говорил, и я слышал в его голосе эти заглавные буквы. Он сказал: «Бог — это Полнота Бытия». А я ответил: «Ты неправильно к этому подходишь. Потому что Жизнь — это Движение. Потому что...»)

(Потому что Жизнь — это Движение к Знанию. Если Бог — это Полное Знание, то Он — Полная Неподвижность, то есть Безжизненность, то есть Смерть. Следовательно, если есть такой Бог Полноты Бытия, то мы поклоняемся Смерти-Отцу. Вот что ответил я старику, который, мигая склеротическими глазами, смотрел на меня из-за стола, заваленного грязной посудой и бумагами, поверх железной оправы очков, сползших на кончик носа. Он тряхнул головой, и несколько хлопьев перхоти выпал из редких седых волос, окаймлявших череп, где в волокнистой, губчатой, напитанной кровью темноте маленькие электрические судороги складывались в слова. Затем он сказал: «Я емь Воскресение и Жизнь». И я ответил: «Ты неправильно к этому подходишь».)

(Ибо Жизнь — это огонь, бегущий по фитилю (или по запальному шнуру к пороховой бочке, которую мы называем Богом?), и фитиль — это то, чего мы не знаем, наше Неведение, а хвостик пепла, который сохраняет строение фитиля, если его не сдует ветром, — это История, человеческое Знание; но оно мертво, и когда огонь добежит до конца фитиля, человеческое Знание сравняется с Божьим Знанием, и огонь, который есть Жизнь, погаснет. Или если фитиль ведет к пороховой бочке, то вспыхнет чудовищное пламя и разнесет даже этот хвостик пепла. Так я сказал старику.)

(Но он ответил: «Ты мыслишь конечными категориями». А я сказал: «Я вообще не мыслю, я просто рисую картинку». Он воскликнул: «Ха!» — и я вспомнил, что он восклицал так давным-давно, играя в шахматы с судьей Ирвином в длинной комнате в белом доме у моря. Я сказал: «Я нарисую тебе другую картину. Картину человека, который пытается написать картину заката. Но не успеет он окунуть кисть, как все перед ним меняется — и цвет и контуры. Дадим название картине, которую он пытается написать: Знание. Следовательно, если предмет, на который смотрит этот человек, непрерывно меняется, так что Знание постоянно оказывается ложным и потому остается Незнанием, то Вечное Движение возможно. И Вечная Жизнь. Следовательно, мы только тогда можем верить в Вечную Жизнь, когда отрицаем Бога, который есть Полное Знание».)

(Старик сказал: «Я буду молиться о спасении твоей души».)

Но, хотя я и не верил в его Бога, в то утро, стоя у окна в Капитолии и глядя на толпу, я чувствовал себя Богом, ибо знал, что из этого выйдет. Я чувствовал себя, как Бог, размышляющий над ходом Истории, потому что маленький отрезок Истории был сейчас у меня перед глазами. На лужайке на пьедесталах стояли бронзовые люди — во фраках, с правой рукой за пазухой; в военных мундирах, с правой рукой на эфесе сабли, и даже один в штанах из оленьей кожи, с правой рукой на стволе длинного ружья, поставленного прикладом на пьедестал. Они уже стали Историей, и трава вокруг них была коротко подстрижена, а цветы рассажены звездами, кругами и полумесяцами. Дальше, за статуями, были люди, которые еще не стали Историей. Не совсем. Они были Историей для меня, потому что я знал исход событий, в которых они участвуют. Или думал, что знал.

Кроме того, я знал, как расценит эту толпу газеты, когда и им станет известен исход. Они сочтут толпу причиной. «Позорное проявление трусости со сто-

роны Законодательного собрания... растерялось перед угрозой... прискорбное свидетельство слабости руководителей...» Глядя на толпу и слыша эти хриплые подголоски, как в прибое, вы могли бы подумать, что причиной событий в Капитолии была и в самом деле толпа. Нет, могли бы ответить вам, причина событий — Вилли Старк, купивший и запугавший Законодательное собрание. Но на это можно было бы возразить: нет, Вилли Старк дал возможность законодателям поступать в соответствии с их натурой, а подлинным виновником был Мак Мерфи, который провел этих людей в конгресс, надеясь использовать их трусость и алчность в своих целях. Но и на это можно было бы возразить: нет, в конечном счете виновницей все же была толпа — косвенно, поскольку она позволила Мак Мерфи провести этих людей, и непосредственно, поскольку она вопреки Мак Мерфи выбрала Вилли Старка. Но почему она выбрала Вилли Старка? Потому ли, что обстоятельства сделали ее тем, что она есть, или потому, что Вилли Старк умел наклоняться к ней, воздев к небесам руку и выпучив глаза?

Одно было ясно: это хриплое песнопение с его приливами и отливами ничего не решает, ровно ничего. Я стоял у окна в Капитолии, тешился этой мыслью, словно жгучей, бесценной тайной, и больше ни о чем не думал.

Я наблюдал, как толстый человек вылезает из черного лимузина и поднимается на эстраду. Я видел, как всколыхнулась и замерла, а потом поредела и рассосалась толпа. Я смотрел на широкую, залитую ярким весенним солнцем лужайку, на которой остались лишь одинокие и праздные теперь полисмены да статуи людей во фраках, мундирах и кожаных штанах. Я выдохнул последнюю тяжесть, швырнул окурок в открытое окно и провожал его глазами, пока он не упал, кружась, далеко внизу на каменные ступени.

В восемь часов вечера на этих ступенях, залитых светом, должен был появиться Вилли — маленькая фигурка перед громадой здания, на вершине каменной лестницы.

В тот вечер толпа прихлынула к самым ступеням, заполнив все пространство вокруг четко очерченного пятна света (прожектора были установлены на пьедесталах двух статуй — фрака и кожаных штанов). Она выкрикивала и распевала: «Вилли—Вилли—Вилли», тесня цепь полицейских у подножия лестницы. Потом из высокой двери Капитолия вышел он. Когда он остановился на пороге, мигая от яркого света, выкрики смолкли, наступила короткая тишина, а затем раздался рев. Казалось, прошло много времени, прежде чем он поднял руку, чтобы успокоить их. Рев постепенно замер под давлением опускающейся руки.

Я стоял в толпе с Адамом Стентоном и Анной и видел, как он появился на ступенях Капитолия. Когда все кончилось — когда он сказал все, что хотел сказать, и ушел, оставив за собой ничем не сдерживаемый рев, — я пожелал Анне и Адаму спокойной ночи и отправился к Хозяину.

В резиденцию мы ехали вместе. Он не сказал ни слова, когда я присоединился к нему в машине. Рафинад выводил ее по задним улицам, и все время за спиной мы слышали рев, выкрики и длинные гудки автомобильных сигналов. Наконец Рафинад выбрался на тихую улочку, где кроны деревьев с набухшими почками смыкались над нами, а дома с освещенными окнами и людьми в освещенных комнатах стояли, отступая от тротуаров. На перекрестках под фонарями уже можно было различить зелень первых листочков.

Рафинад подрулил к заднему входу в резиденцию. Хозяин вылез из машины и вошел в дом. Я последовал за ним. Он пересек прихожую, где никого не было, и вступил в большой холл. Он прошел через весь холл под люстрами и зеркалами, мимо лестницы, заглянул в зал, пересек холл еще раз, чтобы сунуть голову в маленькую гостиную, и еще раз, чтобы заглянуть в библиотеку. Я понял, кого он ищет, и перестал за ним ходить. Я стоял посреди холла и ждал. Он не говорил мне, что я ему нужен, но и не говорил, что нет. До сих пор он вообще не говорил. Ни слова.

Когда он вернулся из библиотеки, из столовой вышел негр-слуга в белом

— Ты видел миссис Старк? — спросил Хозяин.

— Да, са.

— Да где же, черт подери? — рявкнул Хозяин. — Ты думаешь, мне не с кем язык почесать, кроме тебя?

— Нет, са, я... я ничего не думаю, я...

— Где? — произнес Хозяин голосом, от которого звякнула люстра.

После первого паралича губы на черном лице зашевелились. Сначала безрезультатно. Потом послышался звук:

— Наверху... они ушли наверх... они, наверно, легли... они...

Хозяин стал подниматься.

Он вернулся почти сразу и, не говоря ни слова, прошел мимо меня в библиотеку. Я поплелся за ним. Он плюхнулся на большую кожаную кушетку, положил на нее ноги и сказал:

— Закрой, к черту, дверь.

Я закрыл дверь, а он лег на подушках под углом градусов в тридцать к горизонту и стал угрюмо рассматривать костяшки пальцев.

— Казалось бы, сегодня вечером она могла подождать меня и не ложиться, — произнес он наконец, разглядывая костяшки. Потом поднял на меня глаза. — Легла спать. Легла и заперла дверь. Сказала, что голова болит. Поднимаюсь наверх, а там в комнате напротив сидит Том, уроки делает. Берусь за ручку, он подходит и говорит: «Она просила ее не беспокоить». Словно я какой-нибудь рассылный. «А я не буду ее беспокоить», — говорю я, — я просто хочу рассказать, что сегодня было». Он поглядел на меня и говорит: «У нее болит голова, она просила не беспокоить». — Он запнулся, опять посмотрел на костяшки, потом на меня и добавил, как бы оправдываясь: — Я просто хотел рассказать ей, чем это все кончилось сегодня.

— Она хотела, чтобы ты отдал Байрама на растерзание, — сказал я. — Может, она хотела, чтобы ты и себя отдал на растерзание?

— Не знаю, какого черта она хочет. И какого черта им всем надо. Кто их разберет? Но одно я знаю твердо: если ты хоть наполовину будешь поступать, как им хочется, — кончишь под забором. Интересно, как ей это понравится.

— Я думаю, что Люси это пережила бы.

— Люси?... — повторил он с некоторым изумлением, словно я вдруг перевел разговор на другую тему.

Тут я сообразил, что имя Люси еще не произносилось. Разумеется, он говорил о Люси — он это знал, и я это знал. Но как только вместо слова она было произнесено имя Люси, все почему-то переменялось. Как будто она сама вошла в комнату и посмотрела на нас.

— Люси... — повторил он. — Ладно. Люси. Она бы пережила. Она могла бы спать под забором и питаться бобами, но мир-то от этого не изменится, черт подери, ни капли. Может Люси это понять? Нет, не может Люси. — Теперь он произносил ее имя с видимым удовольствием, словно говоря «Люси» вместо «она» или сознавая, что он волен так говорить, он что-то доказывал — про нее, или про себя самого, или еще про что-то. — Люси, — продолжал Хозяин, — она могла бы спать под забором. Она и Тома этому научит, дай ей волю. Она его так воспитает, что шестилетние ребята будут стрелять в него из рогатки и убегать поленями. Он хороший, крепкий парень — прекрасно играет в футбол, наверняка будет в сборной, когда поступит в колледж, — но она его хочет погубить. Вырастить из него слюнтя. Стоит мне слово сказать парню — и вижу, как она вся каменеет. Сегодня вечером я позвонил сюда, чтобы Том приехал посмотреть на народ. Хотел прислать за ним Рафинада — мне некогда было заезжать. Ну и что, думаешь, она его отпустила? Как же. Велела сидеть дома и заниматься. Заниматься. — Он помолчал. — Просто не хотела, чтобы он это видел. Меня и толпу.

— Не расстраивайся, — сказал я. — Все женщины так обращаются с детьми. А кроме того, разве сам ты не через книжки вышел в большие люди?

— Том способный, способный, хоть и не маменькин сыночек, — сказал он. — У него хорошие отметки, пусть бы попробовал получать плохие. Конечно, я хочу, чтобы он учился. Пусть только попробует бросить... Но я одного не могу понять...

В холле раздался шум, голоса, потом в дверь постучали.

— Посмотри, кто там, — сказал Хозяин.

Я открыл дверь, и ворвались знакомые лица в легком подпитии, Крошка Дафи впереди. Сопя, толкаясь и хихикая, они окружили Хозяина кольцом.

— Теперь мы с ними разделались! Начисто разделались! А? Поломали им ножи! Теперь они надолго захромают!

А Хозяин лежал на подушках все в той же наклонной позиции, и глаза его под нависшими веками перебегали с лица на лицо с таким выражением, будто он подглядывал в волчок. Он не произнес ни слова.

— Шампанское! — суетился один из ребят. — Настоящее шампанское. Целый ящик, первый сорт. Французское, из Франции. В кухне — Самбо поставил его на лед. Хозяин, надо отпраздновать!

Хозяин молчал.

— Отпраздновать — ведь праздник, Хозяин, неужели вы не отпразднуете?

— Дафи, — негромко сказал Хозяин, — если ты не слишком пьян, то догадаешься, что я не желаю видеть это стадо. Забери свою бражку, закрой дверь с той стороны, и чтобы я тебя не видел. — Он замолчал; в наступившей тишине глаза его пробежали по лицам и опять остановились на Дафи. Он спросил: — Как ты думаешь, ты уловил намек?

Крошка Дафи уловил намек. Но другие тоже его уловили, и мне показалось, что между братьями ложи завязалось небольшое соревнование: кто первый попадет наружу.

Минуты две Хозяин разглядывал нарядные филенки закрытой двери. Потом он произнес:

— Ты знаешь, что сказал Линкольн?

— Что? — спросил я.

— Он сказал, что дом, разделившийся в самом себе, не устоит. И был не прав.

— Да?

— Да, — сказал Хозяин. — Потому что в нашем правительстве половина — рабы, а другая — мерзавцы, и оно стоит.

— Кто из них кто? — спросил я.

— Рабы — в Законодательном собрании, а мерзавцы — здесь, — ответил он. И добавил: — Только иногда они работают по совместительству.

Но Люси Старк не ушла от Хозяина и после того, как все неприятности с привлечением его к суду кончились. Не ушла она и после новых выборов в 1934 году, на которых Хозяин опять победил. (В нашем штате губернатор может быть переизбран на второй срок, и Хозяин был переизбран с триумфом. Никто еще не добивался такого перевеса.) Я думаю, что она осталась из-за Тома. Когда она все же ушла, никакого шума не было. Здоровье. Она надолго отправилась отдыхать во Флориду. Вернувшись, она поселилась за городом у сестры, которая владела небольшой птицефермой с инкубатором. Том проводил у нее много времени, но теперь, наверно, Люси понимала, что он не маленький. Теперь это был здоровый самоуверенный парень с хорошим рывком, прирожденный куотербек, который знал, что в бутылках продается не только пастеризованное молоко и что половина человечества принадлежит к очень интересному и непохожему на его собственный полу. Люси, наверно, надеялась, что сможет совладать с Томом, поэтому открытого разрыва с Вилли не было. Время от времени, но не часто, они появлялись на людях вместе. Например, в той поездке в Мейзон-Сити, когда мы нанесли судье Ирвину ночной визит, Люси сопровождала Хозяина. Это было в 1936-м, и к тому времени Люси прожила у сестры почти год.

Хозяин и сам изредка наведывался на птицеферму, чтобы соблности приличия. Два или три раза газеты — точнее, правительственные газеты — помещали снимки Хозяина с женой и сыном на птичьем дворе или перед инкубатором. Да и в самом деле, что может быть дурного в курах? Они создавали теплую, домашнюю атмосферу. Внушали доверие.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ту ночь, когда мы с Хозяином посетили судью Ирвина, а потом в темноте среди черных полей неслись назад к Мейзон-Сити, он сказал мне: «Всегда что-то есть».

А я сказал: «У судьи может и не быть».

А он сказал: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть».

И он приказал мне откопать, выкопать этого дохлого кота в ключьях шерсти, еще не облезших с раздутой, сизой кожи. Дело было самое для меня подходящее, ибо я, как известно, когда-то изучал историю. А историку все равно, что он выкопает на свалке, из кучи золы, из заоблачной горы дерьма, каковой является человеческое прошлое. Ему безразлично, что это: дохлая киска или алмаз английской короны. Так что задание я получил самое подходящее: экскурс в прошлое.

В моей жизни это было вторым экскурсом в прошлое, более интересным и волнующим, чем первый, и гораздо более успешным. Да, этот второй экскурс в прошлое увенчался полным успехом. А в первый раз мне не повезло. Я не добился успеха потому, что в ходе исследования пытался обнаружить не факты, а истину. Когда же выяснилось, что истину обнаружить нельзя — а если и можно, то я ее все равно не пойму, — мне стало невозможно выносить холодную укоризну фактов. И тогда я вышел из комнаты, где в большой картотеке помещались эти факты, и шел куда глаза глядят, пока не дошел до своего следующего исторического исследования, которое полагалось бы назвать «Делом честного судьи».

Но мне стоит рассказать и о моем первом путешествии в волшебную страну прошлого. Правда, оно не имело прямого отношения к истории Вилли Старка, зато имело прямое касательство к Джеку Бёрдену, а история Вилли Старка и история Джека Бёрдена в некотором смысле — одна история.

Некогда Джек Бёрден был студентом; он только что кончил курс наук и собирался защищать диплом по американской истории в университете своего родного штата. Тот Джек Берден (чьим юридическим, биологическим, а возможно, и духовным преемником является нынешний Джек Бёрден, то есть я) жил в неопрятной квартире с двумя другими дипломниками — прилежным, тупым, незадачливым пьяницей и ленивым, умным, удачливым пьяницей. Вернее сказать, пьянствовали они какое-то время после первого числа, когда получали от университета свои жалкие гроши в уплату за свою жалкую работу в качестве ассистентов. Прилежание и невезучесть одного уравновешивались ленью и удачливостью другого; они стоили друг друга и пили все что попало и когда попало. Пили они потому, что ни в малейшей степени не интересовались своей работой и не пытали ни малейших надежд на будущее. Они не могли даже помыслить о том, чтобы поднапрячься и защитить диплом, потому что это означало бы расстаться с университетом (то есть пьянками по первым числам, трепотней насчет «труда» и «идей» в продыmlенных комнатах, девицами, которые нетвердо держались на ногах и нескромно хихикали на темной лестнице), поступить на работу в педучилище в каком-нибудь раскаченном городишке или в заштатный колледж, где надо ладить с богом, а не с мамонной, примириться с неизбежностью иссушающего, нудного труда, согнать с глаз и с увяданием зеленого ростка мечты, который поднялся, как цветок в комнате инвалида из горлышка бутылки. Только в бутылке была не вода. В ней

было нечто похожее на воду, но пахло оно керосином, а вкусом напоминало карболку — словом, неочищенная кукурузная водка.

Джек Бёрден жил с ними в неопрятной квартире, где в раковине и на столе громоздилась немытая посуда, кисло пахло табачным дымом, а по углам валялись грязные сорочки и майки. Ему даже нравилась эта грязь, возможность безнаказанно уронить на пол кусок гренка с маслом, который будет лежать там, пока чей-то каблук случайно не втопчет его в засаленный до черноты ковер; нравилось наблюдать, лежа в ванной, за жирным тараканом, семенящим по растресканному линолеуму. Как-то раз он пригласил на чай свою мать; она сидела на краешке бугристого кресла, держала треснутую чашку и вела беседу с обаятельной улыбкой, которую сохраняла на лице только благодаря большому усилию воли. Она увидела таракана, нахально вышедшего из кухни. Она видела, как один из приятелей Джека Бёрдена раздавил муравья в сахарнице и щелчком сбросил с ногтя его останки. Сам ноготь тоже был не слишком чистый. Но она, не дрогнув, продолжала пленительно улыбаться застывшими губами. Тут надо было отдать ей должное.

Но потом, когда он шел с ней по улице, мать сказала:

— Почему ты так живешь?

— Видно, это моя стихия, — ответил Джек.

— Да еще с такими людьми, — добавила она.

— Люди как люди, — сказал он, мысленно спросив себя, правда ли они — люди и правда ли, что сам он — человек.

Мать минутку помолчала, звонко, весело постукивая каблукками по асфальту, расправив узкие плечи и подставляя заходящему апрельскому солнцу, словно бесценный подарок, свое невинное лицо с голубыми глазами и впалыми, будто от недоедания, щеками.

Потом она задумчиво сказала:

— Тот брюнет, если бы его помыть, был бы не так уж дурен собой...

— Да, так думают многие женщины, — ответил Джек Бёрден и вдруг почувствовал тошнотворную брезгливость к брюнету, который раздавил муравья в сахарнице и у которого были черные ногти. Но что-то тянуло его за язык. — Да, и многие согласны взять его немытым. Как есть. Он у нас в квартире герой-любовник. Это из-за него на диване так просели пружины.

— Не говори пошлостей, — сказала мать — она не любила, когда говорят то, что принято называть пошлостями.

— Это правда, — возразил он.

Она ничего не ответила, только ее каблукки весело отстукивали по тротуару. Потом она сказала:

— Если бы он выбросил эти ужасные тряпки и заказал приличный костюм...

— Ну да, — сказал Джек Бёрден. — Получая семьдесят пять долларов в месяц.

Теперь она оглядела и его костюм.

— Твой тоже довольно безобразен.

— Думаешь? — спросил Джек Бёрден.

— Я пришлю тебе денег, чтобы ты оделся поприличнее, — сказала она.

Через несколько дней он получил чек и записку, где было сказано, чтобы он купил «два приличных костюма и все, что к ним полагается». Чек был на двести пятьдесят долларов. Он не купил даже галстука. Со своими сожителями по квартире он устроил грандиозный загул на целых пять дней; в результате прилежного и невезучего выгнали с работы, а ленивый и везучий стал чересчур общителен и, несмотря на свое везение, подхватил дурную болезнь. А с Джеком Бёрденом не случилось ничего, ибо с Джеком Бёрденом никогда ничего не случилось — он был неуязвим. Может, это и было проклятием Джека Бёрдена — его неуязвимость.

Итак, Джек Бёрден жил в неопрятной квартире с двумя другими дипломниками, потому что невезучий, но прилежный не выехал, даже когда его выгнали с ра-

боты. Он просто перестал платить за что бы то ни было, но не выехал. Он занимал деньги на сигареты. Угрюмо съедал то, что приносили и готовили двое других. Днем валялся на диване, потому что прилежание потеряло всякий смысл отныне и навеки. Однажды ночью Джек Бёрден проснулся — ему показалось, что из гостиной, где на откидной кровати спал невезучий, но прилежный, доносятся рыдания. В один прекрасный день невезучий, но прилежный товарищ исчез. Они так и не узнали, куда он девался, и больше о нем не слышали.

Но до этого у них в квартире царило братство и взаимопонимание. Их сблизало то, что все трое скрывались. Разница была лишь в том, от чего они скрывались. Те двое прятались от будущего, от того дня, когда они получат свои дипломы и покинут университет. Джек Бёрден прятался от настоящего. Те двое искали убежища в настоящем. Джек Бёрден искал убежища в прошлом. Те двое сидели в гостиной, спорили, пили, играли в карты или читали, а Джек Бёрден вечно сидел в спальне перед сосновым столиком, разложив заметки, записи, книги, и не слышал доносившихся сюда голосов. Время от времени он мог выйти, выпить, сыграть партию в карты, поспорить — словом, вести себя, как и те двое, но по настоящему существовало для него только то, что лежало на сосновом столе в спальне.

А что лежало на сосновом столе в спальне?

Толстая пачка писем и восемь потрепанных бухгалтерских книг в черных переплетах, перевязанных выгоревшим красным шнурком, наклеенная на картон фотография 13×18 с потеками внизу и мужское обручальное кольцо с надписью, надетое на веревочку. Прошлое. Или, вернее, часть прошлого, которая звалась когда-то Кассом Мастерном.

Касс Мастерн был одним из двух дядей Ученого Прокурора Элиса Бёрдена, братом его матери, Лавинии Мастерн. Другого дядю звали Гильберт Мастерн; он умер в 1914 году в возрасте девяноста четырех или девяноста пяти лет, богачом, железнодорожным магнатом, директором ряда компаний, оставив пачку писем, черные конторские книги, фотографию и кучу денег своему внуку (и ни гроша Джеку Бёрдену). Лет десять спустя его наследник, вспомнив, что Джек Бёрден, с которым он не был знаком, изучает историю или что-то в этом роде, переслал ему связку писем, конторские книги и фотографию, спрашивая, имеют ли, по его мнению, Джека Бёрдена, мнению, эти вещи материальную ценность, так как он, наследник, слышал, будто библиотеки порою платят «солидную сумму за старые документы, реликвии и сувениры времен до гражданской войны». Джек Бёрден ответил, что так как личность Касса Мастерна не представляет исторического интереса, он сомневается, чтобы какая-нибудь библиотека дала приличную сумму или вообще заплатила за эти материалы. Он спрашивал, как ему ими распорядиться. Наследник ответил, что в таком случае Джек Бёрден может их оставить себе «на память».

Так Джек Бёрден познакомился с Кассом Мастерном, умершим в атлантском военном госпитале в 1864 году. Прежде он только слышал это имя, но забыл его, а теперь на него с фотографии смотрели темные, широко расставленные глаза, которые, казалось, горели под слоем более чем полувековой пыли и грязи. Эти глаза смотрели с длинного, худого, но молодого лица с пухлыми губами и жидковатой черной кудрявой бородкой. Губы совсем не подходили к худому лицу и горящим глазам.

Молодой человек был снят стоя, почти во весь рост, в просторном сюртуке с чересчур широким воротом и короткими рукавами, из которых высывались сильные костлявые руки, сложенные на животе. Густые темные волосы, зачесанные назад с высокого лба и подстриженные скобкой по моде того времени, места и условия, спускались чуть не до воротника грубого мешковатого сюртука, который был мундиром пехотинца армии южан.

Но все на этой фотографии казалось случайным по контрасту с темными, горящими глазами. Мундир, однако, не был случайностью. Его надели обдуманно, с душевной болью, с гордостью и самоуничижением, с решимостью носить его

до самой смерти. А смерть была суждена его обладателю не такая уж скорая и легкая. Его ждала мучительная и тяжкая смерть в вонючем госпитале Атланты. Последнее письмо в связке было написано чужой рукой. Касс Мастерн продиктовал прощальное письмо своему брату Гильберту Мастерну, лежа в госпитале с гнойной раной. Письмо и последняя из конторских книг, в которых Касс Мастерн вел дневник, были отосланы домой, в Миссисипи, а сам Касс похоронен в Атланте, никто не знает, где именно.

В каком-то смысле правильно, что Касс Мастерн в своем сером, пропотевшем сюртуке, грубом, как власяница, который и был для него власяницей и в то же время эмблемой скупой отпущенной славы, вернулся в Джорджию, чтобы сгнить там заживо. Ведь он и родился в Джорджии, — он, Гильберт Мастерн и Лавиния Мастерн — среди рыжих холмов недалеко от реки Теннесси.

«Я родился, — написано на первой странице первой книги дневника, — в бревенчатой хижине на севере Джорджии, в бедности, и если в более поздние годы я спал на мягком и ел на серебре, пусть Господь не убьет в моей душе памяти о стуже и грубой пище. Ибо все мы приходим в мир наги и босы, а достигнув благоденствия, тянемся к злу, как искры к небесам». Эти строки были написаны в Трансильванском университете штата Кентукки, когда Кассу после «затмения и беды», по его выражению, бог ниспослал покой. Дневник и начинался описанием «затмения и беды» — вполне реальной беды, где были и мертвец, и женщина, и длинные царапины на худых щеках Касса Мастерна.

«Я описываю это, — сообщал он в своем дневнике, — со всей правдивостью, на какую способен грешник, дабы, если моим духом или плотью когда-нибудь овладеет гордыня, я перечел бы эти страницы и вспомнил со стыдом, сколько жило во мне зла, а быть может, живет и поныне, ибо кто знает, какой ветер раздует тлеющую головню и снова разожжет пламя?»

Потребность писать дневник родилась из «затмения и беды», но склад ума у Касса Мастерна был явно методический, и поэтому он начал с самого начала, с бревенчатой хижины среди красных холмов Джорджии. Из этой бревенчатой хижины вытащил всю их семью брат Гильберт, который был старше Касса лет на пятнадцать. Гильберт, еще мальчиком убежавший из дому на Миссисипи, к тридцати годам, то есть в 1850-м, стал одним из «хлопковых нуворишей». Нищий и, без сомнения, голодный мальчонка, который босиком шагал по черной земле Миссисипи, лет через десять или двенадцать уже гарцевал перед белой верандой на гнедом жеребце (по кличке Поухатан, сказано в дневнике). Как Гильберт заработал свой первый доллар? Перерезал глотку какому-нибудь путнику в камышах? Чистил сапоги где-нибудь в трактире? Сведений об этом не сохранилось. Но он сколотил состояние, сидел теперь на белой веранде и голосовал за вигов. И не удивительно, что после войны, когда белая веранда превратилась в груды золы, а от богатства ничего не осталось, Гильберт, сумевший сколотить одно состояние, сумел и теперь, во всеоружии своего опыта, хитрости и суровости (а суровости у него прибавилось за четыре бесплодных года, проведенных в седле и впроголодь), сколотить еще одно состояние, куда больше первого. Если на старости лет он и вспоминал брата Касса, перечитывая его последнее письмо, продиктованное в атлантском госпитале, на губах его, вероятно, была снисходительная усмешка. Ибо там говорилось:

«Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, то мне. Я обрету покой и надеюсь на милость Вечного Судии, на его божественное снисхождение. А тебе, дорогой мой брат, суждено есть горький хлеб озлобления, строить на пепелище, болеть душой за разорение и грехи нашей дорогой родины и за пороки всего человечества. На соседней койке лежит молодой парень из Огайо. Он умирает. Его стоны, проклятия и молитвы не громче других в этой юдоли страдания. Он пришел сюда во грехе, как и я. И через греховность своей родины. Пусть же на обоих нас снизойдет божья благодать и поднимет нас из смертного праха. Дорогой мой братец, я молю Господа дать тебе силы перед лицом грядущего».

Гильберт наверняка улыбался, вспоминая прошлое, потому что горький хлеб ему пришлось есть недолго. А сил у него хватало своих собственных. К 1870 году он снова стал человеком зажиточным. В 1875-м или 1876-м — богачом. К 1880-му он уже владел огромным состоянием, жил в Нью-Йорке, стал важной персоной, раздобыл, приобрел вальяжность, и голова его казалась высеченной из гранита. Он пережил одну эпоху и стал современником другой. Возможно, новая пришлась ему больше по душе, чем старая. А может, такие Гильберты Мастерны чувствуют себя как дома в любой эпохе. Так же, как Кассы Мастерны чужие всегда и везде.

Но вернемся к делу. Джек Бёрден получил эти бумаги от внука Гильберта Мастерна. Когда пришло время выбирать тему диплома, профессор предложил ему издать дневник и письма Касса Мастерна, написать о нем биографический очерк и социальное исследование, основываясь на этих и других материалах. Так Джек Бёрден начал свое первое путешествие в прошлое.

Поначалу все шло легко. Легко было воспроизвести жизнь в бревенчатой хижине посреди рыжих холмов. Сохранились и первые письма Гильберта домой — в ту пору только начиналось его возвышение. (Джеку Бёрдену удалось раздобыть и другие довоенные документы о Гильберте Мастерне.) Уклад этой жизни был известен, он лишь постепенно менялся к лучшему, по мере того как издали стало чувствоваться растущее благосостояние Гильберта. Потом, чуть не сразу, умерли мать и отец, и Гильберт — этот блистательный пройдоха — вернулся домой, поразив Касса и Лавинию своим немислимым великолепием: черным костюмом из двойного сукна, лаковыми сапогами, белоснежным бельем и массивным золотым перстнем. Он отдал Лавинию в школу в Атланте, накупил ей целые сундуки нарядов и расцеловал на прощанье. («Неужели ты не мог взять меня с собой, дорогой братец Гильберт? Я была бы тебе такой любящей и покорной сестрой, — писала она ему бурными чернилами, ученическим почерком и чужими словами, по всем правилам школьного этикета. — А нельзя ли приехать к тебе сейчас? Найдется ведь и для меня какое-нибудь дело...») Но у Гильберта были другие планы. Она должна появиться в его доме только тогда, когда ее как следует отшлифуют.) Но Касса он с собой взял — и деревенский увальень был обряжен в черный костюм и посажен на кровную кобылу.

Прошло три года, и Касс перестал быть увальнем. Он провел эти три года в монашеской строгости «Валгаллы» — дома Гильберта, — обучаясь у м-ра Лоусона и у своего брата. У брата он научился управлять плантацией. М-р Лоусон — чахоточный, рассеянный юноша из Принстона — преподавал ему начатки геометрии и латыни и напичкал пресвитерианским богословием. Касс любил читать, и однажды Гильберт (как описано в дневнике) появился в дверях и, увидев брата, погруженного в книгу, сказал:

— Может, ты годен хотя бы на это!

Однако он был годен не только на это. Когда Гильберт отдал ему маленькую плантацию, Касс управлял ею два года так умело (и так удачливо, ибо и погода и спрос на рынке словно сговорились ему помогать), что к концу этого срока он уже мог вернуть Гильберту значительную часть стоимости земли. Потом он поехал, вернее был отправлен, в Трансильванский университет. Идея принадлежала Гильберту. Однажды ночью он приехал на плантацию Касса, вошел в дом и застал брата за чтением. Он подошел к столу, заваленному книгами, и Касс встал. Гильберт постучал по одной из книг стеклом.

— Может, ты что-нибудь из нее и выудишь, — сказал он.

В дневнике не говорится, по какой именно книжке Гильберт постучал хлыстом. Да и неважно, какая это была книга. А может, и важно — нам почему-то хочется это знать. Мы мысленно видим белый манжет и красную короткопалую сильную руку («брат мой крепкого сложения и румян»), которая сжимает хлыст, — в этом кулачище он кажется просто былинкой. Мы видим, как щелкает кожаная петелька по открытой странице, щелкает не то чтобы презрительно, но отрывисто, а что это за страница — мы разобрать не можем.

Книга, по-видимому, не была богословской, потому что тогда Гильберт не

сказал бы: «Может, ты что-нибудь из нее и выудишь». Скорее это были стихи какого-нибудь римского поэта — Гильберт, наверно, уже понял, что в маленьких дозах они годятся в политике и в юриспруденции. Коротче говоря, он выбрал для брата Трансильванский университет — как потом выяснилось, по совету своего соседа и друга м-ра Дэвиса, м-ра Джефферсона Дэвиса, который там когда-то учился. М-р Дэвис изучал греческий язык.

В Трансильванском университете города Лексингтона Касс познал мирские радости.

«Я обнаружил, что в пороках совершенствуются так же, как в добродетелях, и научился всему, чему можно научиться за игорным столом, за бутылкой, на скачках и в запретных радостях плоти».

Он расстался с нищетой бревенчатой хижины, с аскетическим режимом «Валгаллы» и с заботами о своей маленькой плантации; вырос, возмужал и, если судить по фотографии, был совсем недурен собой. Стоит ли удивляться, что он «познал мирские радости» или что мирские радости поработили его. И хотя в дневнике ничего об этом не говорится, события, приведшие к «затмению и беде», показывают, что Касс, по крайней мере вначале, был не охотником, а дичью.

Охотника называют в дневнике «она», но Джек Бёрден узнал ее имя. «Она» была Аннабеллой Трайс, женой Дункана Трайса, а Дункан Трайс — молодым банкиром из города Лексингтона, штат Кентукки, приятелем Касса Мастерна и, по-видимому, одним из тех, кто ввел его на стезю мирских радостей. Джек Бёрден нашел это имя, проглядывая подшивки лексингтонских газет за середину пятидесятых годов прошлого века, где он искал сообщений об одной смерти. Это была смерть м-ра Дункана Трайса. В газетах ее изображали как несчастный случай. М-р Дункан Трайс, писала газета, нечаянно застрелился, когда чистил свои пистолеты. Один из пистолетов, уже вычищенный, лежал рядом с покойным на диване в библиотеке, где и произошел несчастный случай. Другой выстрелил, упав на пол. Джек Бёрден знал из дневника, как было дело, и поэтому, напав на описание всех его обстоятельств, выяснил личность «ее».

Вдовой м-ра Трайса, по словам газеты, была урожденная Аннабелла Пакетт, из Вашингтона, округ Колумбия.

Аннабелла познакомилась с Кассом вскоре после его приезда в Лексингтон. Его привел в дом Дункан, получивший письмо от м-ра Дэвиса, который рекомендовал ему познакомиться с братом его близкого друга и соседа м-ра Гильберта Мастерна. (Дункан Трайс приехал в Лексингтон из Кентукки, где его отец дружил с отцом Джефферсона Дэвиса, Сэмюелем, который жил в Фейрвью и разводил скаковых лошадей.) И вот Дункан Трайс привел к себе домой этого высокого юношу — теперь уже не увальня, — посадил на диван, сунул ему в руку бокал, позвал хорошенькую жену, которой он так гордился, и представил ей гостя.

«Приближался вечер, в комнате сгущались тени, но свеч еще не зажигали, и когда она вошла, глаза ее показались мне черными, что разительно контрастировало с ее белокурыми волосами. Я заметил, какая легкая у нее поступь; она словно скользила по полу, что придавало ей, несмотря на скорее малый рост, истинно королевское величие —

...et avertens rosea cervice refulsit
Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem
Spiravere, pedes vestis defluxit ad imos,
Et vera incessu patuit Dea¹.

Так писал мантуанец о появлении Венеры; богиню можно было узнать по ее поступи. Она вошла в комнату, и по ее движениям я узнал богиню, ту, которой

¹ ...и, обратясь, проблестала выей румяной;
И, как амбросия, дух божественный пролили косы
С темени; пали струей до самых ног одеянья;
В поступи явно сказалась Богиня.

Вергилий, «Энеида».

(Перевод В. Брюсова)

суждено стать моей погибелью. (Я могу лишь надеяться на милосердие Всевышнего, но снизойдет ли оно на такое исчадие зла, как я?) Подав мне руку, она заговорила грудным хрипловатым голосом, и у меня сразу возникло такое же ощущение, какое бывает, когда гладишь рукою мягкую ворсистую ткань, бархат или мех. Голос этот нельзя было назвать певучим, чем обычно восхищаются. Я это знаю, но могу лишь описать то впечатление, которое этот голос произвел на мои органы слуха».

Истязая себя, Касс старательно описывает каждую ее черту и пропорцию тела, словно в минуты «затмения и беды», в минуты душевной муки и раскаяния он должен в последний раз оглянуться на нее, даже рискуя превратиться в соляной столб.

«Лицо у нее было небольшое и скорее круглое. Рот волевой, но губы алые, влажные, приоткрытые или готовые приоткрыться. Подбородок маленький, но твердо очерченный. Кожа у нее была необычайной белизны, особенно в сумерки, но когда засветили свечи, я увидел на щеках ее румянец. Волосы, поразительно густые и очень светлые, были зачесаны назад, собраны в большой узел, лежавший низко на затылке. Талия у нее была тонкая, а грудь, от природы высокая, пышная и округлая, казалась еще выше благодаря корсету. Синее шелковое платье, как я помню, было с большим вырезом, открывавшим всю покатошь плеч и два приподнятых полушария груди».

Так описывал ее Касс. Он признавал, что она не красавица.

«Хотя лицо ее и приятно гармоническим сочетанием своих черт, — добавлял он. — Зато волосы прекрасны и поразительной мягкости. На ощупь они мягче и шелковистее любого шелка». Словом, даже в минуты «затмения и беды» в дневнике, помимо воли автора, появляется воспоминание о том, как эти густые светлые пряди скользили у него между пальцами. «Но вся ее красота заключалась в глазах», — пишет он.

Касс говорит, что, когда она вошла в полутемную комнату, глаза ее казались черными. Но потом он обнаружил, что ошибся, и это открытие было первым шагом к его гибели. Поздоровавшись («она поздоровалась со мной просто и вежливо, а потом попросила меня снова сесть»), она обратила внимание на то, как темно в комнате, заметив, что осень всегда подступает негаданно. Затем она позвонила, и вошел мальчик-негр. «Она приказала ему принести свет и подкинуть дров в камин, который почти угасал. Слуга вскоре вернулся с семисвечником и поставил его на стол за диваном, где я сидел. Он зажег спичку, но она сказала:

— Я сама зажгу свечи.

Мне кажется, будто я только вчера сидел на этом диване. Я рассеянно повернул голову, чтобы поглядеть, как она зажигает свечи. Нас разделял только столик. Она склонилась над канделябром и стала подносить спичку к одному фитилю за другим. Она нагнулась, я видел ее грудь, приподнятую корсетом, но ее веки были опущены и скрывали от меня глаза. Потом она подняла голову и поглядела прямо на меня, стоя над зажженными свечами, и я вдруг увидел, что глаза у нее совсем не черные. Они были голубые, но такого темно-голубого цвета, что я могу его сравнить лишь с голубизной вечернего неба осенью, когда погода стоит ясная, луны нет, а звезды только появляются. Я и не подозревал, как огромны эти глаза. Я помню совершенно ясно, что повторял про себя: «А я и не подозревал, как огромны эти глаза». Повторял медленно, раз за разом, словно пораженный чудом. Потом я почувствовал, что краснею, во рту у меня пересохло, и мной овладело желание

Я очень явственно вижу выражение ее лица, даже сейчас, но не могу его разгадать. Порой мне казалось, что она прячет улыбку, но я не могу этого утверждать. (Я могу утверждать только одно: видит Бог, наш спаситель, человека на каждом шагу подстерегает вечное проклятие.) Я сидел, сжав одной рукой колено, а другой — пустой бокал, и чувствовал, что не могу вздохнуть. Тогда она сказала мужу, стоящему за моей спиной:

— Дункан, разве ты не видишь, что у нашего гостя пустой бокал?»

Прошел год. Касс, который был много моложе Дункана Трайса и на несколько лет моложе Аннабеллы Трайс, близко сошелся с Дунканом Трайсом и многому у него научился. Дункан Трайс, богач, гуляка, умница и модник («очень любил веселье и был неутомим»), приобщил Касса к вину, азартным играм и бегам, но отнюдь не к «запретным радостям плоти». Дункан Трайс страстно и беззаветно любил жену. («Когда она входила в комнату, глаза его бесстыдно впивались в нее, и я не раз видел, как она отворачивала лицо и краснела под его дерзким взглядом в присутствии посторонних. Но, по-моему, он сам не сознавал, что делает, так он был ею пленен».) Нет, к «запретным радостям плоти» Касса приобщили другие молодые люди из окружения Трайса. Но, несмотря на новые интересы и увлечения, Касс успевал сидеть над книгами. Ему хватало времени и на них, такая у него была тогда сила и выносливость.

Так прошел год. Касс часто бывал в доме у Трайсов, но, помимо «шутки и изъявлений вежливости», не обменялся с Аннабеллой Трайс ни единым словом. В июне один из друзей Дункана Трайса устроил у себя танцы. Дункан Трайс, его жена и Касс вышли в сад и сели в беседке, увитой жасмином. Дункан Трайс вернулся в дом, чтобы принести всем им пунш, оставив Касса наедине с Аннабеллой. Касс заметил вслух, как сладко пахнет жасмин. Вдруг у нее вырвалось («голос у нее был низкий и, как всегда, хрипловатый, но в нем звучала такая горячность, что я поразился»):

— Да, да, слишком сладкий. Задохнуться можно. Я задыхаюсь.

И она прижала правую руку к обнаженной груди, вздымавшейся над корсетом.

«Решив, что она заболела, — пишет Касс в дневнике, — я спросил, не дурно ли ей. Она сказала «нет» очень тихим, грудным голосом. Тем не менее я встал и выразил намерение принести ей стакан воды. Вдруг она сказала очень резко, сильно меня удивив, потому что всегда отличалась безукоризненной вежливостью:

— Сядьте, сядьте, Не нужно мне воды.

Думая, что я ее нечаянно обидел, я огорчился и снова сел. Я поглядел в другой конец сада, где при свете луны по дорожкам между подстриженными цветущими изгородями прогуливались пары. Я слышал ее дыхание. Оно было прерывистое и тяжелое. Вдруг она спросила:

— Сколько вам лет?

Я ответил, что мне двадцать два. Тогда она сказала:

— А мне двадцать девять.

Я от удивления что-то пробормотал; она засмеялась словно над моим смущением и сказала:

— Да, я на семь лет вас старше. Вас это удивляет?

Я ответил утвердительно. Тогда она сказала:

— Семь лет — долгий срок. Семь лет назад вы были ребенком. — Тут она неожиданно засмеялась, но сразу же прервала свой смех и добавила: — А я вот не была ребенком. Во всяком случае семь лет назад.

Я ничего не ответил, потому что в голове у меня не было ни единой отчетливой мысли. Я сидел в растерянности, но, несмотря на это, старался себе представить, как она выглядела ребенком. Однако воображение мне ничего не подсказывало. Вскоре вернулся ее муж».

Через два-три дня Касс уехал на Миссисипи, чтобы посвятить несколько месяцев своей плантации, и по настоянию Гильберта побывал в столице штата Джексона и в Виксберге. Дел в то лето было много. Теперь Кассу стали понятны намерения Гильберта: брат хотел, чтобы он нажил деньги и занялся политикой. Перспектива заманчивая, блестящая и не такая уж призрачная для молодого человека, чьим братом был Гильберт Мастерн («Брат мой человек в высшей степени молчаливый и целеустремленный; и хотя он не красноречив и не ищет ничего расположения, все — особенно люди солидные, имеющие влияние и вес, — внимательно прислушиваются к его словам»). Так он провел это лето — под твердой

рукой и холодным взглядом Гильберта. Когда Касс стал уже подумывать о возвращении в университет, из Лексингтона на его имя пришло письмо, написанное незнакомым почерком. Когда Касс развернул письмо, из него выпал маленький засушенный цветок. Сначала он не мог понять, почему этот предмет оказался у него в руке. Потом он понюхал цветок. Аромат, уже слабый и отдающий пылью, был ароматом жасмина.

Листок был сложен вчетверо. На одной четвертушке ясным, твердым, не очень крупным почерком было написано: «Ах, Касс!» И все.

Но этого было достаточно.

В дождливый осенний день, сразу после своего возвращения в Лексингтон, Касс нанес визит Трайсам, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Дункана Трайса дома не было, он прислал сказать, что его неожиданно задержали в городе и он будет обедать поздно. Об этом дне Касс пишет:

«Я оказался с ней наедине. Смеркалось, как тогда, почти год назад, когда я впервые увидел ее в этой же комнате и подумал, что глаза у нее черные. Она вежливо поздоровалась со мной, я ей ответил и, пожав ей руку, отступил назад. Тут я заметил, что она смотрит на меня так же пристально, как и я на нее. Вдруг губы ее приоткрылись, и из них вырвался не то вздох, не то сдавленный стон. Потом, словно сговорившись, мы двинулись навстречу друг другу и обнялись. Мы не обменялись ни словом. Простояли мы с ней долго, по крайней мере так мне казалось. Я крепко прижимал к себе ее тело, но мы ни разу не поцеловались, что теперь мне кажется странным. Но так ли это было странно? Так ли уж странно, что последние остатки стыда мешали нам взглянуть друг другу в глаза? Я чувствовал, я слышал, как мое сердце колотится в груди, — у меня было такое ощущение, будто оно сорвалось с места и мечется в огромной пустоте моего тела. И в то же время я не отдавал себе отчета в том, что со мной происходит. Когда я стоял и вдыхал аромат ее волос, мне казалось, что чувства меня обманывают, и даже не верилось, что я — это я. Нельзя было поверить, что я — это Касс Мастерн и веду себя так в доме своего друга и покровителя. В душе моей не было ни раскаяния, ни ужаса перед низостью моего поступка — как я уже сказал, мной владела одна растерянность. (Человек чувствует растерянность, когда впервые нарушает какую-нибудь привычку, но испытывает ужас, изменив свои принципы. Следовательно, если во мне когда-нибудь и жили добродетель и честь, они были лишь случайностью, привычкой, а не сознательным проявлением моей воли. А может ли добродетель вообще быть проявлением нашей воли? Внушить такую мысль может только гордыня.)».

«Итак, мы долго стояли, крепко обнявшись, ее лицо было прижато к моей груди, а я смотрел через всю комнату в окно, где сгустились вечерние тени. Когда она наконец подняла голову, я увидел, что она беззвучно плачет. Почему она плакала? Я не раз задавал себе этот вопрос. Потому ли, что, будучи готова совершить роковую ошибку, она все же могла плакать над последствиями поступка, которого не в силах была избежать? Потому ли, что человек, который ее обнимал, был намного ее моложе и она стыдилась его молодости, семи разделявших их лет? Потому ли, что он опоздал на семь лет и теперь не мог прийти к ней беспорочно? Неважно, какова была причина ее слез. Если первая — значит, слезы показывали, что чувство не может подменить долга; если вторая — это бы доказывало, что жалость к себе не может заменить благоразумия. Но, выплакавшись, она подняла наконец ко мне свое лицо, и в ее больших глазах блестели слезы. И даже теперь, зная, что эти слезы стали моей погibelью, я не жалую, что они пролились, ибо они говорят о том, что сердце ее не было каменным, и каково бы ни было ее прегрешение (а также и мое), она шла на него не с легкой душой и в глазах ее не горела похоть и плотское вожделение.

Слезы эти стали моей погibelью, потому что, когда она подняла ко мне лицо, к чувствам моим примешалась нежность и сердце в груди расширилось, наполнив ту огромную пустоту, в которой оно раньше билось. Она сказала:

— Касс...

Впервые она назвала меня по имени.

— Что? — спросил я.

— Поцелуй меня, — сказала она очень просто. — Теперь ты можешь это сделать.

И я ее поцеловал. А потом, ослепленные бунтом крови и жадностью чувств, мы соединились. В этой самой комнате, при том, что где-то в доме неслышно бродили слуги, дверь была открыта и вот-вот мог вернуться муж, а темнота еще не наступила. Но безрассудство страсти, казалось, берегло нас, словно окутывая непроницаемым мраком; так и Венера когда-то прикрыла облаком Энея, чтобы скрытый от людских взоров, он мог приблизиться к городу Дидоны. В таких историях, как наша, сама отчаянность служит защитой, точно так же, как сила страсти словно оправдывает ее и освящает.

Несмотря на слезы и на то, что отдавалась она мне с тоской и отчаянием, сразу же после этого голос ее показался мне веселым. Она стояла посреди комнаты, приглаживая волосы, и я, заикаясь, что-то сказал насчет нашего будущего, что-то очень бессвязное — я еще не пришел в себя. Но она ответила: «Ах, стоит ли сейчас об этом думать?» — словно я заговорил о чем-то совсем незначительном. Она поспешно позвала слугу и попросила принести свечи. Их принесли, и я смог разглядеть ее лицо — оно было свежим и спокойным. Когда пришел муж, она поздоровалась с ним очень ласково, при виде чего сердце мое готово было разорваться, однако, признаюсь, совсем не от раскаяния. Скорее от бешеной ревности. Когда он обратился ко мне и пожал мне руку, я был в крайнем смятении и не сомневался, что мое лицо меня выдаст».

Так началась вторая часть истории Касса Мастерна. Весь этот год он, как и раньше, часто бывал в доме Дункана Трайса, как и раньше, занимался с ним спортом, играл в карты, пил и ездил на бега. Он научился, по его словам, сохранять «безмятежность чела» и мириться с существующим положением вещей. Что же касается Аннабеллы Трайс, то впоследствии ему с грудом верилось, что она «проливала слезы». По его словам, у этой женщины было «доброе сердце, опрометчивая и страстная натура, ненависть ко всяким разговорам о будущем (она не разрешала мне даже заикнуться о том, что нас ждет); веселая, ловкая и находчивая, когда речь шла о том, как утолить наше желание, она была наделена такой женственностью, что украсила бы любой семейный очаг». В ловкости и находчивости ей не откажешь, потому что скрывать любовную связь в том месте и в то время было делом нелегким. В глубине сада Трайсов стояло нечто вроде беседки, куда можно было незаметно войти с аллеи. Некоторые их свидания происходили там. Любовникам, по-видимому, помогала сводная сестра Аннабеллы, жившая в Лексингтоне, а может, не помогала, а только смотрела сквозь пальцы на их связь, да и то после долгих уговоров, потому что Касс упоминает о «бурной ссоре сестер». Словом, несколько свиданий произошло у нее. Время от времени Дункану Трайсу приходилось уезжать из города по делам, и Касса поздно ночью впускали в дом даже тогда, когда там гостили отец и мать Аннабеллы, и Касс в буквальном смысле слова лежал в постели Дункана Трайса.

Были у них и другие встречи, неожиданные и непредвиденные минуты, когда они вдруг оставались вдвоем. «Едва ли не каждый уголок, закоулок и укромное местечко в доме моего доверчивого друга мы осквернили в то или иное время, даже при ярком бесстыжем свете дня», — писал в дневнике Касс, и когда студент исторического факультета Джек Бёрден поехал в Лексингтон и пошел осматривать старый дом Трайсов, он вспомнил эту фразу. Город вокруг дома разросся, и сад, если не считать небольшого газона, был застроен. Но дом содержался в порядке — там жили люди по фамилии Милер, гордившиеся этой старинной обителью; они разрешили Джеку Бёрдену осмотреть свои владения. Джек Бёрден прошелся по комнате, где состоялось знакомство Касса с Аннабеллой, и где он увидел ее глаза при свете только что зажженных свечей, и где год спустя она издала громкий вздох или сдавленный стон и упала к нему в объятия; потом Джек Бёрден осмотрел просторный холл с изящной лестницей наверх, маленькую,

сумрачную библиотеку и заднюю комнату — нечто вроде черной прихожей, которая вполне могла служить «укромным уголком» и была, кстати сказать, удобно для этой цели обставлена. Стоя в тихой прохладной передней на тускло блестящем в полутьме паркете, Джек Бёрден воображал себе, как почти семьдесят лет назад здесь украдкой обменивались взглядом, перешептывались, и тишину нарушало только шуршание юбок (костюмы той поры не были приспособлены для разврата впопыхах), тяжелое дыхание, неосторожный стон... Ну что ж, все это было давным-давно; и Аннабелла Трайс и Касс Мастерн давно на том свете, а хозяйку, миссис Милер, которая пожелала напоить Джека Бёрдена чаем (ей льстило, что ее дом представляет «исторический интерес», хотя она и не подозревала об истинных обстоятельствах дела), никак нельзя было назвать «ловкой» или «находчивой» — всю свою энергию она, как видно, отдала «Гильдии хранительниц алтаря епископальной церкви святого Луки» и «Дочерям американской революции».

Второй период истории Касса Мастерна — его любовная связь — длился весь учебный год, часть лета (Кассу пришлось уехать на Миссисипи, чтобы позаботиться о своей плантации и присутствовать на свадьбе сестры Лавинии, вышедшей замуж за Виллиса Бёрдена, молодого человека со связями) и большую часть следующей зимы, которую Касс снова провел в Лексингтоне. Но вот 19 марта 1854 года умирает в своей библиотеке (в одном из «укромных уголков» своего дома) Дункан Трайс; в груди его свинцовая пуля величиной почти с большой палец. С ним, очевидно, произошел несчастный случай.

Вдова сидела в церкви прямо и неподвижно. Когда она подняла вуаль, чтобы утереть платочком глаза, лицо ее, по словам Касса Мастерна, «было бело, как мрамор, и только на щеке горело лихорадочное пятно». Но под вуалью он различал ее пристальный, горящий взгляд, который сверкал в «этой искусственной полутьме».

Касс Мастерн и еще пятеро молодых людей из Лексингтона, приятелей и собутыльников покойного, несли гроб.

«Гроб, который я нес, казалось, ничего не весит, хотя друг мой был человеком крупным, склонным к полноте. Когда мы несли его, я удивлялся, до чего он легкий, мне даже пришла в голову шальная мысль, что гроб пуст, в нем никого нет и вся эта история — шутство, кощунственный маскарад, долгий и бессмысленный, как сон. А может статься, подсказывала мне фантазия, все это придумано, чтобы обмануть меня. Я жертва этой мистификации, а все остальные сговорились и действуют заодно. Но когда эта мысль у меня родилась, я вдруг почувствовал страшное возбуждение. Я чересчур умен, чтобы так легко попасться. Я разгадал их обман. Мне вдруг захотелось швырнуть гроб оземь, увидеть, как он разверзнется, зияя пустотой, и с торжеством захохотать. Но я удержался и увидел, как гроб опускают в яму у наших ног и на него падают первые комья».

Как только я услышал стук первых комьев земли о крышку гроба, я почувствовал огромное облегчение, а потом непреодолимое желание обладать ею. Я посмотрел на нее. Она стояла на коленях у края могилы, и я не мог понять, что у нее на душе. Голова ее была чуть-чуть наклонена, и вуаль покрывала лицо. Одета в черное фигура была залита ярким солнцем. Я не мог отвести глаз от этого зрелища. Поза, казалось, подчеркивала ее прелести, и воспаленное воображение рисовало мне ее гибкое тело. Даже траур и тот придавал ей соблазнительность. Солнце пекло мне шею и сквозь ткань сюртука — плечи. Свет его был противостоестественно ярок, он слепил мне глаза и распалаял мою страсть. Но все это время я слышал, как будто очень издалека, скрежет лопат, разбирающих насыпь, и приглушенный стук комьев земли, падающих в яму».

В тот вечер Касс отправился в беседку. Сговора между ними не было, он пошел по наитию. Ему пришлось долго ждать, но наконец она появилась, вся в трауре, который «был едва ли темнее той ночи». Он молчал, стоя в самом темном углу беседки, и не шевельнулся при ее приближении, а она «скользила, как тень среди теней». Когда она вошла, он ничем не выдал своего присутствия. «Я не уверен, что

молчание мое было намеренным. Его вызвала какая-то непреодолимая потребность, которая овладела всем существом, сдавила мне горло, парализовала руки и ноги. До этого мгновения и после я понимал, что шпионить бесчестно, но в тот миг такое соображение меня не остановило. Глаза мои были прикованы к ней. Если она не подозревает, что здесь, кроме нее, кто-то есть, я смогу, казалось мне, проникнуть в ее душу, узнать, как на нее повлияла, какую перемену в ней произвела смерть мужа. Страсть, душившая меня днем, у края могилы моего друга, теперь прошла. Я был совершенно холоден. Но я должен был узнать, хотя бы попытаться узнать. Как будто поняв ее, я пойму самого себя. (Обычное человеческое заблуждение: пытаться узнать себя через кого-то другого. Себя можно познать только в Боге и через Его свевидящее око.)

Она вошла в беседку и опустилась на скамью в нескольких шагах от того места, где находился я. Я долго стоял, вглядываясь в нее. Она сидела выпрямившись, как каменная. В конце концов я шепотом, едва слышно назвал ее имя. Если она и услышала, то ничем этого не показала. Тогда я снова таким же образом назвал ее имя, а потом опять. В ответ на третий мой оклик она прошептала: «Да», но не шевельнулась и не повернула ко мне головы. Тогда я заговорил громче, снова произнес ее имя, и она вдруг вскочила в диком испуге, издала сдавленный крик и закрыла руками лицо. Она покачулась и едва не упала, но потом овладела собой и замерла, не сводя с меня глаз. Я, заикаясь, стал извиняться, уверяя, что не хотел ее пугать — ведь она отозвалась на мой шепот, прежде чем я заговорил громче. Я спросил ее:

— Разве ты не отозвалась на мой шепот?

Она ответила, что да, отозвалась.

— Почему же ты так испугалась, когда я заговорил снова?

— Потому что не знала, что ты здесь, — сказала она.

— Но ты же говоришь, что слышала мой шепот и ответила мне, а теперь уверяешь, будто не знала, что я здесь!

— Я не знала, что ты здесь, — повторила она тихо, и тут до меня дошел смысл ее слов.

— Но когда ты услышала шепот, — сказал я, — ты узнала мой голос?

Она смотрела на меня молча.

— Скажи, — требовал я, потому что мне надо было это знать.

Она по-прежнему не сводила с меня глаз и наконец, запинаясь, ответила:

— Не знаю.

— Ты думала, что это... — начал я, но не успел договорить: она кинулась ко мне, цепляясь за меня судорожно, как человек, который тонет, и восклицая:

— Нет, нет, все равно, что я думала, раз ты здесь, раз ты здесь!.. — Она пригнула мое лицо и прижалась губами к моему рту, чтобы помешать мне говорить. Губы ее были холодны, но не отрывались от моих.

Я тоже был холоден, словно и меня коснулось дыхание смерти. Эта холодность была самым мерзостным в наших объятиях — мы были словно куклы, которые подражают постыдному сластолюбию людей, превращая его в пародию вдвойне постыдную.

После всего она сказала:

— Если бы я тебя сегодня здесь не нашла, между нами все было бы кончено.

— Почему? — спросил я.

— Это было знамение, — сказала она.

— Знамение? — спросил я.

— Знамение того, что мы обречены что... — И она замолчала, а потом горячо зашептала в темноте: — Я и не желаю другой судьбы... но это — знак... что сделано, то сделано. — Она на мгновение затихла, а потом продолжала: — Дай мне руку.

Я подал ей правую руку. Она схватила ее, но тут же откинула, говоря:

— Другую, другую руку!

Я протянул ей руку. через себя, потому что сидел от нее слева. Она схватила ее левой рукой, подняла и прижала к груди. Потом ощупью, в темноте, надела мне на безымянный палец кольцо.

— Что это? — спросил я.

— Кольцо, — ответила она и, помолчав, объяснила: — Это его кольцо.

Тогда я вспомнил, что он, мой друг, носил обручальное кольцо, и почувствовал холод металла.

— Ты сняла у него с пальца? — спросил я, потрясенный этой мыслью.

— Нет, — сказала она.

— Нет? — переспросил я.

— Нет, — сказала она. — Он его снял сам. В первый раз снял.

Я сидел рядом с ней, ожидая неизвестно чего, а она прижимала мою руку к своей груди. Я чувствовал, как вздымается ее грудь, но не мог произнести ни слова.

Тогда она сказала:

— Хочешь знать, как... как он его снял?

— Да, — ответил я в темноте и, ожидая ответа, провел языком по пересохшим губам.

— Слушай! — приказала она мне властным шепотом. — В тот вечер после... после того, как это случилось... после того, как в доме все опять стихло, я сидела у себя в комнате на пуфе возле туалета, где я всегда сижу, когда Феба распускает мне на ночь волосы. Я, наверно, села там по привычке, потому что все внутри у меня словно омертвело. Феба стелила постель. — (Феба была ее горничная, смазливая светлокочая негритянка, обидчивая и капризная.) — Я увидела, что Феба подняла валик и смотрит на го место, где этот валик лежал, на моем краю кровати. Она там что-то взяла и подошла ко мне. Смотрит на меня — а глаза у нее желтые, ничего в них не прочтешь, — она смотрела на меня долго-долго... а потом протянула кулак и, не сводя с меня глаз, медленно, очень медленно разжала пальцы... и там, у нее на ладони, лежало кольцо... я сразу поняла, что это его кольцо, но думала тогда только о том, что оно золотое и лежит на золотой руке. Потому что рука у Фебы золотая... я никогда раньше не замечала, что ее ладони так похожи цветом на чистое золото. Тогда я подняла глаза, а она все смотрела на меня, и глаза у нее тоже золотые, светлые и непрозрачные, как золото. И я поняла, что она знает.

— Знает? — переспросил я, хотя и сам теперь знал.

Мой друг обо всем догадался — либо почувствовал холодность жены, либо наслетничали слуги, — снял с пальца золотое кольцо, отнес на кровать, где спал с женой, положил ей под подушку, а потом спустился вниз и застрелился, но оставил дело так, чтобы никто, кроме жены, не усомнился в том, что это несчастный случай. Он не предусмотрел только одного — что его кольцо найдет желтая служанка.

— Она знает, — прошептала Аннабелла, крепко прижимая мою руку к своей груди, которая снова стала лихорадочно вздыматься. — Знает... и смотрит на меня... она всегда будет так смотреть. — Внезапно голос ее стал тише, и в нем появилась плаксивая нотка. — Она всем расскажет. Все в доме будут знать. Все будут на меня смотреть и знать... когда подадут еду... когда входят в комнату... а шагов их никогда не слышишь!

Она вскочила, отпустив мою руку. Я остался сидеть, а она стояла рядом спиной ко мне, и теперь белизна ее лица и рук уже больше не проступала из тьмы; чернота ее платья сливалась с чернотой ночи даже в такой близости. И вдруг голосом до неузнаваемости жестоким она произнесла в темноте над моей головой:

— Я этого не потерплю. Я этого не потерплю! — Потом она обернулась и, метнувшись, как птица сверху, прижалась губами к моему рту. Потом она убежала, и я услышал, как шуршит гравий у нее под ногами.

Я еще долго сидел в темноте, вертя на пальце кольцо».

После свидания в беседке Касс несколько дней не видел Аннабеллы Трайс. Он узнал, что она уехала в Луисвилл, где, кажется, жили ее близкие друзья. И, как обычно, взяла с собой Фебу. Потом до него дошел слух, что она вернулась, и в ту же ночь он отправился в беседку. Она была там, сидела одна в темноте. Они поздоровались. Позднее он писал, что в ту ночь она была какой-то рассеянной, далекой, отрешенной, как сомнамбула. Он стал расспрашивать ее о поездке в Луисвилл, и она коротко ответила, что спустилась по реке до Падьюки.

— Я не знал, что у тебя есть друзья в Падьюке, — сказал он, и она ответила, что никаких друзей у нее там нет.

Вдруг она повернулась к нему и уже не рассеянно, а с яростью воскликнула:

— Все выпытываешь... вмешиваешься в мои дела... я этого не допущу!

Касс, заикаясь, стал бормотать извинения, но она его прервала:

— Но если уж так хочешь знать — пожалуйста, я скажу. Я ее туда отвезла.

В первую минуту Касс ничего не понял.

— Ее? — переспросил он.

— Фебу. Я отвезла ее в Падьюку, ее больше нет.

— Нет? Как нет?

— Продала, — ответила она и повторила: — Продала. — А потом резко захотала и добавила: — Ничего, теперь она больше не будет на меня смотреть.

— Ты ее продала?

— Да, продала. В Падьюке, одному человеку, собиравшему партию рабов для Нью-Орлеана. А меня в Падьюке никто не знает, никто не знает, что я там была, никто не знает, что я ее продала, я ведь скажу, что она сбежала в Иллинойс. Но я ее продала. За тысячу триста долларов.

— Тебе дали хорошие деньги, — сказал Касс. — Даже за такую светлокожую и резвую девушку, как Феба. — И, как он сам описывает, засмеялся «зло и грубо», хотя и не объясняет почему.

— Да, — ответила она. — Я получила хорошую цену. Заставила заплатить за нее то, что она стоит, до последнего цента. А потом знаешь, что я сделала с этими деньгами?

— Не знаю.

— Когда я сошла с парохода в Луисвилле, там на пристани сидел старик негр. Он был слепой, подыгрывал себе на гитаре и напевал «Старый Дэн Такер». Я вынула из сумки деньги, подошла к нему и положила их в его старую шляпу.

— Если ты все равно отдала эти деньги... если ты чувствовала, что деньги эти грязные, почему ты не отпустила ее на свободу? — спросил Касс.

— Она бы осталась здесь, она бы никуда не уехала, она бы осталась здесь и смотрела на меня. Ах нет, она бы ни за что не уехала, она ведь замужем за кучером мистера Мотли. Нет, она бы здесь осталась, смотрела на меня и рассказывала всем, рассказывала... а я этого не желаю!

Тогда Касс сказал:

— Если бы ты мне сказала, я бы купил этого кучера у мистера Мотли и тоже отпустил бы на свободу.

— Его бы не продали, — сказала она. — Мотли не продают своих слуг.

— Даже если их хотят отпустить на свободу? — настаивал Касс, но она его прервала:

— Говорю тебе: не желаю, чтобы ты вмешивался в мои дела, понимаешь? — Она поднялась со скамейки и отошла на середину беседки.

Он видел ее белое лицо в темноте и слышал ее прерывистое дыхание.

— Я думал, что ты ее любишь, — сказал Касс.

— Да, любила, — сказала она — пока... пока она на меня так не смотрела.

— А ты знаешь, почему тебе за нее так дорого дали? — спросил Касс и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Потому что она светлокожая, смазливая и хорошо сложена. Нет, барышник не повезет ее в цепях на Юг вместе со всей партией рабов. Он будет ее беречь. И повезет на Юг с удобствами. А знаешь почему?

— Да, знаю,— сказала она.— А тебе-то что? Неужели она тебе так приглянулась?

— Нехорошо так говорить,— сказал Касс.

— Ага, понимаю, господин Мастерн,— сказала она.— Я вас понимаю. Вас заботит честь кучера. Какая душевная деликатность, господин Мастерн! А почему,— она подошла к нему ближе и встала над ним,— а почему же вы не проявили такой душевной заботы о чести вашего друга? Того, который умер?

Если верить дневнику, в эту минуту в груди его «поднялась целая буря». Касс пишет: «Так мне впервые бросили обвинение, которое всегда и везде смертельно ранит человека от природы порядочного и щелетильного. Но то, что человек, уже очерстевший, может снести от несмелого голоса своей совести, будучи услышано из чужих уст, становится таким тяжким обвинением, что кровь стынет в жилах. И ужас был не только в этом обвинении самом по себе, ибо, клянусь, я уже давно жил с этой мыслью и она была со мной неотступно. Ужас был не только в том, что я предал друга. Не только в смерти друга, в чью грудь я всадил пулю. С этим я еще мог бы жить. Я вдруг почувствовал, как весь мир вокруг меня пошатнулся в самой основе основ и в нем начался процесс распада, центром которого был я. В тот миг полнейшей душевной смуты, когда на лбу у меня выступил холодный пот, я не смог бы отчетливо выразить это словами. Но потом я оглянулся назад и заставил себя додумать все до конца. Меня потрясло не то, что рабыню вырвали из дома, где с ней хорошо обращались, оторвали от мужа и продали в притон разврата. Я знал, что такие вещи бывают, я был уже не дитя, потому что, приехав в Лексингтон и попав в общество гуляк, спортсменов и лошадиников, я сам развлекался с такими девушками. И дело было не только в том, что женщина, ради которой я пожертвовал жизнью друга, смогла бросить мне такие жестокие слова и проявить бессердечие, прежде ей не свойственное. Дело было в том, что все это — и смерть моего друга, и предательство по отношению к Фебе, страдания, ярость и душевная перемена в женщине, которую я любил, — все это было следствием моего греха и вероломства и произошло, как ветви из единого ствола или листья из единой ветви. Или же, если представить себе это по-другому, мой подлый поступок отозвался дрожью во всем мироздании, отзвук его рос и рос и расходился все дальше, и никому не дано знать, когда он замрет. Тогда я не мог выразить все это ясно, словами, и стоял, онемев от обуревавших меня чувств».

Когда Касс несколько справился со своим волнением, он спросил:

— Кому ты продала девушку?

— А тебе-то что? — ответила она.

— Кому ты продала девушку? — повторил он.

— Я тебе не скажу.

— Я все равно узнаю. Поеду в Падьюку и узнаю.

Она вцепилась в его руку пальцами, «точно дьявольскими когтями», и спросила:

— Зачем... зачем ты поедешь?

— Чтобы найти ее,— сказал он.— Найти, купить и отпустить на волю.— Он не обдумывал этого заранее. Но, произнося эти слова и записывая их в дневник, он знал, что таково было его намерение.— Найти ее. Купить и отпустить на волю,— сказал он и почувствовал, что пальцы, впившиеся в его руку, разжались, а в следующий миг ногти разодрали его щеку, и он услышал ее «исступленный шепот»:

— Если ты это сделаешь... если сделаешь... ну, я этого не потерплю... ни за что!

Она отшатнулась и упала на скамью. Он услышал ее рыдания, «сухие, скупые мужские рыдания». Он не пошевелился. Потом раздался ее голос:

— Если ты это сделаешь... если сделаешь... она так на меня смотрела... я этого не вынесу... если ты... — Потом она очень тихо сказала: — Если ты это сделаешь, ты больше никогда меня не увидишь.

Касс не ответил. Постояв несколько минут, он вышел из беседки, где она осталась сидеть, и зашагал по аллее.

Утром он уехал в Падьюку. Там он узнал имя работорговца, но узнал также, что торговец уже продал Фебу («светлокожую девуку», отвечавшую ее приметам) «частному лицу», которое остановилось в Падьюке ненадолго, а потом проехало дальше на юг. Имени его в Падьюке не знали. Торговец, по-видимому, избавился от Фебы, чтобы сопровождать партию рабов, когда она соберется. А сейчас он направился, по слухам, в южную часть Кентукки с несколькими молодыми неграми и негрityнками, чтобы там прикупить еще рабов. Как и предсказывал Касс, он не хотел изматывать Фебу мучительным путешествием в общей партии. Поэтому, когда ему предложили хорошую цену в Падьюке, он ее там и продал. Касс двинулся на юг, доехал до Боулинг-Грина, но потерял следы того, кого искал. Отчаявшись, он написал письмо торговцу рабами на адрес невольничьего рынка в Нью-Орлеане, прося сообщить имя покупателя Фебы и какие-нибудь сведения о нем. После этого он вернулся на север, в Лексингтон.

В Лексингтоне он отправился на Уэст-Шорт-стрит, в невольничий барак Льюиса Ч. Робардса, который уже несколько лет помещался в бывшем лексингтонском театре. Касс предполагал, что м-р Робардс — самый крупный работорговец в округе — сможет через свои связи на Юге разыскать Фебу, если ему хорошо заплатить. В конторе не оказалось никого, кроме мальчика, который сообщил, что м-р Робардс на Юге, но что «всем заправляет» м-р Симс, который сейчас в «заведении» и проводит «осмотр». Касс пошел в соседний дом, где помещалось «заведение». (Когда Джек Бёрден приехал в Лексингтон, чтобы проследить жизнь Касса Мастерна, он увидел, что «заведение» еще стоит — двухэтажный кирпичный дом, типичный особняк, с двускатной крышей, парадной дверью в центре фасада, окнами по бокам и деревянной пристройкой сзади. Здесь, а не в обычных курятниках, Робардс держал «отборный товар», сюда приходили его «осматривать».)

Касс обнаружил, что парадная дверь в дом отперта, вошел в переднюю, никого там не встретил, но услышал доносившийся сверху смех. Он поднялся по лестнице и увидел в конце коридора нескольких мужчин, столпившихся возле открытой двери. Кое-кого из них он узнал — это были молодые завсегдаши зланных мест и ипподрома. Подойдя, он спросил м-ра Симса.

— Он там, — сказал один из мужчин. — Показывает.

Касс заглянул в комнату поверх голов. Сперва он увидел приземистого, мускулистого и словно лоснившегося человека с черными волосами и большими блестящими черными глазами, в черном сюртуке и черном галстуке, с хлыстом. Касс сразу понял, что это французский «барышник», покупающий «девочек» для Луизианы. Француз что-то разглядывал, что именно, Кассу не было видно. Тогда он подошел поближе к двери и заглянул внутрь.

Он увидел невзрачного мужчину в цилиндре — должно быть, самого м-ра Симса, — а за ним женскую фигуру. Женщина была очень молодая, лет двадцати, не больше, тонкая, с кожей чуть-чуть темнее слоновой кости — видимо, только на одну восьмую негрityнка, — волосы у нее были скорее волнистые, чем курчавые, а темные, влажные, слегка воспаленные глаза с поволокой смотрели в одну точку над головой француза. Она была не в грубом клетчатом платье и косынке, какие обычно надевают невольницам на продажу, а в белом свободном платье до полу с рукавами по локоть; волосы у нее были схвачены лентой. За ее спиной в уютно обставленной комнате («Совсем как в хорошем доме», — пишет Касс, отмечая, правда, решетки на окнах) стояла качалка, столик, а на нем — корзинка для рукоделия и вышивание с воткнутой в него иглой. «Словно какая-то молодая дама или домохозяйка отложила его, вставая, чтобы поздороваться с гостем». Касс пишет, что почему-то не мог отвести глаз от этого рукоделия.

— Так, — сказал м-р Симс, — та-ак... — И, схватив девушку за плечо, медленно повернул ее для обозрения. Потом он взял ее запястье, поднял руку до уровня плеча и помотал взад-вперед, чтобы показать ее гибкость, повторяя при этом: — Та-ак. — Потом дернул руку вперед, на француза. Кисть безжизненно

висела (в дневнике написано, что рука была «хорошей формы, с длинными пальцами»). — Та-ак, — говорил м-р Симс, — поглядите на эту руку. У какой-нибудь дамочки и то не найдешь такой крохотной ручки. А уж до чего кругла и мягка, так?

— А что-нибудь еще мягкое и круглое у ней найдется? — осведомился один из мужчин, стоявших у двери, и все загоготали.

— Та-ак, — произнес м-р Симс и, нагнувшись, схватил подол ее платья, легким, игривым движением поднял выше талии, а другой рукой, собрав материю, превратил ее в «нелепое подобие пояса». Приминая пальцами ткань, он обошел девушку кругом, заставляя ее при этом тоже поворачиваться (она двигалась «покорно, как в забытьи»), пока ее маленькие ягодицы не повернулись к двери. — Кругленькая и мягкая, ребята, — сказал м-р Симс, смачно шлепнув ее по ягодице, чтобы показать, как она дрожит. — Небось не щупали ничего мягче и круглее? — спросил он. — Ну прямо подушечка, право слово. И дрожит, как желе.

— Господи спаси, да еще в чулках! — сказал один из мужчин.

Другие снова загоготали, а француз подошел к девушке и, вытянув хлыст, дотронулся кончиком до маленькой ямки на крестце. Он деликатно его там подержал, а потом, прижав хлыст к спине, медленно провел им сверху вниз, проверяя, достаточно ли пышны округлости.

— Поверните ее, — проговорил он с акцентом.

М-р Симс услужливо потянул смятый валик ткани, и тело покорно сделало пол-оборота. Один из мужчин у двери присвистнул. Француз положил хлыст поперек ее живота, словно «плотник, который что-то меряет, или же для того, чтобы показать, до чего живот плоский». Снова хлыст прошел сверху вниз по изгибам тела и остановился на бедрах пониже треугольника. Потом француз опустил руку с хлыстом и сказал девушке:

— Открой рот.

Она открыла, и он внимательно осмотрел зубы. Потом наклонился и понюхал, как пахнет изо рта.

— Дыхание чистое, — признал он словно нехотя.

— Та-ак, — сказал м-р Симс, — та-ак, чище дыхания и не сыщете.

— А другие у вас есть? — спросил француз. — Тут, на месте?

— У нас есть, — ответил м-р Симс.

— Давайте посмотрим, — сказал француз и двинулся к двери, «нахально рассчитывая», что люди перед ним расступятся.

Пока м-р Симс запирал дверь, Касс ему сказал:

— Если вы мистер Симс, я желал бы с вами поговорить.

— Э? — произнес м-р Симс («крякнул», как сказано в дневнике), но, оглядев Касса, понял по его платью и манерам, что он не просто зевака, и сразу стал вежливее. Проводив француза в соседнюю комнату для осмотра, он вернулся к Кассу.

Касс пишет, что если бы разговор шел наедине, можно было бы избежать неприятностей, но, по его уверению, в ту минуту он был так поглощен своими поисками, что люди, стоявшие вокруг, для него не существовали.

Он изложил свое дело м-ру Симсу, описал, как сумел, Фебу, сообщил имя работоторговца в Падьюке и посулил щедрое вознаграждение. М-р Симс явно сомневался в успехе, но пообещал сделать все, что можно. Он сказал:

— Девяносто процентов за то, что вы ее не найдете, сударь. У нас тут есть кое-что и получше. Вы же видели Дельфи, она почти такая же белая, как наши женщины, но куда аппетитней, а та, о которой вы говорите, всего-навсего желтая. Дельфи, она...

— Но молодого джентльмена потянуло на желтеньких, — с хохотом прервал его один из зевак.

Остальные загоготали хором.

Касс дал ему в зубы. «Я ударил его наотмашь, — писал Касс, — так, что пошла кровь. Ударил, не подумав, и помню, как сам удивился, заметив, что по его

подбородку течет кровь и что он вытащил из-за пазухи охотничий нож. Я попытался увернуться от удара, но он пырнул меня в левое плечо. Прежде чем он успел отскочить, я схватил правой рукой его за запястье, пригнул его так, чтобы помочь себе левой рукой, в которой еще была какая-то сила, и резко повернувшись, сломал его руку о свое правое бедро, а потом кинул его на пол. Подняв нож, я обернулся к другому парню, должно быть, приятелю того, кто лежал. У него тоже был нож, но он, видно, потерял охоту продолжать спор».

Касс отклонил помощь м-ра Симса, зажал рану носовым платком, вышел из дому и свалился без сознания на Уэст-Шорт-стрит. Его отнесли домой. На другой день ему стало лучше. Он узнал, что миссис Трайс уехала из города, кажется в Вашингтон. Дня два спустя его рана воспалилась, и какое-то время он пролежал в бреду, между жизнью и смертью. Выздоровливал он медленно, ему мешало, по-видимому, то, что он в дневнике называл своей «каждой тьмы». Но здоровый организм оказался сильнее, и он встал на ноги, ощущая себя «величайшим из грешников и проказой на теле человечества». Касс покончил бы самоубийством, если бы не боялся вечного проклятия, ибо хотя он «и потерял надежду на высшее милосердие, все же цеплялся за эту надежду». Но порою именно вечное проклятие за самоубийство и толкало на самоубийство — он ведь довел до самоубийства своего друга, друг, совершив этот поступок, был обречен на вечное проклятие, поэтому справедливости ради и он, Касс Мастерн, должен был подвергнуть себя такому же наказанию. «Но Господь уберег меня от самоуничтожения — для своих целей, недоступных моему разуму».

Миссис Трайс в Лексингтон не вернулась.

Он уехал на Миссисипи. Два года он работал у себя на плантации, читал библию, молился и, как ни странно, разбогател почти что помимо своей воли. В конце концов он выплатил долг Гильберту и отпустил на свободу рабов. Он рассчитывал, что сможет получать с плантации тот же доход, выплачивая работникам жалованье.

— Дурень ты, — говорил ему Гильберт. — И хотя бы постарался это скрыть, а не выставлял перед всем светом. Неужели ты думаешь, что их можно и освободить и заставить работать? День покопаются, а день будут бездельничать. Неужели ты думаешь, что можно иметь свободных негров рядом с плантациями, где живут рабы? Если уж тебе непременно надо было их освободить, нечего тратить жизнь на то, чтобы с ними нянчиться. Высели их отсюда и займись адвокатурой или медициной. Либо проповедай слово божье, заработаешь хотя бы на хлеб своими бесконечными молениями.

Касс больше года пытался обрабатывать плантации с помощью свободных негров, но вынужден был признать неудачу.

— Высели их куда-нибудь отсюда, — говорил ему Гильберт. — Да и сам поезжай с ними. Почему тебе не поехать на север?

— Мое место здесь, — отвечал Касс.

— Тогда почему бы тебе здесь не проповедовать аболиционизм? — спросил Гильберт. — Займись чем-нибудь, займись, чем хочешь, но перестань валять дурака и не пытайся возделывать хлопок руками свободных негров.

— Может, я когда-нибудь начну проповедовать аболиционизм, — сказал Касс. — Даже здесь. Но не теперь. Я не достоин учить других. Еще не достоин. Но я хотя бы показываю пример. И если это хороший пример, он не пропадет даром. Ничто не пропадет даром.

— Кроме разума, который тебе дан, — сказал Гильберт и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

В воздухе пахло грозой. Лишь огромное богатство Гильберта, его престиж и едва скрываемое ироническое отношение к Кассу спасли Касса от остракизма или чего-нибудь похуже. («Его презрение — мой щит, — писал Касс. — Он обращается со мной, как с капризным, неразумным дитятей, которое еще повзрослеет. А пока что меня нечего принимать всерьез. Поэтому соседи и не принимают меня всерьез».) Но гроза разразилась. У одного из негров Касса на плантации по со-

седству жила жена-рабыня. После того, как у нее вышли небольшие неприятности с надсмотрщиком, муж ее выкрал и сбежал. Пару схватили недалеко от границы Теннесси. Муж оказал сопротивление полиции, и его застрелили. Жену привезли обратно.

— Видишь,— сказал Гильберт,— вот чего ты добился: негра застрелили, а ее высекли плетьюми. Я тебя поздравляю.

После этого Касс посадил своих негров на пароход, шедший вверх по реке, и больше ничего о них не слышал.

«Я смотрел, как пароход выходит на стремнину и, вспенивая колесами воду, борется с течением; но на душе у меня было смутно. Я знал, что негры уходят от одной беды только для того, чтобы попасть в другую, и что все надежды, окрыляющие их сегодня, будут разбиты. Они целовали мои руки и плакали от радости, но я не мог разделить их ликования. Я не тешил себя тем, что облегчил их участь. То, что я сделал, я сделал для себя. Я хотел снять со своей души бремя, бремя их мучений, и не чувствовать больше на себе их взгляда. Жена моего покойного друга не вынесла взгляда Фебы, обезумела, перестала быть собой и продала девушку в вертеп. Я не мог вынести взгляда моих негров, освободил их, обрек их на жалкую жизнь, чтобы не сделать худшего. Ибо многие не могут вынести их взгляда и в отчаянии доходят до изуверства и жестокости. Лет за десять или более до моего приезда в Лексингтон там жил богатый юрист по имени Филдинг Л. Тернер, который женился на знатной бостонской даме. Эта дама, Каролина Тернер, никогда не жившая среди черных и воспитанная в понятиях, враждебных рабству, скоро стала знаменита своей отвратительной жестокостью, проявляемой в припадках гнева. Вся округа возмущалась тем, что она секла слуг своими руками, издавая при этом, как говорили, странные горловые звуки. Как-то раз, когда она секла слугу на втором этаже своего роскошного особняка, в комнату зашел маленький негртенок и стал хныкать. Она схватила его и вышвырнула в окно, так что он, ударившись внизу о камни, сломал позвоночник и остался на всю жизнь калекой. Для того, чтобы спасти ее от преследования закона и негодования общества, судья Тернер поместил ее в лечебницу для душевнобольных. Но врачи сочли, что она в здравом уме, и отпустили ее. Муж по завещанию не оставил ей рабов, ибо, как там было сказано, не желал обрекать их на мучения при жизни и скорую гибель. Но она раздобыла рабов и в том числе мулата-кучера по имени Ричард, кроткого с виду, рассудительного и покладистого. В один прекрасный день она приказала приковать его к стене и принялась его сечь. Но он разорвал цепи, набросился на эту женщину и задушил ее. Потом его поймали и повесили за убийство, хотя многие и жалели, что ему не дали убежать. Эту историю мне рассказали в Лексингтоне. Одна дама заметила:

— Миссис Тернер не понимала негров.

А другая добавила:

— Миссис Тернер вела себя так, потому что она была из Бостона, где правят аболиционисты.

Тогда я не понял их. Но позже начал понимать. Я понял, что миссис Тернер была негров потому же, почему жена моего друга продала Фебу на Юг: она не могла вынести их взгляда. Я это понимаю, потому что и я больше не могу выносить их взгляда. Быть может, только такой человек, как Гильберт, способен посреди всего этого зла сохранять чистоту и силу духа, выдерживать их взгляд и в условиях всеобщей несправедливости творить хоть какую-то справедливость».

И вот Касс — хозяин плантации, которую некому было обрабатывать, — уехал в столицу штата Джексон и занялся изучением права. Перед отъездом к нему пришел Гильберт с предложением отдать ему в аренду плантацию — он будет обрабатывать ее руками своих рабов, а потом делить с братом доходы. По-видимому, он все еще надеялся сделать Касса богачом. Но Касс отклонил его предложение, и Гильберт сказал:

— Ты не желаешь, чтобы ее обрабатывали рабы, а? Имей в виду, если ты

ее продашь, на ней все равно будут работать невольники. Это черная земля, и она будет полита черным потом. Какая же тебе разница, чей пот упадет на нее?

Касс ответил, что не продаст плантацию. И тогда Гильберт заорал, налившись кровью:

— Господи спаси, мой милый, ведь это же земля, понимаешь, земля? А земля страдает по руке, которая ее возделает!

Но Касс не продал своей земли. Он поселил в доме сторожа и сдал небольшой участок соседу под пастбище.

В Джексоне он допоздна сидел над своими книгами, наблюдая, как над страной собирается гроза. Ибо он приехал в Джексон осенью 1858 года. А 9 января 1861 года штат Миссисипи объявил о выходе из Союза. Гильберт был против этого решения и писал Кассу:

«Болваны, ведь в штате нет ни одной оружейной мастерской. Болваны, если они предвидели эту свару, надо было подготовиться. Болваны, если не предвидели, нечего было себя так вести вопреки всякой очевидности. Болваны, что не пытаются выиграть время,— если им так нейдет, надо собрать силы и тогда нанести удар. Я говорил ответственным людям, что надо готовиться. Болваны все до одного».

На это Касс ответил: «Я прилежно молюсь за то, чтобы был мир». Но позже он писал: «Я беседовал с мистером Френчем, который, как ты знаешь, командует инженерной службой артиллерии, и он говорит, что у них есть только старинные кремневые мушкеты. Интенданты по приказу губернатора Петаса объездили весь штат, собирая дробовики. «Дробовики! — скривившись, сказал мистер Френч.— И какие дробовики»,— добавил он, а потом описал одно ружье, пожертвованное на общее дело: ржавый мушкетный ствол, прикрепленный железкой к обломку кипарисовых перил, да еще с кривым дулом! Старый раб отдал свое сокровище, внес вклад в общее дело. Что тут — плакать или смеяться?»

После того как Джефферсон Дэвис вернулся в Миссисипи, отказавшись от звания сенатора, и принял командование войсками штата в чине генерал-майора, Касс посетил его по просьбе Гильберта и написал брату:

«Генерал говорит, что под его началом десять тысяч солдат, но у них нет ни одного современного ружья. Генерал также сообщил, что ему выдали очень красивый мундир с четырнадцатью медными пуговицами и черным бархатным воротником. «Быть может, мы сумеем использовать пуговицы вместо пуль»,— сказал он и улыбнулся».

Касс еще раз увидел м-ра Дэвиса, когда плыл с братом на пароходе «Натчез», на котором недавно избранный президент конфедерации проделал первую часть пути от своего поместья «Брайрфилд» до Монтгомери.

«Мы ехали на пароходе старого Тома Лезера,— писал Касс в своем дневнике,— который должен был взять на борт президента в нескольких милях от «Брайрфилда». Но м-р Дэвис задержался дома и встретил нас на лодке. Я стоял у борта и увидел, что по красной воде к нам приближается черный ялик. С него нам махал какой-то человек. Капитан «Натчеза» заметил это; по реке разнесся сильный гудок, от которого у нас заложило уши. Пароход остановился, и ялик подошел к борту. М-р Дэвис поднялся на палубу. Когда пароход снова тронулся, м-р Дэвис оглянулся назад и помахал рукой своему слуге-негру (Исайе Монтгомери — я встречал его в «Брайрфилде»). Негр стоял в ялике, который качался на волнах, оставленных пароходом, и махал в ответ. Позднее, когда мы приближались к обрывистым берегам Виксберга, м-р Дэвис подошел к моему брату, с которым мы гуляли по палубе. Мы еще раньше с ним поздоровались. Брат мой еще раз, и уже менее официально, поздравил м-ра Дэвиса, но тот ответил, что оказанная ему честь его не радует.

— Я всегда относился к Федерации с суеверным почтением и не в одном бою рисковал жизнью за дорогое мне знамя. Вы, джентльмены, можете понять мои чувства теперь, когда предмет моей долготлетней привязанности у меня отнят.— И он продолжал: — В настоящее время мне остается лишь с грустью

утешать себя, что совесть моя чиста.— Тут он улыбнулся, что бывало с ним редко, а потом, простившись, покинул нас.

Я заметил, какое осунувшееся, изможденное болезнью и заботой у него лицо. Я сказал брату, что м-р Дэвис плохо выглядит, а он ответил:

— Больной человек, хорошенькое дело иметь президентом больного!

Я ответил, что неизвестно, будет ли еще война,— ведь м-р Дэвис надеется сохранить мир. Но брат на это сказал:

— Не надо себя обманывать, янки будут драться, и будут драться отменно, а мистер Дэвис — болван, если он надеется сохранить мир.

— Все порядочные люди надеются на мир,— ответил я.

На это брат буркнул что-то нечленораздельное, а потом сказал:

— Нам, раз уж мы эту кашу заварили, нужен теперь не порядочный человек, а такой, который сумеет победить. Такие тонкости, как совесть мистера Дэвиса, меня не интересуют.

После этих слов мы молча продолжали нашу прогулку, и я думал о том, что м-р Дэвис — человек честный. Но на свете много честных людей, а мир наш катится прямо в бездну и в кровавый туман. И теперь, поздно ночью, когда я пишу эти строки в номере виксбергской гостиницы, я спрашиваю себя: какова же цена нашей добродетели? Да услышит Господь наши молитвы!»

Гильберт получил чин полковника кавалерии. Касс записался рядовым в стрелковый полк «Миссисипи».

— Ты мог бы стать капитаном,— сказал Гильберт,— или даже майором. На это у тебя хватит ума. А его,— добавил он,— чертовски редко здесь встретишь.

Касс ответил, что предпочитает быть рядовым и «шагать в строю с солдатами». Но он не мог открыть брату причину, не мог сказать ему, что, хотя и пойдет в одном строю с солдатами и будет нести оружие, он никогда не посягнет на чужую жизнь.

«Я должен шагать вместе с теми, кто идет в строю,— пишет он в своем дневнике,— ибо это мои соотечественники и я должен делить с ними все тяготы, сколько их будет отпущено. Но я не могу отнять жизнь у человека. Как посмею я, отнявший жизнь у своего друга, лишить жизни врага, раз я исчерпал свое право на кровопролитие?» И Касс отправился на войну, неся мушкет, который был для него лишь обузой, и на груди под серым мундиром — кольцо на веревочке, обручальное кольцо его друга, надетое ему на палец Аннабеллой Трайс той ночью в беседке, когда рука его лежала у нее на груди.

По зеленеющим полям — было начало апреля — он дошагал до церкви Шайло, а потом двинулся в лес за рекой (в то время, должно быть, уже зацвели кизил и багряник). В лесу у него над головой пел свинец, и земля покрывалась трупами; а на другой день он вышел из леса вместе с хмуро отступавшим войском и двинулся к Коринфу. Он был уверен, что не выйдет живым из боя. Но он остался жив и шагал по запруженной дороге «как во сне». Он пишет: «Я почувствовал, что отныне всегда буду жить в таком сне». Сон повел его назад, в Теннесси. У Чикамоги, Ноксвилла, Чаттануги и во множестве безымянных стычек пуля, которую он так ждал, его не нашла. При Чикамоге, когда его рота дрогнула под огнем противника и атака, казалось, захлебнется, он твердо шел вверх по склону, удивляясь своей неуязвимости. И солдаты перестроились, пошли за ним.

«Мне было удивительно,— писал он,— что тот, кто с божьего соизволения искал смерти и не мог найти, в поисках ее повел к ней тех, кто ее совсем не жаждал». Когда полковник Хикман поздравил его, у него «не нашлось слов для ответа».

Но если он надел серый мундир в смятении чувств и в надежде на искупление, он стал носить его с гордостью, потому что в таких же мундирах шагали с ним рядом другие.

«Я видел, как люди проявляют отвагу,— пишет он,— и ничего не требуют за это.— И добавляет: — Можно ли не любить людей за те страдания, которые

они терпят, и за те жалобы, которых не произносят вслух?» В дневнике все чаще и чаще попадают — среди молитв и моральных сентенций — замечания профессионального солдата: критика командиров (Брагга после Чикагоги), гордость и удовлетворение тактическими маневрами и точной стрельбой («действия батареи Марло были великолепны») и, наконец, восхищение отвлекающими ударами и сдерживающими действиями, которые так мастерски осуществлял Джонстон под Атлантой, у Баззардс-Руста, Снейк-Крика, церкви Нью-Хоуп и горы Кинисоу («Во всем, что человек делает хорошо, есть какое-то величие — пусть мрачное или вынужденное, — а генерал Джонстон делает свое дело хорошо»).

Но вот под Атлантой пуля его нашла. Он лежал в госпитале и гнил заживо. Но еще до того, как началось заражение, когда рана в ноге еще казалась несерьезной, он уже знал, что умрет.

«Я умру, — пишет он в дневнике, — и меня минует развязка войны и горечь поражения. Я прожил жизнь, не сделав никому добра, и видел, как другие страдают за мою вину. Я не усумнился в правосудии божьем, хотя другие и страдали за мою вину, ибо, может быть, лишь через страдания невинных внушает нам Бог, что все люди — братья, братья именем его пресвятым. Здесь, где я лежу, рядом со мной страдают другие — и за чужие и за свои грехи. Меня же утешает то, что я страдаю лишь за свои собственные». Он знал не только, что умрет, но и что война кончена. «Она кончена. Кончено все, кроме смертной муки, а она еще будет длиться. Нарыв созрел и прорвался, но гной еще должен вытечь. Люди еще сойдутся и будут гибнуть за общую вину и за то, что привело их сюда из дальних мест, от родных очагов. Но Господь в своей милости не даст мне увидеть конца. Да святится имя Его».

Дневник на этом кончался. К нему было приложено только письмо Гильберту, написанное чужой рукой, когда Касс так ослабел, что уже не мог писать сам.

«Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, то мне...»

Атланта пала. В сумятице могила Касса Мастерна осталась безымянной. Один из лежавших с ним в госпитале, некий Альберт Колоуэй, сберег бумаги Касса и кольцо, которое тот носил на груди; позднее, уже после войны, он послал все это с любезной запиской Гильберту Мастерну. Гильберт сохранил дневник, письма Касса, его портрет и кольцо на веревочке, а после смерти Гильберта его наследник переслал пакет Джеку Бёрдену, изучавшему историю. И вот все это лежало теперь на сосновом столике в спальне Джека Бёрдена, в той неопрятной квартире, которую он занимал с двумя другими дипломниками — невезучим прилежным пьяницей и везучим ленивым пьяницей.

Джек Бёрден полтора года не расставался с бумагами Мастерна. Ему хотелось знать все о том мире, где жили Касс и Гильберт Мастерны, и он очень много о нем знал. Он понимал Гильберта Мастерна. Гильберт Мастерн не вел дневника, но Джек Бёрден понимал этого человека, у которого голова была словно высечена из гранита и который жил сперва в одной эпохе, а потом в другой и в обеих чувствовал себя как дома. Но настал день, когда, сидя за сосновым столом, Джек Бёрден вдруг осознал, что не понимает Касса Мастерна. Ему и не нужно было понимать Касса Мастерна, чтобы получить диплом: ему надо было знать факты из жизни общества во времена Касса Мастерна. Но не понимая самого Касса Мастерна, он не мог изложить эти факты. Не то чтобы Джек Бёрден отдавал себе в этом отчет. Он просто сидел за сосновым столом ночь за ночью, уставившись на фотографию, и ничего не мог написать. Время от времени он вставал, чтобы выпить, и долго простаивал в темной кухне с банкой из-под варенья в руке, дожидаясь, пока вода в кране станет похолоднее.

Как я уже сказал, Джек Бёрден не мог изложить историю того времени, когда жил Касс Мастерн, потому что не понимал самого Касса. Джек Бёрден не смог бы объяснить, почему он не понимает Касса Мастерна. Но я (тот, кем стал Джек Бёрден), оглядываясь назад через много лет, попытаюсь это сделать.

Касс Мастерн прожил короткую жизнь и за это время понял, что все в мире

взаимосвязано. Он понял, что жизнь — это гигантская паутина, и если до нее дотронуться, даже слегка, в любом месте, колебания отдадутся по всей ее ткани до самой дальней точки, и сонный паук почувствует дрожь, проснется и кинется, чтобы обвить прозрачными путями того, кто дотронулся до паутины, а потом укусит и впустит свой черный мертвящий яд ему под кожу. И все равно, нарочно или нет задела вы паутину. Вы могли задеть ее нечаянно, в порыве веселья или по легкомыслию, но что сделано, то сделано — и он уже тут, паук с черной бородой и огромными гранеными глазами, сверкающими, как солнце в зеркалах или как очи всевышнего, со жвалами, с которых каплет яд.

Но разве мог Джек Бёрден — тот, каким он был, — все это понять? Он мог только прочесть слова, написанные много лет назад в опустелом доме после того, как Касс Мастерн освободил своих рабов; в адвокатской конторе в Джексоне, Миссисипи; при свече в номере виксбергской гостиницы после беседы с Джефферсоном Дэвисом; при свете догорающего костра на каком-нибудь биваке, когда в темноте вокруг лежали фигуры солдат, а темнота была полна тихим, печальным шелестом, но то не ветер перебирал сосновые ветки — то было дыхание тысяч спящих людей. Джек Бёрден мог прочесть эти слова, но разве он мог их понять? Для него это были только слова, ибо для него в то время мир состоял из разрозненных явлений, обрывков и осколков фактов и был похож на свалку поломанных, ненужных, запыленных вещей на чердаке. Либо это был поток явлений, проходивших у него перед глазами (или в его сознании), и ни одно из них не было связано с другим.

А может, он отложил дневник Касса Мастерна не потому, что не мог его понять, а потому, что боялся понять, ибо то, что могло быть там понято, служило бы укором ему самому.

Во всяком случае он отложил дневник, и у него начался один из периодов Великой Спячки. Вечерами он возвращался домой и, зная, что все равно не сможет работать, сразу ложился спать. Он спал по двенадцать, по четырнадцать, по пятнадцать часов и чувствовал, что все глубже и глубже погружается в сон, словно ныряльщик, который все глубже уходит в темную пучину и ошущью ищет там что-то нужное ему, что блеснуло бы в глубине, будь там светлее, — но там нет света. А по утрам он ваялся в постели, не испытывая никаких желаний, даже голода, слушая, как под дверь, сквозь стекла, щели в стенах, сквозь поры дерева и штукатурки в комнату пробиваются, просачиваются слабые звуки внешнего мира. И он думал: «Если я не встану, я не смогу снова лечь в постель». Тогда он вставал и выходил на улицу, которая казалась ему незнакомой, но как-то томительно незнакомой, как мир детства, в который возвращается старик.

Но вот в одно прекрасное утро он вышел на улицу и не вернулся в свою комнату, к сосновому письменному столу. Дневники в черных переплетах, кольцо, фотография, связка писем лежали там рядом с объемистой рукописью — полным собранием сочинений Джека Бёрдена, — поля которой уже начинали загибаться вокруг пресс-папье.

Через несколько недель квартирная хозяйка переслала ему большой пакет со всем тем, что он оставил на сосновом столе. Нераспечатанный пакет странствовал с ним из одной мебелированной комнаты в другую, из квартиры, где он какое-то время жил со своей красивой женой Лонс и откуда вышел однажды, чтобы никогда больше не вернуться, в другие мебелированные комнаты и гостиничные номера, — увесистый квадратный пакет, перевязанный ослабшей бечевкой, в выгоревшей коричневой бумаге, на которой постепенно стирались слова «Мистеру Джеку Бёрдену».

Перевел с английского В. Гольшев.

(Продолжение следует)



*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*
Н. И. КРЫЛОВ

★

В БОЯХ ЗА ОДЕССУ*

ПЕРЕМЕНЫ НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ

В структуре руководства Одесской обороной произошли — довольно неожиданно для нас — существенные перемены. В ночь на 20 августа меня вызвал генерал Шишенин. Он только что вернулся с командного пункта Одесской базы (моряки недавно перенесли его с 411-й береговой батареи в здание Кардиологического института — поближе к порту, да и к нам). Я думал, что получу указания о том, как использовать артиллерию ожидавшихся из Севастополя кораблей. Но вместо этого вдруг услышал:

— Все бразды правления по штабу армии берите в свои руки. А мне предстоит формировать другой штаб...

Я молчал, пытаюсь понять, что это может значить. Гавриил Данилович улыбнулся — наверное, вид у меня был довольно растерянный. И объяснил: получена директива Ставки о создании Одесского оборонительного района с подчинением Черноморскому флоту. Командующим районом назначен командир военно-морской базы контр-адмирал Жуков. А ему, Шишенину, Жуков предложил возглавить штаб оборонительного района.

Таким образом, главная новость состояла в том, что Приморская армия переходит под начало моряков. Не скрою, в первый момент это показалось несколько странным: ведь противник под Одессой сухопутный, а решающая сила обороны — наземные войска. Конечно, с тех пор, как наша армия отрезана от остального фронта, ее боеспособность оказалась в абсолютной зависимости от морских перевозок, которыми ведал флот. Только он мог доставить нам боеприпасы, подкрепления и все остальное. Из этого, очевидно, и исходила Ставка Верховного Главнокомандования. Смысл принятого решения заключался, как мы понимали, в том, чтобы повысить ответственность моряков за оборону Одессы. Они, разумеется, несли ее и до сих пор, но не в такой степени, как теперь, когда эта ответственность полностью возлагалась на Военный совет Черноморского флота.

Но в тот день, когда мы узнали об Одесском оборонительном районе (сокращенно он стал называться ООР), оставалось не вполне ясным, как будет теперь осуществляться управление войсками. Полученная директива содержала указания по многим вопросам. Однако ни

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

разу не упоминалась Приморская армия. Больше того, пункт второй гласил, что командующему ООР подчинены «все части и учреждения бывшей Приморской группы, все части Одесской военно-морской базы и приданные ей корабли». Приморская группа войск уже месяц назад была преобразована в Приморскую армию. И если о последней в директиве ничего не сказано, естественно, возникал вопрос: сохраняется ли вообще на одесском плацдарме армия как оперативное объединение?

Генерал Шишенин, кажется, был уверен, что сохраняется. Однако контр-адмирал Жуков держался в тот момент, по-видимому, иного мнения. Во всяком случае свой первый приказ по войскам ООР (в котором также не упоминалось о существовании Приморской армии) он отдал в ту же ночь на 20 августа, что называется, через голову командующего и штаба армии, никем от их обязанностей не освобожденных. Об этом приказе, отнюдь не формальном, а ставящем боевые задачи, в штабе армии узнали по телефону от командиров дивизий, получивших его для исполнения.

Гавриил Васильевич Жуков сам потом признал ошибочность подобного рода действий, понял, что так командовать нельзя. И больше никогда не пытался ставить боевые задачи таким способом, как в день своего вступления в новую должность. Здравый смысл удержал Г. В. Жукова и от опасной в тогдашней обстановке ломки сложившейся системы управления войсками. Перестраивать ее было не время. Если в создавшихся условиях имело смысл подчинить флоту слаженную армию, то передача морскому командованию отдельных дивизий и полков никак бы себя не оправдала.

Возникшие было недоразумения и неясности устранились в считанные часы, в течение одного дня. Приморская армия как таковая сохранилась в прежнем своем виде. При этом Г. П. Софронов, оставаясь командармом, стал также заместителем командующего ООР по сухопутным войскам.

Генерал-лейтенант Софронов и контр-адмирал Жуков — люди очень несхожие по складу характеров, но оба беззаветно преданные делу и долгу — сумели быстро прийти к общей точке зрения по всем организационным вопросам. Поменявшись местами начальника и подчиненного, они (что далеко не всегда бывает в подобных случаях) работали в дальнейшем слаженно и дружно.

Вероятно, помогало тут и то, что Одесса, которую им довелось вместе защищать от фашистских захватчиков, занимала в жизни обоих особое место. Для Софронова это был город его боевой молодости, для Жукова — морская база, где он долго служил перед войной. Когда решалось, быть или не быть в составе ООР Приморской армии со своим командующим и штабом, Георгий Павлович Софронов, как мне известно, заявил Гавриилу Васильевичу Жукову, что воевать за Одессу готов и командиром дивизии. Зная Софронова, не приходилось сомневаться: сказано это было от чистого сердца. И, надо полагать, Жуков оценил готовность генерала, старого коммуниста, остаться в осажденной Одессе в любой должности.

Вслед за командующим были назначены члены Военного совета оборонительного района. Ими стали дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин (он ведал вопросами, касающимися сухопутных войск), моряк бригадный комиссар И. И. Азаров и секретарь Одесского обкома партии бригадный комиссар А. Г. Колыбанов. В Военном совете Приморской армии Федора Николаевича Воронина заменил М. Г. Кузнецов — недавний секретарь Измаильского обкома, а теперь бригадный

комиссар. Это был живой, общительный человек, очень штатский по складу характера и привычкам. Он хорошо знал район Одессы, местные условия и охотно брался решать трудные вопросы, связанные со снабжением армии. В вопросы же боевого управления особенно не вмешивался.

Жуков уважительно относился к Софронову как к старшему по званию и годам. Чувствовалось это даже и в мелочах. Например, в столовой Военного совета, где Софронов не садился больше во главе стола, не занимал это место и Жуков. Оно обычно пустовало, а они сидели напротив друг друга.

С созданием Одесского оборонительного района по-новому стали называться должности еще некоторых знакомых уже читателю лиц, хотя круг их обязанностей оставался по существу прежним. Комбриг В. П. Катров, например, сделался командующим военно-воздушными силами ООР (звучало это громко, однако ВВС оборонительного района составлял все тот же один-единственный 69-й истребительный авиаполк), генерал-майор А. Ф. Хренов — помощником командующего ООР по оборонительному строительству.

Относительно себя я вскоре узнал, что назначен также заместителем начальника штаба ООР. Другим заместителем Г. Д. Шишенина на его новом посту стал капитан 1-го ранга С. Н. Иванов, но не по совместительству, как я, а с освобождением от прежней должности. Начальником штаба военно-морской базы был назначен вместо него капитан 3-го ранга К. И. Дервянко.

Командарм считал само собой разумеющимся, что начальником штаба теперь быть мне. Однако высказал пожелание, чтобы я, во всяком случае пока не станет немного спокойнее на фронте, никому не передавал оперативный отдел. Таким образом, за мною остались и главные из прежних обязанностей.

Обстановка действительно требовала, чтобы у кого-то концентрировались все данные о фактическом положении дел на нашем фронте. Я непрерывно впитывал в себя эти данные из всех возможных источников, не полагаясь на одни донесения, «аккумулировал» их и постоянно спрашивал себя: все ли знаю, точно ли знаю? Считал важнейшей своей задачей держать теснейшую связь с секторами обороны, всегда быть в состоянии доложить командующему и Военному совету обо всем, что там происходит и может произойти.

Естественно, мне и раньше требовалось быть в курсе всего, что касается управления войсками, использования кораблей и авиации, распределения боеприпасов, изыскания резервов. Тут вникать во что-то новое не пришлось. Просто стало больше прав, самостоятельности — многое мог сам решать.

Но у начальника штаба хватало и других дел, о существовании которых я за последние недели, занятый только непосредственно фронтом, как-то почти забыл. Приходили со своими вопросами и медики, и финансист, и представители остальных служб. Тыловники продолжали эвакуацию ненужного для обороны имущества, и этому тоже надо было уделять внимание. Ждали утверждения разные планы, заявки, акты. Казалось, война, а тем более обстановка осажденного города заставят людей писать поменьше бумаг. Однако хозяйственники остались верны себе: если уж АХО что принимал, передавал или списывал, то по всей форме! Не спорю, вероятно, так и следовало. Но, вынужденный заниматься и «небоевыми» вопросами, я с завистью вспоминал выдержку Гавриила Даниловича Шишенина, которому все это, может быть в силу многолетней привычки, кажется, не так досаждало.

И с горечью сознавал, что отлучаться из штаба в войска смогу, вероятно, еще реже, чем до сих пор.

Когда усилились вражеские воздушные налеты, штаб Приморской армии переселился — еще до создания ООР — из дома Строительного института в оборудованное рядом подземное помещение. Последним переехал туда оперативный отдел. Наша служба часто требовала безотлучного сидения в штабе, и залезать в подземелье, честно говоря, не хотелось.

Заботами генерала Чибисова старые хранилища коньячного завода были превращены к тому времени в хорошо оснащенный командный пункт, имевший даже автономный источник электроэнергии и прикрытый снаружи надежным бетонным колпаком. Оперативному отделу и разведчикам отвели «третий этаж», считая сверху, так что мы оказались дальше всех от поверхности земли. Наш отдел получил большую комнату-каземат, а для меня отгородили в ней фанерой «каюту», где поместились рабочий стол, койка, телефоны.

Вентиляция исправно подавала свежий воздух, но все равно сильно чувствовалась застарелая сырость. С поверхности не доносилось через этажи и толщенные двери никаких звуков (не слышны были даже близкие разрывы бомб). Если долго не выходил наверх, легко терялось представление о времени дня.

В каземате никогда не выключался электрический свет, постоянно звонили телефоны. Работникам оперативного отдела обычно не удавалось придерживаться какого-либо определенного распорядка. Отдыхали урывками — когда придется. Тот, у кого появлялась возможность поспать час-другой, располагался на устроенных в этой же большой комнате нарах, готовый в любую минуту вскочить по срочному вызову. А когда такой возможности не было, сгоняли усталость под душем, благо он находился рядом.

Заботу о том, чтобы люди все-таки регулярнее отдыхали, не забывали пообедать — словом, о поддержании работоспособности личного состава, — взял на себя батальонный комиссар П. И. Костенко, назначенный в оперативный отдел военкомом.

После того как ушел из штаба В. Ф. Воробьев и его должность перешла ко мне, начальником первого отделения стал майор Ю. М. Лернер (будущий начштаба 172-й дивизии во время обороны Севастополя). Его помощником оставался старший лейтенант Н. И. Садовников, на котором «держалась» текущая оперативная документация. Садовникову реже, чем кому-либо в отделе, удавалось выбираться наверх.

Зато наши направленцы — капитаны К. И. Харлашкин, И. Я. Шевцов и И. П. Безгинов — проводили большую часть времени в войсках. Харлашкин был прикреплен к Восточному сектору, Шевцов — к Западному, Безгинов — к Южному. Понятно, не исключались для них в экстренных случаях задания и по другим направлениям, но обстановку в «своем» секторе каждый обязан был всегда знать досконально.

Со временем направленцы освоились в секторах так, что могли и ночью без всяких проводников добраться до любого батальона. Через этих офицеров штаб и командование армии во многих случаях получали самые точные и достоверные данные о положении на отдельных участках фронта, быстро узнавали о том, что требовало немедленных решений и действий.

После Одессы мне довелось быть начальником штаба армии в Севастополе, а затем в Сталинграде. В специфических условиях борьбы за эти города было крайне важно гибко управлять войсками, а следова-

тельно, своевременно учитывать даже незначительные на первый взгляд изменения обстановки. И я часто вспоминал одесский опыт. У нас был хороший контакт с соседями по «третьему этажу» — штабными разведчиками. Начальник разведотдела — худощавый, очень подвижной майор В. И. Потапов заглядывал ко мне несколько раз на дно с разными новостями.

Хотя штаб Приморской армии формировался в спешке, однако слаженность аппарата, взаимопонимание, уверенность друг в друге, столь необходимые для нормальной работы, пришли быстро. Сплачивали, конечно, сами условия, в которых мы оказались, сознание общей большой ответственности. Но многое зависело от нашего начальника генерала Шишенина, умевшего как-то незаметно создавать вокруг себя атмосферу спокойной (насколько это было возможно в осажденной Одессе) деловитости, где каждый ощущал себя очень нужным и старался изо всех сил.

После создания ООР перебрался с КП военно-морской базы к нам на улицу Дидрихсона контр-адмирал Жуков. Приморцы немного потеснились, и на трех подземных этажах разместились два командующих, два Военных совета, два штаба — оборонительного района и армии. Может быть, и многовато для одесского плацдарма, учитывая, что в строю мы имели тогда не более тридцати пяти тысяч бойцов. Но, повторю, не время было перестраивать всю систему управления войсками.

Считая самым важным в своей работе все связанное с оперативным отделом, я не стал, когда был назначен начальником штаба, переселяться из своей фанерной выгородки в каземате «третьего этажа». Сюда стекалась вся информация о положении в секторах обороны, на участках отдельных частей, в городе. Сюда являлись прежде всего вернувшиеся с фронта направленные или вызванные оттуда офицеры связи, в первую очередь приходили со своими новостями разведчики. Да и привык я уже к своему неказистому «рабочему месту».

Обедать мне теперь полагалось в столовой Военного совета, которую контр-адмирал Жуков и другие моряки называли по-флотски кают-компанией. Она действительно служила руководящему начстабу ООР и армии не просто столовой, а местом короткого отдыха, товарищеских бесед. Собиравшиеся за столом всегда рассказывали много интересного.

Эта маленькая столовая помещалась в домике над нашим подземным убежищем. Так что заодно удавалось побыть немного на свежем воздухе при солнечном свете.

Если же положение на фронте не отпускало далеко от телефонов, мы с Костенко, Лернером, Садовниковым и направленцами, которые оказывались в штабе, обедали «у себя дома» — обычно за моим рабочим столом. Будь среди нас моряк, он, наверное, сказал бы, что тут тоже получается неплохая кают-компания.

За обедом старались говорить о чем угодно, только не о делах. Иногда рассказывали что-нибудь смешное — в этом умел задать тон жизнерадостный Харлашкин. А порой, затаив тревогу, вспоминали своих близких, о которых почти никто из нас не имел вестей. Моя семья в то время жила уже в Камышине, на Волге, жена поступила там санитаркой в госпиталь. Но о том, что я в Одессе, она не имела понятия и не знала, куда писать. А я все еще продолжал думать: не попали ли мои под бомбы у Раздельной?

Но о чем бы ни шла речь за столом, с которого отложили в сторону оперативную карту, — о веселом или печальном, — эти минуты давали душевную разрядку, еще теснее нас сближали.

Рождение Одесского оборонительного района совпало с трудными для защитников города днями. Уже к вечеру 19 августа вновь ухудшилась обстановка в Южном секторе (кстати, это тоже, видимо, повлияло на слишком поспешные, опрометчивые действия Г. В. Жукова в первые часы его командования оборонительным районом).

Утром 20-го Шишенин и я вместе подписали первое боевое донесение штабу Черноморского флота. В нем сообщалось, что противник, введя в бой под Одессой до шести пехотных дивизий, одну кавдивизию и бронебригаду, прорвал фронт на участке Кагарлык — Беляевка и продолжает развивать наступление. Главный удар был направлен на хутор Карсталь (ныне Широкая Балка). Но вообще-то предпринималась новая попытка прорваться к Одессе, до которой от Карсталля нет и тридцати километров.

Чапаевцы и части, посланные им в подкрепление, пытаясь остановить превосходящие силы противника, понесли серьезные потери. Из Южного сектора докладывали, что в 287-м стрелковом полку 25-й дивизии и в 136-м запасном осталось по двадцать пять — тридцать бойцов в роте. За сутки в госпитали поступило до двух тысяч раненых — в несколько раз больше, чем два дня назад, когда 95-я дивизия не дала пробить брешь в обороне Западного сектора.

Враг ворвался в Беляевку. Комдив Чапаевской А. С. Захарченко предпринял перегруппировку своих сил, чтобы укрепить наиболее опасные участки, но она прошла неудачно, и положение еще более осложнилось. Возникла угроза окружения отдельных подразделений, и пришлось отводить их на новые позиции.

Отход в Южном секторе заставил отводить на запасной рубеж и части Западного — иначе враг оказался бы у него в тылах. Для 95-й дивизии это означало оставить позиции, которые она защитила в упорных боях последних десяти дней и продолжала прочно удерживать. Генерал Воробьев, соединившись по телефону с командармом, пытался возражать против этого отхода. Василия Фроловича можно было понять: он верил, что оборона здесь занята надолго, и изо дня в день укреплял свой рубеж, используя для этого любую передышку. Но приказ был отдан, и дивизия Воробьева организованно, под прикрытием аррьергардов, заняла новые позиции и немедленно начала закрепляться на них.

Однако войска Южного сектора не везде смогли удержаться на назначенной им линии. Что и говорить — обстановка для них сложилась труднейшая, враг наседал. Но в сложной обстановке и проверяются до конца качества командира. Испытания, выпавшего в этот день на его долю, полковник Захарченко не выдержал: на какие-то часы он потерял управление частями дивизии. И это обошлось дорого — рвущегося в Одессу противника остановили ближе к городу, чем было можно.

— Нет, держать Захарченко командиром дивизии больше нельзя, — убежденно сказал Георгий Павлович Софронов, когда ночью подводились итоги тяжелого дня.

Контр-адмирал Жуков согласился с этим, и полковника Захарченко решили немедленно заменить (его оставили в Одессе, используя на штабной работе в Восточном секторе).

В ту же ночь Военный совет назначил комдивом 25-й Чапаевской и начальником Южного сектора генерал-майора И. Е. Петрова. Кавалерийскую дивизию временно возглавил начальник штаба полковник П. А. Рябченко. Но она не вышла из подчинения генералу Петрову: для восстановления положения в Южном секторе под его командо-

ванием объединились обе эти дивизии с добавлением одного стрелкового полка из 95-й.

Так на И. Е. Петрова была возложена ответственность за левый фланг Одесской обороны, положение которого сделалось в тот момент наиболее опасным.

О генерале Иване Ефимовиче Петрове, сыгравшем выдающуюся роль в дальнейших боевых действиях не только Приморской армии, пока рассказано немного. Я больше узнал о его жизненном пути позже, когда мне посчастливилось быть близким его сослуживцем. Оказалось, что человек, производивший впечатление прирожденного военного, в юности стремился стать учителем, а затем увлекся живописью и архитектурой, был принят в Строгановское художественное училище. Военным же стал волею судьбы: в 1916 году студента призвали в армию и послали в Алексеевское юнкерское училище, откуда он незадолго до революции вышел двадцатидвухлетним прапорщиком.

Сын сапожника, Петров сразу оказался в числе тех русских офицеров, которые безоговорочно приняли Октябрь и добровольцами пришли в Красную Армию. В восемнадцатом году он вступил в большевистскую партию и всю гражданскую войну провел на фронтах, закончив ее комиссаром кавалерийского полка.

И после гражданской войны служба Петрова еще долго была боевой в самом прямом смысле слова. Двадцатые годы и начало тридцатых годов он прожил, что называется, в седле, воюя в Средней Азии с басмачами. Командовал кавалерийским полком, бригадой, участвовал в разгроме всех крупных басмаческих банд, включая банду зловещего Ибрагим-бека...

Конечно, боевые действия против басмачей существенно отличались от войны, в которую нам пришлось вступить в сорок первом. Но узнав, как провел будущий генерал те годы, я понял, откуда у Ивана Ефимовича «закоренелая», вошедшая в кровь и плоть привычка к опасностям — они, казалось, всегда были для него чем-то совершенно естественным.

Отличала Ивана Ефимовича также разносторонняя военная образованность. Впоследствии, уже в Севастополе, когда он командовал нашей армией, мне приходилось слышать, как крупные специалисты военно-инженерного дела удивлялись редкой для общевойскового командира глубине его познаний в области фортификации. А артиллеристы в свою очередь уважали в нем большого знатока возможностей и специфических особенностей их оружия. В течение ряда лет перед войной он был начальником пехотного училища в Ташкенте и читал курс истории военного искусства в местном вечернем отделении Академии имени М. В. Фрунзе.

Все это тем примечательнее, что сам Иван Ефимович после юнкерского училища прошел лишь через курсы усовершенствования комсостава в середине двадцатых годов и большую часть своих разносторонних знаний приобрел благодаря неистощимой потребности в самообразовании. Долго живя в Средней Азии, он «между делом» изучал восточные языки и владел узбекским, таджикским, туркменским...

Генерал Петров многое делал не то чтобы против правил, но не совсем обычно. До меня дошел рассказ о том, как начал он знакомиться с вверенной ему Чапаевской дивизией. Рано утром 21 августа в сопровождении одного лишь адъютанта он появился на переднем крае 287-го стрелкового полка. Командир роты, в расположении которой это происходило, обходил свой участок перед ожидавшейся вражеской атакой и возмущился было, заметив еще издали, что в траншее бойцы

беседуют с каким-то незнакомым человеком. Старший лейтенант чуть не обрушился на этих бойцов: всех посторонних, появившихся на передовой, полагалось немедленно доставлять на КП. Меньше всего ожидал командир роты встретиться тут с новым командиром дивизии, о назначении которого услышал два-три часа назад.

Осмотрев вместе со старшим лейтенантом позиции роты, генерал Петров отправился на командный пункт батальона, где и оставался, держа связь с дивизионным КП, все время, пока на этом участке отражалась первая в этот день атака.

Выглядела она не совсем обычно: вслед за цепями солдат противника показались несколько легких орудий и минометы. Атакующие тащили их за собой. Прием был скорее «психологический», чем тактический: враг словно демонстрировал, как он уверен, что овладеет рубежом, на который наступал.

Отбить атаку одними огневыми средствами не удавалось. Наблюдая за полем боя, Петров волновался — это заметили все, кто был рядом. Да Иван Ефимович и не старался во что бы то ни стало казаться спокойным.

— Надо их контратаковать! — крикнул Петров комбату.

Только контратака и помогла тогда удержать рубеж — не приняв штыкового боя, солдаты противника побежали обратно. Пять противотанковых пушек с запасом снарядов и два миномета стали трофеями нашего подразделения.

Существуют разные мнения насчет того, следует или не следует командиру соединения в боевой обстановке отлучаться со своего КП, оставляя там кого-то другого, чтобы лично побывать в частях. Но в этом, очевидно, не может быть общих правил. Василий Фролович Воробьев находился на КП почти безотлучно, и это не означало, что он плохо командует дивизией. Петров же — тут сказывались, вероятно, как склад характера, так и особенности прошлой его службы — испытывал потребность видеть своими глазами, как идет дело в полках, в батальонах. В Чапаевской дивизии он знал в лицо и по имени-отчеству каждого командира роты.

Мне кажется, для Ивана Ефимовича всегда было необходимо, думая о каком-то участке фронта, прежде всего представлять себе людей, с которыми он встречался и о которых имеет определенное суждение. В близком знании подчиненных он черпал собственную уверенность, когда принимал решение, ставил боевую задачу.

Таков был новый комдив 25-й Чапаевской.

БЛИЖНИЕ ПОДСТУПЫ

Прошло еще несколько дней, прежде чем фронт в Южном секторе стабилизировался на новом оборонительном рубеже.

Из рук в руки переходил Фрейденталь (Мирное) — село на полпути между Беляевкой и Дальником. А в районе села Маяки (у Днестровского лимана) некоторым ротам чапаевцев приходилось временами занимать круговую оборону — оставаясь на своих позициях, они часами вели бои в окружении.

Не раз оказывались в трудном положении и эскадроны кавалерийской дивизии. Два ее полка — 3-й и 7-й — воевали уже в пешем строю. Только 5-й полк Ф. С. Блинова пока оставался конницей. До прорыва у Кагарлыка мы считали его резервом для Восточного сектора, а затем тоже перебросили в Южный. Ночью во время сильного налета тысяча конников проследовала через темный город. На марше им изменяли

маршрут, направляя колонну по тем улицам, где меньше бомбили. Под утро генерал Петров встретил конников у развилки прифронтовых дорог и, взяв у капитана Блинова планшет, написал прямо на его карте (это было в стиле Ивана Ефимовича) боевой приказ. Полку ставилась задача выбить противника из захваченного вечером селения и давалось на подготовку к атаке сорок пять минут.

Конники действовали главным образом ночью или на рассвете, пока не появилась в воздухе немецкая авиация. Если с трудом удавалось укрывать коней в узких лесопосадках за Лузановкой, то в Южном секторе не было и этого — одна кукуруза. И все-таки конница, разделенная на небольшие подвижные группы, и в этих условиях была способна нанести врагу известный урон, делая наскоки на его тылы.

В Южный сектор были направлены два дивизиона 15-й бригады ПВО, батальон ВНОС, преобразованный в стрелковый (тот, что раньше нес службу за Днестром), отдельные подразделения из армейского тыла, ополченцы. Этого было, конечно, недостаточно, чтобы существенно изменить соотношения сил на направлении, где противник имел до четырех пехотных дивизий. И все же продвинуться дальше враг не смог. После упорных боев под Фрейденталем, Маяками и Карстелем наша оборона вновь стала приобретать устойчивость.

Немало сделала для этого артиллерия (теперь, на новых рубежах, тут можно было использовать и огонь кораблей). Помогли штурмовки наших «ястребков». Но главное заключалось в том, что сами стрелковые части проявили настоящую стойкость. Стойкость плюс активность — так следовало бы сказать. Потому что только отбивать вражеские атаки было недостаточно. Чтобы выстоять, требовалось в удобный момент и контратаковать самим, невзирая на численный перевес противника. Наш командарм был решительным сторонником активной тактики в обороне. Не существовало двух мнений на этот счет и в штабе.

Но пока происходили описываемые события в Южном секторе, изменилось положение в Западном. Наступление противника возобновилось и здесь, на центральной участке Одесской обороны. Причем прежде, чем 95-я дивизия успела укрепиться на своем новом рубеже. В наступлении участвовало по меньшей мере семь пехотных полков трех неприятельских дивизий. Основной удар наносился, как и в прошлый раз, вдоль железной дороги.

И теперь врагу удалось то, чего он не смог добиться раньше. К полудню 21 августа в его руках оказалась станция Выгода. Продвинулся противник и немного дальше. От Выгоды до Одессы меньше тридцати километров, а запасные рубежи, прикрывающие это направление, еще не были готовы. Не требовалось объяснять В. Ф. Воробьеву, что его дивизия должна остановить врага любой ценой. И надо было поддержать Западный сектор чем только можно.

— Немедленно отправляй к Фроловичу всех оставшихся пулеметчиков,— приказал мне командарм.

Он имел в виду последнюю пулеметную роту из Тираспольского УРа, еще не находившуюся на переднем крае. Через час двадцать пять станковых пулеметов с расчетами были доставлены в 95-ю дивизию.

Среди записей, сделанных в журнале боевых действий Приморской армии 22 августа 1941 года, есть такие:

«...Пулеметная группа майора Чиннова ведет ожесточенный бой за Выгоду.

...К-р 90 сп полковник Соколов с двумя зенпулестановками выбил противника с высоты 82,8.

...К-р 95 сд бросил в стык 161 и 90 полков последний свой резерв— 100 чел. под командованием нач. опер. отделения капитана Сахарова».

Эти скупые строки почти не нуждаются в пояснениях — настолько они красноречивы сами по себе. Если начштаба командует группой пулеметчиков, а его заместитель — начальник оперативного отделения прикрывает с последним резервом другой участок, если командир стрелкового полка сам ведет в бой машины взвода ПВО (установленные на них счетверенные «максимы» использовались и против пехоты), то этого уже достаточно, чтобы представить, с каким напряжением сил ведет дивизия бой.

Весь ее штаб и политотдел, все, без кого комдив мог обойтись на КП, находились с бойцами на переднем крае. Из политотдела армии приехал старший батальонный комиссар Г. А. Бойко. Послать его в подразделение, как своих подчиненных, Воробьев не мог, но генерал просто попросил политработника, которого хорошо знал, отправиться в батальон, где резко осложнилась обстановка. Ночью мы в штабе узнали, что Бойко тяжело ранен — он вел в контратаку роту. Свой рубеж это подразделение удержало.

Контратаки пехоты и гибкое маневрирование огнем артиллерии — вот что позволяло отбивать усиливавшийся натиск врага. 95-ю дивизию поддерживали дальнобойные орудия богдановцев. А начарт Западного сектора полковник Д. И. Пискунов (снова не могу не сказать о нем доброго слова) искусно, расчетливо использовал огневую мощь своих артиллерийских полков — 57-го и 397-го (командиры — майор А. В. Филиппович и майор П. И. Поляков). Стык двух стрелковых полков, который прикрывала группа капитана В. П. Сахарова, был в решающий момент закрыт для устремившегося туда врага также и массивным огнем почти всей дивизионной артиллерии. Ближайшие к этому участку батареи, выкатив орудия вперед, стреляли прямой наводкой.

В это время прибыл из Севастополя первый отряд моряков-добровольцев, и я был рад сообщить генералу Воробьеву:

— Направляем в ваше распоряжение черноморцев. Четыреста пять человек. Вооружены самозарядными винтовками, есть и пулеметы. Высылайте встречать!..

«Вид у моряков бравый, четко держат строй. Все в бескозырках и черных бушлатах... вспоминал впоследствии о флотском пополнении В. Ф. Воробьев. — Пробую объяснить, что воевать на суше, сидеть в окопах в морской форме, пожалуй, не очень удобно и лучше бы переодеться в красноармейскую. Но переодеваться им явно не хотелось. Высокий плечистый старшина ответил за всех:

— Разрешите нам, товарищ генерал, идти в бой матросами. Если придется умереть за родину, умрем уж в тельняшках!

По рядам прошел гул одобрения, и я понял, что настаивать на переодевании не следует.

Решили с комиссаром послать весь отряд в распоряжение командира 161-го полка, на самый боевой участок. Полковнику Сереброву приказал моряков по батальонам не делить, а использовать как ударный кулак».

Полк Сереброва вел бой за восстановление позиций в районе Выгоды. Отряду моряков была поставлена задача — вклиниться в расположение противника слева от железной дороги, а затем соединиться с батальоном, который должен был наступать справа.

Моряки пошли в атаку, отбили у противника хутор, но пробиться вправо, на соединение с батальоном, не смогли. Им, однако, удалось продвинуться еще дальше вперед, после чего командир решил действовать по обстановке. Отряд оказался отрезанным от своих. И соединился лишь на другой день или даже позже, перейдя ночью линию фронта.

— Притащили порядочно трофейного оружия,— передавал генерал Воробьев.— Понесли, понятно, урон и сами. Командир ранен в руку. За партизанщину отругал, но кое-кого, очевидно, следует представить к награде.

Командовал этим отрядом майор А. С. Потапов, бывший преподаватель одного из военно-морских училищ и будущий командир 79-й стрелковой бригады, известной по обороне Севастополя.

Вылазка в неприятельские тылы, предпринятая моряками, как говорится, на свой страх и риск (при этом им просто посчастливилось обойтись без слишком больших потерь), была, конечно, лишь эпизодом на общем фоне ожесточенных боев, разгоревшихся в полосе 95-й дивизии. Впервые с начала Одесской обороны эти бои шли круглые сутки. Если до 22 августа противник, как правило, не проявлял особой активности после наступления темноты, то теперь артиллерийский обстрел и атаки не прекращались и ночью. А с рассветом над нашими рубежами появлялись десятки фашистских бомбардировщиков.

Удерживать позиции нам было труднее, чем когда-либо до сих пор. Бомбежи и интенсивный обстрел разрушали блиндажи и окопы, лишая бойцов укрытий. За один день 23 августа в 95-й дивизии выбыло из строя около тысячи человек. Вечером доложили, что в правофланговом 241-м полку П. Г. Новикова осталось в трех стрелковых батальонах двести шестьдесят красноармейцев...

Никаких резервов у нас уже не было. Штаб армии отправлял на фронт все, что успевали сформировать в городе из запасников самых старших возрастов и добровольцев. Ночью 23 августа на пополнение дивизии Воробьева был послан на машинах отряд, именовавшийся «Одесским полком». Из тысячи трехсот его бойцов винтовки имела едва половина. Остальные, как и в других подобных случаях, знали, что получат на передовой оружие тех, кого они заменят в строю.

Командиры полков, батальонов, не говоря уже о политработниках, находились почти все время на переднем крае. Потери в командном составе росли угрожающе, становясь в условиях Одессы просто невосполнимыми. За три-четыре дня в 95-й дивизии были убиты или ранены все комбаты (некоторые из раненых, правда, остались в строю). 23 августа генерал Воробьев сообщил, что тяжело ранены начальник штадива майор И. И. Чиннов и командир 161-го полка полковник С. И. Серебров. Вслед за ними был отправлен в госпиталь командир 90-го полка полковник М. С. Соколов. Это он днем раньше ворвался с поставленными на машины зенитными пулеметами на высоту 82,8, захват которой противником ставил под удар левый фланг дивизии. В тот раз Соколов остался невредим, а через сутки осколок вражеского снаряда вывел его из строя.

Выбывших заменяли те, кто был рядом: Чиннова — капитан Сахаров, Соколова — подполковник Опарин... И дивизия, в которой оставалось все меньше командиров и бойцов из тех, что стали на защиту Одессы в начале того же месяца, продолжала сражаться с таким упорством, словно выбывавшие из строя ветераны передавали сменявшим их товарищам всю негибаемую силу своего духа, всю свою решимость разгромить врага.

Двадцать четвертого августа в результате контратак, поддерживаемых точным огнем артиллерии, наши позиции на ряде участков Западного сектора немного улучшились. В ночном бою был разгромлен 14-й полк 7-й пехотной дивизии противника, пытавшийся овладеть хутором Октябрь. Наш 161-й полк захватил там несколько десятков пленных и трофеи — минометы, пулеметы, танк. Но общее положение в Западном секторе оставалось весьма напряженным. Все происшедшее за послед-

ние дни означало, что здесь, как и в Южном секторе, бои перешли на ближние подступы к Одессе.

А как Восточный сектор? — вправе спросить читатель.

Действительно, я уже давно ничего не говорю о правом фланге армии. Но не потому, что отпали связанные с этим направлением заботы и тревоги. Части 13-й и 15-й румынских пехотных дивизий, которые здесь наступали (немецкая дивизия, находившаяся, по данным разведки, во втором эшелоне, непосредственно в боях пока не участвовала), отнюдь не оставили попыток выйти на побережье поближе к Одесскому порту. В Восточном секторе можно было в любой момент ждать серьезных осложнений. И все же некоторое время обстановка тут не обострялась до такой степени, как в двух других.

Корабельная артиллерия изо дня в день продолжала поддерживать войска Восточного сектора. К этому времени моряки убедились, что стрельбы по береговым целям не особенно эффективны, если огонь ведется по площадям, без корректировки. С кораблей начали высаживать корректировочные посты с рациями, которые располагались на наблюдательных пунктах полков или в других местах с хорошим обзором. В результате огневая поддержка с моря становилась более действенной.

По вопросам использования корабельной артиллерии я постоянно держал контакт с капитаном 3-го ранга К. И. Деревянко, начальником штаба Одесской базы. Договариваться с ним было легко. Деревянко не так давно командовал артиллерийской боевой частью одного из черноморских эсминцев, и все, что касалось использования корабельной артиллерии, воспринималось им как самое близкое. Константин Илларионович всегда хотел знать, как оценивают каждую стрельбу в частях, поддерживаемых кораблями, и дозванивался до командиров полков, чтобы выяснить их претензии и пожелания. А с полком Осипова — сухопутным детищем морской базы — ее штаб вообще имел связь на прямую.

На первых порах после образования ООР капитан 3-го ранга Деревянко был и за командира Одесской базы. Затем на эту должность прибыл контр-адмирал И. Д. Кулешов, который раньше возглавлял соседнюю военно-морскую базу — Николаевскую, захваченную теперь врагом.

Новый командир базы внешне выглядел оригиналом — с эспаньолкой, в черной пилотке подводника, в удлиненном матросском бушлате и сапогах, на боку — громоздкий маузер в деревянной кобуре. Но был адмирал Кулешов смелым и деятельным командиром.

Двадцать второго августа был принят по радио новый приказ-предупреждение за подписью главкома Юго-Западного направления С. М. Буденного: «Еще раз приказываю Одессу не сдавать, занятые позиции оборонять при любых условиях. Военный совет Приморской армии за выполнение этого приказа отвечает головой».

Если в недавней директиве Ставки об образовании Одесского оборонительного района ничего не говорилось о Приморской армии, то на этот раз совсем не упоминалось о существовавшем третий день ООР. Но одно во всяком случае было ясно: за Одессу по-прежнему отвечает наша армия, кто бы ни стоял над ней.

Новое строгое напоминание об этой ответственности было, очевидно, вызвано тревогой по поводу вынужденного отхода приморцев на более близкие к городу рубежи в Южном и Западном секторах. На каком-нибудь другом участке советско-германского фронта тогда могли не так уж много значить те километры, на которые потеснил нас противник в начале третьей декады августа. Но на нашем плацдарме дей-

ствовал свой масштаб. Тут все время надо было вести счет каждому километру, оставшемуся от передовой до города, до порта...

Вел счет им, конечно, и враг. И, должно быть, не переставал надеяться, что очередной натиск обеспечит ему над Одессой победу.

На участке 31-го полка Чапаевской дивизии противник предпринял 23 августа «психическую атаку». Примерно два батальона зашагали к нашим позициям ротными колоннами, во весь рост, с оркестром... Кончилась эта затея для врага весьма плачевно. Наша артиллерия, минометы, пулеметы уложили не меньше половины наступавших, остальные в беспорядке бежали с поля боя. До наших окопов не дошел ни один солдат.

Получив первое краткое донесение о «психической атаке», я послал в Южный сектор прикрепленного к этому направлению капитана И. П. Безгинова, чтобы узнать подробности. Вернувшись, Иван Павлович докладывал:

— Все точно — шли прямо как каппелевцы в фильме «Чапаев». Офицеры с шашками наголо, солдаты пьяные... Наши не растерялись, встретили дружным огнем. В ничейной полосе стон стоит — своих раненых они побросали... Можно считать, уничтожен целый батальон.

Вскоре противник организовал еще одну такую атаку, но более крупными силами. Результат был тот же. Не подпустить вражеские цепи к нашим окопам помогли летчики. Они имели другие цели, но, увидев, что происходит на том участке обороны, снизились до бредущего и переключились на штурмовку.

Не подлежало сомнению, что потери 4-й румынской армии под Одессой очень велики. Об этом твердили все пленные. Мы имели достоверные данные об отводе противником на переформирование целых соединений. Но на смену им появлялись свежие. Не меньше чем по четыре дивизии стояло против наших 25-й и 95-й. Почти по дивизии приходилось на каждый полк, оборонявшийся в Восточном секторе...

Вспоминая то время, я заглянул в сводку, составленную для командования ООР 20 августа 1941 года. Протяженность фронта Одесской обороны составляла тогда более восьмидесяти километров. В частях, державших этот фронт, насчитывалось тридцать четыре тысячи пятьсот бойцов и командиров. Из них автоматами были вооружены шестьсот человек, полуавтоматическими винтовками — две тысячи четыреста пятьдесят. Станковых пулеметов имелось четыреста восемнадцать, ручных — семьсот три. Полевая артиллерия состояла из трехсот трех орудий, включая противотанковые. Действующих танков числилось два. Сведения о самолетах в сводку не вошли. Но днем позже мы сообщили в Севастополь, что исправных самолетов в Одессе девятнадцать.

Были еще береговые батареи, были корабли, поддерживавшие армию огнем с моря, и бомбардировщики, прилетавшие время от времени из Крыма. Однако и с учетом всего этого соотношение сил оставалось крайне неблагоприятным для нас.

Глядя теперь на сводку, составленную в Одессе на исходе второго месяца войны, так и хочется положить рядом те, что относятся к иному времени и другим участкам фронта, когда мы могли — пришли такие дни! — выставить и сто и двести орудий на километр, когда у нас было полное, абсолютное превосходство в числе дивизий, в самолетах, в танках. Но чтобы к этому прийти, нужно было летом сорок первого устоять там, где огромный перевес в боевой технике и живой силе имел враг. В том числе — под Одессой.

Размышления над той сводкой и сведениями о силах противника побудили командарма и Военный совет ООР просить у высшего коман-

дования подкреплений. Испрашивались одна стрелковая дивизия, батальон танков и истребительный авиаполк. Но особенно рассчитывать, что нам дадут хоть какую-то часть этого, не приходилось. Как мы знали, формировалась новая армия для защиты Крыма. Общая обстановка на Юге ухудшалась — враг был под Киевом, достиг низовьев Днепра.

Штаб Черноморского флота сообщил, что он готовит для отправки в Одессу новые отряды моряков. И они действительно прибывали (всего в августе прибыло шесть отрядов) и немедленно распределялись по дивизиям и полкам. Регулярно доставлялись боеприпасы для артиллерии — и на транспортах и на боевых кораблях, — однако положение со снарядами оставалось трудным: не хватало то одного калибра, то другого. Севастополь прислал нам шесть с половиной тысяч винтовок, это было очень существенно, но опять-таки мало.

Двадцать третьего августа Н. И. Садовников записал в журнале боевых действий Приморской армии: «В частях армии ощущается большой недостаток винтовок, пулеметов, мин, 76-мм. снарядов для полковых и дивизионных орудий, 122-мм. снарядов... Обученные резервы исчерпаны полностью, необученных есть 400 человек».

Так обстояли дела у защитников Одессы к концу августа. А как жила в эти дни сама Одесса?

Захватив Беляевку, фашисты не замедлили отключить водонасосную станцию «Днестр». Одесса, в которой оставалось около трехсот тысяч жителей, лишилась в разгар жаркого южного лета основного источника пресной воды.

Отбить Беляевку наличными силами Приморская армия не могла. Беда с водой пришла не неожиданно — реальная опасность такого положения, в каком теперь оказался город, существовала уже три-четыре недели. От этого людям не было легче. Однако беде не дали превратиться в трагедию.

Инженерные подразделения ООР и работники коммунального хозяйства общими силами вводили в действие старые артезианские скважины, заранее взятые на учет, и бурили в разных районах города новые. Решать жизненно важную задачу помогали коллективы предприятий, ученые, одесские старожилы, все, кто знал места, где можно быстро добраться до воды. Два артезианских колодца с большим дебитом появились, например, на территории судоремонтного завода и были подключены к водопроводной сети индустриального Ленинского района.

Понадобилось пятьдесят восемь скважин, чтобы обеспечить всем горожанам возможность получать в определенные часы воду через дворовые и уличные краны. Воду стали отпускать по карточкам. Норма — полведра на человека в сутки...

Насколько мне известно, Одесса была единственным городом, где военные обстоятельства заставили вводить карточную систему на воду. И, вероятно, ни в каком другом городе коменданту не приходилось издавать приказы о том, чтобы во всех квартирах перекрыли и опечатали краны и бачки, о том, что запрещается поливка цветников.

Вода нужна была и для тушения пожаров, возникавших при воздушных налетах. Для этого ее брали из моря: на спусках, ведущих к порту, соорудили подсосывающие установки, с помощью которых наполнялись специальные резервуары. Конечно, это не решало проблемы полностью, и нередко оказывалось, что заливать огонь нечем.

Не сразу наладилось и нормированное снабжение пресной водой всех районов. Помню день, когда повара нашей штабной кухни не могли раздобыть воды для супа, а в «каземате» оперативного отдела опустел

питьевой бачок. Потом привезли морскую воду, и врач роздал нам какие-то таблетки, чтобы ее «опреснить».

— Пожалуй, даже похоже на сельтерскую... — не очень уверенно произнес Харлашкин, первым растворивший таблетку в кружке.

Но «сельтерская» выручала плохо — жажда только усиливалась. Кое-кто пробовал утолять жажду сухим вином, вспомнив, что так, кажется, делают на Кавказе. Вина в Одессе было вдоволь, однако заметить воду оно все же не могло.

Войск на передовой городские трудности с водой не коснулись — части, как и прежде, пользовались сельскими колодцами.

Еще до карточек на воду, с 25 августа, в Одессе была введена карточная система на продовольствие — хлеб, мясо, жиры, сахар. Учет продуктов, имевшихся на складах, показал, что наличных запасов может хватить на месяц-полтора.

Армия имела кой-какие свои запасы. Начальник тыла Т. К. Коломиец и интендант армий А. П. Ермилов сумели по-хозяйски использовать все, что застряло на разных станциях вскруг Одессы, а также в торговом порту. В период становления обороны оперативные группы наших хозяйственников не раз вывозили зерно, муку и другое продовольствие прямо из-под носа у врага.

А бойцы частей, рубежи которых оказались вблизи эвакуированных уже пригородных совхозов, помогали бригадам горожан убирать оставшийся там урожай. Случалось, убрали и под обстрелом. Ночью, когда над дорогами не висела фашистская авиация, собранное отвозилось на городские базы.

Овощей, фруктов в то лето уродилось много. Да и нормированные продукты отпускались сперва не особенно скупно: хлеба в конце августа рабочему полагалось восемьсот граммов в день, служащему — шестьсот. Недостаток воды был ощутимее.

Но сильнее всего население страдало от бомбежек. Воздушные налеты давно стали каждодневными, не обходилась без них и ни одна ночь. Уже никто не запомнил, сколько раз за сутки поступали к нам по телефонам доклады о приближении к городу — то с суши, то с моря — очередных групп бомбардировщиков, и репродуктор трансляционной сети оповещал: «Внимание, граждане! Воздушная тревога!..» В этот момент наверху, в городе, включались десятки электросирен, им вторили гудки заводов, паровозов, пароходов...

От ударов с воздуха Одессу героически защищали зенитчики. Но далеко не всегда была возможность использовать всю силу зенитного огня: снаряды приходилось беречь для групповых целей. Тем больше значил истребительный полк майора Шестакова. Однако исправные самолеты были наперечет. Комбриг Катров постоянно ломал голову над тем, как их распределить, чтобы обеспечить и штурмовку неприятельских войск, и разведку, и сопровождение бомбардировщиков, прилетавших из Крыма, и непосредственное прикрытие города, порта.

На особом учете у комбрига была четвертая эскадрилья нашего авиаполка. Все ее летчики еще в мирное время в совершенстве овладели техникой ночного пилогирования, что чрезвычайно пригодились, когда фашистские бомбардировщики стали появляться над Одессой не только днем. Командовал эскадрилей «ночников» капитан Аггей Елохин, впоследствии Герой Советского Союза. Известен был и ее комиссар — старший политрук Семен Куница, который сам был искусным воздушным бойцом и за июль — август сбил несколько вражеских самолетов.

На исходе августа скромные ВВС Одесского оборонительного района получили пополнение в виде эскадрильи «И-16» под командованием капитана Ф. И. Демченко из 8-го истребительного авиаполка Черномор-

ского флота. Прилетело из Крыма также несколько истребителей других типов и два штурмовика «ИЛ-2».

В очень многих случаях летчики не подпускали врага к городу. Но закрыть для него одесское небо было невозможно. И не только потому, что у нас было недостаточно самолетов,— слишком близко придвинулся к городу фронт, слишком ограниченное пространство оставалось для перехвата прорывавшихся с разных направлений фашистских бомбардировщиков. Бомбы падали на город изо дня в день — и фугасные и «зажигалки». Тушение пожаров, расчистка улиц от завалов — все это стало одесским бытом.

Аварийно-спасательные команды МПВО, находившиеся на казарменном положении, были в постоянной готовности. Чаще всего им приходилось спасать людей, которые укрылись в подвальном убежище и не могли оттуда выбраться после того, как дом рухнул. От иного дома оставалась лишь гора сыпучего известняка. И как ни спешили команды, докопаться до подвала не всегда удавалось в тот же день. Бывало и так, что помощь приходила слишком поздно.

Спасательные команды учились выигрывать время. Выяснилось, что в подвал рухнувшего дома часто выгоднее пробиваться не сверху — через гору измельченного взрывом камня, а снизу — копая ход из подвала соседнего здания. Но горожане постепенно приходили к убеждению, что укрытия под постройками из известняка (а из него тут построено почти все) хороши до тех пор, пока в дом не попала бомба. Более надежными признавались убежища-щели, и их стали рыть повсюду. Эти простейшие укрытия не подводили одесситов: за все время обороны люди, находившиеся в щелях, пострадали лишь два раза — от прямых попаданий бомб.

Вражеские налеты заставили жителей Одессы вспомнить про ее знаменитые катакомбы — подземные лабиринты каменоломен, откуда полтора века брали тот самый известняк, из которого строился город. Проникнуть в катакомбы было несложно — много входов есть и в приморской и в степной части города, — и их начали постепенно обживать. Позже, когда к бомбежкам прибавился артиллерийский обстрел, в эти подземные галереи переселились десятки тысяч людей. Городским организациям пришлось даже заняться некоторым благоустройством ближайших катакомб — туда провели электричество, открыли у входов в подземелья продовольственные ларьки.

В городе я бывал не часто, и когда выпадал случай пройти по улицам, присматривался к Одессе как бы заново. Баррикады стали в конце августа уже привычными. Труднее было привыкнуть к тому, что становится все больше разрушений. В основном же изменялся не столько внешний вид, сколько общий тон жизни города. Одесса стала суровее, тише (если, конечно, не рвались бомбы и не палили зенитки) и все же оставалась в чем-то задорно-неунывающей.

Около половины населения выехало к тому времени в глубь страны. Могло эвакуироваться и больше. Моряки не раз сообщали, что некоторые транспорты возвращаются в Крым недогруженными. Коренные одесситы всегда были известны особенной привязанностью к своему городу, и теперь это проявилось сильнее, чем когда-либо. Люди очень верили, что город выстоит. И помогали ему выстоять всем, чем могли. Можно сказать, сражался и сам город, все теснее сливаясь в единое целое с фронтом.

Предприятий, изготовлявших какое-либо оружие, довоенная Одесса не имела. А те, которые можно было бы относительно легко приспособить для выпуска какой-либо боевой техники, эвакуировались, как уже говорилось, с основным оборудованием и квалифицированными кадрами.

И все же Одесса, осажденная врагом, стала производить оружие. Бутылки с горючей смесью и ручные гранаты были лишь началом. Положение, в котором оказалась Приморская армия, когда противник отрезал ее от сухопутного тыла, заставляло искать в Одессе не только дополнительные людские резервы, но и новые возможности пополнять вооружением.

— Если можно делать гранаты, то наверняка можно и минометы! — говорил наш начарт Николай Кирьякович Рыжи. Он сам занялся разведкой на предприятиях, а командарм Г. П. Софронов (это было еще до образования ООР) поставил вопрос о минометах, очень нам недостававших, перед председателем облисполкома Н. Т. Кальченко.

Никифор Тимофеевич Кальченко часто бывал у нас на КП. Вскоре он привез сюда группу рабочих и инженеров, большей частью пожилых.

— Вот вам консультанты,— сказал Кальченко.— На них можете положиться.

Среди этих людей были, как выяснилось, и пенсионеры. Но они отлично знали, на что пригодно оставшееся на заводах оборудование, где и каких марок есть металл, знали и опытных мастеров, которые готовы, раз надо, вернуться в трудовой строй, невзирая на годы и недуги.

Старики попросили показать им, какое оружие нам требуется, и долго осматривали принесенные образцы минометов. Лица «консультантов», сперва сосредоточенные и хмурые, понемногу прояснились: выходило, что изготавливать «такие штуковины» в Одессе, пожалуй, можно.

Гостям показали также пулемет, объяснив, что и в этом оружии у нас нужда. Однако насчет пулемета старые производственники не обнадежили — слишком много сложных деталей. А изготовление минометов наладилось быстрее, чем мы могли ожидать. Пробные были представлены на испытания буквально через несколько дней. Как потом я узнал, рабочие, выполнявшие это задание, трое суток не покидали цеха. За следующие полтора месяца приморцы получили — в основном с завода имени Январского восстания — более тысячи пятидесятимиллиметровых минометов и свыше двухсот восьмидесятидвухмиллиметровых.

В Одессе не создавали, как потом в Севастополе и других городах, которым угрожал враг, городского комитета обороны. Но, в сущности, прообразом его была оперативная группа во главе с секретарем горкома партии Н. П. Гуревичем. Группа ведала всем, что касалось мобилизации местных ресурсов в помощь армии — строительством укреплений, формированием истребительных батальонов, работой МПВО, поддержанием порядка в находящемся на осадном положении городе. Пока не образовался ООР, Гуревич согласовывал свои действия с командованием армии, и я часто заставал его у Софронова или Шишенина. Тут же на первых порах обсуждались вопросы, связанные с начинавшимся в Одессе производством вооружения.

Потом ответственность за выпуск военной продукции была возложена на специальную «производственную группу», которую возглавил заместитель председателя облисполкома Я. М. Мизрухин.

Работу ее направлял Военный совет оборонительного района. Штабу армии вникать в организацию военного производства больше не требовалось. Но мы все сильнее ощущали его размах.

К концу августа изготовление разных видов боевой техники наладили или осваивали больше двадцати одесских предприятий. С некоторых заводов и даже из мастерских, выпускавших раньше детские игрушки, приморцы получали противотанковые и противопехотные мины (помню, корпусами для некоторых партий служили консервные банки с надписями «Икра», «Халва»). Завод «Большевик», делавший прежде линолеум, поставлял взрывчатку для этих мин и для ручных гранат. Возникли затруднения с детонаторами, но местные

изобретатели сконструировали терочный запал, и это решило проблему; суточный выпуск гранат дошел до пяти тысяч штук. По предложению военного инженера Ляшенко начали изготавливать траншейные огнеметы, употребив баллоны, которыми пользовались продавцы газированной воды. Нашлось и предприятие, где освоили производство крайне необходимого войскам полевого телефонного кабеля.

Не следует думать, что организовать все это было просто. Даже в нормальных условиях, на заводе, обеспеченном надлежащей техникой, материалом и опытными кадрами, переход на новый вид продукции требует немалых усилий, да и времени. А одесские предприятия должны были приспособить к выпуску новых изделий оборудование, предназначенное совсем для другого, и обходиться тем сырьем, которое имелось в пределах города. Недоставало и умелых рук — в цеха пришли тысячи женщин, занимавшихся домашним хозяйством, и необученных подростков. Но люди знали: оружия ждет от них фронт, придвинувшийся угрожающе близко, и делали подчас то, что, наверное, им самим показалось бы раньше невозможным.

Кажется, по инициативе Федора Николаевича Воронина, часто бывавшего на заводах, Военный совет ООР решил зачислить рабочих и работниц, изготавливающих вооружение, на красноармейский паек.

Большое значение имел наладившийся в городе ремонт орудий. Импровизированные танкоремонтные мастерские, возникшие в одном из цехов завода имени Январского восстания, продолжали понемножку возвращать в строй танки, поврежденные в самом начале войны. Там же, на «Январке», вслед за первым бронепоездом, участвовавшим уже во многих боях, оснащались следующие.

А однажды из заводских ворот выползли со страшным лязгом и грохотом три бронированные машины, тип которых не сумел бы определить никакой военный специалист. Это были первые «одесские танки». К их рождению причастно много изобретательных и настойчивых людей. Но двое особенно: главный инженер «Январки» П. К. Романов и инженер по артиллерийским приборам из штаба военно-морской базы (потом его перевели в штаб ООР) капитан У. Г. Коган. Это они предложили и обосновали возможность переоборудовать в танки обыкновенные тракторы-тягачи.

Одесская обстановка способствовала возникновению проектов самых неожиданных, подчас пересальных или бесполезных. Была, например, у кого-то идея превратить трамвайные составы в маленькие бронепоезда на случай боев на окраинах города... К предложению переделывать тракторы в танки сперва тоже отнеслись несколько недоверчиво. Но все же три машины «СТЗ-НАТИ» были выделены для опыта, а капитан Коган получил бумагу, предписывавшую всем организациям города содействовать ему в изыскании необходимых материалов.

Авторы проекта обязались соорудить три танка за десять дней и в этот срок уложились. Январцам, которые оснащали эти танки, помогали многие другие предприятия. В трамвайных мастерских, где нашелся хороший карусельный станок, изготавливались детали башен. Судоремонтники и морская база представили листовую корабельную сталь. Ее использовали в два слоя с прокладкой из дерева или резины, и испытания, проведенные на заводе, показали, что если не от снарядов, то во всяком случае от осколков и пуль такое покрытие должно защитить. В башнях двух машин поставили пулеметы. Для третьей нашлась даже тридцатисемимиллиметровая горная пушка.

Оставалось выяснить, на что способны эти машины на поле боя, и прямо с завода их направили в Южный сектор. К трем самодельным танкам добавили один восстановленный настоящий. Экипажи сформиро-

вали из добровольцев — знакомых с техникой красноармейцев, моряков и заводских рабочих.

Танковый взвод под командой старшего лейтенанта Юдина возглавил одну из контратак чапаевцев за Дальником. Опережая донесение о боевом испытании машин, в штаб поступила просьба генерала Петрова оставить танки в его дивизии.

Результаты, как выяснилось, превзошли все ожидания. Противник, не видевший здесь раньше у нас никаких танков, был ошеломлен и выбит на этом участке из своих передовых окопов. Наши бойцы тут же придумали новым боевым машинам свое название — «На испуг», сокращенно «НИ». Прозвище это стало «маркой» новой машины. Нельзя было не признать, что оно характеризует ее довольно точно: при слабом вооружении и легкой броне, «одесский танк» имел довольно таки устрашающий вид, а на ходу производил очень много шума.

После первого боя танки, вновь прогрохотав по улицам города, возвратились на завод для детального осмотра. Как и предполагалось, от осколков и пуль оставались лишь вмятины. Попавший в один танк сорокапятимиллиметровый снаряд пробил слоеную броню навывлет, не задев, к счастью, людей и двигатель. В целом машины испытание выдержали.

Командующий ООР немедленно принял решение переделать в такие танки еще семьдесят тракторов. Производственной группе поручалось использовать для этого, кроме завода имени Январского восстания, три других предприятия. Но на быстрое выполнение такого заказа рассчитывать было трудно.

Двадцать второго августа, в день, когда шли тяжелые бои почти на всем фронте Одесской обороны и в распоряжении командарма не осталось никаких резервов, обком партии принял решение: обязать секретарей городских райкомов КП(б)У направить в армию всех коммунистов и комсомольцев, способных носить оружие. Из этого не следовало, что в ряды приморцев волнется новое крупное партийное пополнение. В одесской парторганизации оставалось две с чем-то тысячи человек — немногим больше одной десятой ее довоенного состава. Сюда входили и люди преклонного возраста, а также те, кто не мог оставить свои посты в городе. Решение обкома означало, что коммунисты Одессы посылают на фронт последний свой резерв.

— По партийной мобилизации придет около семисот человек,— сказал мне на следующий день начальник поарма Леонид Порфирьевич Бочкаров.— Тут и работники горкома. Заведующего транспортным отделом Григория Лохова направляем политруком в полк Осипова...

В те дни во всех районах города проходили собрания партийного актива. Наши товарищи, участвовавшие в них, рассказывали, как выглядели эти собрания: большинство присутствующих — женщины, много пожилых, а почти все мужчины до пятидесяти лет — в военной форме.

На повестке дня везде стоял один вопрос: «О задачах коммунистов в обороне города». Обсуждалось, как ускорить строительство новых укреплений, как удовлетворить нужды военного производства, чем еще можно помочь армии.

В районах были созданы подчиненные городской опергруппе оперативные тройки во главе с секретарями райкомов. По кварталам, по баррикадам распределялись ополченские «отряды уличных боев», личный состав которых ежедневно после работы проходил тренировки. Вводилась круглосуточная охрана силами населения артезианских скважин и других жизненно важных объектов.

Одессу еще не называли городом-героем — это пришло позже. Но она уже стала городом-воином, городом-фронтовиком и по-солдатски готовилась к новым боевым испытаниям.

РЕШАЕТ ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР

При всей напряженности обстановки в Западном и Южном секторах, у штаба армии крепла уверенность, что войска удержат там новые рубежи. Хуже было в Восточном секторе — отбивать натиск врага на этом направлении не хватало сил.

Утром 24 августа танки и пехота противника, нанося основной удар вдоль балки Глубокая, вклинились между Разинским полком и пограничниками. Сюда был направлен огонь береговой артиллерии и кораблей, посланы на штурмовку истребители. Враг нес большие потери, но, не считаясь с ними, шел напролом. Восстановить положение не удавалось. Резервов у комбрига Монахова не было.

Днем в Лузановку выехал встревоженный командарм. Вернулся он быстро, еще более озабоченный. К этому времени я уже знал, что противник успел продвинуться к Корсунцам и совхозу «Ильичевка». Фронт между Куяльницким и Большим Аджалыкским лиманами приблизился к морю. Восточнее, за Большим Аджалыкским, территория, остававшаяся в наших руках, протянулась по побережью узкой полосой до деревни Чебанка.

Подойдя к карте, Софронов ткнул в этот выступ пальцем.

— Надо избавляться от этого шлейфа, — сказал он. — И все, что у нас здесь есть: моряков, караульный батальон, тираспольских связистов — использовать для восстановления положения на участке Разинского полка. Больше людей взять неоткуда. А такой фронт, как сейчас, Монахову все равно не удержать. Если промедлим, противник просто отрежет Чебанку, и будет хуже.

Волнуясь, Георгий Павлович никогда не повышал голоса, но начинал говорить очень быстро, торопливо, что обычно не было ему свойственно.

Вывод, к которому пришел Софронов, я считал правильным. Прав был командарм и в том, что нельзя медлить: по данным разведотдела, за северными лиманами сосредоточивались свежие неприятельские части.

Вопрос стоял, однако, не только об оставлении полоски побережья. Вблизи Чебанки находилась 412-я батарея береговой обороны — одна из двух самых новых и мощных в районе Одесской базы. «Гордость флота! — говорили про них моряки. — Бьет на двадцать миль...»

Батареи, строившиеся для того, чтобы не подпускать к Одессе неприятельские корабли, представляли собою фактически небольшие береговые форты: стовосьмидесятимиллиметровые орудия, командные пункты, силовые установки, кубрики личного состава защищены железобетонном, глубоко под землей — погребам.

Развернутая теперь в сторону суши, «четыреста двенадцатая» поддерживала правый фланг армии. За последнее время она так часто открывала огонь, что потребовалось заменить запасными тяжеловесные стволы орудий. Артиллеристы только что произвели эту сложную работу, справившись с нею за одну ночь.

И вот сейчас решалась судьба батарей. Отводить части с выступа за Большим Аджалыкским лиманом — значит, батарею взрывать... Приказ об этом мог отдать, конечно, лишь командующий оборонительным районом.

Положение в Восточном секторе обсуждалось на ночном заседании Военного совета ООР. Труднее, чем кому-либо, было, вероятно, контр-адмиралу Жукову. Ведь батарею, считавшуюся гордостью Черноморского флота, вводил в строй он.

Я не присутствовал на этом заседании — от армии там был только Г. П. Софронов. Но мне известно, что члены Военного совета вывели все обстоятельство, ища ответа на вопрос: нет ли другого выхода?

Приходилось думать о том, насколько велика — если не сокращать фронт Восточного сектора за счет «шлейфа» — опасность не только выхода противника на берег Одесского залива, но и прорыва к Пересыпи.

Нельзя было также не считаться и с более чем реальной опасностью захвата 412-й батареи противником. 24 августа к ней уже чуть было не прорвались фашистские автоматчики, атаку которых с трудом отбила гранатами рота моряков. Сама батарея, предназначенная поражать дальние цели и малоуязвимая при ударах с воздуха, была почти беззащитна от врага, оказавшегося рядом. И если бы в критический момент что-нибудь помешало вывести ее из строя, противник мог, завладев нашими орудиями, направить их на Одессу.

— Тогда нам не будет никаких оправданий! — вырвалось у Жукова.

Гавриил Васильевич переборол себя. В третьем часу ночи решение было принято и подписано всеми членами Военного совета.

Но командир «четыреста двенадцатой» капитан Н. В. Зиновьев, получив приказ взорвать батарею, не хотел верить этому. Он дозвонился до командующего ООР и дважды требовал подтвердить приказ. Когда командиру пришлось объявить решение Военного совета личному составу, у артиллеристов выступили на глазах слезы. Для краснофлотцев береговой обороны такая батарея то же, что для плавающих моряков — родной корабль...

Пока наши части отводились с чебанского выступа, «четыреста двенадцатая» успела выпустить по врагу весь наличный боезапас. Моряки 1-го полка морской пехоты и приданные ему батальоны включались на соседних участках обороны в начатые там контратаки. На случай, если противник отрежет батарею, еще ведущую огонь, к Чебанке высылались тральщики и катера. Миноносцы Одесской базы были готовы прикрыть их подход к берегу. Однако принимать артиллеристов на корабли не потребовалось. Дав последний залп и взорвав орудия, они отошли по суше. Личный состав батареи капитана Зиновьева влился в осиповский полк.

После войны было опубликовано в материалах Нюрнбергского процесса письмо Гитлера к Антонеску, где румынскому командованию даются советы насчет того, как быстрее взять Одессу. В письме, между прочим, говорится: «...Главное состоит в том, чтобы приблизиться к самому побережью с северо-востока, то есть в полосе действий вашего 5-го армейского корпуса, чтобы можно было взять под сильнейший артиллерийский огонь портовые сооружения города».

Наставления эти давались несколько позже того времени, о котором я веду сейчас речь, — в начале октября. Однако, надо полагать, командование 4-й армии, осаждавшей Одессу, и без подсказки фюрера ставило перед собой ту же цель во всех случаях, когда пыталось прорвать нашу оборону в Восточном секторе.

В конце августа двенадцатикилометровый участок фронта между Большим Аджалыкским и Куяльницким лиманами сделался решающим. К наступавшим здесь 13-й и 15-й неприятельским пехотным дивизиям прибавились части нового соединения. Становилось очевидным, что враг, не пробившись к городу с других направлений, переносит главный удар сюда.

Глядя на карту с последними данными обстановки, я невольно думал, что еще нигде под Одессой не имело такого значения то, сумеем ли мы не пустить противника дальше и оттеснить его хоть немного назад. Как ни придвинулся фронт к городу с южной и западной сторон, от Ва-

каржан или Петерсталья до одесских окраин все же дальше, чем от Корсунцев или «Ильичевки».

Да и не только в этом было дело. Приближение фронта к северному берегу Одесского залива, до которого оставалось несколько километров, означало, что враг заходит в тыл порту, связывающему нас с Большой землей.

Чтобы отвести эту угрозу, перегруппированные части Восточного сектора поднимались в трудные контратаки. Штаб артиллерии маневрировал наличными огневыми средствами, стараясь компенсировать отсутствие 412-й батареи. Из Севастополя пришли новые эсминцы с дальнебойными стотридцатимиллиметровыми орудиями. 25 и 26 августа правый фланг армии поддерживало по шесть-семь кораблей. До восьмидесяти самолето-вылетов делали сюда в эти дни бомбардировщики, базировавшиеся на крымские аэродромы.

Все это не оставалось безрезультатным. Продвижение противника, хотя он вводил в бой все новые резервы, приостановилось. На отдельных участках—у Александровки, у «Ильичевки», у Гильдендорфа (Новоселовка) — нашим частям удалось даже несколько оттеснить его назад, улучшив свои позиции.

Из группы комбрига Монахова примчался наш направленец капитан Харлашкин. Явился возбужденный и, вопреки обычной аккуратности, весь в пыли — так спешил доложить подробности боев и свои соображения о положении на участках полков Восточного сектора — Разинского, пограничного и морского. Все они сражаются героически. Старшие командиры всюду на переднем крае. Осипов и его комиссар Митраков сами водили своих краснофлотцев в контратаки — командир полка на одном фланге, комиссар на другом... Майор Маловский лично возглавил дерзкую вылазку пограничников во вражеские тылы, где захвачены четыре легких орудия, из которых тут же открыт огонь... Но у противника огромный численный перевес. Фронт Восточного сектора сократился, сжался после ликвидации чебанского выступа, и все-таки нам опять не хватает здесь бойцов.

— У разинцев в ротах некомплект до семидесяти процентов, — докладывает Харлашкин. — Этот полк обязательно надо чем-то пополнить.

Для Разинского полка предназначены два новых отряда моряков, только что высадившихся с транспортов «Крым» и «Армения», — около девятистот штыков. Услышав об этом, Харлашкин веселеет. Но, спохватившись, начинает доказывать, что в полк Осипова люди тоже нужны позарез.

Направленец переживает за каждый из «подопечных» полков. И он прав: пополнение необходимо и морскому полку. Из двухсот одесских коммунистов, мобилизованных обкомом, которых мы недавно туда послали, многие уже пали в бою или лежат в госпитале. Штаб флота отправляет в Одессу еще два небольших краснофлотских отряда. Однако даже Харлашкину я не могу обещать, что они обязательно попадут в полк морской пехоты: пока отряды придут из Севастополя, крайняя нужда в людях может возникнуть где-то еще.

Ни стрелковой дивизии, ни танкового батальона, ни полка истребителей, о которых ставил вопрос Военный совет ООР, в Одессе сейчас дать не могут. Нам обещали, однако, помочь в ближайшее время оружием. А днем позже стало известно, что Ставка выделила для Приморской армии десять маршевых батальонов с погрузкой на суда в Новороссийске. Это было первое, кроме краснофлотских отрядов, пополнение с Большой земли.

Мы принялись выяснять, когда оно начнет прибывать в Одессу. Получалось, что в лучшем случае — 30 августа. Ждать уже недолго: три-

четыре дня. Но имели значение каждые сутки: армия несла большие потери, особенно ранеными. В строю оставалось около двадцати пяти тысяч человек — на девять тысяч меньше, чем неделю назад.

На берег Одесского залива, к мысу «Е», удобному для обстрела города, противник еще только пытался прорваться. Но дальнобойные орудия, предназначавшиеся, вероятно, туда, он уже установил где-то за Большим Аджалыкским лиманом.

Двадцать пятого августа в 19.05 на территории порта разорвался первый фашистский снаряд. С этого дня и часа Одесса, которую до тех пор враг мог лишь бомбить с воздуха, оказалась под артиллерийским обстрелом.

Обстреливались порт и кварталы Пересыпи — индустриального Ленинского района. Дальше снаряды, очевидно, не долетали. Огонь был не прицельный (наблюдать падение снарядов противник еще ниоткуда не мог) и довольно редкий, так называемый беспокоящий... Стреляла, по-видимому, одна батарея.

Но город есть город — не попасть в него нельзя. И хотя пяти- или шестидюймовый снаряд не сокрушит столько, сколько крупная авиабомба, орудийный обстрел был для населения еще тяжелее бомбежек. После сигнала воздушной тревоги у людей, как правило, оставалось время укрыться. Снаряды же падали то там, то тут совершенно внезапно, сея на улицах смерть. Огромное напряжение создавалось в порту: при выгрузке боеприпасов один шальной снаряд мог вызвать целую катастрофу.

Обстрел города не был для штаба армии неожиданностью. Когда пришлось оставлять чебанский выступ, полковник Рыжи сразу получил задание иметь в готовности средства для контрбатареинной борьбы. Однако подавить батарею, начавшую обстрел Одессы, оказалось не так просто. Орудия скрывались где-то в складках холмистой местности, и засечь их сперва никак не удавалось. Огонь по площадям, открывавшийся и с берега и с кораблей, результатов не давал.

Тем временем общая обстановка в Восточном секторе вновь ухудшилась. 27 августа Александровка и большая часть совхоза «Ильичевка» были в руках противника. На перешейке между Куяльницким и Хаджибейским лиманами шли бои за Ильинку. Из штаба сектора докладывали, что все труднее держаться на правом фланге сектора — у Большого Аджалыкского лимана. Непрерывно атакуя там, враг, очевидно, решил любой ценой пробиться к приморскому селению Фонтанка, к мысу «Е».

Правый фланг после перегруппировки держали пограничники. В их полку давали себя знать боевые потери последних дней. Но традиция особой стойкости, усвоенная бойцами на границе, проявлялась с неослабевающей силой. И полк, сам уже резерва не имевший, продолжал служить резервом командных кадров для соседей.

Вечером стала известна такая подробность дневных боев. На стыке пограничного и полка морской пехоты выбыл из строя командир краснофлотского батальона. И прежде чем моряки успели его заменить, подразделение — батальоном оно было уже только по названию — возглавил решительный солдат из соседей-пограничников. Произшел один из тех случаев, когда бойцы, оставшись в трудную минуту без командира, безоговорочно признают старшим смелого, расторопного товарища, идут за ним и уже до конца боя ждут от него приказаний, команд.

Фамилия пограничника была Афанасьев, больше мы еще ничего о нем не знали.

— Надо поглядеть, что за орел! — сказал командарм. — Батальоном не батальоном, а взводом такой небось командовать сможет.

Дня через три в приказе по армии значилось: «Красноармеец Афанасьев Евгений Алексеевич, 1921 г. рождения, рабочий, член ВЛКСМ с 1936 г., образование общее — 9 классов, военного не имеет...» Рядовой Афанасьев и еще несколько бойцов и сержантов 26-го пограничного полка, проявившие на поле боя командирские качества, производились в младшие лейтенанты.

Двадцать восьмого августа сообщили, что тяжело ранен майор Маловский — храбрый и деятельный командир пограничного полка. Его заменил комбат капитан Г. А. Рубцов. Тот самый, по которому потом, в Севастополе, полк стали называть рубцовским.

Это был день, когда новости из Восточного сектора приходили одна тревожнее другой. Как ни сдерживали наши полки натиск неприятельских дивизий, враг прорвался-таки к Фонтанке.

Рядом с нею, на мысе «Е», господствующем над Одесским заливом, стояла 21-я береговая батарея. Не столь новая, как 412-я, но еще более крупного калибра — 203 миллиметра, — она играла важную роль в огневой поддержке войск сектора, особенно после того, как не стало батареи у Чебанки. Теперь «двадцать первая» оказалась на пути вражеских частей, вклинившихся в нашу оборону.

Артиллеристы били по приближавшемуся противнику сперва по данным своих корректировочных постов. Затем командир батареи капитан А. И. Кузнецов уже сам видел через стереотрубу цепи фашистских солдат.

Тяжелые береговые орудия — не для ближнего боя. К тому же у артиллеристов кончались снаряды. Когда наступающая пехота подошла к проволочному заграждению перед батареей, ее личный состав с командиром во главе вышел навстречу врагу с гранатами, присоединившись к прикрывавшему позицию «двадцать первой» стрелковому подразделению. В это время командование ООР решало, как быть с батареей: опасность захвата ее противником возрастала. Начальник штаба военно-морской базы К. И. Деревянко непрерывно держал по телефону связь с командным пунктом «двадцать первой». Оттуда отвечал краснофлотец-телефонист: командир, как и все артиллеристы, был в окопе.

— В трубке раздался вдруг невообразимый треск, — рассказывал потом К. И. Деревянко. — Телефонист батареи не закончил фразы, голос его пресекся. Рядом со мною стоял командир базы контр-адмирал Кулешов, и нам обоим показалось, что там все кончено. Однако трубку держу. И вдруг опять слышу голос того же телефониста: «Извините, отлучался в рукопашную...» Так буквально и сказал!

Начальник штаба базы передал на батарею приказание командующего ООР вывести орудия из строя. В создавшихся условиях другого решения быть не могло. Из порта вышли катера за личным составом «двадцать первой».

Но катера вернулись без артиллеристов. Гранатный бой и рукопашные схватки на позиции батареи, длившиеся около тридцати минут, окончились тем, что враг был оттуда вытеснен. Отбросить его дальше помогли подоспевшие моряки из полка Осипова. Оставив для охраны поврежденных орудий и батарейного хозяйства небольшую группу краснофлотцев, капитан Кузнецов присоединился с остальными бойцами к морской пехоте.

В наградном листе на командира 21-й береговой батареи отмечалось, что его смелые и решительные действия помогли не пустить противника на мыс «Е». Александр Иванович Кузнецов представлялся к ордену Красного Знамени и был удостоен его. Но награда оказалась посмертной: не успев о ней узнать, моряк-артиллерист погиб в сухопутном бою.

28 и 29 августа были критическими для обороны Одессы днями.

Мыс «Е» оставался в наших руках. Однако Фонтанку, находящуюся рядом, отбить не удавалось. И это означало, что артиллерия, обстреливающая Одессу, может перейти на более выгодные позиции. Но еще опаснее было то, что враг приблизился к Крыжановке, откуда уже рукой подать до Пересыпи. Дальнейшее продвижение противника в Восточном секторе грозило непоправимыми последствиями для всей Одесской обороны.

В штабе армии малоллюдно: все, без кого можно тут обойтись, в войсках. На передовой весь политотдел. Тревожно звонят телефоны. О подкреплениях никто не просит: знают, что резервов нет. Просят огня, усиления артиллерийской поддержки.

По этим вопросам все время держу контакт с полковником Рыжи и начальником штаба военно-морской базы Деревянко — у него корабли. Начштаба артиллерии майор Васильев послан в Восточный сектор и действует на месте.

Впервые отдан приказ поддержать правый фланг армии береговым батареям, расположенным по другую сторону Одессы — 411-й (она такая же, какой была 412-я) и 39-й. Их снаряды летят через весь город. С внешнего рейда ведут огонь эсминцы и канонерские лодки.

Утром 29-го кораблей прибавилось — прибыли из Севастополя крейсер «Червона Украина» (командир — капитан 1-го ранга Н. Е. Басистый) и приходивший уже к нам однажды лидер эсминцев «Ташкент» — новейший корабль Черноморского флота. Если подняться наверх, с моря доносятся уже не отдельные залпы, а слитный орудийный гул.

— Коррпосты в Восточном секторе предупреждены, что от них может зависеть судьба Одессы, — сказал капитан 3-го ранга Деревянко, когда мы согласовывали распределение целей между кораблями. — Сергей Викторович Филиппов сам отправился туда.

Начальник штаба базы всегда очень уважительно отзывался о своем флагманском артиллеристе капитане 2-го ранга Филиппове, который старше его и званием и годами, это бывалый моряк, участник гражданской войны.

Поддержка правого фланга армии все чаще превращается для моряков в артиллерийскую дуэль: захватив новые позиции на побережье, противник открывает оттуда огонь и по нашим кораблям. От прямого попадания снаряда уже имеет повреждения эсминец «Фрунзе», в экипаже есть раненые. Осколком, залетевшим на мостик, задело и командира — капитан-лейтенанта П. А. Бобровникова. Но отогнать корабли от побережья враг не может. Некоторые командиры стараются, прикрываясь дымовыми завесами, маневрировать еще ближе к берегу, чтобы точнее бить по обстреливающим их батареям. Уже не одну заставлял замолчать эсминец «Незаможник» под командованием капитан-лейтенанта Н. И. Минаева.

А во второй половине дня 29 августа Деревянко сообщил по телефону:

— Хорошая новость, товарищ полковник! Ерошенко подавил ту батарею, что обстреливала порт и Пересыпь. Возможно, даже уничтожил...

Капитан 3-го ранга В. Н. Ерошенко — командир лидера «Ташкент». Встречался я с ним лишь однажды, но запомнил, наверное, благодаря его колоритной внешности: коренастый морячина с широким, обветренным лицом и черными усами. Неужели он действительно разделался с той батареей? Ее ведь надо было еще обнаружить. Однако Восточный сектор подтвердил: обнаружена и приведена к молчанию, по данным корабельного коррпоста — уничтожена.

Немного позже стали известны подробности. Лидеру сперва были даны другие цели. Но батарея открыла огонь по крейсеру, а затем и по «Ташкенту». Тогда лидер получил задание подавать батарею. Некоторое время он безрезультатно стрелял по квадрату, где предположительно находилась ее огневая позиция. Лишь потом, когда сама батарея уже пристрелялась к «Ташкенту» и становилось все труднее уклоняться от ее залпов, зоркому корабельному дальномерщику удалось засечь отсвет орудийного выстрела в складках берега. Почти одновременно и с берегового коррпоста разглядели, где скрывается батарея.

Дальнейшее далось уже легче: на «Ташкенте» отличные стотридцатимиллиметровые орудия в башенных установках и новейшие приборы управления огнем. Правда, противник пытался сбить корректировку, внезапно начав передавать на той же волне ложные данные. Однако на коррпосту не растерялись — предупредили лидер, что действительны лишь поправки, предваряемые именами корабельных радистов. Вскоре пост зафиксировал накрытие цели. Было даже видно, как от орудий — разбитых или поврежденных — разбегается уцелевшая прислуга.

Лидер встретили в гавани с почетом — моряки это умеют. На рейдовом посту подняли сигнал, набранный флагами по морской азбуке: «Учитесь стрелять и вести себя под огнем у экипажа «Ташкента».

В тот день вражеские снаряды в порту больше не разрывались. Но мы знали, что это ненадолго. Уничтожил лидер дальнобойную батарею или только подавил ее, но ведь такая была под Одессой уже наверняка не одна.

Тридцатого августа обстрел возобновился, а на следующий день усилился, не прекращаясь и ночью. Как потом установили, огонь вел 11-й тяжелый артиллерийский полк противника, и уже не из-за Большого Аджалыкского лимана, а из района к западу от него — ближе к городу.

Корабли стреляли, конечно, не только по батареям. Корректировщики направляли их огонь на скопления пехоты и танков, на дороги, по которым неприятель на машинах подвозил к фронту подкрепления.

А против кораблей стала активнее действовать фашистская авиация. 30 августа бомбы, сброшенные с большой высоты, повредили красавец «Ташкент». Лидер остался на плаву и смог своим ходом уйти в Севастополь, но нуждался в длительном ремонте.

Много раз за эти дни спасала положение на различных участках Восточного сектора наша полевая артиллерия. Только она помогла остановить врага между Куяльницким и Хаджибейским лиманами.

Огонь, вовремя открытый из Западного сектора, и стрельба прямой наводкой с самого перешейка сорвали расчет врага, заключавшийся в том, чтобы одним рывком достигнуть Пересыпи. Но, понеся большие потери, части противника все же смяли стоявший на их пути батальон нашего запасного полка и продолжали продвигаться дальше.

Удар врага на перешейке застал там начальника штаба артиллерии майора Н. А. Васильева. Как старший, он и принял на себя командование остатками откатившегося стрелкового батальона и батареями гаубичного полка. Бой шел весь день. Но исход его, очевидно, предрешили те часы, когда майор Васильев с горсткой бойцов — слишком малочисленных, чтобы восстановить оборону от лимана до лимана, — засели в противотанковом рву за Протопоповкой и при поддержке артиллеристов сумели задержать выдыхавшегося уже противника. Прорыв к Пересыпи был предотвращен.

Один этот бой на узкой полоске выжженной солнцем земли между двумя одесскими лиманами заслуживает, вероятно, чтобы о нем были написаны кем-то десятки ярких страниц. Однако я, как и во многих других случаях, вынужден ограничиться здесь общей картиной без особых

подробностей. Тем, кто их ждет, хочу лишь напомнить: в этой книге почти все излагается так, как виделось оно мне с армейского КП, откуда хоть и сильнее общая картина, но не всегда различимы детали, отдельные факты. А нарастали события так, что часто не было никакой возможности вернуться к выяснению всех обстоятельств того, что уже позади. Впоследствии же многое оказалось невозможным. Но чтобы оценить, что значило задержать врага между Хаджибейским и Куяльницким лиманами, подробности не нужны — достаточно вспомнить, что до Пересыпи оставалось меньше пяти километров...

Двадцать девятого августа с «Червоной Украины» высадились семьсот двадцать краснофлотцев — последний отряд черноморских добровольцев. Шесть отрядов моряков, присланных в Одессу в тяжелейшие дни конца августа, разошлись по всей Приморской армии. Посланцы флота были теперь в каждом нашем полку. В тот день, когда прибыл последний матросский отряд, из Новороссийска уже шли морем первые пять тысяч бойцов маршевого пополнения, выделенного для Одессы решением Ставки. Подкрепления были на подходе. А бои в Восточном секторе продолжались на критических рубежах, от которых отходить уже было просто некуда: за спиной — Сортировочная, дамба Куяльницкого лимана, Пересыпь... На Пересыпи в административном корпусе завода располагался теперь штаб сектора. Почти к самому фронту можно было подъехать на городском трамвае.

Нам дорого стоило остановить вражеские дивизии, рвавшиеся к северным воротам Одессы. В первом батальоне морского полка Я. И. Осипова осталось в строю сорок два человека, во втором — восемьдесят. Так выглядел и ряд других подразделений. И все-таки удалось еще до прибытия пополнения кое-где хоть немного потеснить противника.

В Восточном секторе снова действовал один из полков кавалерийской дивизии. Вместе с моряками Осипова кавалеристы вели бои за высоту у Николаевского шоссе. Крейсер «Червона Украина», выходявший четыре дня подряд на позицию в Одесском заливе, поддерживал их огнем. Эта высота врезалась в наши позиции опасным клином. Не выбив оттуда врага, трудно было удерживать и соседние участки. Тут, сражаясь в пешем строю, сложили головы лихой командир эскадрона Иван Котенков и его комиссар Иван Петренко. Командир пал первым. Комиссар заменил его и, как рассказывали потом, несколько раз поднимал бойцов в контратаки любимым своим кличем: «Эскадрон! Вся Одесса смотрит на нас!..»

Рассчитывая удержать высоту, противник не оттянул назад, пока еще мог, несколько стоявших здесь легких орудий. После того как приморцы все-таки овладели высотой, захватив и эти пушки вместе с их расчетами, выяснилось, что в окопчиках за огневой позицией румынской батареи сидели немецкие автоматчики. Так гитлеровское командование обеспечивало «стойкость» своих союзников...

Пополнение с Большой земли предстояло принять в порту, подвергавшемуся артиллерийскому обстрелу. Командование военно-морской базы принимало все меры, чтобы сократить возможности потерь при высадке. Уже действовала система прикрытия причалов дымовыми завесами. Накануне моряки скрепя сердце взорвали белую башенку исторического Воронцовского маяка, которая могла служить ориентиром для наиболее близких неприятельских батарей. А наш начальник отдела комплектования майор Семечкин все распределял и перераспределял ожидаемое пополнение. К утру 30 августа было окончательно решено, что из пяти тысяч новых бойцов полторы тысячи получит Восточный сек-

тор. Остальные распределялись между Чапаевской, 95-й и кавалерийской дивизиями.

Выгрузиться маршевым батальонам удалось спокойно — обстрел порта возобновился позже (это было на следующий день после того, как одну дальнобойную батарею привел к молчанию «Ташкент»). Прямо с причалов пополнение отправилось в части, на передовую. Путь в любой сектор лежал через город, и Одесса увидела новых бойцов, прибывших ее защищать. Нетрудно представить, какое воодушевление вызвали колонны машин с красноармейцами на одесских улицах.

Пополнение действительно прибыло такое, что могло прямо с марша вводиться в бой — запасники, но хорошо обученные. Притом народ в основном рабочий, много коммунистов, комсомольцев.

Пора сказать, что в Восточном секторе, самом тревожном в эти дни, пополнение принимала и распределяла по полкам уже не «группа комбрига Монахова», а Одесская стрелковая дивизия.

Прислать новую дивизию нам пока не могли. Между тем существовавшая структура управления войсками Восточного сектора все меньше оправдывала себя. Это особенно почувствовалось во время тяжелых августовских боев. И после того, как выяснилось, что Приморской армии выделяется довольно значительное маршевое пополнение, окончательно созрела идея, вынашивавшаяся уже давно: стрелковую дивизию для правого фланга сформировать на месте. Решение об этом было принято в разгар боев на подступах к Пересыпи. И ждать передышки, которая неизвестно когда будет, не стали. 3-я дивизия Приморской армии — Одесская, как ее сперва называли, а затем получившая наименование 421-й стрелковой, — родилась в прямом смысле слова в огне боев.

Естественно, возник вопрос о командире. К комбригу С. Ф. Монахову, возглавлявшему сектор с начала обороны, особых претензий не было. Однако представлялось более целесообразным, учитывая опыт и личные качества, возложить командование новой дивизией на бывшего коменданта Тираспольского укрепленного района полковника Григория Матвеевича Коченова.

Военкомом Одесской дивизии утвердили бригадного комиссара Г. М. Аксельрода, начальником штаба — полковника А. С. Захарченко. Комбриг Монахов становился вместо Коченова начальником гарнизона.

В дивизию включались в качестве стрелковых полков 26-й пограничный, 1-й полк морской пехоты и — временно — 54-й Разинский (его надлежало при первой возможности заменить каким-то другим и вернуть в Чапаевскую). Состав действительно пестрый — конгломерат, как выразился Коченов, когда ему сообщили о назначении комдивом. Полторы тысячи штыков маршевого пополнения позволили Коченову в какой-то мере подравнять полки, очень неодинаковые и по численности. В полку морской пехоты новый комдив, по добром согласию с Осиповым, постепенно заменил многих командиров батальонов и рот более опытными армейцами.

Полковник Коченов любил и ценил артиллерию, умел ею распорядиться, но его дивизия имела всего один артполк — 134-й гаубичный. Вместе с начартом Золотовым комдив ломал голову над тем, как лучше поставить буквально каждую пушку. В конечном счете почти все орудия у него могли вести огонь в любом направлении.

Дивизия, созданная из разнородных полков и маршевого пополнения и вобравшая в себя также значительные контингенты одесских ополченцев, становилась все более организованной и стойкой. Потом она не уступала по боевым качествам кадровым дивизиям армии.

В начале сентября фронт в Восточном секторе стабилизировался. Мы могли сказать себе, что попытка противника ворваться в Одессу через Пересыпь отбита. Вraga, правда, приблизился к городу и имел возможность обстреливать его артиллерией, однако решающего успеха он все-таки не добился и вынужден был перейти здесь к обороне, а основные удары вновь перенести на другие направления.

ТАК НАЧИНАЛСЯ СЕНТЯБРЬ

Большое пригородное село Дальник растянулось на несколько километров. После заката, когда над степью быстро сгущались сумерки, главная сельская улица почему-то казалась особенно длинной — едешь, едешь, и нет ей конца.

День выдался еще по-летнему знойным, а сейчас потянул ветерок со стороны довольно близкого отсюда моря и повеяло приятной прохладой. Наверное, раньше в такие погожие вечера высыпала на эту улицу молодежь, звучала музыка, песни... Теперь село притихло, жителям, которые тут остались, не до гулянок. Фронт совсем близко, отчетливо слышны орудийные выстрелы.

В Дальнике — командный пункт 25-й Чапаевской дивизии и Южного сектора обороны. Капитан Безгинов, свой человек в этих местах, уверенно показывает водителю, где повернуть к хате генерала Петрова. Безгинов думает, что сейчас он «дома». Если не застанем тут, пойдем со связным на КП, оборудованный за селом, на обращенном в сторону противника склоне.

— А я только что от Мухамедьярова, из Тридцать первого полка, — говорит, поздоровавшись, Иван Ефимович. — Успел, правда, уже освесниться. Приспособился, знаете, принимать ванну в хозяйском корыте. Совсем неплохо после того, как пропылишься за день!

Петров верен себе — непрерывно разъезжает по фронту сектора, проводя большую часть дня в полках, в батальонах. Командарм Софронов, побывавший здесь недавно, обнаружил, что Иван Ефимович, пренебрегая ради быстроты круглыми путями, «проскакивает» простреливаемые пулеметным огнем участки, присев за кабиной на подножке своей «эмки». Кажется, Петров предлагал и Софронову добраться таким способом до батальона, куда они направлялись. Георгий Павлович возмутился и потом рассказывал мне:

— Отчитал я его. Ты же, говорю, не комбат все-таки, а командир дивизии, так вот помни об этом и путешествовать на подножке брось. Обиделся. Перешел на официальность: «Понял, товарищ командующий!» Но нельзя же так. Там и крюка-то всего километра четыре надо было сделать...

Теперь я подумал, что в методах передвижения Ивана Ефимовича по фронту вряд ли что-нибудь изменилось. Но в конце концов командир дивизии поступал так, как считал нужным и привык.

Мы подошли к карте, и Петров заговорил об участке, который и его и штабм особенно волновал — о районе Ленинталья. Захватив в конце августа это селение, противник довольно глубоко вклинился между нашими 31-м и 287-м стрелковыми полками. Сомкнуть их фланги на прежних позициях никак не удавалось. Иван Ефимович был неспокоен, и, как обычно в таких случаях, давала о себе знать старая контузия: он кивал не в такт речи головой и должен был время от времени поправлять съезжавшее пенсне. Характеризуя обстановку, Петров пользовался короткими, словно рублеными, фразами:

— Вклинившийся противник успел закрепиться. На выступе имест окопы полного профиля. Много минометов и автоматического оружия. Пехоты — не менее двух полков. Нарращивание сил продолжает. В случае прорыва к Сухому лиману, чего можно ожидать, наш левый фланг оказался бы отрезанным...

То, что этот клин чреват для нас большими неприятностями, не подлежало сомнению. Попытки ликвидировать его продолжались. Однако атаки, предпринимаемые чапаевцами, в том числе и ночные, давали пока незначительные результаты. И Петров, видимо, не испытывал уверенности, что сможет восстановить положение наличными силами. Я же не мог обнадежить его перспективами существенного увеличения этих сил в ближайшее время.

Правда, после требования Генерального штаба полностью использовать все местные ресурсы Военный совет ООР пересматривал броню работавших на оборону предприятий, и я сказал, что оттуда мы, очевидно, получим какое-то количество бойцов, но оружия для них сейчас нет.

Петров улыбнулся — впервые с начала беседы — и заверил, что оружие найдется, были бы бойцы. В связи с этим он рассказал, что некоторое время назад выделил для 31-го полка двести или двести пятьдесят прибывших из города ополченцев, но, прежде чем посылать их, запросил командира, есть ли столько винтовок. Тот ответил, что вооружить немедленно сможет лишь половину. Однако выручил другой полк — 287-й: он поделился оружием с соседями.

— Там, — объяснил Иван Ефимович, — новый командир Ковтун-Станкевич и комиссар Балашов организовали ночные вылазки охотников в ничейную полосу. Специально за оружием. Не секрет — раненого у нас не всегда еще выносят с винтовкой. Ну, и вражеским оружием не брезговали: тоже может пригодиться. В общем, создали небольшой собственный арсенал... Я же про него узнал, только когда они похвастались, что, сколько ни пришлем пополнения, вооружат. Кое-что у них и сейчас есть в запасе.

Генерала Петрова интересовало, каковы у армии виды на дальнейшее получение боеприпасов для артиллерии. Чувствовалось: он опасается, как бы не повторилось положение, создавшееся в августе, когда некоторые орудия вообще замолчали, а большинство других было посажено на жесткую норму — снарядов ряда калибров оставалось меньше одного боекомплекта.

Теперь снабжение боеприпасами в основном наладилось, они доставлялись в Одессу без больших перебоев. Но опасения Петрова были мне понятны: в Южном секторе, где очень не хватало пехоты, фронт особенно зависел от артиллерии. Кроме двух собственных артполков Чапаевской дивизии, ее и кавалеристов поддерживали богдановцы (они работали на все сектора), группа флотских батарей и, наконец, корабли. Комдив вместе со своим начартом подполковником Ф. Ф. Гроссманом расчетливо планировал, где приложить эту огневую силу.

Как раз наступало время решать это для завтрашнего дня, и мы прервали разговор, а Петров вызвал начарта. Тот явился мгновенно — наверное, был наготове, зная свой час.

— Фрол Фалькович, что мы дадим Мухамедьярову сверх двух дивизионов пушечного полка?

— Дивизион береговой артиллерии капитана Яблонского, товарищ генерал.

— Согласен. Я его и имел в виду. А что нам выделяют от Богданова?

— Пока один дивизион.

— Резервируете его для Ковтуна? Согласен.

Чувствовалось: все это уже продумано обоими и потому они понимают один другого с полуслова.

Вслушиваясь в их быстрый диалог, я подумал, что командир дивизии и начарт чем-то друг на друга похожи. Не внешне, конечно: Петров худощав и довольно высок, а Гроссман — коренастый, плотный. Но оба — люди живого и цепкого ума, должно быть, одинаково порывистые по натуре и одинаково умеющие держать себя в руках. За короткое свое знакомство (встретились только здесь, в Чапаевской) они, кажется, успели проникунуться взаимной симпатией и крепко друг в друга поверить.

От полковника Рыжи я знал, что война застала Фрола Фальковича Гроссмана преподавателем в военном училище, с которым он мог эвакуироваться в тыл и спокойно готовить там кадры для фронта. Однако Гроссман в первые же дни войны добился отправки в действующую армию и оказался в распоряжении начальника артиллерии 14-го стрелкового корпуса, которым был полковник Н. К. Рыжи. Тот, по собственному признанию, не особенно рассчитывал, что из преподавателя артиллерийского дела быстро получится хороший артиллерист-практик. Но тогда только что выбыл по ранению прежний начарт Чапаевской дивизии, заменить его было пока некем, и Рыжи представил Гроссмана на вакантную должность. Сожалеть об этом взыскательному Николаю Кирьяковичу не пришлось. К тому времени, о котором идет речь, Ф. Ф. Гроссман уже имел в Приморской армии наряду с начартом 95-й дивизии Д. И. Пискуновым репутацию одного из лучших артиллерийских командиров.

А чапаевцы, шедшие к Одессе из-за Днестра, рассказывали, как видели Гроссмана не только в роли штабного артиллериста. Выпадало ему в тяжелые дни отступления сколачивать из отбившихся от своих подразделений бойцов сводный отряд, водить этот отряд в контратаки. И, быть может, с Иваном Ефимовичем Петровым роднила начарта дивизии также и внутренняя готовность устремиться в решительную минуту в самое горячее место боя, не раздумывая, положено или не положено это по чину,— качество, которое всеенные люди, обладающие им, хорошо чувствуют друг в друге.

Ф. Ф. Гроссману суждено было пройти с Приморской армией первого состава весь ее трудный и славный путь. В самые драматические часы Севастопольской обороны, 30 июня 1942 года, он остался старшим на КП Чапаевской дивизии и до конца выполнил свой долг.

А той ночью в Дальнике, после того как Петров и Гроссман обсудили практические вопросы огневой поддержки войск на завтра и отдали необходимые приказания, мы еще долго говорили об артиллерии и артиллеристах.

В боях последних дней сыграли важную роль и батареи береговой обороны. Когда 2 сентября враг пытался наступать к югу от города широким фронтом, дальнобойная батарея старшего лейтенанта И. К. Куколева (она стояла у Сухого лимана) в течение шести часов вела огонь по дорогам неприятельских тылов, по выдвигавшимся к фронту колоннам пехоты. Изо дня в день поддерживала чапаевцев и самая мощная из действующих одесских батарей — 411-я. В журнале боевых действий дивизии я нашел текст телефонограммы, переданной недавно ее командиру капитану И. Н. Никитенко: «Вашим огнем очень довольны. Объявляю благодарность всему личному составу. Командир дивизии генерал-майор Иван Петров». (Иван Ефимович любил подписываться так)

Гроссман рассказывал, как крепко врос в боевую семью чапаевцев подвижной артдивизион капитана И. Б. Яблонского. Эта артиллерия, приданная дивизии от военно-морской базы, тоже считалась береговой,

но, в сущности, была полевой: семидесятишести- и стодвадцатидвухмиллиметровые орудия на тракторной тяге, способные быстро менять огневые позиции. Использовались они в боевых порядках пехоты.

— В полках к ним привыкли, считают своими,— говорил Фрол Фалькович.— Сколько с их помощью отбито атак!.. Особенно в почете тридцать шестая батарея Дионисия Бойко.

Я знал, что почти весь личный состав батареи из запаса, большинство — коренные одесситы. Командир — лейтенант Бойко — был лектором обкома партии. Однако по выучке, по слаженности действий расчетов батареи не уступает кадровым. Много раз ей приходилось бить по наступающему противнику прямой наводкой. А недавно — теперь я услышал подробности этого боя — два расчета батареи, с которыми находился и командир, оказались отрезанными от своих и сутки просидели без пищи и воды. Но рубеж удержали и в конце концов заставили врага отступить — хорошо, что хватило снарядов!

— После этого лейтенант Дионисий Бойко сделался в дивизии почти такой же популярной личностью, как наш Владимир Поликарпович Симонок! — сказал участвовавший в беседе бригадный комиссар П. Г. Степанов, военком Чапаевской.

Младший лейтенант Симонок — командир минометной батареи, имя которого стало у чапаевцев символом смелости и боевой удачливости. Прославился он еще в начале Одесской обороны, причем отнюдь не только умелым использованием своего основного оружия. Его батарея попадала в трудные переделки — приходилось гранатами отбиваться от фашистских танков, вступать в рукопашные схватки с прорывающимися к огневой позиции вражескими солдатами. И из этих трудных переделок минометчики выходили с честью. Отважный командир увлекал бойцов в штыковые контратаки, первым полз с зажигательной бутылкой навстречу танку. Как и Бойко, Владимир Симонок пришел из запаса — недавно руководил колхозом на Черниговщине... Он отличился еще во многих боях и одним из первых в Приморской армии — вместе с комбатом Яковом Бреусом и группой летчиков 69-го авиаполка — был удостоен звания Героя Советского Союза.

Говоря об артиллеристах, вспоминали, конечно, и нашу главную полевую артиллерийскую силу — богдановский полк. В последнее время он часто переключался на поддержку войск в других секторах, но стоял полк тут, неподалеку, и чапаевцы знали, что в трудный час он всегда им поможет.

Военком дивизии спросил, слышал ли я, как с майором Богдановым познакомился пленный румынский солдат.

Рассказывали, что корректировщики 265-го артполка, захватив как-то пленного, доставили его на полковой КП. Пленный дал показания о больших потерях от огня нашей артиллерии и неожиданно добавил: «Особенно страшно, когда стреляет Богданов». Майор Богданов находился тут же. Когда пленному объяснили, кто это такой, солдат, как утверждали рассказчики, надолго лишился дара речи.

Не ручаюсь, что все это было именно так. Но о том, как был известен во вражеском лагере Богданов, свидетельствовало и то, что, по данным штабных разведчиков, за его голову была назначена награда в пятьдесят тысяч лей. Этот беспрецедентный в своем роде факт как бы перекликался с множеством описаний — зачастую просто панических — действия нашего артиллерийского огня, которые находили работники разведотдела при просмотре дневников и писем, обнаруженных на убитых солдатах и офицерах противника. Враг боялся нашей артиллерии, хотя своей у него под Одессой было гораздо больше и он не зависел от подвоза снарядов из-за моря, как мы.

В последнее время, особенно с тех пор, как стало не так напряженно в Восточном секторе, чапаевцев чаще, чем другие соединения, поддерживал наш истребительный авиаполк. Бывали дни, когда «ястребки» вылетали сюда на штурмовку до десяти раз за день. Нередко возглавлял группу истребителей и сам майор Шестаков.

По просьбе генерала Петрова начальник связи соединил его прямым телефоном с командным пунктом авиаполка. Иван Ефимович очень доволен этим — появилась возможность сообщить старшему вылетающей группы последние данные обстановки.

Петров очень заботится, чтобы все, кто поддерживает его полки с земли, с моря или с воздуха, знали, как важна их помощь бойцам на переднем крае. Пользуясь появившимся прямым проводом, он передает в авиаполк, как и на береговые батареи, короткие сердечные послания с выражением благодарности — летчики это ценят.

На штурмовки вражеской пехоты на поле боя и на подходе к фронту, а также огневых точек и других наземных целей приходится теперь в истребительном полку Шестакова примерно половина всех вылетов.

Но когда одни самолеты заняты штурмовкой, другим нужно прикрывать их от «мессершмиттов», которые в таких случаях быстро появляются над полем боя. На днях чапаевцы видели из окопов, как «ястребок» из группы прикрытия вступил в бой с четверкой «мессеров». Одного сумел сбить огнем, другого таранил: очевидно, летчик понимал, что от этой четверки ему все равно не оторваться — другие наши самолеты были связаны боем в стороне. Затем от подбитого «ястребка» отделился парашют. Радуюсь, что его относит к нашим позициям, бойцы выскакивали из траншей, бежали туда, где летчик должен был опуститься. Но опустился он уже мертвым — фашисты вели по парашютисту огонь.

Погибший на глазах у чапаевцев летчик оказался комиссаром эскадрильи старшим политруком Семеном Андреевичем Куницей — любимцем авиаполка. Немецкие самолеты, сбитые им в тот день, были пятым и шестым на его боевом счету. Чапаевцы торжественно похоронили летчика в расположении своей дивизии. Военный совет ООР по-смертно представил политработника-бойца к званию Героя Советского Союза.

Самоотверженные штурмовки летчиков помогали чапаевцам удерживать занимаемые позиции. Хорошо использовалась в Южном секторе и артиллерия. Однако та огневая сила, которая в большинстве случаев позволяла отражать вражеские атаки, не обеспечивала сейчас успеха даже самых скромных наступательных действий. Как ни обрабатывали артиллеристы клин у Ленинталя, срезать его не удавалось. Выходило, что орудия не всемогущи, если мало пехоты...

Что же еще сделать, пока мы не можем подкрепить левый фланг армии какими-то стрелковыми частями? Об этом я упорно спрашивал себя, внутренне не мирясь с тем, что все возможности как будто уже использованы.

Командованию сектора я мог сообщить пока лишь одно: в его распоряжение будет передан вступающий в строй новый бронепоезд. Завод имени Январского восстания обещал сдать его армии завтра-послезавтра.

Вторую неделю Одесса находилась под артиллерийским обстрелом. Вражеские снаряды долетали теперь уже до центра города. По телефону принимались такие донесения: «Разорвался снаряд вблизи оперного театра. Убиты две женщины и ребенок, ранено трое...»

Город притих. Резко сократилось движение на улицах. Только

южные и западные районы Одессы оставались недосягаемыми для вражеских батарей.

Больше всего снарядов ложилось вокруг порта и непосредственно на его территории. Стоя у причалов, получили повреждения эсминец «Шаумян», один тральщик, портовый буксир. Лишь по счастливой случайности обошлось пока без жертв при погрузке на транспорты раненых, при посадке эвакуируемых женщин и детей (2 сентября отплыли на Большую землю тысяча шестьсот восемьдесят воспитанников одесских детских домов).

Коллектив Одесского порта, возглавляемый его начальником П. М. Макаренко и военно-морским комендантом П. П. Романовым (кажется, они были друзьями, и это помогало делу), уже давно жил жизнью воинской части. В свое время в порту, как и на всех предприятиях города, многие записались в истребительные батальоны. Но портовиков на передовую не послали — для них стали фронтом знакомые одесские причалы.

С середины августа двести пятьдесят кадровых рабочих и инженерно-технических специалистов порта, среди них более ста коммунистов, находились на казарменном положении. Они работали, не считаясь ни с какими нормами. С некоторых пор срочные работы в порту не прекращались и во время налетов авиации, кроме особенно сильных. Команды разгружаемых судов все равно обязаны при всех условиях оставаться на борту. И грузчики, портовые механизаторы тоже не уходили в убежища, продолжая свое дело. Но и этим мужественным людям нелегко было привыкать к работе под орудийным огнем. Особенно когда выгружались боеприпасы...

Под непрекращающимся обстрелом шла разгрузка транспорта «Белосток». Потом к обстрелу прибавился и воздушный налет. Но никто из портовиков не покинул своего поста. Транспорт был обработан на сорок минут раньше установленного для разгрузки жесткого срока. Порт был прикрыт дымовыми завесами. Это старое средство маскировки, помогающее скрывать маневры кораблей в морском бою, использовали теперь — и довольно успешно, — чтобы не дать противнику корректировать откуда-либо огонь по причалам.

Решили также производить разгрузку транспортов и погрузку на них раненых по возможности в ночные часы. Конвойная служба военно-морской базы стала соответственно планировать приход и уход судов. Противник, однако, быстро это обнаружил и начал вести особенно интенсивный обстрел по ночам. Но этим он неожиданно помог нам.

Главная беда заключалась ведь в том, что мы не знали точно мест, откуда ведется обстрел. Природные условия по обе стороны Большого Аджалыкского лимана благоприятны для маскировки батарей, и нашим летчикам никак не удавалось их обнаружить. Николай Кирьякович Рыжи высказывал предположение, что у этих батарей, может быть, вообще нет постоянных позиций — огонь ведут «кочующие» орудия. А их подавлять еще труднее.

Но как бы там ни было, засечь вражескую батарею — впервые после того, как одну ненадолго привел к молчанию «Ташкент», — удалось именно ночью. Штурман стоявшего в гавани крейсера «Коминтерн» доложил в штаб базы о том, что он только что взял с мостика пеленг на вспышку орудийного выстрела, за которым последовал разрыв снаряда в порту. Начальник штаба К. И. Деревянко, имевший прямую связь с 1-м полком морской пехоты, сразу позвонил туда и попросил, чтобы постарались запеленговать одну из следующих вспышек. Это тоже удалось. Пересечение двух пеленгов, взятых из разных точек, обоз-

начило — конечно, весьма приблизительно — вероятное место стреляющей батареи или орудия. По предполагаемой позиции неприятельских орудий ударила через город 411-я тяжелая береговая батарея. После третьего ее залпа обстрел порта прекратился. Он возобновился лишь через два часа, причем уже с какой-то другой позиции: в прежнем месте вспышки больше не наблюдались. Вновь обнаружить и подавить батарею в ту ночь не удалось. Однако приобретенный опыт оказался полезным. Он убеждал: ни значительное расстояние до этих батарей, ни обилие всяких других вспышек и отсветов во фронтовой полосе не исключают возможности распознать, засечь то, что нам нужно.

Утром капитан 3-го ранга Деревянко информировал меня, что у него и начальника гидрографической службы базы капитан-лейтенанта Б. Д. Слободника возникла идея оборудовать на высоких зданиях в северной части города теодолитные посты с необходимыми приборами, телефоном и рациями.

Три таких поста были развернуты за один день. И оттуда начали довольно точно обнаруживать по вспышкам выстрелов позиции неприятельских орудий. Выделенные для их подавления береговые батареи из дивизиона майора А. М. Дененбурга немедленно получали координаты цели и открывали ответный огонь. Обычно хватало нескольких залпов, чтобы привести противника к молчанию. Правда, через некоторое время обстрел возобновлялся. Но все же в порту, да и в городе стало по ночам спокойнее. Однако враг вернулся к дневным обстрелам, пресекать которые было труднее. С тех же постов на высоких зданиях пытались определять позиции батарей по облачкам дыма в момент выстрелов, но удавалось это далеко не всегда.

Город и порт оставались под обстрелом. В Аркадии и на Большом Фонтане, курортной части Одессы, куда снаряды не долетали, спешно сооружались новые причалы. Однако они годились для швартовки судов не во всякую погоду. Да и вообще могли ли отдельные причалы с неудобными подъездными путями заменить порт?

Просмотрев как-то донесение о разрушениях и жертвах, принесенных городу вражеским обстрелом за истекшие сутки, Георгий Павлович Софронов сердито сказал:

— Забрать у них нужно весь этот район вместе с пушками, которые они там поставили! Другого тут ничего не придумаешь.

Командарм энергично обвел на карте участок по обе стороны Большого Аджалыкского лимана — за правым флангом нашего Восточного сектора.

У Софронова, кроме меня, был Н. К. Рыжи. Кажется, для нас обоих это прозвучало одинаково неожиданно. Такой выход из создавшегося положения, разумеется, был бы самым лучшим, что и говорить. Но речь шла о районе, который армия недавно оставила, не имея сил его удержать. А подкрепления, полученные с тех пор, едва восполняли потери. На что же рассчитывал командарм?

Вряд ли в тот момент Георгий Павлович мог знать о возможностях армии в недалеком будущем что-то существенное сверх известного нам. Однако в нем жила уверенность, что какие-то добавочные силы и средства мы все-таки получим. И мысль работала над тем, как использовать, где приложить эти силы...

Вспоминая потом оброненную Софроновым фразу, я понял, что он тогда уже думал о контрударе в восточном направлении, ставшем для нас в реальную плоскость примерно через две недели. Но до этого произошло еще немало событий, о которых следует рассказывать по порядку.

К ИСХОДУ ПЕРВОГО МЕСЯЦА

Истекал первый месяц Одесской обороны. Месяц почти невероятной — если взглянуть на нее вчерашними глазами — жизни большого города во вражеской осаде, под огнем.

Срок этот исчисляли тогда с введения осадного положения, приказ о котором вступил в силу 8 августа. Но уже с 6 сентября начались собрания и митинги, посвященные месяцу боев под стенами города. Они проходили на всех предприятиях, которые продолжали действовать, в кинотеатрах, где собирались жители прилегающих к ним улиц, в клубах. И на каждое собрание требовали представителя армии — командира или бойца.

Руководители городской партийной организации просили, чтобы представители приморцев по возможности подробнее знакомили население с тем, как идут бои на одесских оборонительных рубежах. На собрания посылали, конечно, таких бойцов и командиров, которым есть что сказать о собственных боевых делах. Но в какой-то мере каждый из них отчитывался перед жителями города за всю Приморскую армию.

Насколько задержали бои под Одессой фашистское наступление на Донбасс и Крым — это стало ясно позже. Но мы и тогда пытались дать отчет — прежде всего самим себе — в том, какой урон сумели нанести фашистским захватчикам, какие силы не пустили дальше на восток. В сентябре были все основания считать, что на подступах к Одессе разгромлено уже несколько неприятельских дивизий. Если некоторые из них и появлялись вновь перед нашим фронтом, то лишь потому, что неоднократно пополнялись.

Конечно, находясь в обороне, особенно трудно точно определять нанесенный врагу урон. Называя те или иные цифры, мы подчас ошибались. Однако, пожалуй, не так уж сильно. Об этом говорят трофейные документы, в которых подсчитал свои потери сам противник.

В боях за Одессу участвовало вместе с гвардейской и пограничной восемнадцать неприятельских пехотных дивизий (не все одновременно). К началу войны в каждой насчитывалось от тринадцати до четырнадцати тысяч солдат и офицеров. А общие потери (убитыми, ранеными, пленными), например, 6-й пехотной дивизии составили 20 132 человека, 14-й пехотной — 18 001, 13-й и 15-й — более чем по 16 тысяч в каждой. Из остальных лишь три дивизии потеряли меньше половины своего первоначального численного состава. Эти данные, как говорится в румынском документе, относятся к периоду «с начала войны до конца операции под Одессой». Но из этого итога неприятельских потерь, без сомнения, немало пришлось на первый месяц осады города.

Если мы считали тогда, что под стенами Одессы выведены из строя десятки тысяч врагов, это соответствовало действительности. И уже одиннадцать—двенадцать неприятельских дивизий были скованы боями на рубежах нашего плацдарма, отвлечены от остального фронта.

Похуже было на то, что и враг по-своему «отмечает» эти дни, очевидно, напоминаяшие ему о сорвавшихся планах и сроках. Мстя городу за свои неудачи, фашистское командование бросало на Одессу десятки бомбардировщиков. 7 сентября бомбы разрушили несколько жилых домов в центре и терапевтическую клинику, на следующий день — один из корпусов университета, часть здания вокзала и обувную фабрику. Поврежден был Дворец пионеров, возникло много пожаров. В порту аварийные команды героическими усилиями спасли получивший пробойны во время разгрузки транспорт «Ташкент» — «тезку» приходившего к нам лидера.

Но злобные и бессмысленные удары с воздуха по городским кварталам не могли сломить волю и мужество людей, в чей каждодневный быт уже вошли и артиллерийский обстрел, и карточки на воду, и дежурства у уличных баррикад. Массированные налеты не вызвали смятения, не остановили работы предприятий. На «Январке», в цеху, где превращали тракторы в танки, шло рабочее собрание. Наши товарищи, находившиеся там, рассказывали: когда начался налет, к выходу поспешили лишь бойцы МПВО — им надо было занять свои посты.

Девятого сентября — общегородской митинг. Выступали секретарь горкома партии Н. П. Гуревич, дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин, а затем рабочие, инженеры, домашние хозяйки. Все они были теперь не просто жителями Одессы, но и ее защитниками, и каждый говорил о том, что делает для обороны города его завод, цех, дом, подъезд. От имени трудящихся Одессы митинг принял письмо Центральному Комитету партии, где давалось слово защищать город до последней капли крови. Были приняты также обращения к ленинградцам и киевлянам, которых война поставила перед такими же суровыми испытаниями.

А в части приморцев приходили коллективные письма с одесских предприятий. Они были одновременно и приветствиями и наказаниями бить врага еще крепче. Подписи под этими посланиями стояли главным образом женские. И это еще раз напоминало бойцам, кто изготавливает для них минометы и гранаты, печет хлеб, кто возводит вместе с солдатами стройбатов новые линии укреплений и тушит в городе фашистские «зажигалки». Из пятидесяти тысяч человек, трудившихся на предприятиях Одессы в сентябре, более трети составляли вчерашние домохозяйки, студентки, школьницы, пришедшие в цеха за время обороны. Тысячи женщин изо дня в день выходили на строительство оборонительных рубежей, дежурили в командах МПВО.

Немало одесских женщин и девушек было и непосредственно на фронте. Причем не только в качестве медицинских сестер. В истребительных батальонах, которые еще в августе выходили на передовую, а затем вливались в регулярные войска, были и девушки-бойцы. Имена некоторых из них теперь знали — прежде всего благодаря нашей армейской газете «За Родину» — едва ли не все приморцы.

Кто в нашей армии не слышал, например, про Нину Онилову? Впрочем, иногда ее называли не Ниной, а Анкой. Комсомолка с одесской трикотажной фабрики Онилова попала в Чапаевскую дивизию, была там сперва медсестрой, а потом, освоив пулемет, добилась, что ей доверили это оружие. Тогда она и стала для своих боевых товарищей новой «Анкой-пулеметчицей»: так звали бесстрашную девушку, знакомую всем по фильму «Чапаев».

Новая «Анка-пулеметчица» не раз изумляла своим бесстрашием даже видавших виды бойцов. Воевала она и в экипаже одного из одесских танков «НИ». Нина Онилова истребила сотни врагов, потом была ранена и эвакуирована в тыл. А в Севастополе вернулась в Приморскую армию, в тот же Разинский полк.

В сентябре уже знали на одесских рубежах и Людмилу Павличенко. Выпускница Киевского университета, историк по специальности, она стала одним из лучших снайперов нашей армии. Счет уничтоженных ею вражеских солдат и офицеров дошел за время Одесской обороны до внушительной цифры — 187 — и продолжал потом расти под Севастополем.

И Нина Онилова и Людмила Павличенко были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, и их боевые дела теперь широко известны. Но одесское ополчение, вливавшееся в части армии или сражавшееся плечом к плечу с ними, дало еще множество других не-

устрашимых бойцов — и мужчин и женщин. Среди них есть люди, о чьих подвигах знают пока немногие, и кому-то еще предстоит о них рассказать.

Несколько лет назад, когда в Одессе собирались ветераны обороны, секретарь обкома ЛКСМУ тех дней Н. Оленович рассказала в своем выступлении, как дралась с врагом группа молодых патриотов, мобилизованных на фронт комсомолом.

Среди них были грузчики морского порта Николай Капустянский, Иван Полозов и Тихон Коляда, парикмахер Александр Песецкий, рабочий табачной фабрики Николай Дорохов, Семен Трунов с канатного завода, модистка из ателье Нина Воскобойник... Они отбили на своем участке шестнадцать вражеских атак, теряя каждый раз кого-нибудь из товарищей. В конце концов в окопе остались в живых двое — рабочий Лев Руднев и модистка Воскобойник. У них кончились патроны, оставалось лишь несколько гранат. Руднев собрал комсомольские билеты погибших, присоединил к ним свой и, как старший, приказал девушке: «Ползи к нашим и скажи, что мы честно сражались до последнего вздоха». Сам он встретил последними гранатами приближавшийся фашистский танк. Мне кажется, один такой эпизод способен дать представление о том, как защищали свой город вчерашние его мирные жители, какая атмосфера героической самоотверженности царила на одесских рубежах.

О подвигах народных добровольцев я говорю сейчас не потому, что они сражались лучше кадровых солдат. Подвиги, совершавшиеся под Одессой красноармейцами и краснофлотцами, поистине неисчислимы, и я старался, как мог, рассказать, что значили они на нашем участке фронта. Но солдата подготавливает к проявлению мужества вся армейская служба, его доблесть в бою — это честно выполненный воинский долг. А когда на такую же боевую доблесть способны люди, недавно еще и не думавшие, что им придется драться с врагом, это говорит о еще большем, в конечном счете — о том, что народ, богатый такими людьми, никому и никогда не одолеть.

Захваченные тревогами и заботами дня, отрезанные от Большой земли, мы подчас не успевали осознавать, как само имя Одессы становится для страны символом стойкости и непреклонности в борьбе с врагом. Помню, как, услышав по радио передовую «Правды», я был взволнован содержащимися в ней словами о том, что среди бесчисленных подвигов, уже совершенных нашими людьми в Отечественной войне, оборона Одессы, так же как Ленинграда и Киева, — это изумительное проявление массового героизма.

В те дни Одесса узнавала, что за ее борьбой следят и в других концах земли. Пришла и была опубликована в местной печати телеграмма, принятая на рабочем митинге в английском городе Бристоле. «Мы с вами в этой замечательной борьбе против общего врага, — говорилось в ней, — ибо знаем, что счастье, прогресс и прочный мир для всего человечества могут быть достигнуты только после уничтожения фашизма». Прислал приветствие защитникам Одессы гарнизон Тобрука — крепости, осажденной фашистами в далекой Африке.

А колхозники Ставрополя (тогда Орджоникидзеvский край) сообщали, что отправляют в подарок Одессе через Новороссийский порт первую тысячу тонн картофеля нового урожая. Высылали свои подарки городу и хлеборобы Дона. Московское радио транслировало одесские передачи. Большая советская земля давала чувствовать защитникам осажденного города, что вся она — с нами.

В это время из Севастополя поступила к нам довольно значительная партия оружия: пять тысяч винтовок, полтораста станковых и две-

сти ручных пулеметов, триста автоматов, сто двадцать минометов крупного калибра с тремя боекомплектами мин.

Получив приказ доставить это вооружение из Крыма в Одессу, флот выполнил его с наивозможной быстротой. Прибытие кораблей было спланировано ночью, и принимались все возможные меры, чтобы уберечь их от огня вражеской артиллерии.

К этому времени общее число дальнобойных орудий, обстреливавших город и порт из окрестностей Большого Аджалыкского лимана, увеличилось, по подсчетам наших артиллеристов, до тридцати шести — тридцати восьми, и приводить их к молчанию, хотя бы на короткое время, становилось все труднее.

Теперь же дело осложнялось тем, что корабли задержались на переходе из-за какой-то неисправности и подошли к Одессе ранним утром, когда уже рассвело. Лидер «Харьков» и эсминец «Держинский» шли противартиллерийским зигзагом, прикрываясь дымовыми завесами, но дым относилось ветром.

Противник сосредоточил на фарватере, ведущем в порт, огонь по меньшей мере грех батарей. Корабли прорывались на большом ходу. «Харьков» получил много мелких осколочных пробоин в надстройках, имел несколько раненых в палубной команде. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, прибывший на этом корабле, мог, еще не сойдя на берег, получить представление об одесской обстановке. Контр-адмирал Г. В. Жуков и члены Военного совета ООР встретили командующего флотом на причале.

Напряженными были и последующие часы. Береговым батареям и кораблям никак не удавалось подавить орудия, обстреливающие порт. На причалах, окутанных дымовыми завесами, шла спешная выгрузка боеприпасов и оружия прямо в кузова машин. Заранее сосредоточенные в районе порта, они подавались к борту кораблей и быстро выезжали с грузом из зоны обстрела.

В общем, все обошлось благополучно. Драгоценный груз с Большой земли был получен приморцами сполна.

Оружие и боеприпасы (снаряды прибывали на морских транспортах и следующей ночью) пришли вовремя. Мы не придавали слишком большого значения тому, что бухарестское радио в открытую возвещало о намерении взять Одессу к 10 сентября. Но было много признаков подготовки противником нового сильного натиска на наши позиции, причем, возможно, с разных направлений одновременно. Воздушная разведка обнаруживала подтягивание резервов и к Карсталю, и к району Выгоды. Вновь беспокойно было в Восточном секторе, где 4—5 сентября дивизия Г. М. Коченова отбила еще одну попытку прорвать наш фронт.

В сложившейся обстановке особенно серьезную опасность представлял неприятельский клин на нашем левом фланге, у Ленинталя (совхоз «Авангард»). Вечером 9 сентября генерал-майору Петрову было от имени командарма передано, что необходимо срезать этот клин в течение следующего дня, используя все имеющиеся силы и средства. Одновременно войскам Восточного и Западного секторов ставилась задача улучшить на отдельных участках свои позиции, овладеть некоторыми высотами. Расчет был на то, чтобы этими активными действиями в какой-то мере упредить удары противника.

В ночь на 10 сентября продолжался методический обстрел города, немецкие самолеты сбросили на Одессу около тридцати фугасных бомб. Однако атак против наших позиций, как в прошлые ночи, враг не предпринимал, и на несколько часов на фронте установилось затишье.

Утром бои возобновились. Кое-где наступательные действия оказа-

лись встречными, на ряде участков инициатива была полностью в наших руках. Левофланговые батальоны дивизии Коченова продвинулись вперед между Куяльницким и Хаджибейским лиманами. Выравнивала свой фронт, выбивая вклинившегося местами противника, дивизия Воробьева. Но из Южного сектора утешительных известий не поступало: новые попытки чапаевцев ликвидировать выступ в районе Ленинталя успеха не имели. У противника появилась здесь еще одна дивизия — 10-я пехотная, которую он, по-видимому, вводил все в тот же клин, готовясь расширять прорыв.

Все это было подготовкой к наступлению крупными силами, которого мы ждали. Началось оно 12 сентября. Удар наносился и с южного направления, и с западного.

Как же встретила его Приморская армия?

Как уже говорилось, с 30 августа по 2 сентября в Одесском порту высадилось десять маршевых батальонов — десять тысяч бойцов. За неделю с 5 по 12 сентября мы получили еще пятнадцать батальонов.

По соединением люди распределялись с учетом понесенных там потерь: надо было обеспечить, чтобы батальоны сохраняли возможность решать задачи, свойственные именно батальонам, полки — свойственные полкам. Двадцать пять тысяч новых красноармейцев, влившихся в Приморскую армию, позволили на некоторое время приблизить состав основных боевых частей к нормам и даже создать небольшие резервы. Но на то, чтобы сформировать недостававший в 421-й дивизии стрелковый полк, людей уже не хватило. И общая численность войск, обороняющих одесские рубежи, отнюдь не увеличилась по сравнению с тем, что мы имели месяц назад: с тех пор армия потеряла более двадцати тысяч человек только ранеными.

В первых маршевых батальонах бойцы были, что называется, отборные (недаром ими так восхищался генерал Воробьев). Но посылать в Одессу только таких красноармейцев Большая земля, очевидно, не могла: пополнение требовалось не одним нам. В следующих эшелонах стали попадать люди, совсем не обученные военному делу. И чем дальше, тем больше обнаруживалось таких.

Штаб армии не имел, разумеется, возможности предварительно проверять подготовленность пополнения. Ко времени прибытия транспортов в порт туда вызывали представителей частей, которые тут же принимали выделенные им контингенты, сажали солдат на машины или вели их к фронту в пешем строю. Обычно в тот же день новые бойцы попадали на передовую.

И вдруг стали поступать тревожные сигналы. Капитан Ковтун-Станкевич доложил командиру дивизии, а тот сообщил в штаб, что в полку оказались люди, никогда не державшие в руках винтовки. О том же докладывал в политотдел армии начальник политотдела Чапаевской дивизии Н. А. Бердовский. Так возникла новая проблема. Посылать в бой людей, не прошедших элементарного военного обучения, бессмысленно. Нетрудно представить настроение бойцов, которые оказались в окопе на переднем крае, не умея стрелять. Да и можно ли было всерьез считать их бойцами?

Возвращать из соединений необученных запасников все-таки не стали. Тем более что никакого учебного центра армия не имела. Поручили командирам дивизий и полков организовать занятия с ними в своих тылах. На будущее же узаконили такой порядок. Приняв в порту пополнение, представители частей обязаны немедленно выяснять путем опроса, кто из красноармейцев не знает винтовки, никогда из нее не стрелял, кто никогда не держал в руках гранату. Таких солдат строили от-

дельно, и по пути к фронту они проходили «школу на марше» — так окрестил кто-то нехитрую систему обучения, подсказанную обстановкой.

В заранее намеченных пунктах, на подходящей местности устраивались привалы. Привалы не для отдыха — для занятий. Встречать пополнение посылали теперь сержантов или старослужащих красноармейцев, способных доходчиво преподать новичкам основы военной грамоты. Они и становились на этих привалах учителями своих новых товарищей.

Учили самому необходимому — как держать винтовку, как заряжать, как целиться и производить выстрел. Все это — чисто практически, с боевой стрельбой по установленным целям. Каждый получал также возможность метнуть не только учебную, но и боевую гранату (это оружие, изготовлявшееся в Одессе, имелось в достатке).

Три-четыре учебных привала — вот и вся школа. Но прошедшие ее люди имели уже большее право называться солдатами, чем несколько часов назад. Они не вздрагивали от звука собственного выстрела, не страшились взять в руки гранату. А главное — начинали верить, что сумеют быстро перенять у товарищей то, чего еще не знали. Конечно, распределять этих красноармейцев по взводам, по отделениям требовалось продуманно: так, чтобы рядом оказались бывалые бойцы.

Еще раньше возникла необходимость организовать учебу новых командных кадров. Для замены выбывавших из строя командиров взводов, рот, батальонов мы взяли всех, кто для этого годился, из армейских тылов, из начсостава хозяйственных подразделений. Смело выдвигали на должности среднего комсостава опытных сержантов и отличившихся красноармейцев вроде пограничника Афанасьева. Многим из них звание младшего лейтенанта присваивалось по представлениям частей, где говорилось, что они уже фактически командуют взводами. Их командирской школой было поле боя.

Но других кандидатов на выдвижение все-таки следовало хоть немножко подучить в более спокойной обстановке. И пришлось вспомнить, что у нас в штабе как-никак существует отдел боевой подготовки, хотя его работники давно уже использовались в основном как офицеры связи. Отделу поручили создать предельно краткосрочные курсы младших лейтенантов. В сентябре курсы уже работали полным ходом. Выпуски производились каждые десять дней. Они дали частям более трехсот новых командиров взводов. А всего в Одессе было произведено в младшие лейтенанты около семисот сержантов, красноармейцев и краснофлотцев. Разумеется, они во многом уступали лейтенантам, прошедшим нормальную подготовку. Но к службе относились ревностно, воевали самоотверженно и, за единичными исключениями, справлялись со своими обязанностями.

Таково было состояние Приморской армии перед новым решительным наступлением врага на Одессу.

Еще 3 сентября Военный совет ООР счел необходимым довести до сведения Верховного Главнокомандования, что маршевые батальоны лишь восполняют боевые потери частей, что нехватка техники и людей, особенно командного состава, снизила боеспособность войск и они не в состоянии отеснить противника из районов, откуда обстреливается город. Чтобы отбросить врага назад и держать Одессу вне обстрела, говорилось в телеграмме, посланной в Ставку, нужна дополнительно хорошо вооруженная дивизия. Как нам было известно, просьбу об усилении Одесского оборонительного района новой дивизией поддерживал перед Ставкой Военный совет Черноморского флота.

В тот день, когда в Одессе находился вице-адмирал Ф. С. Октябрьский (он ушел на «Харькове» обратно в Севастополь следующей ночью), состояние обороны обсуждалось на заседании Военного совета

ООР с его участием. Мы узнали тогда одну новость: моряки получили от своего наркома задание разработать операцию по высадке десанта в районе Большого Аджалыкского лимана, с тем чтобы улучшить положение в Восточном секторе. Для этого флот готовил специальную часть морской пехоты, которая должна была затем влиться в Приморскую армию. Задуманная операция держалась в строгом секрете, и информация, данная о ней руководящему составу Одесской обороны, была весьма ограниченной. Сроки пока не назывались, но представители армии, однако, высказали мнение, что десант оправдал бы себя, очевидно, лишь в сочетании с наступлением со стороны нашего плацдарма. А для этого опять-таки требовались дополнительные силы, которых пока не было. Высказывалось и такое соображение: не целесообразнее ли просто перебросить в Одессу предназначенную для десанта часть — полк или морскую бригаду? Но моряки считали, что следует высадить десант. Это был первый десант на Черном море, и, очевидно, командованию флота требовалось на этой операции многое проверить.

Двенадцатого сентября в журнале боевых действий армии появилась запись: «4.30. Противник после сильной артподготовки перешел в наступление в полосе обороны 25 сд».

Используя выпятившийся на линии фронта выступ, срезать который у нас не хватило сил, враг наносил оттуда основной удар в направлении Дальника. Но упорные бои развернулись на всем левом фланге армии. А вслед затем также и севернее — на центральном участке обороны.

Неприятельское командование, вероятно, сделало все, что могло, чтобы на этот раз обеспечить себе решающий успех. Только против нашего Южного сектора были сосредоточены пять румынских пехотных дивизий (часть — во втором эшелоне) и кавалерийский полк. Имелись сведения, что тут есть и немецкие батальоны. Плотность артиллерии доходила на некоторых участках до восьмидесяти орудий на километр фронта.

В предшествовавших наступлению приказах (нам они стали известны позже) Антонеску требовал от 4-й армии реализовать наконец свое численное превосходство над защитниками Одессы. Фашистский правитель выражался довольно откровенно: «Разве не постыдно, что наше войско, в четыре-пять раз превосходящее числом и снаряжением противника, столько времени топчется на месте?»

Чапаевцы и их соседи по Южному сектору, полки кавалерийской дивизии, оборонялись стойко. Их поддерживали черноморские бомбардировщики и наши «ястребки», богдановский арtpолк, береговые батареи, два бронепоезда. С моря вел огонь пришедший накануне в Одессу крейсер «Красный Кавказ».

В первые часы наступления противнику удалось потеснить правый фланг 287-го стрелкового полка. Но массированный огонь нашей артиллерии и контратаки позволили полку вернуться к исходу дня на прежний рубеж. Полностью удержал свои позиции 7-й кавалерийский полк. Двум другим полкам Южного сектора пришлось немного отойти.

День был очень гяжелым и для города: как и во время прошлых наступлений, натиск на фронте сопровождался усиленными налетами авиации на Одессу. Истребители и зенитчики сбили четыре фашистских бомбардировщика, но многим удалось прорваться к центру.

В суточной сводке о жертвах среди гражданского населения появились такие цифры, каких еще не было ни разу: убито — 129, ранено — 162 человека... Эти сведения обычно не вносились в журнал боевых действий армии, но данные за тот день старший лейтенант Садовников записал рядом со сведениями о потерях сражающихся частей.

Еще во время первого налета, рано утром, стали поступать донесения о том, что отдельные самолеты сбрасывают на парашютах мины. Одна взорвалась на кладбище, другая — на улице. Они образовывали огромные воронки и производили разрушения в радиусе до двухсот метров. На сушу, однако, попало немного мин — остальные опускались на парашютах в море. Это означало новые опасности для проходящих в Одессу кораблей. Но в то же время могло расцениваться как признание противником его просчетов: до сих пор гитлеровцы мин у Одессы не сбрасывали — должно быть, рассчитывали, что порт быстро окажется в их руках.

Наступление продолжалось 13 сентября и в последующие дни. Все усилия приморцев направлялись на то, чтобы держаться на каждом рубеже до последней возможности.

Но удержать наличными силами весь фронт Южного сектора при таком нажиме армия не могла. Если еще удавалось прикрывать Дальник и шоссе, которое вело прямо к Одессе, то южнее противник медленно, но неуклонно продвигался вперед, вгрызаясь в нашу оборону. Над левофланговым 31-м полком Чапаевской дивизии нависала реальная опасность окружения. Осложнилась обстановка и в Западном секторе — враг потеснил там два полка дивизии Воробьева. 14 сентября командарм отдал приказ об отходе левофланговых частей Южного сектора на рубеж Сухого лимана. Военный совет ООР единодушно пришел к выводу, что это представляет единственную возможность удержать и укрепить фронт на южном направлении, не допустить здесь прорыва главного рубежа обороны.

Полоса Чапаевской дивизии значительно сокращалась. Появилась возможность уплотнить боевые порядки, направить на решающие участки больше артиллерийского огня. Полк Мухамедьярова выводился в армейский резерв, крайне нам необходимый. Но в оперативном отношении преимущества получал при этом противник. Береговая линия нашего плацдарма сокращалась до тридцати километров, что чрезвычайно ограничивало возможность маневрирования наших кораблей на подступах к Одессе и практически исключало возможность входа судов в порт в дневное время.

Другое не менее тяжелое последствие отхода левого крыла армии состояло в том, что после этого враг мог начать артиллерийский обстрел города и с южной стороны. И наконец сам факт значительного приближения фронта к городу еще на одном участке таил в себе опасность всяких неожиданностей и внезапных осложнений. Напомню, что Сухой лиман — это район нынешнего Ильичевска, нового морского порта, ставшего практически составной частью Одессы.

В тот же день, 14 сентября, Военный совет ООР послал телеграммы одинакового содержания Верховному Главнокомандующему, наркому Военно-Морского Флота и Военному совету Черноморского флота. В них докладывалось о создавшемся под Одессой положении и о том, что противник подводит к городу новые дивизии. Заканчивались эти телеграммы так: «Для обеспечения устойчивости фронта необходима одна стрелковая дивизия, а также дальнейшее пополнение маршевыми батальонами».

Руководители Одесской обороны отдавали себе отчет в том, что общая обстановка на Юге не улучшилась с тех пор, когда нам отказали выделить дивизию. И все же Военный совет не мог не повторить свою просьбу еще раз.

Слишком велика была опасность, что без свежих боевых сил не устоим: наш фронт, напряженный, как натянутая до предела струна, и проходящий местами всего в десяти—пятнадцати километрах от города, мог не выдержать очередного натиска врага.

ВЫСТОЯТЬ!

Ответ из Москвы пришел меньше чем через сутки. Вызвав меня по внутреннему телефону, Гавриил Данилович Шишенин протянул бланк с короткой телеграммой, которую только что передал ему контр-адмирал Жуков.

Депеша, адресованная командованию оборонительного района, гласила: «Передайте просьбу Ставки Верховного Командования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6—7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения. И. Сталин».

Мы не раз получали от старших начальников телеграфные приказы, в которых вновь и вновь повторялось требование: «Ни шагу назад». Но такой телеграммы я еще не видел. Должен сказать, что и в дальнейшем ходе войны к войскам, в которых я служил, Верховное Главнокомандование никогда не обращалось в такой форме.

Ставка ничего не приказывала. Ставка просила защитников Одессы продержаться еще неделю, обещая прислать за это время помощь. Одна фраза, уместившаяся на небольшом бланке, сказала и о том, насколько представляют в Москве всю тяжесть обстановки на нашем плацдарме, и о том, насколько важно, чтобы мы здесь выстояли.

Через несколько часов после получения этой телеграммы стало известно, что обещанная подмога, вероятно, начнет прибывать раньше указанных сроков. Черноморский флот получил от Ставки приказание перебросить в Одессу из Новороссийска 157-ю стрелковую дивизию. Для этого туда стягивались из других портов самые быстроходные транспорты — бывшие пассажирские лайнеры. Для перевозки дивизии разрешилось использовать и боевые корабли.

Моряков торопил нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов. Как вскоре выяснилось, он считал недопустимым оставлять территорию за Сухим лиманом (главным образом из-за оперативных баз морской авиации, которых она лишалась под Одессой) и надеялся, что быстрая переброска дивизии и новых маршевых батальонов позволит нам там удержаться.

Но телеграмма наркома Военному совету флота, где излагались эти соображения, встретилась там с нашим донесением о том, что территория за Сухим лиманом уже оставлена Приморской армией. Резервов для контратак не было, и враг все равно вытеснил бы нас оттуда, и, вероятно, с серьезными потерями.

Шестнадцатого сентября первый эшелон 157-й дивизии уже грузился в Новороссийске на суда. Помощь была близка. Но события на нашем плацдарме принимали такой грозный характер, что порой закрадывалась тревожная мысль: как бы эта помощь не опоздала.

Противник занял на нашем левом фланге западный берег Сухого лимана (дамбу, соединявшую его берега у моря, мы взорвали), а главный удар наносил тремя пехотными дивизиями и группами танков в общем направлении Вакаржаны — Дальник. Войска Южного и Западного секторов отбивали этот удар общими силами.

Хорошо еще, что у артиллерии были снаряды! Мы теперь часто опасались, что очередная их партия не дойдет до батарей, даже когда транспорт, прибывший из Крыма, уже стоял в порту. Недавно потребовалось спланировать целый комбинированный удар ради того, чтобы обеспечить разгрузку одного судна: трем кораблям, двум береговым батареям и группе самолетов ставилась задача хотя бы на короткое время привести к молчанию вражеские дальнобойные орудия, обстреливающие порт. И удалась это лишь частично.

Но раз снаряды были, гибко управляемая артиллерия показывала свою силу. Однако, несмотря на сокращение фронта в Южном секторе, остро ощущалась нехватка людей в окопах, в пехоте. За первые дни большого сентябрьского наступления противник успел нанести армии значительные потери. В батальонах 90-го стрелкового полка майора Блюги оставалось по пятьдесят—шестьдесят штыков. Почти такое же положение создалось в 287-м стрелковом, только недавно пополненном.

На восточном направлении враг несколько поутих (на отдельных участках между лиманами он, как докладывал полковник Коченов, ставил проволочные заграждения). Пользуясь этим, мы вслед за кавполком Блинова взяли оттуда на усиление Западного и Южного секторов некоторые подразделения 421-й дивизии. Но этим было не обойтись. И хотя Военный совет ООР уже приходил к заключению, что возможности пополнения армии за счет населения Одессы исчерпаны, приходилось вновь искать резервы и в городе.

Областной военком получил указание мобилизовать всех трудоспособных мужчин в возрасте до шестидесяти лет. На фронт шли подразделения милиции, пожарники, зачислялись в регулярные войска те бойцы истребительных батальонов, которые до сих пор совмещали дежурства у городских баррикад с работой на производстве, в учреждениях. Настало время, когда Одесса посылала на оборонительные рубежи практически всех граждан, способных носить оружие. И многие из них отдавали за свой город жизнь.

В записях Василия Фроловича Воробьева, относящихся к этим дням, я нашел такие строки: «...Сообщили, что убит комиссар резерва, введенного в бой на участке 161 сп, тов. Власов. В последний раз я его видел, когда он представлял мне роты своего батальона. Широкоплечий, настоящий пролетарий... Пуля пробила каску. Перед боем сказал красноармейцу: «Если меня убьют, возьми мой партийный билет...»

Вспоминая тот период обороны, я ловлю себя на мысли, что героическое воспринималось уже как совершенно естественное, почти обыденное. А границы возможного и невозможного просто переставали соответствовать прежним представлениям.

Однажды поздно вечером я выяснял, каковы реальные боевые ресурсы истребительного авиаполка, на что можно рассчитывать завтра утром. Доклад, полученный с КП полка, гласил: самолетов, готовых к вылету, пять, остальные имеют повреждения и требуют ремонта. Я знал, что ремонт будет идти и ночью — технический состав, возглавляемый инженером полка Н. Я. Кобельковым, не уходил с аэродрома сутками. Сколько-то машин техники за ночь вернут в строй. Но сколько? Еще пять?..

Утром майор Шестаков доложил, что к выполнению боевых заданий готовы двадцать три самолета. Конечно, я очень обрадовался, но, кажется, не особенно удивился, принял, в общем-то, как должное. Журнал боевых действий армии свидетельствует, что на эти двадцать три машины пришлось в тот день сто четыре вылета и они оказали частям большую помощь в отражении вражеских атак.

А ведь речь идет о самолетах, материальная часть которых считалась бы раньше вообще непригодной к дальнейшей эксплуатации не только из-за боевых повреждений, но и потому, что на большинстве машин давно были выработаны моторесурсы.

Да, если бы было у нас побольше даже таких самолетов!.. Появление их над полем боя, штурмовки неприятельской пехоты с бреющего полета нередко производили такой эффект, что в телефонные доклады с наблюдательных пунктов врывались «неделовые» фразы: «Пехота кричит «ура»! Из окопов кидают в воздух каски!» После удачной штурмов-

ки противник, как правило, долго не мог начать на том участке новую атаку.

Если же летчики попадали в беду, пехотинцы самоотверженно шли им на выручку. В сентябре так случилось с одним флотским бомбардировщиком. Едва дотянув до ничейной полосы, он приземлился ближе к переднему краю противника, чем к нашему. Три члена экипажа — все раненые — с трудом выбрались из машины. Из неприятельских траншей поползла к ним группа вражеских солдат. Но путь им преградила завеса разрывов — открыла огонь наша минометная батарея. А солдаты уже бежали по полю выручать летчиков. Экипаж бомбардировщика был спасен. Это произошло на участке 31-го стрелкового полка, в батальоне капитана Петраша — смелого командира, не раз отличавшегося при отражении танковых атак.

В другой раз на ничейной полосе оказался подбитый «ястребок» нашего одесского полка. Тогда удалось спасти не только летчика, но и самолет. Бойцы ради этого ходили в атаку. А авиационные техники залечили раны самолета, и он снова поднялся в воздух. Летчик, спасенный в тот раз, лейтенант А. В. Алелюхин, стал впоследствии одним из известных советских асов, дважды Героем Советского Союза.

Пожалуй, не меньше, чем штурмовки авиации, воодушевляло пехоту появление на поле боя наших танков. В сентябре Приморская армия имела уже отдельный танковый батальон старшего лейтенанта Юдина. Все танки в батальоне были либо восстановленные, либо переделанные из тракторов, а танкисты в основном доморожденные. Но батальон показал себя реальной боевой силой. Там, куда посылались несколько танков, бойцы увереннее шли в контратаки.

Мы не предпринимали больше таких контратак, как в конце августа в Восточном секторе, когда надо было во что бы то ни стало остановить 13-ю и 15-ю дивизии противника, зашедшие слишком далеко, и навстречу наступающему врагу поднимались со штыками наперевес целые полки. Сейчас для крупных контратак просто не было сил. А атаки небольшими подразделениями часто не достигали цели, не оправдывали связанных с ними потерь, и прибегать к ним следовало очень осмотрительно, расчетливо.

Но без контратак было не обойтись там, где противнику удавалось — обычно в стыке каких-нибудь подразделений — вклиниться в нашу оборону. Теперь, когда и на левом фланге передний край находился примерно в десяти километрах от города, да и на центральном участке отстоял лишь немногим дальше, любые клинья стали особенно опасными.

Однако, требуя ликвидировать образовавшийся где-то вражеский клин, приходилось строже, чем когда-либо прежде, отдавать себе отчет, есть ли там у нас для этого достаточные силы. И командарм и я уже хорошо знали, что, например, генерал Воробьев никогда не сгущает красок в своих докладах, не просит помощи без крайней необходимости. И если уж Василий Фролович сказал: «Думаю справиться, но вполне не уверен» — значит, надо высылать подкрепление, если только оно есть.

Так было, когда в боевые порядки 95-й дивизии вклинился неприятельский полк и возникла опасность прорыва его к пригородному селу Нерубайскому. Воробьев доложил: чтобы восстановить положение, он намерен нанести удар во фланг вклинившемуся полку и формирует сводный отряд, снимая часть бойцов с разных участков фронта, — резервов дивизия опять не имела.

— Надо помочь Фроловичу, — решил Софронов. — Иначе будут только напрасные потери. Что мы можем туда подбросить?

Выслали на машинах подразделение милиции. Его включили в сводный отряд, куда вошел также разведывательный батальон дивизии. От-

ряд возглавил начальник штаба дивизии Р. Т. Прасолов. Атаковать вражеский полк (это был 4-й полк 3-й румынской пехотной дивизии) удалось не только с фланга, но и с тыла. Нашу пехоту самоотверженно поддерживали артиллеристы. Расчеты одной из батарей 57-го арtpолка выкатили орудия вперед и вели огонь прямой наводкой. Один батальон противника был окружен и в основном уничтожен, два отброшены назад. В числе взятых трофеев оказалось много пулеметов.

С середины сентября начался артиллерийский обстрел Одессы с юга, из-за Сухого лимана. Правда, он был не таким, как из района северных лиманов,— велся наугад, без корректировки. Однако снаряды залетали теперь и к запасным причалам на Большом Фонтане, и в те кварталы города, которые были недостижимы для вражеских батарей, стоявших у Дофиновки и Александровки.

Но и это не парализовало жизни города. Почти без перебоев действовал транспорт. Продолжали работать кинотеатры, магазины, и не только продовольственные. В газете «Большевицкое знамя» появлялись объявления горпротторга о том, что имеется в продаже большей ассортимент готового платья, галантереи, культуртоваров. Такие объявления обычно не запоминаются. Но в городе, где существовали карточки на воду, а на улицах рвались снаряды, они приобретали особый смысл. Одесса показывала и этим, что она не сломлена, не падает духом.

Четырнадцатого сентября — в тот самый день, когда был отдан приказ об отводе войск из-за Сухого лимана,— городские газеты напечатали беседу с заведующим городским отделом народного образования: он рассказывал, как подготовились школы к начинавшемуся на следующий день учебному году. И занятия действительно начались. В Одессе оставалось не очень много детей, но все они были распределены по школам. Для занятий отводились здания, стены которых могли защитить ребят от снарядов. Младшие классы собирались небольшими группами в квартирах наиболее надежных зданий с таким расчетом, чтобы всем ребятам было близко от дома. А две тысячи школьников, семьи которых переселились в катакомбы, приступили к занятиям там. Школьных педагогов, ушедших в армию или ополчение, заменили пожилые преподаватели университета и других высших учебных заведений.

Усиление артиллерийского обстрела создавало новые проблемы. Стало больше пожаров, для тушения их требовалась вода. Взять ее можно было только из моря. В разных местах ставили новые насосные установки, которые накачивали воду в пожарные бассейны.

Под вражеским огнем оказались и аэродромы наших истребителей. Там заранее построили капониры для укрытия самолетов, блиндажи для личного состава. Но этих мер оказалось недостаточно. Противник пристралялся к аэродромам, и самолеты стали подпадать под обстрел при взлете и посадке. Нес потери встречавший и провожавший их наземный персонал.

Словом, нужен был другой аэродром. Но оставалось ли в Одессе, обстреливаемой с двух сторон, пригодное для него место? Виктор Петрович Катров однажды заявил, что место, более или менее подходящее, нашли сами авиаторы. Это был продолговатый пустырь среди обезлюдивших дач в Чубаевке — в районе 4-й станции Большого Фонтана (там, где теперь начинается бульвар Патриса Лумумбы).

Оборудование взлетно-посадочной полосы, даже если она небольшая,— дело трудоемкое, и быстро превратить пустырь в аэродром можно было лишь с помощью жителей города. Командующий ООР Г. В. Жуков пригласил к себе секретаря горкома партии Н. П. Гуревича и пред-

седателя горисполкома Б. П. Давиденко, объяснил им, насколько срочная эта задача, и попросил обеспечить строительство рабочей силой.

Найти в Одессе трудоспособных людей, не занятых чем-то необходимым для обороны, было в то время не просто. Однако городские руководители сумели за два дня организовать десятки рабочих бригад. Входили в них главным образом женщины. Их разместили в пустовавших дачах и домах отдыха вблизи стройки, армия взяла эти бригады на котловое довольствие. Руководил работами генерал-майор А. Ф. Хренов, выделивший на строительство некоторые силы и из своих инжбатов.

Авиационный полк майора Шестакова пользовался у одесситов особенной любовью. И горожане, пришедшие строить новый аэродром, сумели выразить свою признательность летчикам. Работы на площадке не прерывались и в часы вражеских налетов, среди строителей были убитые и раненые...

Предполагалось подготовить аэродром за десять дней, но сделали это за семь. 69-й авиаполк перебазировался в Чубаевку. Выбор места оказался удачным в том смысле, что противник, кажется, искал новую стоянку истребителей где угодно, только не здесь. Самолеты расставляли между дачами, тщательно маскировали, и их трудно было заметить. Правда, взлетать с узкой полосы, окруженной постройками и садами, и особенно садиться на эту дорожку было нелегко. Тем более что в целях маскировки аэродрома требовалось подходить к нему обязательно на бреющем полете. Но летчики сумели приспособиться к этим условиям, и никаких происшествий при взлетах и посадках не случилось. Самолеты, пронесаясь над самыми крышами, поодиночке уходили к морю, собирались там в группы, набирали высоту и шли на боевое задание.

Враг так и не обнаружил эту посадочную площадку, и она использовалась до конца обороны.

К середине сентября достигли наивысшей меры все тяготы жизни в осаде, все трудности обороны сильно сократившегося плацдарма. Настало время самых суровых испытаний не только для частей, удерживающих передовые рубежи, но и для всех остальных звеньев нашего армейского организма.

При обороне Одессы грань между фронтом и тылом была весьма условной, особенно с тех пор, как развернулись бои на ближних подступах к городу. Но служба тыла у Приморской армии, конечно, была. Возглавлял ее сперва генерал-майор Т. К. Коломнец, а затем интендант 1-го ранга А. П. Ермилов. После образования ООР армейский тыл стал тылом оборонительного района. Объединившись с хозяйственными подразделениями военно-морской базы, он приобрел ряд дополнительных функций, связанных прежде всего с морскими перевозками, эвакуацией из Одессы людей, заводов. Но главным оставалось обеспечение всем необходимым наших войск.

Тыловики, вероятно, острее всех ощутили перемены, происшедшие в положении Приморской армии, когда враг отрезал нас от остальных сил Южного фронта. До этого на все, что требуется, можно было послать заявку во фронтовой тыл. И если даже что-то поступит оттуда не вовремя, армейские хозяйственники отвечали лишь за задержки, возникшие по их собственной вине. Теперь же на них легла ответственность за то, чтобы рационально использовать местные ресурсы и возможности. Ведь и при наладившихся морских перевозках всегда существовала опасность, что очередные транспорты не дойдут до одесских причалов, попав в пути под вражеский удар.

Но наши тыловики не стали иждивенцами города. Еще в то время, когда войска с боями отходили от Днестра и под Одессой еще не уста-

новилась твердая линия фронта, специальные отряды армейских интендантов, называвшие себя поисковыми группами, объезжали городки и станции прифронтовой зоны. Действуя в контакте с партийными и советскими органами, они выявляли не эвакуированные по разным причинам склады, застрявшие на перерезанных железнодорожных путях составы. Все это, если не принять экстренных мер, доставалось бы врагу. Но меры принимались, и таким путем на армейских складах были созданы довольно значительные продовольственные запасы. Они позволили оставить все, что было в самой Одессе, для снабжения ее населения.

Да и не только продовольствие доставляли на склады армии предпримчивые интенданты. В каком-то эшелоне, который уже никуда не мог прийти, обнаружили, например, десятки тысяч метров льняной ткани. Эта находка очень обрадовала хозяйственников, да и командиров: было из чего шить бойцам ватники к зиме.

В одесских условиях армейский тыл приблизился к частям. Снабжение войск пошло по схеме: армия — полк, а иногда даже: армия — батальон. Это позволило обходиться меньшим количеством машин, а главное — выигрывать время. Высвободившиеся люди пошли на пополнение боевых частей.

Войсковые тылы Ермилов, исходя из условий местности под Одессой, где трудно было их маскировать, предложил «отодвинуть» за вторую линию главного рубежа обороны и частично даже на одесские окраины: зеленые массивы пригородов укрывали от воздушной разведки надежнее, чем узкие лесопосадки в степи.

К работе тыловиков претензий было немного. Чаще приходилось слышать, как их хвалят. Бойцам на передовой, как правило, обеспечивался рано утром горячий завтрак. На день выдавались хлеб, вареное мясо, помидоры, иногда фрукты. Днем было не до горячего обеда, но его подвозили с наступлением темноты, когда бои обычно стихали.

А больше всего благодарили хозяйственников за то, что они научились быстро, без лишних перегрузок, доставлять в батальоны, на огневые позиции батарей то, что было дороже хлеба и горячего борща, — гранаты, только что изготовленные на одесских предприятиях, снаряды, только что выгруженные с судов в порту.

Каждую ночь, когда в порту разгружались суда, которым надлежало до рассвета покинуть Одессу, на причалы вслед за машинами, присланными за снарядами или продовольствием, въезжали автобусы и полупортки автороты армейского санотдела. Санитары, успевшие уже привыкнуть к корабельным трапам, быстро и бесшумно сновали по ним с носилками. Бывали ночи, когда на Большую землю отправлялось морем более чем по две тысячи раненых. В сентябре уже не отменяли и не откладывали, как раньше, выезд санитарных машин в порт из-за артиллерийского обстрела: ночей, когда район порта не обстреливался, больше не было. Врачи-эвакуаторы, распорядившиеся на причалах, надевали каски, как солдаты на передовой. И как ни спешили шоферы и санитары, иногда кто-нибудь из их подопечных получал в пути от городского госпиталю до борта корабля повторное ранение. Случалось и так, что водитель санитарной машины, обеспечив выгрузку раненых, сам шел на перевязку.

Автосанрота пользовалась в армии доброй славой. Ее шоферы знали дорогу на любой участок фронта. Подобно тому как выключались некоторые промежуточные звенья в системе снабжения войск, санитарная служба транспортировала значительную часть раненых прямо с полковых, а иногда и с батальонных медпунктов в город. Особенно из Восточного сектора: 421-я дивизия не имела своего медсанбата.

Машины автосанроты носились по фронтовым дорогам даже днем.

Когда где-нибудь с утра отбивались крупные атаки, раненые уже к полудню начинали поступать в палаты одесских больниц.

Уже в июле и августе больницы города превращались одна за другой в военные госпитали. Делалось это просто. Весь персонал оставался на своих местах, но переводился на казарменное положение и армейский паек. Дополнительно назначались комиссар и необходимое количество врачей, сестер (число коек увеличивалось до предела). В такие больницы-госпитали клали и жителей города: осколочные раны, полученные на улицах, ничем не отличались от тех, с которыми привозили с передовой.

Начсанармом у нас с самого начала был военврач 1-го ранга Д. Г. Соколовский. Он пришел к нам из 14-го стрелкового корпуса вместе со всей корпусной санслужбой.

Если бы не медицинская эмблема в петлицах, доктора Соколовского можно было принять за строевика: отменно подтянутый, с командирскими нотками в голосе, с полевой сумкой через плечо. Очень деятельный по натуре, он всегда куда-то спешил, постоянно был чем-то озабочен, но никогда не удручен.

Возглавив санитарную службу армии, Соколовский организовал дело с размахом. Ему досталось кое-какое «наследство» от попавших в Одессу тылов других армий — вплоть до бесполезных в наших условиях санитарных поездов (пригодились лишь летучки, да и то на короткое время, пока они могли ходить до Раздельной, а потом до Выгоды). Однако возможности армейской санитарной службы определялись прежде всего тем, что могла дать сама Одесса, богатая лечебными учреждениями, имевшая действующий завод медицинского оборудования.

Не знаю, могла ли в то время какая-нибудь еще из наших армий развернуть собственные специализированные госпитали, подобные тем, которые оказались в распоряжении Приморской армии, отрезанной на одесском плацдарме. На базе того, что осталось в городе от эвакуированной на Большую землю знаменитой филатовской клиники, возник, например, на Пролетарском бульваре госпиталь для бойцов и командиров с глазными ранениями. Ученик академика Филатова, В. Е. Шевалев служил потом в нашей армии и в Севастополе. Он и другие одесские окулисты спасли зрение многим приморцам. Стоматологический институт на Ришельевской использовали для лечения челюстно-лицевых ранений. Создавались и другие госпитали «узкого профиля», обеспеченные соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

Ряды армейских медиков пополнялись видными одесскими врачами, особенно хирургами. Добровольцами пришло к нам немало медицинских работников города, уже снятых с военного учета по возрасту или состоянию здоровья.

Армейским хирургом стал профессор В. С. Кофман. Я много слышал о его понстине неистощимой работоспособности. Имея массу других обязанностей, профессор изо дня в день сам делал сложнейшие операции то в одном, то в другом госпитале. А ночами писал научную работу, осмысливая рождавшийся на войне опыт. До меня доходило, что они с Соколовским иногда ссорились на такой почве: Кофман считал необходимым бывать и на войсковых медпунктах, включая батальонные, а начсанарм не пускал его туда в горячие дни, боясь потерять крупного специалиста.

Связал с Приморской армией свою судьбу и другой известный в Одессе врач и ученый — профессор Г. А. Коздоба, член обкома партии. Он был ведущим хирургом крупнейшего нашего госпиталя, развернутого во 2-й Рабочей больнице на Слободке. В этом госпитале чуть ли не все отделения возглавляли одесские профессора.

Но даже при такой обеспеченности медицинскими кадрами приходи-

лось в дни сильных боев специально продумывать их расстановку. Тогда вступал в действие особый порядок обработки раненых. О нем Давид Григорьевич Соколовский вспоминал в присланном мне недавно письме:

«Это было похоже, если допустимо применить такой термин, на своего рода конвейер. Работа шла одновременно на нескольких операционных столах. Основные этапы сложной операции в брюшной или грудной полости выполнялись руками самых квалифицированных хирургов, а завершалась операция руками их помощников. Ведущие же специалисты переходили к следующему столу. Такое разделение труда позволяло приложить почти к каждому тяжелому ранению мастерство наиболее опытных хирургов и вместе с тем существенно ускорило всю работу...»

Не мне оценивать достоинства, а может быть, и недостатки такой системы. Знаю только, что ее вызвала к жизни обстановка, складывавшаяся в те дни, когда безотлагательная хирургическая помощь требовалась тысяче и больше человек. В сентябре, как и в августе, такие дни выпадали нередко.

Самоотверженно работали врачи, находившиеся по долгу службы непосредственно в войсках. В кавалерийской дивизии, вообще богатой воинами-ветеринарами, служил, вероятно, самый старший по годам среди наших кадровых медиков — боевой доктор Левичев, краснознаменец гражданской войны. Чапаевцы очень уважали смелого начсандива Варшавского, который при отражении яростных атак у Дальника не раз лично руководил выносом раненых с поля боя. А начальник санслужбы Восточного сектора военврач Хруленко — ему во многом приходилось труднее, чем его коллегам, поскольку этот сектор жил без своего медсанбата, — сумел оборудовать хорошие операционные в блиндажах полковых медпунктов.

Доктор Хруленко пал в бою, как солдат, с винтовкой в руках. Это было уже под Севастополем, в самую страдную пору его обороны. Не только с Одессой связана для меня память и о других медиках-приморцах, которых я сейчас не назвал.

Справившись с огромной нагрузкой, которая легла на нее в августе, санитарная служба армии работала в сентябре еще слаженнее, увереннее. Тем не менее мы старались использовать любую оказию для эвакуации раненых на Большую землю. С этим нельзя было мешкать прежде всего потому, что иначе перегружались госпитали, которые непрерывно пополнялись фронтом. Но также и потому, что город, где на улицах рвутся снаряды, где от передовой траншеи до жилых кварталов иногда менее десяти километров и, значит, возможны любые неожиданности, вообще неподходящее место для незащитных людей, нуждающихся в длительном покое.

Однако эвакуации подлежали отнюдь не все раненые. Действовало твердое правило: те, кого можно за две-три недели поставить на ноги, вернуть в строй, не должны попадать дальше армейского тыла, то есть городских госпиталей. Оттуда они выписывались в созданный по решению Военного совета батальон выздоравливающих. К сентябрю он настолько разросся, что пришлось формировать четыре новые роты. Сверх того отвели один из пустовавших домов отдыха для окончательнойправки раненых командиров.

Подразделения выздоравливающих сделались как бы внутренним резервом армии, ее, если можно так выразиться, аварийным запасом. В августе был день — кажется, 23-е, — когда у штарма иссякли другие резервы, а враг наседал и отовсюду спрашивали, нет ли возможности прислать хоть роту. В тот день в батальоне выздоравливающих разрешили всем, кто чувствует себя в состоянии взять в руки оружие, вернуться в части. Именно разрешили, потому что призывать к этому, а тем

более приказывать не требовалось — солдаты, понимая положение и тяготясь бездействием, рвались на передовую. И батальон, распределенный между секторами, ушел на фронт. Обойтись в тот день без этого пополнения было бы нелегко.

Вновь выручил этот внутренний резерв и в середине сентября, когда опять стало туго с людьми и для многих подразделений имел значение каждый лишний боец. Отчетная сводка начсанарма позволяет мне привести цифры: за четыре дня, с 15 по 18 сентября, из батальона выздоравливающих в части выписано более тысячи семисот возвращенных в строй солдат.

Оценить, что это значило в те дни, нетрудно, вспомнив, как иной раз мало оставалось в полках людей.

Семнадцатого сентября противник попытался продвинуться вперед во всех трех секторах.

В Восточном он наступал не очень крупными силами и не имел никакого успеха. Дивизия Коченова, хотя и ослабленная переброской отдельных батальонов на другие участки фронта, уверенно отбила все атаки.

В Западном секторе день начался с необычно длительной артподготовки: передний край дивизии Воробьева и второй рубеж интенсивно обстреливались в течение пяти часов. При телефонных разговорах с Василием Фроловичем чувствовалось, что он нервничает: вышла из строя проводная связь со 161-м полком и комдив долго не знал, какая там обстановка. Потом выяснилось: потери от обстрела, в общем, невелики, выручили и в этот раз хорошие траншеи и блиндажи. А атаки оказались хотя и сильными, но все же не такими, каких можно было ожидать после столь яростного огня. Почти всюду дивизия сумела их отразить, не подпустив врага к своим окопам. Только в одном месте ему удалось вклиниться к хутору Кабаченко. Этот опасный клин (оттуда до окраин Одессы десять километров) предстояло выбить контратаками, и Воробьев принимал необходимые меры.

Тяжелее было на левом фланге — в Южном секторе. Там продолжался натиск трех пехотных дивизий и главный удар принимал на себя полк капитана А. И. Ковтун-Станкевича. Правда, на этот наш полк работала вся секторная, да и не только секторная, артиллерия.

Вечером Садовников записал в журнал боевых действий армии: «287 сп центром отошел на 300—400 м. и продолжает сдерживать противника, нанося ему большие потери». В журнал заносилось только самое главное. Туда не вошла такая, например, подробность: за день на позициях полка разорвались тысячи вражеских мин.

Люди упорно отстаивали каждую сотню метров, сознавая, что теперь она зачастую значит больше, чем прежде километры. Роковые последствия мог иметь не только прорыв на каком-то участке, а и потеря пространства в результате постепенного отхода под лобовым натиском. Тылы Южного сектора уже стали, как выразился однажды Георгий Павлович Софронов, «огневым мешком» — они простреливались вражеской артиллерией насквозь.

Ночью, после обсуждения у командарма итогов дня, генералу Петрову был передан приказ: «Рубеж высота 66,8 — Сухой лиман — Рыбачьи Курени удерживать во что бы то ни стало. На усиление придается отряд в пятьсот человек, который использовать целиком, не дробя».

В другой обстановке оговорка «использовать целиком», конечно, была бы лишней. Сейчас она подчеркивала, что это резерв для прикрытия самого угрожаемого участка, для возможных по обстановке контр-атак.

В ту ночь Одесса подверглась самым сильным с начала войны налетам фашистской авиации. «Юнкерсы» прорывались к центру с разных направлений до самого рассвета. Только вблизи армейского КП упало полтора десятка крупных фугасных бомб. В городе было много разрушений и жертв. Докладывали об огромной воронке на улице Шолом-Алейхема, в районе вокзала — очевидно, опять от взорвавшейся на суше морской мины. Когда урон, нанесенный Одессе этой ночью, прибавили к прежним потерям города, получились такие цифры: полностью разрушено уже триста тридцать пять зданий, сильно повреждено двести тридцать два.

Но и в такую ночь ни одно предприятие, выполняющее заказы армии, не приостановило работы. Утром с «Январки» и с других заводов докладывали, что готовы к отправке на фронт очередной танк, новые минометы, партия гранат.

И, конечно, все были на своих постах в порту — от начальника его Пахома Михайловича Макаренко до бригад грузчиков и матросов-химистов, дежурящих у дымовых шашек. Порт готовился принять особо важный морской конвой: к Одессе приближались корабли с первым эшелоном 157-й стрелковой дивизии. К исходу ночи прикрытие района порта сделалось главной задачей зенитчиков, летчиков истребительного полка и артиллеристов, ведущих контрбатареиную борьбу.

Мы не смогли обеспечить прибывающим войскам спокойную высадку. Транспорты «Абхазия» и «Днепр», на борту которых находились 384-й стрелковый полк, разведбат и оперативная группа штадива, входили в порт под бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Суда получили повреждения, правда незначительные, от осколков. А для новых приморцев сама высадка стала боевым крещением на одесской земле.

НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО ДНЯ

Части 157-й дивизии продолжали прибывать следующей ночью. Вслед за «Днепром» и «Абхазией» пришли из Новороссийска «Армения» и «Украина». В рейсе находились «Восток», «Белосток», «Курск»... Выгружавшиеся стрелковые полки и средства усиления сосредоточивались в курортном поселке Куяльник, в старинных казачьих селах Нерубайском и Усатове, лежащих в пяти-шести километрах от Одессы и примерно на таком же расстоянии от переднего края обороны.

Как ни тянуло в эти ночи в порт, я не мог проводить там много времени и видел своими глазами высадку лишь некоторых подразделений. Но этого было достаточно, чтобы понять, какую дивизию нам прислали. Весь облик ее бойцов и все их действия — как выполняли команды, как строились, как рассаживались по машинам — не оставляли сомнений: это солдаты, которых война застала уже в строю, на службе.

157-я стрелковая была свежей кадровой дивизией, но до ее прибытия мы этого не знали. Лично я этого как-то и не ожидал. Скажу прямо: ничто из пережитого за последние месяц-полтора не произвело на меня столь сильного впечатления, как эти красноармейцы с Большой земли — обычного призывного возраста, подтянутые, ладные крепыши с превосходной выправкой, словно влитые в отлично подогнанную форму... Словом, бойцы, какими мы, бывало, любовались в лучших частях мирного времени.

Если Ставка могла направить такую дивизию на участок фронта, пусть трудный и важный, но, конечно же, не главный — значит, есть могучие резервы и для тех направлений, где решается судьба страны. «Значит, наши силы и впрямь неисчислимы!» — подумал я, и в памяти

вдруг невольно возникли давно знакомые слова Кутузова: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор останется надежда счастливо довершить войну...»

В то время мы в Одессе не представляли себе фронта, и в частности южного его крыла. Мы еще не знали, что замкнулось вражеское кольцо вокруг Киева. Известно было все же, что на рубеже нижнего течения Днепра удержаться не удалось, немцы подступили к Перекопу, даже вышли как будто к Азовскому морю. Одесский плацдарм оказался в глубоком тылу противника. Но тревожило не это, а продолжавшееся продвижение врага, который отрезал с суши уже и Крым. Порой возникали мучительные вопросы: не слишком ли велики наши общие потери? Есть ли еще на Юге подготовленные резервы? Теперь мы видели, какие войска сохранились у страны, и от одного этого на душе становилось спокойнее. А присылка такого подкрепления в Одессу убедительно подтверждала: наш плацдарм, приковавший к себе большую группу вражеских дивизий, по-прежнему важен для остального фронта. Выстояв на своем «пяточке» полтора месяца, приморцы дождались дней, когда армия усиливалась целым соединением. Думать об этом было так отрандно, что забывались многие наши невзгоды.

Трудно было сравнивать такое подкрепление и с быстро расходившимися по частям маршевыми батальонами, как ни выручали они армию. Кстати, маршевое пополнение выделялось нам снова — в пути из кавказских портов уже находилось еще восемнадцать рот.

А 157-я дивизия, как доложил ее командир полковник Д. И. Томилов, прибыла в составе 12 600 человек, имела семьдесят орудий, пятнадцать танков (гаубичный полк и танковый батальон были, правда, еще в Новороссийске). Комдив явился на армейский КП вместе с военкомом дивизии А. В. Романовым. Оба производили самое лучшее впечатление — спокойные, собранные, понимающие все с полуслова и, видимо, дружные. Настроены по-боевому. Кадровые командиры, сознающие, что настал их час.

На обстоятельное знакомство времени не было. Все же я успел узнать, что Дмитрий Иванович Томилов в Красной Армии с весны двадцатого года, воевал против Врангеля и махновцев, участвовал в ликвидации кронштадтского мятежа. Потом учился на тех же курсах «Выстрел», которые посчастливилось окончить и мне. Кроме командных должностей, он побывал и на штабных. Большой путь прошел в армии и полковой комиссар Алексей Васильевич Романов.

Двадцатого сентября, когда 157-я стрелковая была уже почти вся под Одессой, маршал Б. М. Шапошников специальной телеграммой предупредил командование ООР от имени Ставки, что дивизию нельзя распылять на второстепенные задачи. Но мы и сами понимали: она дана Приморской армии не для того только, чтобы укрепить слабые места существующей линии обороны и увереннее отбивать вражеские атаки. Как ни трудно было удерживать одесские рубежи, особенно в последние дни, мы все же не представляли себе возможным использовать новую дивизию так, чтобы она просто заняла определенную полосу обороны, а старые наши соединения соответственно «потеснились». Это должно было произойти потом. Сперва же мы хотели существенно улучшить свои позиции, отодвинуть, где можно, фронт от города, нанеся противнику крепкий удар, а если удастся — то и не один.

О направлении, в котором следовало предпринять наступательные действия прежде всего, не могло быть двух мнений. Как ни приблизился враг за последнее время к городу с юга, но на северо-востоке, у Большого Аджалыкского лимана, он еще с конца августа занимал позиции, откуда мог наиболее эффективно обстреливать город и особенно порт.

С этих позиций его и надо было выбить в первую очередь, избавив Одессу от артиллерийского обстрела хотя бы с одной стороны. Теперь эта задача становилась нам под силу.

Решение провести в Восточном секторе наступление с ограниченными целями командарм окончательно принял 19 сентября. К участию в нем, кроме 157-й дивизии, привлекалась 421-я. Наступление назначалось на 22 сентября. Той же ночью намечалась высадка в тылу противника 3-го морского полка, которому надлежало соединиться затем с войсками, наступающими с одесского плацдарма. Разумеется, все это держалось в строжайшей тайне и было известно очень ограниченному кругу лиц.

Времени на подготовку было в обрез. Но все же я два дня подряд выезжал с майором Васильевым и капитаном Харлашкиным в Восточный сектор — прежде чем разрабатывать подробный план и знакомить с исходными рубежами командиров полков и батальонов, требовалось провести рекогносцировку, тщательно продумать порядок взаимодействия всех выделяемых для контратаки сил.

Командный пункт сектора и 421-й дивизии находился теперь фактически на окраине Одессы. Да и до передового КП комдива, как и до любого из полков, можно было добраться от штаба армии за каких-нибудь полчаса.

Но обстоятельства складывались так, что я не был в Восточном секторе недели три. С полковником Коченовым по нескольку раз в сутки разговаривал по телефону, а увиделись впервые после того, как его сюда перевели.

«Полевой укрепрайон» Коченова пережил с тех пор немало тревожных дней, хотя с конца августа он и не принимал на себя главные вражеские удары. Перейдя здесь к обороне, противник держал позиции 421-й дивизии под постоянным обстрелом, а время от времени вновь и вновь пытался наступать то на одном, то на другом участке или даже на всем фронте сектора, как было, например, 17 сентября.

— Проверяет бдительность...— усмехнулся, рассказывая об этом, Григорий Матвеевич.

Действительно, враг вел себя на этом направлении так, словно рассчитывал где-нибудь да застать нас врасплох и прорваться к такой близкой от его переднего края Пересыпи.

Коченов управлял сектором уверенно. Судя по всему, у него установилось хорошее взаимопонимание с Яковом Ивановичем Осиповым (уже не интендантом 1-го ранга, а полковником), полк которого, ставший 1330-м стрелковым, в дивизии называли по-старому — «морским».

Теперь большинство бойцов осиповского полка носило армейские гимнастерки, подпоясанные флотским ремнем с якорем на бляхе. В расстегнутом вороте (это было разрешено) виднелась бело-голубая тельняшка — «морская душа». В такой форме прибывали и последние отряды добровольцев из Севастополя. Все моряки уже имели каски, но в спокойной обстановке, во время передышек, разрешалось носить бескозырки.

— А они все норовят наоборот: в бескозырке — в атаку! — пожаловался Коченов.

Произведенные комдивом перестановки в командном составе пошли на пользу. Но факт оставался фактом: после того, как нам пришлось взять отсюда кавполк армейского резерва, а потом и кое-что еще, семнадцать километров фронта от моря до Куяльницкого лимана и от него до Хаджибейского держали семь-восемь стрелковых батальонов. А собственная артиллерия — в среднем три ствола на километр, считая и подвижные батареи моряков (стационарных береговых в Восточном секторе не осталось). Негусто, что и говорить. Даже с учетом обеспеченной поддержки из других секторов и огня кораблей, более эффективного

здесь, чем где-либо еще. Какое охватывало нетерпение при мысли, что скоро вся обстановка на этом направлении должна резко измениться!

Стараясь не давать воли эмоциям, я заставлял себя сосредоточиться на разных практических вопросах, множество которых следовало не упустить сейчас из виду. Но горячего Харлашкина так и прорывало, когда мы, осматривая район будущего наступления, оставались где-нибудь одни.

— Ох, и здорово получится, товарищ полковник! Ох, и наклепаем мы тут им! — упоенно шептал он, жадно вглядываясь в открывшиеся с какой-нибудь высоты дали, где различались или просто угадывались Александровка, обе Дофиновки, Чебанка...

Я вполне понимал темпераментного Константина Ивановича. Сознавать, что какие-то населенные пункты на нашей земле мы отобьем у врага не когда-нибудь, а через несколько десятков часов, в сентябре сорок первого было редким для военного человека счастьем.

С первой рекогносцировки мы все вернулись настолько возбужденными, что с трудом заставили себя немного отдохнуть — в ту ночь такая возможность еще была. После повторного выезда стало уже совсем не до отдыха: пришло время сводить все расчеты в плановую таблицу, которую завтра должен был утверждать командарм.

О задаче, которую Приморская армия решала частью своих сил 22 сентября 1941 года, военные историки теперь обычно говорят как о контрударе. А если имеют в виду также и приуроченную к этому дню высадку морского десанта под Григорьевкой — то как о совместной, комбинированной операции армии и флота.

Суть, однако, не в терминах. В дальнейшем ходе войны подобные действия одной-двух дивизий иногда называли просто крупной контратакой. Если считать ею и наш контрудар, это не умалило бы его значения. Главное ведь заключалось в том, что защитники Одессы, для которых все время был высшим мерилем боевого успеха удержанный рубеж, впервые получали возможность отбросить врага на несколько километров, вернуть себе довольно значительную — в масштабах нашего плацдарма — территорию.

В успех верилось твердо. Нам противостояли в Восточном секторе «старые знакомые» — 13-я и 15-я пехотные дивизии, уже основательно потрепанные в прошлых боях, хотя и не раз пополнявшиеся и имевшие значительные средства усиления, в том числе много дальнобойной артиллерии.

На руку нам было сейчас также то, что боевые порядки врага, как неоднократно устанавливала разведка, становились реже по мере приближения фронта к морю — очевидно, вследствие стремления уменьшить потери от огня кораблей. Корабельную артиллерию мы рассчитывали максимально использовать и для поддержки наступления.

Что касается десанта, то с ним возникало много неясностей. Как уже говорилось, сперва он был задуман как самостоятельная операция (наступить с одесского плацдарма было еще нечем), целесообразность которой представлялась лично мне сомнительной. При этом срок несколько раз отодвигался — не был готов к высадке 3-й морской полк, проходивший специальные тренировки под Севастополем.

Теперь все вошло в общий план. В ночь на 22 сентября, на несколько часов до наступления войск Восточного сектора, корабли должны были высадить в районе села Григорьевка близ Аджалыкского лимана полк моряков (1500—1800 человек), которому предстояло продвигаться по тылам противника на север-запад — на соединение с дивизиями, выполняющими основную задачу.

Предусматривалось также за полтора часа до высадки морского десанта выбросить севернее Чебанки небольшой воздушный — группу флотских парашютистов. Им поручалось перерезать линии связи и вообще дезорганизовать, чем можно, ближний неприятельский тыл.

На участке контрудара, охватывавшем весь дугообразный отрезок фронта от моря до Куяльницкого лимана, дивизии Коченова предстояло наступать справа: от Крыжановки на совхоз имени Ворошилова (ныне «Победа»), Вапнярку, Александровку и дальше по западному берегу Большого Аджалыкского лимана; дивизии Томилова — слева: от Корсунцев через совхоз «Ильичевка» и Гильдендорф к хутору Петровскому и поселку Шевченко.

Вся огневая сила поддерживающей артиллерии вводилась в действие по единому плану, над которым вместе с полковником Рыжи и его штабом потрудились артиллеристы военно-морской базы и прибывший в Одессу флагарт Черноморского флота капитан 1-го ранга А. А. Руль. Утром 21 сентября приказ о наступлении был подписан.

Подготовка контрудара в Восточном секторе велась при ожесточенном натиске противника на других направлениях, особенно с юга. Яростные вражеские атаки продолжали отбивать полки, редевшие от потерь. И мы еще не имели права сказать себе, что просьба продержаться, с которой обратилась к защитникам Одессы Ставка, выполнена. Правда, не вышел и срок, названный в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Он истекал как раз в те сутки, когда 157-я дивизия могла в полном составе вступить в бой.

Произойдет ли это по нашему плану, там, где намечено, зависело от всей армии — от того, удержат ли части наличными силами, без подкреплений, главный оборонительный рубеж, за который шла борьба. В этом смысле многое решал каждый из предшествовавших контрудару дней.

Положение то на одном, то на другом участке становилось порой настолько тяжелым, что у командарма, вероятно, не раз возникало искушение взять хоть батальон из свежих, полнокровных полков, находившихся уже под рукой и готовых выполнить любой приказ.

Трудно было в стыке Западного и Южного секторов, ставшем одним из направлений вражеских атак на Дальник.

Еще опаснее — уже потому, что это ближе к городу, — были непрерывные попытки вклинуться в нашу оборону непосредственно у Дальника и южнее его. В ночь на 19-е наметился прорыв у Татарки, и противник, очевидно не имея тут достаточно танков, ввел в него конницу. Расчет делался, должно быть, на стремительный бросок, который нам окажется нечем задержать.

Однако нашлась конница и у нас. Полк Блинова, спешенный для действий в Восточном секторе, был только что — в который уж раз! — переброшен снова в Южный, и коноводы опять вывели из Котовских казарм застоявшихся коней. В конном строю полк атаковал неприятельскую кавалерийскую бригаду, перерезав ей путь. Такого случая давно уж не выпадало старым буденновцам, тосковавшим по лихой рубке, когда приходилось долго сидеть в окопах. Понеся существенный урон, неприятельская кавалерийская бригада повернула обратно. Наши кавалеристы взяли пленных, пригнали десятки трофейных коней. Это была последняя за оборону Одессы кавалерийская атака — вскоре и полку Блинова пришлось спешиться окончательно. Теперь у Татарки (Прилиманное), недалеко от того места, где конники пресекли вражеский прорыв в наши тылы, стоит обелиск, напоминающий об их славных делах.

За 19 сентября противник потеснил нас на отдельных участках Южного сектора на несколько сот метров. На следующий день (когда

комдив 157-й Томилов встречал в порту последний из своих стрелковых полков) атаки с южного направления вновь усилились. На Дальник и между ним и Сухим лиманом наступали три румынские дивизии. Их атаки отражали с помощью авиации и береговых батарей два полка чапашевцев и два кавалерийских.

Генерал Петров, которому все эти полки подчинялись, знал, что на отстаиваемый ими рубеж придет, как только выполнит свою задачу в Восточном секторе, дивизия Томилова. Тогда можно будет и тут потеснить врага. А пока надо было любой ценой выстоять, не допустить, чтобы левый фланг обороны сдвинулся еще ближе к городу.

Наверное, лишь охватывавшее войска предчувствие, что на фронте под Одессой близки перемены к лучшему, давало людям силы для той стойкости и той боевой активности, какие проявлялись в эти дни. Как ни велик был численный перевес наступающего противника, чапашевцы 20 сентября сами атаковали его на некоторых участках, стараясь вернуть те сотни метров степи с холмами у Сухого лимана, которые пришлось оставить накануне. Удавалось это не везде, но героические контратаки не проходили бесследно — они не давали врагу продвигаться дальше.

Сдерживала его и наша артиллерия. О том, чем была она для приморцев при малочисленности авиации и отсутствии настоящих танков, я говорил уже не раз. Мы просто не имели другой силы, способной безотказно поддержать пехоту — лишь бы подвезли снаряды! А сейчас левый фланг держался на артиллерии в большей мере, чем когда-либо прежде. Это не уставал подчеркивать Иван Ефимович Петров. Недаром его беспокоило, как бы не возникли опять перебои с боеприпасами.

Южный сектор имел на километр фронта шесть-семь орудий. Но когда требовалось, маневр траекториями обеспечивал массированный огонь на любом узком участке. Система пристрелянных рубежей, непрерывное дежурство артиллерийских наблюдателей и хорошая связь позволяли быстро воздвигать перед наступающей пехотой огневые заграждения. Очень выручали теперь и минометы — их стало больше за счет наладившегося местного производства.

Сила и действенность нашего огня заставили противника многое менять в тактике, отказываться от прежних привычек. Он уж не решался, как еще недавно, подтягивать к передовой подкрепления в походных колоннах. Вражеская пехота все реже поднималась из окопов в рост, а чаще выползала, наступая короткими перебежками. Между тем мы держали оборону меньшим числом бойцов, чем тогда, когда фашисты оголтело шли шеренгами прямо на пулеметы.

Нехватка людей на переднем крае острее всего сказывалась в стыках полков, батальонов, даже рот. Стыки нас и подводили, особенно там, где остались не выломанная, не скошенная пулеметными очередями высокая кукуруза или подсолнечник. По этим зарослям нет-нет да и просачивались через наши боевые порядки вражеские автоматчики. За ними пробиралась, если не успевали ее отсечь, мелкими группами пехота, сразу начинавшая окапываться. И возникал клин, который не всегда удавалось быстро выбить: для этого требовался хоть какой-то резерв. А клин угрожал расширяться, перерасти в прорыв...

Вот так, втискиваясь в разрывы между нашими частями, противник достиг днем 21 сентября юго-западной окраины Дальника. Фронт пересек это растянувшееся на километры село. Командный пункт генерала Петрова был перенесен отсюда еще раньше.

На прямой дороге между Дальником и Одессой, примерно посередине, находился единственный населенный пункт — поселок Застава. Западнее его пролегла вторая, запасная линия главного оборонительного

рубежа, которую инженерные батальоны генерала Хренова за последние дни дополнительно укрепили новыми дзотами. В Заставе сосредоточился 384-й стрелковый полк дивизии Томилова, ставший армейским резервом. В шестнадцать часов 21 сентября он получил приказание командарма быть готовым к выступлению. В тот момент представлялось весьма вероятным, что резервный полк будет введен в бой в Южном секторе раньше, чем другие полки 157-й дивизии в Восточном. До начала контрудара оставалось еще две трети суток, а крайняя необходимость поддерживать левый фланг могла возникнуть с часу на час.

Накануне контрудара возникли тревожные осложнения не только на одесской суше, но и на море.

Корабли с десантом на борту — крейсера «Красный Кавказ» и «Красный Крым» в сопровождении трех эсминцев — выходили из Качахей бухты под Севастополем в 13.30 (куда именно они идут, участникам десанта было объявлено уже в море). Большие корабли, конечно, не могли подойти близко к берегу. Для непосредственной высадки десантников предназначались, кроме корабельных баркасов и шлюпок, разные катера и другие мелкие суда, имевшиеся в Одессе. Они составили довольно многочисленный отряд, который предстояло возглавить канонерской лодке «Красная Грузия».

Во второй половине дня 21 сентября командиры этих высадочных плавсредств оставались единственными среди участников операции, кто еще не знал деталей своей боевой задачи, точки встречи с кораблями, порядка высадки, условных сигналов и т. д. План, где все это указывалось, должен был доставить из Севастополя капитан 1-го ранга Иванов.

Он, как сообщил мне генерал Шишенин, вышел оттуда утром на эсминце «Фрунзе» вместе с контр-адмиралом Л. А. Владимирским — командующим черноморской эскадрой. Владимирский, которому предстояло руководить высадкой десанта, очевидно, хотел получить в Одессе последние данные об обстановке и лично условиться с командованием ООР о деталях взаимодействия.

Часа прибытия «Фрунзе» в Одессу я не знал, но решил, что у моряков все рассчитано так, чтобы с выходом катерного отряда не произошло никакой задержки. В штабе армии хватало своих забот. Надо было следить за подготовкой к контрудару, не упуская из виду и развитие событий в Южном секторе, да и в Западном, где дивизия Воробьева отбила с утра три крупные атаки.

Уже под вечер, вскоре после того, как мы передали резервному полку в Заставе приказание быть готовым к бою (одновременно командарм потребовал от генерала Петрова решительнее контратаковать противника наличными силами), стало вдруг известно, что эсминец «Фрунзе» потоплен фашистской авиацией. Об этом радиовали с Тендровской косы, где несли боевую службу флотские подразделения. В той же радиограмме сообщалось о гибели канонерской лодки «Красная Армения», принадлежавшей Одесской базе. Оба корабля атаковали пикирующие бомбардировщики «Ю-87» — самолеты, до сих пор в нашем районе не появившиеся. Далее говорилось, что для спасения экипажей выслан буксир.

У контр-адмирала Жукова собрались члены Военного совета ООР, командарм, Шишенин. Потеря сразу двух кораблей была тяжелым ударом. Всех тревожила неизвестная пока судьба Владимирского и Иванова. Сразу же возникли и вопросы практического порядка. Как ориентировать командиров высадочных плавсредств, если окажется, что документы погибли и их не доставят до ночи с Тендры? Не изменится ли вообще что-нибудь с десантом?

Радиограмма с Тендровской косы была адресована штабу ООР и

штабу флота. Очевидно, ее уже приняли и в Севастополе. Как отнесутся там к случившемуся? Не прикажут ли кораблям с десантом, приближавшимся к опасной зоне, повернуть обратно? Это представлялось маловероятным, однако следовало принять во внимание любые возможные варианты.

Обмен мнениями у командующего ООР был недолгим. Через несколько минут Гавриил Данилович Шишенин сказал мне:

— План остается в силе. Во всяком случае все то, что делаем мы здесь.

Ничего другого я и не ожидал. Ведь еще сутки с чем-то назад, когда время контрудара уже назначили, а из Севастополя не сообщили окончательно, будет ли к этому сроку готов 3-й морской полк, Военный совет ООР телеграфировал командованию флота, что атака начнется при любых условиях, даже если десант отложится вновь.

Но флот ничего не собирался отменять. Как выяснилось в последующие часы, адмирал Ф. С. Октябрьский, узнав о гибели «Фрунзе», внес в план действий отряда кораблей единственную поправку: крейсерам было приказано, высадив десант, возвращаться в Севастополь, а для артиллерийской поддержки оставлялись эсминцы. Не имея сведений о том, где находится Владимирский и жив ли он, командующий флотом возложил ответственность за десантную операцию на командира бригады крейсеров капитана 1-го ранга С. Г. Горшкова.

Часа через два после первой радиограммы Тендра сообщила: контр-адмирал Владимирский следует в Одессу на торпедном катере. Мы надеялись, что на катере окажется и капитан 1-го ранга Иванов. Но надеялись напрасно: морского заместителя генерала Шишенина уже не было в живых.

Владимирский был легко ранен. Поднявшись на причал, он по памяти продиктовал встретившим его морякам (портфель Иванова со всеми документами погиб) основные указания и данные, без которых высадочные плавсредства не могли выполнять свою задачу.

Суда, отправлявшиеся из Одесского порта, теперь уже заведомо опаздывали на встречу с севастопольскими кораблями. Об этом корабль были предупреждены по радио. Пока трудно было дать себе отчет, как скажется эта задержка на высадке десанта.

Контр-адмирал Владимирский, несмотря на ранение, решил идти на катере к кораблям. Перед этим он побывал у нас на КП и поделился пережитым несколько часов назад у Тендры.

Эсминец «Фрунзе» попал под удар девяти пикировщиков, когда начал спасать моряков с поврежденной раньше и тонувшей канонерской лодки. Экипаж держался геройски, но уклоняться от бомб с «Ю-87» эсминцу было гораздо труднее, чем от атак самолетов других типов. Корабль получил прямые попадания и неминуемо перевернулся бы от проникшей через пробоины воды, если бы командир не успел подвести эсминец, уже почти легший на борт, к отмели. Благодаря этому спаслась большая часть экипажа. Но некоторые моряки погибли потом на буксире, который потопили те же пикировщики, прилетев снова.

Оказывается, эсминец «Фрунзе» вел капитан 3-го ранга Ерошенко — командир стоявшего в ремонте «Ташкента»: пока чинили его корабль, он заменял раненного под Одессой капитан-лейтенанта Бобровникова. Теперь и Ерошенко был ранен, по словам Владимирского — тяжело.

Появление в наших краях пикировщиков «Ю-87», очевидно, означало, что враг ищет более эффективные средства для борьбы с морскими перевозками между Крымом и Одессой, от которых полностью зависела Приморская армия. Тут было над чем задуматься. Тогда мы еще не

знали, что гитлеровское командование перебросило в распоряжение своей армейской группы «Юг» со Средиземного моря 10-й авиакорпус, имевший двухлетний опыт боевых действий против английских кораблей.

Мысли о новых пикировщиках связывались прежде всего с приближавшимся к Одессе десантным отрядом. Засветло враг, судя по всему, его не обнаружил. Ночью никакие «Ю-87» кораблям не страшны. Но если высадка задержится и крейсера не уйдут до рассвета, прикрытие их могло оказаться делом более сложным, чем представлялось раньше. Тем более что наши истребители имели и другие задачи. Все это следовало еще до утра обсудить с комбригом Катровым.

Шли последние часы до начала контрудара.

Войска Южного сектора свой фронт удержали, и вводить в бой армейский резерв не потребовалось. Отразила и дивизия Воробьева все попытки противника вклиниться между ее полками. В Восточном секторе было спокойно. Ничто не указывало на то, что враг по каким-нибудь признакам раскрыл наши приготовления к завтрашней атаке.

Одесса тоже пока не знала, что наступающий день должен стать особенным и несет с собой события, каких еще не происходило за полтора месяца обороны.

Ночь в городе была похожа на многие другие. Вражеские батареи методически посылали от Большого Аджалыкского лимана снаряд за снарядом. На Пересыпи и вблизи порта возникли пожары. Некоторые долго не удавалось потушить: не хватало воды. Наша береговая артиллерия вела через город ответный огонь и временами заставляла противника замолкать.

На КП у всех чувствовалась взволнованная приподнятость. Контр-адмирал Жуков, члены Военного совета Воронин и Азаров, полковник Рыжи собирались к рассвету выехать в Восточный сектор, на наблюдательные пункты. Почти все работники оперативного отдела, кроме Садовникова и только что вернувшегося из Южного сектора Безгинова, находились в войсках.

Мне, как и командарму, предстояло оставаться на своем обычном месте. Полевой штаб, предусмотренный в отданном утром боевом приказе, находился тут — на армейском командном пункте.

Вскоре после двадцати трех часов я был у командующего. Георгий Павлович Софронов, с виду спокойный, расхаживал по своему кабинету. Нетерпение, испытываемое им, выдавал лишь досрочно перевернутый листок настольного календаря.

Жирная черная цифра «22» бросалась в глаза и напомнила о том, что как-то забылось за захватившими нас делами: в эту ночь истекало ровно три месяца с начала войны.

Что ж, мы были готовы отметить эту дату так, чтобы во всяком случае под Одессой она не показалась врагу праздничной.

Я доложил командарму, что в соответствии с плановой таблицей командные пункты и штабы дивизий перешли: 157-й — в Лузановку, 421-й — в Крыжановку. Связь с ними работала нормально.

КОНТРУДАР С ПЛАЦДАРМА

В 1.30 ночи, как и было запланировано, транспортный самолет, прилетевший из Крыма, сбросил в нескольких километрах от линии фронта, между Булдинкой и Свердловом, команду краснофлотцев-парашютистов во главе со старшиной Кузнецовым.

Команда состояла всего из двадцати трех человек. И приземлялись парашютисты так, что действовать пришлось маленькими группами, а кое-кому даже в одиночку. Но добровольцы, посланные на опасное задание, были к этому готовы. Пробираясь к фронту, парашютисты прежде всего выводили из строя проводную связь. Но этим не ограничивались. Внезапно появляясь из темноты, они забрасывали гранатами — где минометную батарею, где штабной блиндаж, где конный разъезд... Часть краснофлотцев погибла. Остальные вышли на наш плацдарм, и все уцелевшие собрались вместе уже в Одессе. Свою задачу они выполнили: отвлекли какие-то силы противника перед нашими атаками с моря и с суши. Но, разумеется, даже первые сведения о действиях воздушного десанта дошли до штаба армии не скоро. В ту ночь поступил лишь короткий условный сигнал с борта самолета, означавший, что парашютисты сброшены вовремя. С этого, собственно, и началась операция.

Мы с нетерпением ждали известий о морском десанте. В три часа ночи о нем не было известно еще ничего. Между тем высадка, и при опоздании одесских плавсредств, уже вполне могла начаться. Если, конечно, не произошло что-то непредвиденное.

В это время — ровно в 3.00, еще до рассвета — части Южного сектора, упреждая врага, возобновили контратаки между Дальником и Сухим лиманом. И там, на левом фланге плацдарма, инициатива была сегодня в наших руках!

Через полчаса вступила в действие флотская авиация: бомбардировщики, прилетевшие из Крыма, наносили удар по тылам и разведанным резервам противника у Свердлова, Кубанки, Сычавки, Булдинки, Старой Дофиновки. На левый фланг Восточного сектора уже выдвинулась дивизия Томилова, сменив там части 421-й.

Но как же все-таки морской десант? Высадился или нет? Начальник связи майор Богомолов, которого много раз вызывали и командарм и Шишенин, ничего не мог доложить: радики кораблей молчали.

Мы начали бы контрудар и без высадки морского полка. Однако раз он участвовал в совместной операции, следовало знать, что с ним происходит. Приближалось время поднимать в воздух одесские истребители. Первая их задача, уточненная несколько часов назад, состояла в том, чтобы не допустить утром вылета фашистских самолетов с двух ближайших к Одессе полевых аэродромов. Но в районе высадки десанта могла сложиться и такая обстановка, что истребители окажутся нужнее всего там.

Неясное положение с десантом особенно беспокоило Шишенина — действия армейских и флотских сил координировал он. Как назло, над побережьем стоял густой туман — посылать за Большой Аджалькский лиман воздушного разведчика было бесполезно. Около четырех часов Гавриил Данилович позвонил мне и попросил срочно выделить работника оперативного отдела, который получит ответственное задание.

Разбудили отдохавшего капитана Безгинова. Забежав через несколько минут на «третий этаж» за планшеткой и автоматом, он доложил, что идет на катере к Григорьевке — устанавливать контакт с морским полком. Направление было не его, а Харлашкина, но тот находился, конечно, в изготовившихся к наступлению войсках.

Я попробовал прикинуть, сколько времени займет такой рейс, если все пойдет гладко, однако Безгинов не имел понятия, что за катер дадут ему в порту.

Вопрос о каких-либо изменениях в наших планах не возникал. Истребительному авиаполку было подтверждено, что первая боевая задача дня — штурмовка полевых аэродромов у Кучурганского лимана.

Пожалуй, стонг рассказать, как эта задача возникла.

О двух новых вражеских аэродромах, появившихся совсем недалеко от Одессы, в районе селений Баден (Очеретовка) и Зельцы, мы только что узнали. Обнаружить их удалось перед самым контрударом. Причем помог нашим летчикам... румынский капитан. В армии Антонеску было немало людей, не видевших в войне против Советского Союза никакого смысла и шедших в бой, что называется, из-под палки. Об этом свидетельствовали и приказы румынского командования, на которые я уже ссылался. К нам не раз переходили солдаты, принося порой ценные сведения о том, что происходит в стане противника. Не так давно в Восточном секторе приполз к передовой траншее румынский сержант, мобилизованный из запаса, по профессии учитель. По его словам, на хуторе за лиманом, в доме у ставка, хорошо видного с высоты на нашей стороне, размещался генерал, у которого ежедневно в пять часов вечера бывает совещание командного состава. Полковник Коченов, не преминув воспользоваться информацией, приказал командиру гаубичного дивизиона аккуратненько — одним орудием и совсем в другой час — пристреляться к этому месту. А выждав денек, ударили по цели ровно в семнадцать часов всем дивизионом. Как потом выяснилось, на совещании в тот раз присутствовал начальник одного из управлений румынского генштаба, которого повезли хоронить в Бухарест...

Но из тех, кто в неприятельских окопах втайне симпатизировал нам или просто не хотел воевать, разумеется, не всякий готов был перейти фронт, как этот учитель. Зато, попав при каких-нибудь обстоятельствах в плен, румыны обычно охотно выкладывали то, что знали. Особенно — все, что знали о немцах: большинство пленных не скрывало неприязни к фашистской Германии, втянувшей Румынию в войну.

Так же поступил и румынский летчик в чине капитана, выбросившийся на парашюте со сбитого буквально накануне операции самолета. (Самолет этот оказался, между прочим, английским «харрикейном» — очевидно, из закупленных Румынией до войны.) По собственной инициативе капитан рассказал об известных ему двух новых аэродромах, где стояли немецкие бомбардировщики и истребители.

Наши истребители осторожно, но тщательно произвели в этом районе разведку. И уже в сумерках 21 сентября четверка «ястребков», пронесшихся там на бреющем полете, засекала оба аэродрома. На обоих по краю поля крыло в крыло, словно в мирное время, стояли самолеты: у Бадена — «мессершмитты», близ села Зельцы — «юнкерсы». Наши летчики разглядели ряды палаток, где, очевидно, размещался личный состав эскадрилий и обслуживающий персонал.

Были основания полагать, что самолеты только-только сюда переброшены. На рассвете их следовало уничтожить, не позволив больше подняться в воздух. Добавлять новые цели к тем, которые мы дали на 22 сентября флотской бомбардировочной авиации, было уже поздно. Да и кто, как не летчики, видевшие эти аэродромы собственными глазами, мог вернее всего нанести по ним удар!

Так появилась в плане эта боевая задача. Узнав результаты вечерней разведки, майор Шестаков принял все меры к тому, чтобы за ночь были подготовлены к вылету и те машины, которые сперва не предполагалось завтра использовать, — день обещал стать для летчиков еще более горячим, чем ожидалось.

Еще до полного рассвета из Одессы вылетели двадцать «И-16» и оба имевшихся у нас «ИЛ-2». В воздухе они разделились на две группы. Одну — на Баден — повел командир полка, другую — на Зельцы — его заместитель майор Ю. Б. Рыкачев.

Дальнейшие действия летчиков лаконично и выразительно описывает в своих воспоминаниях участник разведки аэродромов и их штурмовки А. Т. Череватенко, в то время старший лейтенант, а ныне полковник запаса, Герой Советского Союза: «Сперва шли на большой высоте. При подходе к цели стали снижаться с приглушенными двигателями. Над аэродромом появились настолько внезапно, что зенитки не сразу открыли огонь. По сигналу командира мы сначала обстреляли из пушек и пулеметов палатки, где, должно быть, еще спали гитлеровцы. После разворота стали уничтожать самолеты, бензосклад, штабеля боеприпасов. Штурмовики «ИЛ-2» подавляли зенитки... Противник потерял практически все, что там было».

Так же действовала и группа майора Рыкачева, штурмовавшая второй аэродром. На обеих площадках было уничтожено более двух десятков фашистских самолетов. Но «юнкерсы-87», которые накануне напали на наши корабли, базировались не тут.

Когда «ястребки» возвращались со штурмовки (очень скоро им предстояло снова подняться в воздух, чтобы прикрывать пехоту на исходных рубежах и корабли), из Крыма снова прилетели флотские бомбардировщики. Теперь они наносили удар по второму эшелону войск противника у Александровки, совхоза «Ильичевка», Гильдендорфа — вдоль всего фронта, на котором через час должна была начаться наша атака.

До района высадки 3-го морского полка капитану Безгинову добраться не удалось. Вернулись и другие катера, которые высылал к Григорьевке штаб Одесской базы: над морем рассвело и враг открывал уже у Фонтанки такой огонь, что проскочить вдоль берега не было никаких шансов. Но сведения о десанте мы уже имели. Связь с морским полком в конце концов была установлена через поддерживающие его эсминцы. Правда, она и потом действовала далеко не идеально — какие-то неувязки неизбежны, если перед началом операции гибнет, не дойдя до исполнителей, часть документов, да еще вместе с человеком, уточнявшим детали взаимодействия.

На армейском КП вздохнули с облегчением, узнав, что десант высадился, в общем, успешно, хотя доставка подразделений к берегу и затянулась до шести часов утра. Перевозить бойцов начали корабельными плавсредствами, потом подошли одесские катера. Десант, безусловно, был полной неожиданностью для противника, который не смог оказать серьезного сопротивления высадке. Пока совсём с небольшими потерями 3-й морской полк наступал на Чебанку и Старую Дофиновку. Высаживался он без артиллерии, только с легкими минометами. Но огневую поддержку обеспечивали оставшиеся в этом районе эсминцы. Корабельные корректировщики высадились вместе с десантниками, и связь тут же подводилась. Вражеская авиация в первые утренние часы над кораблями не появлялась.

Таким образом, в основном все шло как надо. Десант за Большим Аджайским лиманом уже действовал, так или иначе отвлекая внимание неприятельского командования от участка, где готовился наш главный удар. На остальном фронте под Одессой не происходило ничего особенно существенного. Начало атаки обеих дивизий было назначено на 8.00, артиллерийская подготовка — на 7.30.

Когда перед наступлением переданы кому следует последние приказания, когда остается лишь ждать минуты, в которую грянет бой, время начинает двигаться нестерпимо медленно. Особенно если ты не на наблюдательном пункте, откуда видна и слышна жизнь фронта, а должен сидеть на подземном КП и узнавать о событиях по телефону. В сентябре

сорок первого ждать вот так начала атаки было еще томительнее, чем в подобных случаях потом — не доставало привычки к наступательным боям. Мучили сомнения: все ли предусмотрено, не допустил ли в чем-то серьезных просчетов? Ведь как ни ограничены были цель и масштабы нашего контрудара, планировать и такое наступление мне еще не приходилось...

Ожидать событий до 7.30, впрочем, не понадобилось. За полчаса до этого со мной соединился полковник Коченов:

— Артподготовку начал противник...

Через минуту я был у командарма. Софронов разговаривал с передовым КП, где находились Жуков и Воронин. Они тоже сообщили об интенсивном артиллерийском и минометном обстреле наших позиций.

Потом Григорий Матвеевич Коченов делился переживаниями тех минут:

— Огонь сильный, а тут еще туман. Перемешался с дымом, и получилась такая завеса, что дышать тяжело. Снаряды рвутся и впереди, и в глубине, за второй траншеей. Мы с начартом Золотовым смотрим друг на друга и думаем: что же это значит? Разгадал враг наш замысел, решил упредить? Или просто так совпало?

Обстрел рубежей Восточного сектора, внезапно начавшийся за тридцать минут до артподготовки контрудара, заставил каждого из нас задавать себе такие вопросы. И, конечно, никто не был в состоянии тут же найти на них ответ. Могло быть и так и эдак. Как уже говорилось, противник, перейдя на этом направлении к обороне и наставив перед своими окопами проволочные заграждения, часто устраивал огневые налеты. А время от времени предпринимал атаки, похожие то на разведку боем, то на попытку прорвать на каком-нибудь узком участке фронт. Сейчас его активность могла быть и ответом на действия десанта по ту сторону Большого Аджалыкского лимана. Но кто бы поручился, что не начнется встречное наступление, специально предназначенное сорвать наше, если враг о нем прознал?

Скажу сразу же: никаких подтверждений осведомленности противника о наших планах мы не получили ни тогда, ни позже. Если же огневой налет был артподготовкой к обычной атаке, то начаться ей не дала наша артиллерия. Она подала голос в свой срок — и полевая, включая богдановский полк, и береговые батареи, и орудия кораблей. Наш огонь все нарастал, и вражеские пушки постепенно смолкли.

Потом, на разборе, помню, кто-то высказал мысль, что утренний обстрел, встревоживший нас, но не нанесший существенного урона (войска были хорошо укрыты), в конечном счете, пожалуй, даже оказался на руку: противник «преждевременно» израсходовал много боеприпасов. И действительно, огонь такой силы, открытый часом позже — после выхода пехоты из траншей; — мог обойтись нам дорого. Но тогда он был гораздо слабее.

В самом начале девятого часа утра мы уже знали, что войска поднялись в атаку на всем участке контрудара.

Первые доклады с наблюдательных пунктов были короткими и откровенно восторженными: «Пошли!.. Двинулись!.. Танки вырываются вперед...» (С танками наступала только 157-я дивизия. 421-ю мы не могли обеспечить даже одесскими «НИ»: они помогали отражать вражеские атаки на других направлениях.)

Ожидая дальнейших вестей с передовой, я завидовал товарищам, которые сейчас там и видят наступление собственными глазами.

— Фроловичу и Петрову уже сообщил? — спросил командарм. — Сообщил! Пусть порадуются.

Командиры дивизий, не участвовавших в контрударе, были уже осведомлены о нем. А многие начальники рангом ниже в Западном и Южном секторах догадывались по разным признакам (плацдарм стал тесен — все близко!), что в Восточном вот-вот что-то начнется. Некоторые из них, находя какой-нибудь повод, еще с пяти часов звонили к нам в штаб и старались окольными путями разузнать новости. К восьми, когда уже всюду гремела наша дальнобойная артиллерия, таких звонков стало еще больше. Чтобы дозвониться до командиров дивизий, пришлось приказывать кое-кому немедленно отключиться.

Моя информация генералам Воробьеву и Петрову была столь же краткой, как та, которой располагал в тот момент я сам:

— У Коченова и соседа началось: пошли в атаку! Моряки тоже наступают!..

Но, наверное, и этого было достаточно, чтобы стало веселее на душе у наших людей в тех секторах, где пока предстояло удерживать фронт без подкреплений.

Из Восточного сектора регулярно поступали новые донесения, и общая картина наступления делалась все более полной и ясной.

На левом фланге, у Томилова, оно сразу пошло быстрее. Главный удар наносил его 716-й стрелковый полк, усиленный ротой танков. Он наступал между Куяльницким лиманом и железной дорогой почти прямо на север — на Гильдендорф (Новоселовка). Другой его полк — 633-й — с приданным ему танковым взводом продвигался справа от железной дороги к совхозу «Ильичевка». Прекрасное первое впечатление, которое произвела дивизия Томилова, подтверждалось теперь в бою. Она действовала как подлинно ударная сила, и под ее натиском враг не смог устоять нигде.

На участке Коченова сломить сопротивление противника оказалось труднее. Заминка произошла у Фонтанки, где враг имел доты, превратил в укрепленные точки каменные дома. Потребовалось направить сюда больше огня и проводить повторные атаки.

А у шоссе Одесса—Николаев, между дорогой и побережьем, батальон осиповского полка — он наступал в первом эшелоне — залег перед проволочным заграждением в пять колов, прикрываемым сильным пулеметным огнем. Этой задержки, вероятно, не получилось бы, будь тут хоть несколько танков. Задержка, впрочем, была недолгой. Старший политрук Демьянов передал по цепи ту команду, что подавалась в самые трудные минуты: «Коммунисты, вперед!» И как всегда, она подняла не только коммунистов. Проволоку рубили лопатками, кидали на нее сброшенные с плеч бушлаты. Те, кто оказался впереди, забрасывали гранатами фашистских пулеметчиков. И прорвались! Преодолев трудное препятствие, моряки дружным броском продвинулись дальше. К десяти часам Фонтанка была очищена от врага. Однако правый фланг контрудара все же отставал от левого. 716-й полк дивизии Томилова, особенно вырвавшийся вперед, вскоре после полудня занял Гильдендорф, а 633-й — совхоз «Ильичевка». К этому времени полк Осипова, двигавшийся скачками, задержался у укрепленной противником высоты с отметкой 58,0. Упорный бой пришлось вести за территорию расположенного вблизи нее агрокомбината.

В 13.30 командарм признал необходимым временно приостановить наступление. За пять с половиной часов фронт контрудара очень расширился вследствие неравномерного продвижения частей, и между ними образовались слишком большие разрывы. Некоторые командиры, увлекшись преследованием противника, совсем потеряли контакт с соседом. Не успевали выдвигать на новые огневые позиции полковую артиллерию, переносить командные пункты, связь. Все это негрудно было

объяснить: войска не имели опыта наступательных действий даже в таких скромных масштабах. Однако навести порядок требовалось безотлагательно, пока нашими огрехами не воспользовался враг. Обстановка подсказывала также, что следует усилить центральный участок за счет левого фланга.

Наступление возобновилось через три часа.

А как действовал в это время морской десант?

3-й морской полк полностью использовал эффект своей внезапной для противника высадки. Смяв боевое охранение, выставленное на побережье, он стремительно продвигался по вражеским тылам. У Григорьевки моряки захватили целехонькой четырехорудийную дальнобойную батарею — одну из тех, что обстреливали Одессу. Артиллеристы в панике бросили ее, не успев даже вывести из строя орудия. А на берегу остались неубранными знаки, указывавшие границы минных полей.

Более организованное сопротивление встретил лишь батальон моряков, наступавший на Чебанку, — там находился штаб одной из неприятельских частей. Но помогла корабельная артиллерия (корректировщики шли с батальоном), и Чебанка была занята.

К восемнадцати часам поступили сообщения, что два других батальона 3-го морского полка вступили в Старую и Новую Дофиновки. Таким образом, в наших руках находился весь восточный берег Большого Аджалыкского лимана. Соединение десанта с войсками, наступающими с одесского плацдарма, стало вопросом ближайших часов.

Но если у самого десанта дела шли хорошо, то эсминцам, поддерживавшим его, пришлось туго: еще в середине дня на них обрушились сильные удары пикирующих бомбардировщиков «Ю-87». Сперва девять самолетов внезапно атаковали на огневой позиции эскадренный миноносец «Безупречный». На него было сброшено тридцать семь бомб. Искусно маневрируя, «Безупречный» избежал прямых попаданий, однако получил пробоину от близкого разрыва крупной бомбы в воде. Часть котлов и машинное отделение оказались затопленными, корабль потерял ход. На помощь ему пришел эсминец «Беспощадный» и отбуксировал в Одесский порт.

Некоторое время спустя, когда «Беспощадный» вернулся на огневую позицию и продолжал вместе с третьим эсминцем — «Бойким» — поддерживать войска на берегу, «Ю-87» (очевидно, их аэродром был где-то довольно далеко) прилетели снова. На этот раз их было уже более двадцати. К кораблям подоспели наши истребители. Два «юнкерса» они сбили, остальные мешали вести прицельную бомбежку, но отогнать от эсминцев всю стаю не смогли: вести бой на «И-16» против «Ю-87» не так-то просто, особенно если последних больше числом. И еще один корабль — «Беспощадный» — был серьезно поврежден. Он добрался до порта задним ходом, с частично затопленными внутренними помещениями, окутанный дымом пожара.

Из трех новых эсминцев, пришедших ночью из Севастополя, сохранял боеспособность только «Бойкий». Он и помог батальону десантников сломить сопротивление врага у Чебанки. Одновременно «Бойкий», установив связь с корректировочным постом «Безупречного», частью своих орудий поддерживал другой батальон. До наступления сумерек на эсминец еще несколько раз налетали пикировщики. Отбиваясь от них, он израсходовал весь боезапас зенитных снарядов и последние атаки мог отражать лишь пулеметным огнем. И все же «Бойкий», полностью выполнивший боевые задачи дня и сделавший для поддержки десанта больше всех, остался невредимым.

Не мне судить, было ли это результатом особой слаженности экипа-

жа и исключительного мастерства командира капитан-лейтенанта Г. Ф. Годлевского или же помогло то благоприятное стечение обстоятельств, которое называют военным счастьем. Кажется, моряки, как, впрочем, и летчики, верили в него больше, чем мы, сухопутчики.

Я не видел, как «Бойкий» входил вечером в порт, но говорили, что команда едва держалась на ногах от усталости. Нетрудно представить, какого напряжения стоил ей такой боевой день. Все радовались за счастливый эсминец. Однако нельзя было забывать, как пострадали два других. Обоим требовался серьезный ремонт, и моряки готовились той же ночью увести их в Севастополь.

За сутки с небольшим под Одессой и на пути к ней выбыло из строя пять кораблей. Одни навсегда, другие надолго. Таких потерь Черноморский флот еще не нес. Очевидно, для защиты от пикирующих бомбардировщиков было недостаточно тех зенитных средств, которые имелись на кораблях.

Неужели уязвимым звеном Одесской обороны окажется заменившее нам тыл море? Думать об этом было особенно обидно и горько в такой день, когда существенно улучшились наши позиции на суше.

Короткая пауза, которую пришлось сделать в развитии контрнаступления, чтобы сократить разрыв между частями, подтянуть то, что отстало, не помогла врагу закрепиться там, где мы остановились на три часа.

Отброшенный с утра уже на километры, он, как видно, еще не успел опомниться. И вскоре после того, как полки 157-й дивизии возобновили атаки, в докладах с командного пункта полковника Томилова зазвучали новые, еще непривычные тогда для нас слова:

— Противник отходит в беспорядке... Противник побежал, бросает оружие!

Сперва это относилось к левому флангу, где 716-й полк далеко продвинулся вдоль Куяльницкого лимана, затем и к центральному участку контрудара.

А после того, как у дивизии Коченова остались позади агрокомбинат и каверзная высота 58,0, памятная еще по августовским боям, враг и на правом фланге обратился в бегство.

— Теперь мы живем! Живем, батенька! — приговаривал вполголоса Георгий Павлович Софронов, склонясь над картой.

Не все получалось так, как было задумано. Становилось уже ясно, что окружить сколько-нибудь значительные силы противника не удастся. Но Приморская армия возвращала себе — за один этот день! — те рубежи между Большим Аджалыкским и Куяльницким лиманами, за которые шли ожесточеннейшие бои в конце августа, когда мы не смогли их удержать. То, что происходило сейчас, было разгромом левого крыла осаждавших Одессу вражеских войск — тех самых дивизий, которые чуть было не прорвались три-четыре недели назад к Пересыпи. Представляли ли мы тогда, еще не имея твердых надежд на подкрепления, что скоро дождемся такого радостного дня!

Преследуя противника, дивизия Томилова через два часа после возобновления атак вышла на рубеж хутора Шевченко и расположенных к востоку от него высот. Дивизия Коченова овладела районами совхоза имени Ворошилова, Вапнярки, Александровки.

Мы понимали, что, пока неприятель не перебросил на это направление свежие части, можно, развивая достигнутый успех, продвигаться дальше. Однако командарм Софронов меньше всего был склонен неосмотрительно увлечься подобной возможностью. Так же относился к этому и я. Оттеснив врага на восемь—десять километров, выбив его с позиций, откуда обстреливались город и порт, войска выполнили поставленную им

задачу. Идти дальше означало расширять еще больше фронт Восточного сектора обороны. А ведь удерживать его предстояло по-прежнему одной дивизией Коченова — дивизия Томилова нужна была на других направлениях, чтобы потеснить противника там. Поэтому 157-й дивизии было приказано с наступлением темноты прекратить преследование неприятельских частей. К этому времени между 633-м полком и его правым соседом опять образовался большой разрыв, который следовало ликвидировать как можно быстрее. В двадцать три часа войскам было передано боевое распоряжение, где указывалась новая линия обороны. Она начиналась по ту сторону Большого Аджалыкского лимана, за Новой Дофиновкой (удерживать Старую Дофиновку и Чебанку, через которые прошел десант, задача не ставилась), и пролегла затем севернее Александровки и Гильдендорфа, сохраняя между лиманами дугообразную форму нашего прежнего переднего края. Территория одесского плацдарма увеличивалась примерно на сто двадцать квадратных километров.

Ночью моряки Осипова встретились со своими товарищами из 3-го морского полка. Он включался теперь в дивизию Коченова — вместо 54-го Разинского, который наконец-то можно было (это мы сделали через несколько дней) полностью вернуть в Чапаевскую дивизию. Ночью же началась замена на достигнутых при контрударе рубежах полков 157-й дивизии. Они отводились пока в Нерубайское и Усатово, с тем чтобы затем занять участки в Западном и Южном секторах.

Новые заботы, связанные с перегруппировкой войск, необходимость вникнуть в положение дел на тех направлениях, от которых в известной мере отвлекла внимание организация контрудара, — все это мешало по-настоящему осмыслить события 22 сентября. Но на душе было празднично. Я говорю о себе, но то же чувствовали и все приморцы. Еще бы! Осажденная Одесса показала, что она не только неприсутна для врага, а способна и атаковать, разгромить и отбросить назад целые дивизии. В штабе все сходились на том, что 13-ю вражескую пехотную дивизию мы на этот раз, по-видимому, доконали. И действительно, в дальнейших боевых действиях под Одессой она практически не участвовала. Досталось и 15-й пехотной, хотя она, вероятно, понесла относительно меньший урон. Точно определить, что потерял противник за день контрудара, было, конечно, невозможно. Нашим командам пришлось похоронить около двух тысяч румынских солдат и офицеров, оставшихся убитыми на территории, с которой мы вытеснили врага. Несколько сот человек сдались нам в плен.

Через день в частях читали приказ войскам Одесского оборонительного района, подводивший итоги контрудара. «Только по предварительным данным, — говорилось в нем, — дивизии захватили трофеи: разных артиллерийских орудий — 33, станковых пулеметов — 110, автоматов и ручных пулеметов — 113, минометов — 30, винтовок — 1150, мин — 15 тысяч, снарядов — около 4-х тысяч...»

Этот перечень был далеко не полным. В приказ не попали шесть трофейных танков. Орудий в конечном счете оказалось тридцать восемь, а винтовок — более двух тысяч. Сбором трофейного имущества несколько дней занимался батальон выздоравливающих. Многое сразу же находило применение. Армии не хватало, например, телефонного кабеля (производство его, организованное в Одессе, давало слишком мало), и в хозяйстве майора Богомолова оказались нелишними сто километров провода с неприятельских линий связи.

О поражении, нанесенном на подступах к Одессе двум румынским дивизиям, о взятых трофеях оповестило страну Совинформбюро. Но, разумеется, еще до этого узнал о победе своих защитников наш город.

Тракторы-тягачи прооуксировали по главным одесским улицам захваченные у Большого Аджалыкского лимана дальнобойные орудия. На их длинных стволах и броневых щитках бойцы написали мелом: «Больше стрелять по Одессе не будет!» Этот своеобразный парад принимал весь город — на улицы высыпал стар и млад. Идея показать одесситам орудия, принесшие им столько бед и горя, принадлежала, кажется, дивизионному комиссару Воронину. Наверное, это был самый красноречивый способ отчитаться перед горожанами о том, что удалось сделать. И Одесса выражала свою радость темпераментно, горячо.

Обстрел города, порта и подходов к нему с северо-востока прекратился полностью. В этом и заключался главный результат сентябрьского контрудара. Вытеснение врага с побережья Одесского залива, откуда он распространил блокаду и на наши морские тылы, положило конец такому положению, когда каждое судно еще на пути к нам оказывалось под артиллерийским огнем. У противника, правда, сохранялась возможность обстреливать Одессу с юга — из-за Сухого лимана, а также с запада — со стороны Дальника. Но оттуда он стрелял по площадям, не видя целей. Это казалось уже не таким страшным после того, как город избавился от губительного огня, корректируемого с побережья и с высот между северными лиманами. А до порта, как и до района Пересыпи, снаряды с той стороны практически не долетали.

Почти двое суток не было обстрела и с юга. Наши разведчики докладывали о перегруппировке частей 4-й румынской армии. Еще 22 сентября противник начал спешную переброску резервов на восточное направление, явно опасаясь, что наше наступление там будет продолжаться. Атаки врага в других секторах не прекратились, но стали как-то неувереннее. Об отдельных участках фронта в дивизионных оперсводках впервые за долгое время говорилось: «День прошел спокойно».

Но если наш контрудар и вызвал в неприятельском стане некоторое замешательство, это не могло служить поводом ни для каких иллюзий. Рассчитывать на то, что теперь оборонять Одессу станет значительно легче, не было оснований. Ведь соотношение сил противника и наших, с учетом пополнивших Приморскую армию 157-й дивизии и 3-го морского полка, выражалось более или менее точной формулой: четыре к одному.

Контрудар 22 сентября навсегда остался для меня одним из тех событий первого периода войны, которые, вопреки тогдашнему тяжелому положению на Юге (об остальном фронте мы знали меньше), укрепили веру в близящийся перелом. В этом смысле скромный вообще-то боевой успех, достигнутый в Восточном секторе, как бы перерастал масштабы Одесской обороны.

Операция, проведенная с целью улучшить обстановку на правом фланге нашего плацдарма и избавить город и порт от изматывающего артиллерийского обстрела, сыграла свою роль также в дальнейшем развитии совместных действий армии и флота.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Г. КОЗЛОВ

★

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Э то был редкий случай. На заводе из числа введенных в новую систему планирования я не услышал жалоб на свое министерство, на снабженческие и сбытовые организации, на неожиданные корректировки планов. И завод-то не из легких. Ежедневно через его цехи протекает 14 миллионов объектов производства — от уникальной фрезы и уникального станка до миллионных партий сверл, фрез и метчиков. Завод потребляет ежемесячно и ежедневно 1200 сортов и размеров сталей, не считая огромного количества «прочих материалов». У него — сотни поставщиков и тысячи потребителей, рассеянных по всей стране. У него, как у любого, впрочем, московского предприятия, вечно не хватает рабочих рук и, разумеется, как у любого предприятия вообще, несчетное множество нерешенных внутренних проблем. Так вот, о внутренних проблемах здесь говорят, ничего не скрывая, а на внешние не жалуются. Даже в том случае, когда министерство неожиданно вносит коррективы в уже утвержденный план. Завод тогда обосновывает необходимость дополнительных расходов на организацию производства. Министерство этому обоснованию верит и возмещает все затраты.

Как-то летом прошлого года завод принял от министерства для очень важной отрасли промышленности очень сложный, очень срочный и, конечно же, очень ответственный заказ на партию нестандартного режущего инструмента. В заказе, как водится, был оговорен срок исполнения — за квартал столько-то единиц общей стоимостью такой-то. Прошел месяц, и очень важный заказчик обратился в министерство с жалобой на завод: «Мы на них давим, а они не поставляют, только обещают. Но мы-то не лыком шиты, и цена обещаниям нам известна».

Стояло жаркое лето — время отпусков, особенно острого дефицита рабочей силы и неизбежного снижения производительности труда. В министерстве забеспокоились, и на завод прибыли проверяющие на самом высоком уровне. Прибыли с твердым намерением уличить и заставить. Сразу же выяснилось, что директор «не в курсе дела» и настроен не по ситуации благодушно. Заказ, видно, идет нормально. Если что-то не так, он, директор, знал бы. Ему бы доложили. А раз не докладывают — значит, все в порядке. И без тени беспокойства на лице стал ждать начальника планово-производственного отдела. Тот, придя в директорский кабинет, тут же заявил, что он лично контролирует прохождение заказа, и насколько ему известно, еще вчера дело шло нормально. А впрочем, можно сказать через десять — пятнадцать минут, как идет дела сегодня. И тоже присоединился к ожидающим.

Действительно, через десять минут пришел начальник вычислительного центра, положил на стол табуляграмму и принялся не торопясь ее комментировать: столько-то единиц заготовлено, столько-то прошло первую механическую обработку, вторую и третью. Сколько-то ящиков уже упаковано и готово к отправке. Смотрите сами: все известно до шулки и до копейки. Проверяющие бумажке не поверили и в сопровождении заводского руководства отправились в цехи. Все было так, как в табуляграмме.

До штуки и до копейки. И еще выяснилось, что завод затратил на подготовку нового производства очень мало времени. Остается только добавить, что ему был выгоден этот дорогой заказ — предприятию в целом и каждому исполнителю в отдельности. Пришлось кое-кому серьезно поработать, но ведь и заработали неплохо.

Имена почти всех действующих лиц этой маленькой истории можно отыскать в списке работ по науке и технике, представленных к Государственной премии. Это директор завода «Фрезер» Павел Петрович Сливин, начальник заводского информационно-вычислительного центра Федор Иванович Рудник и Николай Михайлович Киселев — начальник планово-производственного отдела в ранге и в правах заместителя директора. Слову и добросовестности этих людей нельзя не верить. И не по каким-то там метафизическим соображениям об особых свойствах их души. А потому, что каждый из них знает все, что нужно знать о производстве, которым они руководят, и знания их опираются на автоматизированную систему управления предприятием. Они эту систему создавали вместе с научными сотрудниками Инженерно-экономического института имени Орджоникидзе шесть долгих лет. За то и представлены к Государственной премии.

Если директор «Фрезера» заявляет в министерстве, что завод готов принять дополнительный заказ или что он, директор, готов нести любую ответственность за правильное использование материалов, поставляемых с месячным опережением исключительно «Фрезеру», его решение, будьте уверены, всесторонне обосновано. Несомненно, как и в любом смелом хозяйственном решении, в нем заложена некоторая доля риска. Но директор знает — в случае ошибки автоматизированная система управления поможет ему в кратчайшие сроки определить наиболее выгодный вариант выхода из критической ситуации. Для этого директор «Фрезера» ее и создавал.

Павлу Петровичу Сливину уже под шестьдесят. Он начинал администраторскую карьеру в промышленности мастером, прошел все ступени руководства на машиностроительных заводах и стал директором «Фрезера» лет десять назад. По существу решения, которые он принимает, субъективны. Но они продиктованы богатейшим опытом, нажитым на производстве, и потому, как правило, безошибочны. А кроме того, Сливин наделен еще и недюжинной силой воли, так что решения его непременно выполняются на заводе.

Ныне все мы ополчились на субъективизм хозяйственных решений, который в самом деле наносит подчас весьма существенный ущерб экономике. И правильно: ущерб терпеть нельзя. А вот субъективизм управляющего материальным производством, необходимость и умение принимать самостоятельные решения будут существовать столько, сколько просуществует единственно известная нам структура управления, сколько будут сосуществовать и взаимодействовать начальник и подчиненный, руководитель и коллектив.

По данным статистики в Советском Союзе больше сорока тысяч промышленных предприятий. На каждом есть директор с заместителями, главный инженер, начальники служб управления и мастера цехов. Иначе говоря, больше десяти миллионов человек ежедневно и по несколько раз в день принимают самостоятельные решения, от которых в конечном итоге зависит материальное благополучие общества.

Та же статистика утверждает, что в Советском Союзе 56 процентов работающего населения имеют высшее и среднее образование, в наших вузах обучается в три с половиной раза больше студентов, чем в Англии, Франции и ФРГ, вместе взятых, в органах планирования и управления предприятиями 80 процентов — инженеры и техники.

Но давайте попробуем несколько детализировать общие статистические сведения.

Среди двух с лишним тысяч руководителей «среднего звена», обследованных социологами Института философии Академии наук на двух крупнейших машиностроительных заводах Москвы и Харькова, около 40 процентов молодых людей в возрасте двадцати четырех — тридцати девяти лет. Это, за редким исключением, люди со специальным средним и высшим образованием. И вот ведь какая неожиданность: почти все они заявили о недостатке теоретического багажа как о главном, что мешает им работать.

Принято считать само собой разумеющимся, что каждый инженер еще в школе и в институте, кроме общего образования и технических знаний, получил достаточную сумму сведений о принципах организации производства, о нормах социалистического общежития и коммунистической морали. Ночью его разбуди, и он без запинки ответит, что есть демократический централизм и как он должен осуществляться в руководстве предприятием.

Но в том-то и беда, что у молодого специалиста между «знать» и «уметь» всегда существует разрыв. В области техники и технологии производства он может преодолеть этот разрыв с помощью многотомных и многотиражных изданий различного рода справочников и руководств. Их рекомендации покоятся на солидном материале, компактно уложенном в математические формулы, в таблицы и схемы. Этот материал проверен тысячами лабораторных и эксплуатационных испытаний. В технических справочниках и руководствах начинающий специалист найдет все или почти все практически необходимые ему сведения. Так что вряд ли инженеры станут жаловаться на недостаток инженерных знаний. Речь идет о другом.

У мастера, у начальника цеха и директора, которые организуют труд десятков, сотен и даже тысяч людей, должностная инструкция едва ли не единственный мостик от знания методов руководства к умению руководить. Это, конечно, преувеличение, но не слишком уж большое. В том же социологическом исследовании замечено, что руководители цехов и отделов тратят по десять и больше лет на один шаг вверх по служебной лестнице. Умение руководить людьми, знание законов организации человеческих отношений в процессе производства они наживают только долгим и трудным опытом.

Десять лет, потраченные ради шага на одну ступень,— не слишком ли долгов срок : не слишком ли дорога цена формирования администраторов? И, наконец, можно ли полагаться на опыт как на единственный источник знания? Опыт-то ведь бывает всякий.

Как раз на одном из обследованных социологами предприятий произошла история, которую я постараюсь передать в том виде, в каком сохранил ее заводской фольклор.

Лет пятнадцать назад на завод был назначен новый директор — еще молодой, огромного роста, басовитый. И он повел себя сразу же, как медведь в малиннике, — хруст да треск пошел по заводу. Директор ломал устоявшиеся привычки, сокрушал поколениями освященные традиции. Плохие они были или хорошие — все равно он не мог или не хотел к ним приспособиться. И в сквозной этой ломке более всего доставалось начальнику одного из основных отделов заводоуправления. Директор поносил его при всех и с глазу на глаз, осыпал замечаниями и выговорами, обрывал, не давая оправдаться.

Долго ли, коротко так продолжалось, но однажды в разгар рабочего дня в кабинет к «самому» вдруг один за другим явились все руководители цехов и служб.

— Кто вас вызвал? — удивился грозный директор.

— Я вызвал, — ответил преследуемый им начальник отдела. — Я хочу тебе сказать при всех, что я о тебе думаю и каков ты есть.

Директору все говорили «вы», в том числе и те, кому он по-начальнически «тыкал». Однако это неожиданное «ты» подчиненного было в его речи не самым обидным словом. Окончив говорить, он бросил директору заявление об уходе. Тот припечатал смятую бумажку огромной ладонью к сукну стола и неожиданно спокойно заявил:

— Обсуждать нечего. Прощу вас, товарищи, разойтись по рабочим местам. — А своему обличителю, когда они остались одни, он сказал: — Ну что ж, дорогой друг, теперь я вижу, мы с тобой сработаемся. Слабаки мне не нужны, а ты трепку выдержал достойно... Говорят, у тебя квартира плоховата?..

Этот директор был в ранней молодости боксером и применил, как он сам тут же доверительно признался, прием, которым пользовался его тренер, обламывая новичков. И начальник отдела остался на заводе, и работал до пенсии, и ушел с почетом. Весьма вероятно, что на заводе еще работают другие воспитанники этого директора. И пользуются его дремучей методой воспитания. Или, сломленные ею, довольствуются ролью усердных исполнителей.

В самом деле, моральная ломка как метод воспитания неизбежно приводит к подмене коллектива руководителей-сотрудников группой более или менее добросовестных подчиненных, подобных, по определению Норберта Винера, евнухам в гареме идей, с которыми обвенчан их султан. То же социологическое обследование показало, что удовлетворенность степенью самостоятельности работы у цеховых администраторов завода, которым управлял боксер-директор, прибывает со стажем и особенно заметна с возрастом. Полностью удовлетворены степенью самостоятельности своей работы только пятидесяти-шестидесятилетние. Мало того, три четверти из них считают к тому же недостаточной помощь вышестоящего руководителя. Что это — следствие ли растущего доверия к их опыту и знаниям или постепенно укореняющаяся в них привычка к регламентации?

Когда я познакомился с тем директором, он был уже начальником главка. Ничто внешне не изменилось в нем. И осанка спортсмена и бас остались прежними. Разве что появилась седина в боксерском «бобрике». Мне часто приходилось встречаться с ним по служебным делам, наблюдать его в острых ситуациях на заседаниях коллегии, в беседах с директорами и другими руководителями предприятий, «заваливших» план. Он был неизменно вежлив и внушительно спокоен. Он требовал, но был всегда готов помочь. Значит, процесс самосовершенствования окончился для него, как, впрочем, и для большинства его коллег, благополучно. И не стоило бы разводиться по этому поводу туры на колесах, если бы до эпизода его биографии, сохраненного заводским фольклором, он уже не директорствовал бы несколько лет на другом предприятии. И после он был директором еще на одном заводе. А уж потом стал начальником главка. Об этом стоило вспомнить потому, что спустя пятнадцать лет в другом городе и на другом заводе мне пришлось столкнуться с подобной же ситуацией, не достигшей еще благополучного завершения. Что это — следствие случайного стечения обстоятельств или же неизбежная закономерность, своеобразная болезнь роста, что ли? А коли так, то это болезнь небезопасная, чреватая осложнениями.

И, наконец, самое главное, почему и для чего затеян весь этот разговор.

В нашей промышленности 60 процентов административного персонала — это люди за пятьдесят, а то и за шестьдесят лет. Значит, в ближайшие пять — десять лет, если оценивать потребность по методике НИИ Труда, предприятия примут на руководящую работу до полутора миллионов специалистов. Тридцати- и сорокалетние инженеры займут должности директоров, заместителей директоров, начальников цехов и участков, старших мастеров и мастеров. Но это только замена. А нужен еще «задел». Иными словами, требуются еще кандидаты на постоянно открывающиеся вакансии. Хоть по два на место. Так что цифра эта должна быть увеличена вдвое. Три миллиона — вот какова, если считать по методике НИИ Труда, будет минимальная потребность промышленности в руководителях разного ранга и масштаба.

Методика института, однако, не считает командирами производства главных специалистов, то есть главного технолога, главного механика, главного конструктора и других, возглавляющих службы управления предприятиями. А ведь именно из них, по данным американской социальной статистики (своей, к сожалению, не разыскал), половина становится директорами предприятий и управляющими фирм. Выходит, что и число три миллиона надо увеличить еще на 25 процентов. И надо прибавить к полученному результату еще и сумму потребности в администраторах, вызванную плановым ростом производства. К тому же, заметим, они требуются не только в промышленности, но и на транспорте, в строительстве, в торговле. Да и в сельском хозяйстве потребность в квалифицированных руководителях ощущается не менее остро (об этом писали в «Новом мире» — № 1 с. г. — А. Волков и Г. Лисичкин)

Итак, промышленность наша накануне большой смены. К руководству идут молодые. Такие, например, как Владимир Максимович Ляшенко, директор среднего завода в среднем городе на промышленном востоке Украины. Это его история еще не достигла благополучного завершения.

Владимир Ляшенко окончил институт восемь лет назад. Из них четыре года он был главным инженером на Краснодарском заводе железобетонных изделий и более года на нем же директорствует. Год руководства предприятием закончился для Вла-

димира Максимовича весомым хозяйственным успехом и тяжелым конфликтом с ближайшими сотрудниками. О том и о другом сразу же стало известно. О третьей республиканской премии заводу — из местной газеты. О конфликте — из жалобы, посланной одновременно в несколько высоких инстанций. В жалобе сообщалось, что В. М. Ляшенко уволил, или неосновательно понизил в должности, или оскорбительными действиями и угрозами заставил уйти с завода нескольких человек — в основном руководителей цехов и отделов. А остальных запугал до онемения.

Кто же он такой, В. М. Ляшенко, — многообещающий ли руководитель или персонаж одного из тех фельетонов о любителе «грубого администрирования», что нередко появляются в газетах? Вот он сидит по-хозяйски прочно и спокойно за приставным столиком у стола секретаря партбюро. Коренастый, круглолицый, рано располневший. У него, я знаю, сердце не в порядке. В прошлом году дошел до предынфарктного состояния, и почти два месяца больничная палата служила Краснодонскому заводу ЖБИ директорским кабинетом.

— Вот ведь какой! — говорили мне инициаторы жалобы — бывший начальник отдела снабжения Щуров и главный механик Самотугин. — Все сам. Помрет, а не доверит.

На заседании заводского партбюро речь идет как раз о доверии. Членам партбюро предстоит решить, может ли Самотугин впредь оставаться на посту главного механика или пора привести в действие директорский приказ, сочтя месячную отсрочку увольнения достаточной.

В руках у Самотугина — повторный акт инспектора котлонадзора. В разгар зимы было опечатано на заводе три паровых котла из пяти и два подъемных крана из четырех в связи с аварийным их состоянием и вопиющими нарушениями правил эксплуатации.

— Сделано... еще не сделано... невозможно сделать!.. — комментирует главный механик многочисленные указания инспектора.

Текут монотонно минуты.

Вдруг Ляшенко взрывается:

— Да что же это такое, Леонид Иванович? У вас же тридцать человек в штате, мы же вам свесх всяких возможностей главного энергетика и чертежника дали в помощь. Ну сосчитайте, товарищи! — Директор с трудом удерживается от крика. — Тридцать человек на восемьдесят дефектов в ведомости котлонадзора и полгода сроку на исправление! А он же и половины до сих пор не сделал. Да где же гарантия, что он сможет работать дальше?

— Какие это тридцать человек... — парирует Самотугин. — Какие это тридцать человек, если нам с Тихоным приходится держать в отделе комбинезоны? Говоришь им, говоришь, а потом наденешь комбинезон и лезешь сам.

— Руководить надо, а не лезть везде самому! — уже кричит, собою не владея, Владимир Максимович, но, остановленный председательствующим, осекается, тяжело дыша и багровея.

Давайте и мы остановимся на этой директорской реплике. потому что, мне думается, самотугинский комбинезон символически присутствует во всех кабинетах заводоуправления. Он, можно сказать, главный виновник служебных и личных катастроф, которые постигли авторов жалобы, и, наверное, во многом причина сердечной болезни ее объекта.

Когда я попросил Ляшенко охарактеризовать Самотугина, то услышал примерно следующее:

— По-моему, он хороший парень и опытный механик. Но организатор — никакой.

Когда я попросил Самотугина рассказать, как он стал главным механиком, то услышал обычную историю.

Учили человека в ремесленном быть рабочим. Учили в техникуме быть техником. Но не учили быть руководителем. И потому при каждой неурядице привычно просится умелые рабочие руки Самотугина в рукава комбинезона.

Принять пост руководителя службы управления заводом — не значит сменить или, не дай бог, утратить благоприобретенную специальность. Напротив, механик, став

главным механиком, должен знать машины лучше своих подчиненных. Снабженец, став начальником снабжения, обязан ориентироваться в хитросплетении коммерческих связей, как никто другой в его отделе. Вместе с тем стать администратором — значит сменить прежний масштаб мышления на более широкий, во всей полноте ощутить и накрепко усвоить новую меру служебной и моральной ответственности. Для этого, разумеется, нужны особые личные качества. Но только длительная практика может выявить их у заводского специалиста. Выявить и выработать.

У обиженных помощников Ляшенко администраторский стаж не превышает года — полутора лет. У самого директора — около пяти. Если вспомнить, что практика только через десять лет дает необходимые навыки и умение, можно сказать, что их искус только начался. И вот сидит у меня в номере краснодонской гостиницы поздним вечером бывший заместитель директора Краснодонского завода ЖБИ Юрий Григорьевич Никольский, человек молодой, представительный, и недоумевает:

— Ну, ошибся я. С кем не бывает. Но зачем доходить до этих экстазов?!

А ошибку он и бывший начальник отдела снабжения Василий Иванович Щуров совершили на удивление одинаковую и непростительную, хотя оба разные — и по возрасту, и по житейскому опыту, и по темпераменту.

Василию Ивановичу Щурову далеко за сорок. Семьянин и домосед Щуров, не сумев в критический момент обеспечить завод лесом, исправил на билете дату возвращения в Краснодон и отсиживался от неприятностей дома. Юрию Григорьевичу Никольскому чуть-чуть за тридцать. И он, не сумев в тот же критический момент обеспечить завод цементом и щебнем, тоже убоился ответственности, но, более склонный к легкомысленным поступкам, загулял в Киеве у родни.

Тут, наверное, пора ознакомиться с ситуацией, в которой разворачивались драматические события конца прошлого года. Краснодонский завод ЖБИ в то время находился, да и сейчас, пожалуй, пребывает в неустойчивом равновесии. Малейший крен, легкий толчок могут вернуть его в состояние хронического отставания и хаоса, в котором он находился почти все десять лет со дня своего рождения. Такой крен едва не возник в конце прошлого года, и молодой директор, зажмурив глаза, дабы их не застлало слезами жалости, «рубанул» по балласту, грозившему все опрокинуть. Ему не удалось ни осмыслить, ни даже разглядеть последствий отсекающего удара: пришлось тотчас же собственными плечами выправлять крен. Короче говоря, цемент и щебень достал в долг у ближайших соседей сам Ляшенко. Достал всего понемногу, но этого хватило заводу, чтобы перевыполнить план и получить уже обещанную коллективу республиканскую премию.

Итак, пять лет администраторского стажа, а не год и не полтора — и выкристаллизовалось у Ляшенко высокое чувство ответственности за завод. Но обратите внимание: спас-то предприятие и авторитет директорский Владимира Максимовича, спас все тот же символический самотугинский комбинезон. Стало быть, директор, как и его главный механик, не посвящая в трудную науку формирования работоспособного коллектива. И реплика Ляшенко: «Руководить надо, а не лезть везде самому» — лишь затверженное правило, за которым в самом деле не сыщешь наработанной или систематизированной направленного воспитания техники управления людьми.

И тут снова необходимо вернуться к разъяснению создавшейся ситуации.

Начнем с того, что за первые пять лет существования Краснодонского завода железобетонных изделий на нем сменились пять директоров. Имен и фамилий не припоминают, потому что все пятеро никаких следов созидательной или какой-нибудь иной деятельности после себя не оставили. Вот только разве Тищенко. Этого помнят. Директорствовал два месяца и похитил что-то больше десяти тысяч рублей. После Тищенко завод оказался уж совсем в аварийном состоянии, хоть закрывай. И тут появился на нем один из наиболее долговечных и, по общему мнению, первый из удачных директоров — Николай Михайлович Юнда. Его называют воспитателем Ляшенко. И не без оснований. Именно Николай Михайлович взял вчерашнего выпускника инженерного вуза на должность главного инженера и четыре года вместе с ним «вытягивал» завод, погрязший в разрухе и запустении. Юнде приходилось все брать на себя и приходилось быть жестоким. Это ведь аксиома: на традиционно плохом предприятии

люди не знают строгой производственной дисциплины, на такое предприятие не идут по своей воле квалифицированные, внушающие к себе уважение специалисты. Кстати сказать, сам Юнда был послан туда по партийной мобилизации, был прорыв. Так что можно себе представить, как и в каких условиях протекал процесс воспитания Ляшенко. На четвертом году, вспоминает Юнда, ему уже приходилось удерживать своего главного инженера от грубости и от ненужных конфликтов с людьми. Видимо, делал это Николай Михайлович с присущей ему энергией, потому что Ляшенко трижды подавал директору заявление об уходе с завода.

— Я ему в последний день все три достал из сейфа,— чуть улыбаясь, говорил мне Юнда.— На, работай и помни, как мы работали вместе.

И Ляшенко запомнил. Иного опыта нажить ему не удалось. Практика на его глазах то и дело отрывалась от теории. Какие уж Владимир Максимович делал из того практические выводы внутренне для самого себя, одному ему известно. И все же видно, что Ляшенко работает для предприятия, себя не жалея. Работает, как может, как умеет, и хочет работать лучше. И не вина, а беда его, что нажитый опыт уводит в сторону с прямой дороги.

Вслед за отстранением несправившихся или неспособных произошел, не мог не произойти, на заводе взрыв страстей, но он не причинил видимого ущерба предприятию. Напротив, он как бы сдвинул с мертвой точки производство и обнажил пласты резервов. А дальше? Дальше нужны заводу силы для равномерно нарастающего движения вперед. Силы не лошадиные, как локомотиву, рывком взявшему тяжелый состав, но многие силы человеческие — интеллектуальные, действующие в добром согласии и в одном направлении. Понимает ли это молодой директор? Думаю, что понимает. Но, выручив однажды завод удачной снабженческой операцией, Ляшенко приобрел уверенность в том, что каждый заводской руководитель должен быть снабженцем. Директор — в масштабе завода, главный механик — в масштабе своей службы. Ему еще предстоит на горьком опыте убедиться, что смешение функций управления порождает хаос на производстве и безответственность управляющих. Но это впереди, а пока сегодня самая острая потребность — помощники. От них зависит не только благополучие предприятия, не только успех служебной карьеры Ляшенко-директора, но буквально жизнь и смерть Ляшенко — человека и отца семейства, потому что тянет он воз из последних сил, надсаживая уже подорванное здоровье.

Итак, Ляшенко ищет и воспитывает помощников, старается делать это по всем правилам. А выходит черт-те что.

Есть ходячий тезис, непререкаемая истина — выдвигай молодых специалистов. Вот как это получается у Владимира Максимовича. Ляшенко-инженер видит несовершенство производства в столярном цехе и задумывает наладить там поток. Ляшенко-директор понимает, что практику Насонову задача такая не по силам. Надо заменить. Кем? А вот он, мастер Обляков,— недавно окончивший инженер.

— Решение мы приняли на планерке,— рассказывает Владимир Максимович.— Обляков горячо выступал, говорил о том, как можно наладить работу в цехе. Видим: хочет человек работать. Поверили, поставили...

Теперь Обляков снова мастер в том же цехе. А инициатор его назначения открещивается:

— Я к этому делу никакого отношения, как видите, не имею. Вот сам Обляков и написал на себя.

В акте комиссии сказано, что цех под руководством молодого специалиста выполнил план на 49 процентов и перегнал в отходы уйму древесины. И подпись Облякова в числе других, и вот он сам — потерявшийся, испуганный, сбитый с толку. А директор считает, что поступил, как и положено по правилам поступать директору,— не в лоб, а дипломатически, не единолично решил судьбу человека, а с помощью общественности.

Судьба Облякова была уготована и нынешнему начальнику цеха Алиму Ивановичу Григорьеву. Но к этому случаю подходит третья готовая формула: отдал приказ, требуй исполнения, но не вмешивайся в действия подчиненного.

Намеченная программа, говоря словами Ляшенко, осуществлялась в такой последовательности:

— Мы его заставляли. Он не делал. Мы его избивали.

Фраза эта была сказана скороговоркой, вскользь, между другими в долгом разговоре. Но она занозой засела у меня в памяти рядом с другой такой же, относившейся к человеку, по мнению директора, способному: «Его допугать — он работать будет».

Это было как маска злодея из древней трагедии, неожиданно надетая на добродушное Ляшенкино лицо. А оно не потеряло еще в житейских передрягах ни юношеской округлости, ни открытой улыбки. Вне службы — это даже недоброжелатель, утверждающий — Владимир Максимович — компанейский парень и добрый человек. Так что маска взята из того же набора затверженных формул: «будь строг, не панибратствуй и требуй неотступно».

Вот с такой-то маской на лице и «допугал» директор Григорьева до заявления об уходе с завода. И только увидев, что ошибся, что выбрал неверную линию поведения, поступил в самом деле как директор. Отправил начальника цеха учиться на хорошо налаженное производство. Объединил «лесопилку» со «столяркой», дав таким образом Алимю Ивановичу в помощь мастеров и расчистив путь поточному производству. Прикрепил к объединенному цеху на время наладки потока влиятельных шефов — главного инженера и начальника производства.

Как видите, Ляшенко действует не по злему умыслу, он просто дилетант еще в директорской своей должности, хотя и подает надежды стать в будущем настоящим администратором. Весьма вероятно, что этот процесс пошел бы скорее, не будь Владимир Максимович окружен, за редким исключением, такими же дилетантами, как он сам. А где ему взять готовых специалистов-администраторов и где гарантия, что принятый им на работу руководитель сможет быть таковым?

Я прошу заранее извинить меня за такую параллель, но мы — нынче все сплошь владельцы домашней и рабочей техники — не берем ее без гарантии надежности и безотказности, скрепленной авторитетом изготовителя, и желательно уже известного нам. Так же, принимая на работу инженера или просто сварщика, его будущий начальник обязательно потребует диплом. Да еще посмотрит, какое учебное заведение гарантирует служебную пригодность специалиста. Да еще возьмет его с месячным испытательным сроком, по истечении которого можно предъявить рекламацию и взять на испытание другого.

Для администратора существует лишь одна гарантия: «Уже был на руководящей работе». И месячного срока для выяснения его служебного соответствия ей как мало. С такой порукой надежности люди поопытней и постарше Ляшенко и возрастом и чинами сплошь да рядом ошибаются в выборе. Свидетельство тому — бесконечная смена директоров на Краснодарском заводе ЖБИ, происходившая до Юнды и Ляшенко. Кстати, сейчас они оба — руководители соседних самых крупных в городе предприятий, обеспечивающих деталями строительство. Один давно директор, второй недавно, но оба одинаково ошибаются в выборе помощников.

Владимир Максимович не ужился со своим главным инженером Тананакиным. До сих пор поминает его недобрым словом. Николай Михайлович доволен своим главным инженером Тананакиным. А до него эту должность занимал у Юнды Токарев, который ушел с поста главного механика от Ляшенко. С конца прошлого года Токарев — на прежнем месте, но в должности инженера по технике безопасности и, между своими говорили, снова будет главным механиком. Вместо Самотугина. А главным инженером у Ляшенко сидит нынче бывший главный инженер Горпромкомбината Сиротенко, который до того был у него же начальником цеха. Сиротенко расстался с заводом после громкого скандала с директором, вызванного, как оба они говорят, упрямым нежеланием нынешнего главного инженера блюсти интересы предприятия. Почему вернулся? Уговорили!

И в самом деле уговаривают. Всех уговаривают. По несколько раз. Словом, идет вокруг двух краснодонских предприятий строительной индустрии и внутри обоих колдование дилетантов. Иначе не назовешь.

Решив проверить свои наблюдения у знающих людей, я рассказал обо всем, что видел и слышал в Краснодаре, заведующему отделом строительства Луганского обкома КПУ Юрию Михайловичу Чумакову.

— Все верно,— подтвердил Чумаков.— Ляшенко директор перспективный. Но живется ему трудно. Подходящих людей в Краснодаре действительно не хватает. Поэтому и перестановки. А где их взять, подходящих людей?

Действительно, где их взять? Этот сакраментальный вопрос мне доводилось слышать не только в Краснодаре и Луганске. С той же острой безысходностью задают его и в Москве.

Обувная фирма «Заря» открывает филиалы в шахтерских городках Тульской области. Рабочих учат в Москве. Подыскивают им частные квартиры, снимают углы. Игра стоит свеч. А вот администраторов для фабрик-филиалов найти не могут. И нужен-то ведь не бог весть какой бизнесмен. Все дает фирма своему дочернему предприятию — и технологию, и оборудование, и сырье, и модели. Снабжение и сбыт обеспечиваются из центра. Нужен не экономист, не технолог даже. Ищут организатора, ищут человека, который сумел бы создать из обученных уже людей работоспособный коллектив. Для одного филиала такой сыскался. Бывший учитель стал управляющим. Фирма довольна: попался человек со знанием психологии, с умением расположить к себе людей. Повезло!

В другом филиале все готово к пуску. Реконструировано помещение, смонтированы машины, обучены рабочие. Нет руководителя. И пока нет, ездят туда из Москвы командированные, временные. Разве это дело?

В том же положении оказался и Кунцевский игольно-латинный завод, открывший и оснащенный филиал в Калужской области. Целый год был практически без директора крупнейший в Москве станкостроительный завод имени Орджоникидзе. А что касается руководителей цехов, служб управления и мастеров, то здесь не счесть вакансий. И вообще потребность в руководителях «среднего звена» не учитывается. Кто будет ее удовлетворять?

Сейчас вряд ли найдешь специалиста, который возьмется утверждать, что администратора учить не надо, что хозяйственный руководитель — это не профессия, а призвание: достаточно таланта и практического опыта, чтобы стать им. Спорят о другом: чему учить, как учить, где учить.

Мне представляется особенно важным именно первый вопрос. Потому что знание «чему учить» продиктует и методику обучения. Иную, чем существует теперь. Менее школьную, меньше наполненную сугубо техническими и экономическими дисциплинами. Более практически полезную.

Итак, чему учить.

Поскольку наиболее исследованной представляется сфера экономической, хозяйственной деятельности руководителей предприятий, то и в программах их обучения преобладают экономические дисциплины. На четырех недавно созданных факультетах повышения квалификации слушателям читают курс политекономии, курс основ народнохозяйственного планирования, знакомят их с математическими методами планово-экономических расчетов, с современными средствами обработки информации, с хозяйственным законодательством, бухгалтерским учетом и т. д.

Может быть, и даже наверное это полезно педагогу, принявшему пост управляющего филиалом фирмы «Заря». Но вот инженеру или экономисту заметно будет недовольство в основательном списке учебных предметов глубоко разработанной методики социального планирования, инженерной психологии, что ли, которые помогли бы ему создать творческий коллектив в управлении и в цехе. Такой методики нет, потому что не на чем ее построить. Недостает важных исследований в области социологии и психологии современных производственных отношений. Работа московских социологов, на которую я ссылаюсь, пожалуй, единственная в своем роде. Кстати сказать, она еще и не вышла из печати.

Но можно ли ополжить в математические формулы и графические схемы методику создания творческого коллектива или правила воспитания человека в процессе производства — вот ведь она, причина спора о том, чему учить. Недавно мы обсуждали этот

вопрос с директором крупнейшего на востоке страны мясокомбината. Он перечислил добрый десяток бывших своих сотрудников, людей, выросших до высоких командных постов в своей отрасли за долгое время его руководства предприятием. Но считал при этом, что «науки директорства» в социальном аспекте как таковой нет и быть не может. Есть практика, цепь случаев, конкретных ситуаций, о которых можно рассказать, но которые нельзя привести в универсальную систему.

Он принялся вспоминать случай за случаем из своей богатой директорской практики, и постепенно цепочка воспоминаний вытянулась в линию, в четкую линию поведения руководителя на пути к завоеванию доверия коллектива. Потом мы оба согласились, что система может быть. Надо только заняться ею. Да она, собственно, существует у каждого опытного администратора. И у каждого своя, им лично вымученная и выстраданная. К ней идут годами, ее методику отрабатывают бесконечным количеством экспериментов. И при этом нельзя забывать, что экспериментирует неопытный руководитель и на себе и на людях. Это не оставляет видимых травм на подчиненных и не влечет за собою немедленных санкций за производственный травматизм. Однако известно, что нервные потрясения не проходят бесследно для здоровья, а врачи еще утверждают, что служащие страдают инфарктом миокарда в два-три раза чаще, чем рабочие. Но опять-таки нужно специальное исследование, чтобы установить, отчего преимущественно ущерб — от неумелого ли руководства людьми на конкретном производстве или вообще от плохо поставленной гигиены умственного труда.

Для определения характера деятельности администраторов социологи заготовили особую серию вопросов. И вот ответы. От 70 до 80 процентов цеховых руководителей заявили, что большую часть времени они заняты инженерно-технической работой, то есть «работой по обеспечению нормального функционирования технологического процесса». А вот из чего она складывается: у 90 с лишним процентов администраторов — из организаторской деятельности, у 87 — из мероприятий по поддержанию трудовой дисциплины, у 75 — из контроля за подчиненными. «Инженерно-техническая работа», таким образом, оборачивается почти целиком работой с людьми, чему, видимо, и учить нужно в первую очередь.

— Я трачу шестьдесят процентов времени на налаживание человеческих отношений в коллективе,— подтвердил мне выводы социологов директор Московского карбюраторного завода Василий Васильевич Поляков.

Можно не сомневаться, цифра точная. Василий Васильевич — один из главных знатоков проблем управления производством. Он и у себя их пытается решать так, как рекомендует наука. Поэтому Полякову я и задал следующий вопрос: как учить? И получил в ответ право распоряжаться внушительной библиотекой переводных материалов. Из своих Василий Васильевич только и мог предложить мне стенограмму недавно состоявшегося семинара и проспекты учебника, представленные ему как члену конкурсного жюри.

Ну, а что говорит по этому поводу конкретное социологическое исследование?

Около 60 процентов цеховых руководителей из числа опрошенных на московском машиностроительном заводе заявили, что тратят часть свободного времени на чтение технических книг. Но лишь три процента интересуются социально-экономической и философской литературой. Это не может быть достоверным свидетельством узости их интересов, потому что почти все руководители, кого опросили социологи и на московском и на харьковском заводах, много читают художественных произведений, часто бывают в театрах, почти сплошь проявляют серьезную озабоченность проблемами в собственном профессиональном образовании.

Это значит скорее всего, что социально-экономическая и философская литература почти в двадцать раз меньше технической дает им полезных сведений, которые они могут применить на практике — в руководстве людьми своего цеха и своего завода.

Никто, однако, не станет, наверное, спорить с тем, что интерес к социально-экономической и философской литературе есть важный признак развитого интеллекта, широты восприятия мира, есть признак того, что человек ищет активное место приложения сил в общественной жизни. И тут неизбежно возникает проблема интеллигентности руководителя социалистического предприятия.

Начнем с того, что интеллигентность просто экономически целесообразна. Например, руководители цехов — выходцы из интеллигентных семей, то есть люди, получившие сравнительно высокое общее развитие, почти сплошь заявили в анкетах о неудовлетворенности степенью самостоятельности своей работы, но ни один из них не выразил неудовлетворения заработком. И решения, которые принимает интеллигент-руководитель, как правило, перспективны, потому что продиктованы определенной широтой взглядов на проблемы и явления современного производства.

Мы еще до сих пор не вышли из полосы удивительно похожих один на другой починов в текстильной промышленности. Их истоки восходят к тридцатым годам, к инициативе ткачих Евдокии и Марии Виноградовых. Рациональный маршрут обхода станков, экономия времени на смене шпуль и устранении обрывов, сокращение отходов пряжи — «угаров», как говорят текстильщики. Вот, пожалуй, все или почти все основные приметы многочисленных передовых начинаний от тридцатых годов до наших дней. Если сосчитать сэкономленные новаторами минуты, полминуты, граммы и килограммы пряжи и помножить на число ткачих, выйдет, что мы давно обогнали весь мир по производительности труда в текстильной промышленности. А это не так. То, чего достигли инициаторы, чаще всего оставалось их личным рекордом и приводило после систематизации и обобщения их рабочих приемов к некоторому повышению квалификации всей массы текстильщиков и некоторому повышению норм выработки.

Итак, путь к росту производительности труда видели главным образом в решении социальной проблемы — в профессиональном обучении и в интенсификации snоровки работниц. Технические проблемы текстильного производства молчаливо считались решенными. И в самом деле, что можно придумать, кроме веретена — в прядении и челнока — в ткачестве? Постепенная автоматизация отдельных операций на станках обрывов нитей не уменьшила, а значит, почин Виноградовых так и остался актуальным до наших дней. А как же иначе? Каждый обрыв — это простой станка. Чем snоровистей вяжет работница узелки, чем быстрее ее реакция на обрыв, чем зорче глаз, тем выше производительность. Это, разумеется, упрощенное, схематическое изложение проблемы. Но ведь и решение ее было схематическим, однолинейным, пока не ввязался за дело директор шелкового комбината имени Щербакова Дмитрий Сергеевич Кудрявцев, человек с ярко выраженным стремлением к исследовательской работе.

Как всякое точное решение, оно было простым по замыслу: нужно устранять не обрывы, а причину обрывов. А вот осуществление замысла было очень сложным. Усовершенствовали нитепроводящие детали станков, пустили в ход даже изотопы, добились стабилизации температуры и влажности в цехах, проделали сотни экспериментов с освещением и оборудованием рабочих мест и так далее. Работа растянулась на годы и стоила недешево, но директор добился в конце концов того, чего хотел. Не повышая интенсификации труда, увеличил его производительность, решив техническую проблему, добился, как выяснилось в дальнейшем, решения проблемы социальной.

Нет надобности называть цифры экономической эффективности затрат, сделанных комбинатом имени Щербакова, хотя была она весьма значительна. Потому что настоящий экзамен система Кудрявцева держала не перед экономистами. Экзамен состоялся спустя несколько лет, уже после того, как были сделаны все намеченные изменения в технике, технологии и в оснащении производства. Правоту Дмитрия Сергеевича неожиданно подтвердила пятидневка.

Два московских текстильных комбината — имени Щербакова и Трехгорная мануфактура — были переведены на пятидневную неделю намного раньше других предприятий. Как принято говорить, в порядке эксперимента. «Трехгорка» очень скоро и с большими потерями в производительности вернулась к прежнему рабочему графику, а потом снова и, что называется, со скрипом осваивала календарь с двумя красными датами на неделе. «Щербаковка» осталась на пятидневке. Была, как водится в таких случаях, создана обширная межведомственная комиссия специалистов, которой поручили выяснить причины успеха одного и неуспеха другого предприятия. Выводы она сделала такие, каких никто не ожидал.

Разумеется, комбинат имени Щербакова тоже понес ущерб от изменения недельного графика. И было связано это главным образом с неблагоприятными внешними

обстоятельствами. Часы работы транспорта, торговли, детских садов и яслей, принадлежащих городу, тогда не совпадали с часами пересмен на эбонх предприятиях. И оба они должны были одинаково пострадать от не доработанных до последнего часа вечерних смен, от массового ухода работниц. Однако то, что на «Щербаковке» отнесли к разряду временных трудностей, на «Трехгорке» едва не вылилось в катастрофу. В докладе комиссии вину за это возложили, грубо говоря, на ткачих Виноградовых и на их последователей. То есть на ту самую систему узловязания, от которой решительно отказался Дмитрий Сергеевич Кудрявцев. Комбинат имени Щербакова, по мнению авторов доклада, вышел с честью из своих временных трудностей благодаря тому, что интенсификация труда при равной в общем производительности там оказалась ниже, чем на «Трехгорке», условия труда лучше, так что восьмой рабочий час пятидневки был освоен быстро, почти без потерь и конфликтов.

С переходом на пятидневный график всех городских организаций исчезли и внешние неблагоприятные обстоятельства, а неудача «Трехгорки» подтолкнула решение о коренной технической реконструкции комбината.

Из истории простого и важного открытия, сделанного директором с ученой степенью Дмитрием Сергеевичем Кудрявцевым, вовсе не следует вывод о никчемности или, упаси бог, вредности улучшения рабочих приемов или пересмотра норм выработки. Это остается, без этого нельзя. Нельзя вместе с тем решать проблемы производства однолинейно, только ради того, чтобы завтра же достигнуть, якобы без затрат, узкопрактической цели. Но чтобы рассчитать все возможные варианты решения и все возможные его последствия и на завтра и на годы вперед, администратор должен быть широко образованным человеком. Тогда в круг его интересов войдут наравне с технической и социально-экономическая и философская литература и каждое его техническое решение будет одновременно социально-экономическим и философским. Иначе нельзя, потому что завод, фабрика, комбинат — это прежде всего люди, коллектив, активно действующая ячейка общества.

И вот тут кстати будет вспомнить характеристику, которую дал уже знакомый нам Владимир Максимович Ляшенко своему главному механику Леониду Ивановичу Самотугину: «Хороший парень, хороший механик, организатор — никакой». И другую реплику Ляшенко заодно не мешало повторить. Помните: «Да где же гарантия, что он сможет работать?» Этот последний вопрос у меня у самого возник раньше, еще до того, как я познакомился с Самотугиным. Вот дословная выдержка из жалобы, что написана его рукой и подписана несколькими его товарищами по несчастью:

«В 1966 году в ноябре месяце на нашем заводе работает директором кандидат в члены КПСС товарищ Ляшенко Владимир Максимович, человек отличающийся самолюбием, грубостью, он может работника ИТР не за будь здоров выругать, оскорбить в присутствии рабочих... Вот почему нам становится работать все труднее, а всего хуже слышать «завод это я» и «работаю только я».

Но мы этому не верим, мы здоровые грамотные инженеры и техники способные выполнять любую работу.

Помогите нам.

Щуров, Самотугин, Обляков, Демичев, Никольский».

Остается только представить соавторов Самотугина. Иного комментария цитата из жалобы, я убежден, не потребует.

Щуров — в прошлом офицер, а по гражданской специальности слесарь — был начальником отдела снабжения завода. Остальные — Обляков, Демичев и Никольский — инженеры, занимавшие и занимающие командные должности.

Называя себя «грамотными инженерами и техниками», авторы жалобы, как это ни странно, почти не погрешили против истины. Как-то незаметно в нашем сознании разделились понятия «грамотный специалист» и «грамотный человек». Однако можно еще допустить, что инженер или техник, к которым подходит только первое определение, — действительно полезные и знающие специалисты. Но нельзя допустить, по моему, к администраторскому посту на современном предприятии человека, не обладающего обоими качествами вместе.

И тут я предвижу сразу двух оппонентов — справа и слева. Тот, что справа, вытаскивает из XIX века бородатого Тит Титыча, вчерашнего сиволапого мужика, ворочавшего сам-друг с приказчиком на матушке Волге и на сибирских просторах огромными предприятиями с миллионными барышами. А тот, что слева, спросит, каково мое мнение о «красных директорах», о самородках-коммунистах, вырастивших нашу промышленность. И, наверное, помянет при этом Ивана Алексеевича Лихачева или, на худой конец, главного героя известной кинотрилогии о Максиме.

Верно. Самородки-администраторы всегда были и будут. Как были и будут гении, таланты и просто способные люди в любой профессии, существующей на земле. Но Тит-то Титыч не хозяйничал, а хищничал, разоряя людей и природу, вызывая казаков с нагайками для наведения порядка на своей мануфактуре. Этого качества у него не отнимешь, как не отнимешь ни деловой интуиции, ни дьявольской работоспособности, ни предприимчивости.

А «красные директора» есть у нас и сейчас. И успешно руководят крупными предприятиями, главками министерств. И пользуются заслуженным большим авторитетом. Но разве можно сыскать для каждого из сорока с лишком тысяч промышленных предприятий самородный талант? И разве не оканчивали наши «красные директора» почему-то упраздненные некогда промакадемии — школы советских администраторов? Что же касается И. А. Лихачева, то, кроме как в двух высших учебных заведениях, он еще прошел курс науки на фордовских конвейерах — на заводах и в стране с самой высокой по тем временам культурой производства. И уж коли речь зашла о заимствовании зарубежного опыта, чего мы давно уже не чураемся, я хочу предложить беглый обзор: чему и как учат администраторов в США и где учат. Библиотека Василия Васильевича Полякова — к нашим услугам.

Надо сказать сразу, что до осознанной необходимости специально готовить профессиональных администраторов Запад дошел сравнительно недавно. Примерно тогда же, когда были и у нас в стране созданы промакадемии. В тридцатых и даже в сороковых годах количество студентов в США, специально обучавшихся организации производства, не превышало нескольких сот. В 1964 году их было уже пятьсот тысяч, в 1970-м предполагается семьсот тысяч.

Нынешняя программа обучения: экономика, административное дело, человеческие отношения и личное поведение, деловая практика. За два года учебы в Гарвардской школе бизнеса студент анализирует до тысячи практических ситуаций и принимает по ним решения. Идет, стало быть, выработка тактического и стратегического мышления и мастерства. Так, как это принято в военных училищах и академиях всех стран мира. Идет проверка способности студента мыслить в своем деле широко и всесторонне, принимать решения быстро и точно.

Аналогию между администратором промышленного предприятия и армейским командиром, мне думается, можно продолжить и расширить. В руках у директора или мастера, как у командира, врача и педагога, судьбы людские, они равно ответственный перед государством не только за знание специального предмета, но и за самую судьбу государства и общественного строя. Врача, педагога, офицера учат, не надеясь на врожденный талант и способность к самообразованию. Общество охраняет себя от невежд в педагогике и медицине суровыми законами, а в военном деле — строгими уставами. Администратору промышленного предприятия также нельзя ограничиваться самосовершенствованием. Нельзя знахарствовать, иными словами. Ошибку в экономической политике ныне вполне логично приравнять к военному поражению, к срыву всеобщего или к выпуску лекарства, вредного для здоровья людей.

Врача, педагога и офицера сразу же учат быть врачом, педагогом и офицером. Мало того, для людей этих трех профессий существуют академии и институты повышения квалификации, для них выпускаются специальные журналы и книги, их понуждают мерами морального и материального стимулирования к росту квалификации и привлекают к научной работе. Администратор промышленного предприятия, несомненно, входит в число этих опекаемых государством и обществом профессий. Видимо, поэтому капитальным обучением организаторов производства занимаются в США

пятнадцать университетов, а курсы для администраторов-практиков действуют еще почти в сорока.

Обследование пятисот крупнейших компаний показало, что около 40 процентов высших руководителей по крайней мере дважды проходили обучение по краткосрочным программам. Продолжительность и частота повторения таких программ в Гарварде — дважды в год тринадцать недель (для высшей администрации) и дважды в год шестнадцать недель (для администраторов «среднего звена»). Разумеется, что осуществление всех этих программ — и длительных и кратких — требует большого числа квалифицированных преподавателей и серьезной научной основы. Тем и другим университеты, ведущие подготовку администраторов, располагают, очевидно, в достаточной степени. Только в 1960 году было присвоено ученых степеней в области бизнеса, коммерции и экономики больше, чем во всех естественных и гуманитарных науках, вместе взятых. В числе получивших ученые степени было немало практикующих администраторов. Обследование четырехсот заводов, проведенное примерно в то же время, выявило, что из общего числа руководителей 16 процентов готовились к защите диссертаций, а 11 процентов уже имели ученые степени вплоть до докторских.

Ну что же, значит, остается только взять готовую систему обучения, благо она не патентуется, размножить массовым тиражом библиотеку Василия Васильевича Полякова, в которой, кстати сказать, есть швейцарские, итальянские, чешские, польские и прочие источники информации, — и делу «конец. Проблему можно считать решенной. Это самая простая, однолинейная и поэтому неверная гочка зрения. Неверна она, во-первых, потому, что заимствующий всегда рискует огстать. И, во-вторых, что самое главное, не всякий заморский кафтан нам по плечу, и не стоит ввозить из-за рубежа то, чего у нас самих в достатке. Вроде того, как было с русскими сапожками, которые наши модельеры позаимствовали у французских.

При внимательном изучении системы подготовки профессиональных администраторов за рубежом можно различить явные следы советских промакадемий. И не только эти следы сыщутся в лабораториях тамошних модельеров. Десять лет назад саратовский инженер Борис Александрович Дубовиков разработал систему предотвращения дефектов в процессе производства весьма сложных и ответственных изделий. Ее окрестили по месту рождения Саратовской. Полное ее наименование — «система бездефектного изготовления и сдачи продукции с первого предъявления отделу технического контроля и заказчику».

Система требовала целеустремленной и последовательной работы. Чтобы систему «задействовать», как выражаются техники, надо отрегулировать производственный ритм если не до часового, то уж наверняка до недельного или, еще лучше, до суточного графика. Надо заново пересчитать почти все нормы выработки, выявить уровень квалификации всех работников и организовать их обучение, унифицировать всю техническую документацию, привести в порядок все оборудование, весь инструмент. Словом, хлопот не оберешься. А сущность системы выражается коротко и просто, как у Кудрявцева на комбинате имени Щербакова: следует добиваться не повышения качества продукции, а повышения качества труда, то есть устранять не следствие, а причину плохой работы.

Суть дела сводится примерно к следующему. Если у вас на предприятии установлены прочная технологическая дисциплина и строгий ритм производства, дефекты могут возникнуть только из-за невнимательности работника. Иными словами, система основана на предположении, что каждый работник может достичь на своем месте совершенства во всем, если он того хочет. Ну, а дальше последует цитата:

«Человек, считающий, что допустимый предел дефектов или ошибок в его работе может составлять примерно пять процентов, едва ли признает, что такое же количество ошибок допустимо в частной жизни. С уверенностью можно сказать: не может случиться так, что в течение пяти дней из ста он будет приходить не на свое рабочее место или, если идет домой, входить не в ту дверь. Наверняка он не сядет в пяти процентах всех случаев не в свой автобус и не наденет одновременно черный и коричневый ботинки. Несомненно также, что он будет предъявлять более высокие требования

и к покупке говаров, и он не захочет, чтобы его ошибки при этом составляли пять процентов...

Сила программы «нулевых дефектов» заключается в констатации того факта, что каждый нормальный человек стремится к получению максимального удовлетворения от своего труда. И если он убежден в важности своего труда, он сам наметит цель, необходимую ему для достижения совершенства в работе. Работников не наказывают за дефекты — зато хвалят за хорошую работу. Их не порицают за плохую работу — зато об их достижениях ставят в известность общественность (разрядка мая.— Г. К.)» («Qualitätskontrolle», № 6, 1966).

Вот так штука! Система Саратовская, а цитата, разъясняющая суть ее, взята из технического журнала, издающегося в ФРГ! Название системы в этой статье несколько изменено, но зато какая знакомая фразеология! Особенно в последнем абзаце. Дело в том, что военная промышленность США целиком приняла Саратовскую систему, дав псевдоним ей «zero defects» («ноль дефектов»). С этим названием она и вернулась вновь в Европу и дошла до Японии Система Дубовикова теперь уже снабжена научными комментариями и даже кое в чем улучшена.

Считается, что за десять лет, минувших со времени ее появления на одном из саратовских заводов, она распространилась у нас еще на пятистах предприятиях «частично или полностью». Но при этом в обилии подготовительной работы почти повсеместно была утрачена идея Дубовикова. Остались слова «с первого предъявления», остался график проведения «дней качества», постепенно превращавшихся в обычные планерки. Внедрение системы, наконец, попало в планы оргтехмероприятий. Там она и потонула.

В издательстве «Мир» только что вышла книга американского автора о Саратовской системе (Дж. Холпин, «Бездефектность»). Специалисты сочли, что она очень точно истолковывает наш отечественный опыт, наши принципы моральной заинтересованности работников в повышении качества их труда. Короче говоря, снова везли из-за рубежа русские сапожки. И вышло так вовсе не потому, что внедрение передового опыта не подкреплено какой-нибудь особо хитроумной методой материального стимулирования. И хотя метода такая была бы отнюдь не лишней, главное не в ней, если речь идет, в частности, о Саратовской или другой системе организации производства. Главное — в понимании, что такую систему нужно прежде всего внедрить в сознание людей, и в умении это делать. Иными словами, приходится повторять, что нужна методика социального планирования и социального управления, которой мог бы воспользоваться любой администратор-профессионал. Как уже было сказано, в апреле этого года была выдвинута на соискание Государственной премии автоматизированная система управления предприятием, созданная на заводе «Фрезер». Технической базой ее стал хорошо оснащенный отечественными и зарубежными машинами информационно-вычислительный центр. Такие же центры, примерно в то же время, что и «Фрезер», начали строить у себя еще десять московских предприятий. Однако системы управления у них не вышло. Не учли двух обстоятельств.

Во-первых, техника и методика использования вычислительных машин для решения задач управления должны быть на первых порах приспособлены к производству в том его виде, в котором оно дотоле пребывало, со всей его пусть даже запутанной сложностью человеческих и экономических отношений. И тогда можно исподволь упрощать и налаживать эти отношения, идя по самому верному и короткому пути. Во-вторых, в нормальном функционировании системы должен быть заинтересован весь завод — от директора до рабочего, каждый по-своему. То и другое сумели сделать на «Фрезере». Потому — успех.

В подготовку системы к действию были втянуты, помимо основных разработчиков, сотни, если не тысячи фрезерцев. Электромонтеры и механики испытывали станки, машины и энергоустановки на мощность, на производительность, на степень износа, определяя объективные характеристики каждой единицы заводского оборудования. Технологи и нормировщики ревизовали процессы производства и нормы выработки. Плановики ломали головы над «простынями» новых форм учета продукции, и все это

кодировал вычислительный центр и наносил на перфокарты. Тем временем рабочие и технические контролеры привыкали не без труда к точному заполнению сопроводительных листов к партиям деталей и заготовок. Последнее было самым важным. С них, с этих листов, должна была начинаться обратная связь управления с производством — учет продукции, выпущенной за смену и даже за час, сопоставление плана с фактическим его выполнением.

Цепочка обратной связи мыслилась примерно так. Рабочие после смены сдают мастеру квадратики бумаги, на которых торопливой рукой набросан столбик цифр — номера сопроводительных документов на обработанные детали. Мастер вписывает номера в общий сводный наряд. Затем сведения, которые дали рабочие мастеру, пройдя технический и счетный контроль, попадут в вычислительную машину. А у той логика железная и совесть механическая. Будут даны сведения прилежными руками — даст и машина верный итог. Соврешь — и она соврет, лишнего раза не моргнув сигнальными лампочками на пульте. Одна неверно записанная цифра может внести сумятицу по всей производственной цепочке. Как застраховаться от этого?

И решили: каждый день в каждый цех каждому рабочему сообщать его вчерашний заработок. В принципе вычислительной машине, считающей ежедневно четырнадцать миллионов объектов фрезерского производства и оценивающей их в рублях и копейках, нетрудно будет выделить из себестоимости продукции зарплату. Так и сделали. Сначала в трех цехах, потом на всем заводе.

Решение было спасительным для системы. Отчетный цеховой документ приобрел силу денежного. И хочешь не хочешь, а теперь его контролируют сотни наметанных глаз. К вывешенной сводке один за другим подходят люди. Кто сверяется с записной книжкой — у этих собственная бухгалтерия, — кто просто взглянет и отойдет. Некоторые задержатся и поговорят о работе, о выработке. В таких-то беседах и выявилось, например, что ряд норм не соответствует затратам труда. Когда-то ошибся нормировщик, и ошибка его затерялась в сотнях других норм, а тут сразу всплыла. Случается, что в сводке зарплаты кто-нибудь из рабочих находит ошибку. Найти ее — дело минутное: поднята пачка вчерашних сопроводительных листов — и вот она, ошибка. Ее тотчас же исправят. И пострадавший нервы не треплет, и отчетность о выполненном плане сохранится в скрупулезной точности: до единицы — выпущенные изделия, до копейки — себестоимость продукции.

Так что ежедневный счет заработной платы — мера только отчасти экономическая. Это скорее всего очень точное решение сложнейшей психологической задачи. Иначе нельзя поручить заводской учет каждой паре рабочих рук, нельзя сделать обратную связь автоматизированной системы управления мгновенной и прочной, а сигналы ее — достоверными.

Теперь уже нет у людей былого страха перед ошибкой, когда выбирали направление раз в месяц или раз в год и только в конце месяца или года вдруг оказывалось, что заблудились. Ошибка, обнаруженная в пределах одного дня или восьми часов одной смены, не нанесет заметного ущерба ни тому, кто распоряжается действиями сотен людей, ни тому, кто руководит только собою. Там, где отступают страх перед будущим и неуверенность в себе, неизменно растет инициатива человека, раскрываются его способности и таланты. Словом, дело было поставлено так, что инженер и рабочий «Фрезера» одновременно смогли убедиться: мир самой высокой автоматизации, куда они вступают, требует не меньшей изобретательности, чем старый, привычный мир. «Умные» машины не отнимают у них привилегию мыслить, а, напротив, освобождают их мысль из замкнутого круга текущих мелочных забот.

Вот этого-то и учитывали на других десяти предприятиях, создававших вычислительные центры. И потому — неуспех.

Совершенно очевидно, что содержание и форму подготовки администраторов может дать синтез своего и зарубежного опыта, а чтобы синтезировать их, нужно знать свой опыт не по газетным статьям и не по журналистским изысканиям вроде этого.

Легко сказать — синтез. А как этот синтез получить?

Есть обобщенный зарубежный опыт, который коллекционирует не один директор Московского карбюраторного завода В. В. Поляков. Тем более что при знании одного-

двух иностранных языков или при штате переводчиков, который завел у себя на предприятии дальновидный руководитель, сделать это не столь уж сложно. Есть разносторонний и обширный собственный опыт, который никто еще по-настоящему не коллекционирует, не оценивает и не обобщает. Правда, издательство «Экономика» выпускает весьма полезную и популярную в кругах администраторов промышленности серию брошюр «Библиотечка хозяйственного руководителя». Но нельзя же только этим ограничиться. Синтез своего и зарубежного опыта — дело большой науки, прежде всего — общественного. Остается только выяснить, какая из его многочисленных отраслей может этим делом заняться.

И вот выступает на упомянутом уже семинаре по актуальным вопросам управления ученый-психолог Е. Е. Вендров и перечисляет проблемы «инженерной педагогики», или же «теории психологического управления производственным коллективом», — короче говоря, называет проблемы науки, у которой пока что нет точного названия. А наука нужна — об этом говорил по крайней мере каждый второй из выступавших.

Программа исследований, предложенная Вендровым, настолько обширна, что сам он вынужден был то и дело прибегать к ремарке «и так далее». Так что мне лишь остается с извинениями отослать читателей к первоисточнику — к изданной в 1968 году московским Домом технической пропаганды стенограмме семинара «Управление производством. Актуальные вопросы». Скажу только, что Е. Е. Вендров говорил, на мой взгляд, как раз о той науке, которой и надлежит навести для молодых руководителей мост от знания социалистических принципов руководства производственным коллективом к умению применить их на практике. Овладев основами «инженерной педагогики», администратор может в зависимости от личного таланта с большим или меньшим искусством применить ее рекомендации к конкретным условиям своего производства, к воспитанию конкретных людей.

Учить администраторов нужно — с этим не спорят. Больше того, с нынешнего года начнет постепенно развергиваться широкая сеть курсов повышения квалификации руководителей «с отрывом и без отрыва от производства». И поскольку нет еще «инженерной педагогики», к преподаванию намечено привлечь старейших и опытных руководителей-практиков опять же «с отрывом и без отрыва от производства». Однако не всякое предприятие сможет безболезненно перенести уход талантливого директора, не всякий талантливый директор окажется талантливым педагогом. И тут есть, мне думается, третий путь. Пока подтянутся научные тылы, повременить с массовым открытием курсов и факультетов повышения квалификации, за исключением, разумеется, тех, что уже действуют, имеют как-никак опыт или возможность привлечь к преподаванию компетентных людей. Стационарное обучение мог бы, вероятно, временно заменить институт стажеров при лучших руководителях предприятий, цехов и служб управления. Но срок стажировки должен быть достаточно длительным, чтобы будущий администратор мог пройти через все практические ситуации хозяйственного руководства. Затем он оглашается перед советом или комиссией старейших своих товарищей по профессии и получает от них рекомендацию на должность. А направление на работу пусть идет так, как это у нас принято и проверено пятидесятилетним опытом. Иначе нельзя.

Все это не мною выдуманно, я лишь излагаю, как могу, то, что говорили мне многие руководители предприятий и другие специалисты, которых занимают сегодня проблемы подготовки администраторов для промышленности. Кстати сказать, в этих беседах почти всегда находилась одна и та же камень преткновения. Стоило заговорить о двухгодичных школах бизнеса в университетах США и об организации части наших студентов на административную профессию, как у каждого почти моего собеседника находились возражения или сомнения.

Все же, мне думается, и здесь может быть синтез опыта.

Каждое лето во все концы страны разъезжаются студенческие строительные отряды. Давно уже минуло время когда такие поездки котировались наравне с туристскими. Теперь ездят работать и зарабатывают. Сосед мой — студент гуманитарного вуза — вернулся прошлым летом из такой поездки, заработав себе элегантный костюм, плащ и туристскую палатку на Юг. Там у них — в студенческих отрядах — свои пропра-

бы, свои начальники участков, мастера, бригадиры и даже начальники строительных районов. Там у них планирование и отчетность, как и положено на государственном предприятии, крепкая дисциплина и своеобразно организованный быт. Каждая поездка студенческих отрядов выявляет множество талантливых руководителей. Бери их, готовых, и пристраивай к делу. Только при этом, конечно же, нужно иметь в виду, что «трудовой семестр» — не грудное двадцатипятилетие, которое по закону должен отработать человек до государственной пенсии. И студенческий отряд — не стационарное производство. И студенческий молодежный коллектив — совсем не то, что «взрослый» коллектив на предприятии. Значит, молодого студенческого руководителя, проявившего недюжинный организаторский талант, деловую сметку и прелпримчивость, надо учить. Двух последних лет из пяти, проведенных в вузе, наверное, будет достаточно. Вот только вопросы — чему учить и как учить? — встают и здесь.

Нужно, по-видимому, многократно повысить интенсивность социальных и психологических исследований в сфере производства, сосредоточить их результаты в едином центре. И тогда недолго придется ожидать, откуда будет сложен из краеугольных камней политэкономии, промышленной психологии и социологии прочный фундамент науки управления современным социалистическим производством, сцементированный марксистско-ленинской философией. И тогда, я думаю, не будет нас пугать, как теперь, субъективизм хозяйственных решений.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных журналов

ЧИСТАЯ НАУКА И ГРЯЗНАЯ ВОЙНА

США

«Сайенс» («Наука»), еженедельный журнал. №№ 3809—3834. 1968. Нью-Йорк—Вашингтон. Год издания 85-й. Издатель — Американская ассоциация содействия развитию науки. Редактор Ф. Адельсон.

★

В быстро меняющемся мире не узнать и старых научных журналов. Новая верстка, новые яркие обложки взамен респектабельно-скромных. Иные журналы даже имена переменяли: в прошлом веке они назывались длинно, то ли дело теперь — коротко, энергично, крупными буквами. Переворачиваешь обложку — и вдруг во всю страницу очаровательная красotka. Правда, прелести ее, слегка прикрытые белым лаборантским халатиком, соблазняют вас всего лишь на закупку очередной партии органических соединений, меченных по углероду.

А еще новое поветрие — стихи в научных журналах. Среди нагромождения математических или биохимических формул они, должно быть, одним своим видом призваны радовать глаз ученого читателя, невольно напоминая го ли об утраченной, те ли об искомой гармонии.

Это, так сказать, перемены внешние. Но обнажаются на страницах научных журналов и более существенные перемены.

Грязная война во Вьетнаме заставила многих американских ученых задуматься, она стала как бы катализатором, ускорившим давно уже назревший в США конфликт между наукой и военщиной.

Страницы журнала «Сайенс», журнала очень солидного и по возрасту и по репутации, издаваемого Американской ассоциацией содействия развитию науки — организацией тоже солидной, широкой, авторитетной, — вольно или невольно стали своеобразной летописью драматических, казалось бы, далеких от чистой науки событий, вызванных этой войной.

Замечу также, что «Сайенс» — один из самых распространенных научных журналов в мире. «Сайенс» весьма быстро публикует сообщения, относящиеся к самым различным областям точных и естественных наук. Он, в частности, репродуцируется и распространяется по подписке в нашей стране. Помимо чисто научных статей, он помещает различные материалы, представляющие специфический интерес для научных работников США: информации о вакансиях, должностных перемещениях, о предстоящих и прошедших событиях научной жизни, рецензии на новые книги, рекламы, письма или отрывки из них, достойные, по мнению редакции, помещения на страницах журнала, и т. п. Именно эти «ненаучные» страницы и привлекли наше внимание.

Произвольно взятый нами отрезок времени — первая половина нынешнего года — ничего особенно нового не начинает и никакой точкой не завершается, поэтому я позволю себе даже выйти за его пределы и задержаться на некоторых материалах минувшего года. Это даст возможность читателю увидеть примечательные сдвиги в настроениях американских ученых, происшедшие за столь недолгий срок. Комментарий к этой информации «Сайенс» порой даже и не понадобится: он, как говорится, излишен...

Вот отчет о суде над капитаном медицинской службы Леви (№ 3780, 9 июня 1967 года): «Колумбия, Южная Каролина. Военный трибунал, судивший капитана Говарда В. Леви, основывался на значительной степени согласия между ответчиком и Армией. По словам Армии, Леви, молодой дерматолог, отказался выполнить приказ, согласно которому ему надлежало провести занятия по дерматологии с бойцами Специальных Сил; Леви гордится этим отказом. По словам Армии, Леви говорил новобранцам, что война во Вьетнаме плоха и что солдатам-неграм не следует принимать в ней участия; Леви говорит, что так оно и есть. По словам Армии, Леви называл Зеленые Береты «лгунами, и ворами, и убийцами крестьян, и губителями женщин и детей»; Леви говорит: «Они таковы». По словам Армии, Леви написал письмо во Вьетнам одному сержанту, белому человеку, женатому на негритянке из Вест-Индии, в котором говорилось: «Те же люди, которые подавляют негров и бедняков-белых здесь, делают это все вновь и вновь, а ты им помогаешь. Зачем?» Леви говорит: «Это было чертовски хорошее письмо».

Отчет далее подробнейшим образом повествует о биографии капитана, его прежних «чуждествах», выказывающих отвращение к армейским порядкам. Подготовка и ход суда, обстановка вокруг него, угрозы антисемитов (мать Леви — еврейка), мужество нескольких врачей того же госпиталя, где служил Леви, выступивших в его защиту, рискуя навлечь на себя гнев начальства...

В конце концов почему же этому всему отводится столько места в естественно-научном журнале, не имеющем прямого отношения ни к армии, ни к медицине?

Да потому, что речь идет об актуальнейшей для американских ученых коллизии — столкновении личной оценки с внешними обстоятельствами, которые в данном случае выступают в самой решительной форме — форме военного приказа. Вот почему локальный судебный процесс оборачивается символом всеобщего конфликта и возбуждает горячее участие научной общественности. «В дополнение ко всему, — сообщается в отчете, — трибунал в Форте Джексон в течение одного дня превратился в заметный этически-интеллектуальный форум, поскольку защита выставила широкоизвестных представителей американской медицины и общественного здоровья, давших показания в пользу капитана».

Среди четырех имен, упоминаемых журналом, стоит хорошо известное советскому читателю имя неугомонного доктора Бенжамин Спок.

Усилия защиты оказались тщетными. Ни ссылки на Нюрнбергский процесс, ни практический опыт истории, показавший, что массовые преступления, убийство миллионов людей становятся возможными, когда приказ освобождает человека от ответственности за свои поступки, не повлияли на решение суда — капитан Леви был приговорен к каторжным работам. То, что «для защиты было вопросом индивидуальной ответственности, для правительства было вопросом военной дисциплины», — пишет журнал, заканчивая репортаж о суде над капитаном Леви следующими словами: «Система, на которую он не имел влияния, чьи цели не были его целями и чьи оценки не были его оценками, оказалась достаточно сильной, чтобы посадить его в тюрьму за совершение преступлений, которые он сам рассматривал как противодействие преступлениям».

Что может противопоставить одинокий человек машине, действия которой от него не зависят?! Этот сквозной мотив, пронизывающий дело капитана Леви, традиционен. Может ли ученый своим отказом от работы над темой, перспективной с точки зрения Пентагона, остановить убийство?

Сама природа научного творчества, казалось бы, предопределяет отрицательный ответ. Как заметил автор одной из книг, рецензированных на страницах того же «Сайенс», если бы Макс Планк не создал квантовой физики, ее создал бы кто-нибудь другой. Отсюда делается практический вывод: зачем мне, научному работнику X, думать о моральной стороне моей работы, если все равно ее может сделать кто-нибудь другой? Такая логика десятилетиями правила умами, и только сейчас общественная практика начинает подсказывать альтернативу: но ведь «кто-нибудь другой» тоже может оказаться человеком! А «кто-нибудь третий», лишенный моральных устоев, далек от данной научной или технической проблемы и решить ее не сможет...

Судя по следующим номерам «Сайенс», лето 1967 года проходило в США под знаком растущей оппозиции войне и военщине со стороны интеллектуальных сил нации. В том же номере журнала, где рассказывается о суде над Леви, публикуются четыре письма, в которых вопрос об участии ученого в разработке химического и биологического оружия рассматривается в моральном аспекте.

Самое обсуждение этой проблемы, начавшееся еще в весенних выпусках журнала, вряд ли приводит в восторг государственную администрацию, привыкшую считать, что ученым надлежит делать то, за что им платят. В № 3785 появляется уже развернутая статья относительно критики со стороны интеллигенции политики Джонсона. В № 3787 — информация о недопущении видного историка Тэйлора в президентский научный совет из-за его активности против вьетнамской войны.

Не может не привлечь внимания также и громкий призыв противоположного характера: поможем правительству в его вьетнамской войне! Именно с таким призывом в форме письма в редакцию «Сайенс» обратился к ученым Америки (№ 3790, 18 августа 1967 года) биофизик из Пенсильванского университета Эрнест С. Поллард. Он просил всех, кто готов сотрудничать с правительством, написать ему и обещал через две недели сообщить на страницах «Сайенс» о результатах своего призыва.

Любопытно! Ведь таким образом мы получаем возможность оценить количественно (по числу людей) и качественно (по их научной квалификации) расстановку сил или, говоря осторожней, настроений в научном мире США.

Тщетно листаем один за другим девять номеров «Сайенс». Обещанного сообщения Полларда все нет. Наконец лишь в конце октября (№ 3800) оно появляется. Поллард информирует об откликах на свое письмо от 18 августа, «в котором я просил ответить тех, кто был бы готов отдать часть своего времени на помощь нашим усилиям во вьетнамской войне. Среди ответивших были люди от только что поступившего в университет студента до президента колледжа. Из ста семидесяти девяти человек, указавших на свое согласие, сто двадцать семь имеют докторские степени, тридцать — магистров, девятнадцать — бакалавров, трое степеней не имеют... Пока что у нас нет планов действий... Я полагаю, мы будем называться «Вьетнамская вспомогательная научная группа»... Я испытываю теперь большую гордость, что смог послужить фокусом для всех этих людей».

Итак, нам известно число «этих людей» и приблизительно их квалификация. К сожалению, Поллард не уточняет, как распределились докторские степени среди его союзников, потому что одно дело D. Ph., то есть человек, проучившийся в университете шесть лет и затем защитивший небольшое самостоятельное исследование, и другое дело D. Sc., что соответствует ученой степени доктора наук в нашем смысле. Другие упоминаемые степени еще ниже. Практически ни один видный ученый, удостоенный членства в академии или крупных научных наград, судя по письму Полларда, призыву не внял.

Сравним теперь эту информацию с другими, появившимися на страницах «Сайенс».

В № 3791 сообщается о том, что Совет Федерации американских ученых, объединяющей две тысячи двести членов, принял постановление о недопустимости участия университетов в секретных военных исследованиях. «Навязывать университетскому исследованию официальные рамки секретности — антиэтично по отношению к духу и потребностям естественных и гуманитарных исследований», — говорится в постановлении.

В № 3810 сообщается об антивоенном выступлении шестисот семидесяти семи австралийских ученых. В нем есть, в частности, такие слова: «В особенности прискорбно, что такая технически развитая страна, как Австралия, должна тратить огромные денежные средства и усилия на преднамеренное уничтожение пищи и сокращение всего, что необходимо для жизни людей, в той самой части мира, где над людьми нависли две величайшие угрозы — избыточный рост населения и недостаточность пищи». Здесь же сообщается, что с заявлением противоположного характера выступили четырнадцать американских ученых в области гуманитарных наук и специалистов по Азии,

предупредивших, что «победа коммунистов во Вьетнаме может привести к еще большей и дорогостоящей войне». Эти специалисты называют себя «умеренными членами академического сообщества». Для порядка нам надлежит присоединить этих четырнадцать специалистов по Азии к батальону волонтеров Полларда.

В № 3824 сообщается: «Семьсот пятьдесят ученых и писателей — включая двадцать пять Нобелевских лауреатов, десять лауреатов премии Пулитцера и сто шестьдесят членов Национальной академии наук — подписали заявление, убеждающее в необходимости урегулирования проблемы Вьетнама, «основанного на полном взаимном соглашении с теми вьетнамцами, которые ныне противостоят в политическом и военном смысле существующему сайгонскому режиму».

Цифры говорят сами за себя. Однако нужно иметь в виду, что более или менее монолитная оппозиция правительству наблюдается лишь среди крупных ученых, которым, понятно, легче вести себя независимо. Что касается рядовых научных работников США, то в их среде боязнь потерять место, а может быть, и другие соображения гораздо чаще удерживают от открытых антиправительственных действий. Это наглядно проявилось на годичном собрании Американского общества микробиологов, на котором президенту общества не удалось провести предложения о разрыве общества с биологическими лабораториями армии США в связи с моральной неприемлемостью этих связей для ученых. Резолюция о сохранении этих связей собрала сто семьдесят два голоса против пятидесяти восьми. В отчете об этом заседании упоминается, что сто членов Общества микробиологов служат в упомянутых лабораториях армии (№ 3830, 24 мая 1968 года).

Письмо Полларда вызвало появление на страницах «Сайенс» целой серии писем, авторы которых вовсе не считают, что биофизику из Пенсильванского университета есть чем гордиться. Только в одном № 3800 — том самом, где Поллард вторично возникает на страницах журнала, — есть три таких письма. Автор одного из них пишет: «Поллард намекает, что эта война как будто получает меньшую поддержку со стороны университетских ученых, чем вторая мировая война. По-видимому, это имеет отношение к принципиальной разнице между этими двумя войнами в политическом и моральном плане».

Нет смысла приводить все отклики, их много, но один прозвучал особенно резко и весомо. Письмо, подписанное двумя крупнейшими учеными США, лауреатом Нобелевской премии биохимиком Сент-Дьердьи и одним из основателей молекулярной генетики профессором Луриа, несет заголовок — «Вьетнам: национальная катастрофа». Резко осудив Полларда, авторы письма выступают с беспрецедентным предложением, чтобы каждый научный работник Америки продумал, нет ли в его исследовательской работе чего-нибудь такого, что могло бы пойти на пользу военно-правительственным кругам.

Этот призыв к индивидуальному самоконтролю, высказанный людьми, которые пользуются большим влиянием в научной среде, не требуя от человека никаких явных действий, содержит в себе серьезную угрозу милитаризму. И государственная администрация это хорошо понимает, выказывая все больше раздражения и угроз, которые «Сайенс» пунктуально цитирует под рубрикой «Точка зрения».

Вот, например, точка зрения, высказанная в каком-то обществе государственным секретарем Дином Раском (№ 3799): «Тот факт, что человек знает все, что можно знать об энзимах, не означает, что он знает очень много о Вьетнаме или как организовать мир или жизнь и смерть наций. Итак, я очень уважаю интеллектуалов, но вряд ли им меня утратить. (Смех.)».

Трудно сказать, оговорился государственный секретарь или он в самом деле думает, что «интеллектуаль» хотя бы участвовать в решении вопроса о том, как «организовать... смерть наций». Со стороны кажется, что они обсуждают лишь вопрос о том, как лишить этой возможности бравых «неустрасимых» политиков.

Более прочувствованно высказывается вице-президент Хэмфри (№ 3816): «Я знаю, много раз читал в печати, что в иных университетских городках наблюдается небольшое сопротивление в связи с правительственными исследовательскими проектами, осуществляемыми в университетах («иных», «небольшое» — как изящно выражается

вице-президент! — Д. С.)... Я полагаю, что, если вам не нужны деньги, для них найдется другое место. Я так считаю, что если университет желает исключить себя из жизни народа, то ему скорее всего придется познать скудную жизнь... Я надеюсь, что наши университеты и наше правительство могут работать вместе. Я надеюсь, что разрыва не будет, потому что если он произойдет, то уж страдать-то будет не правительство, потому что правительство может обзавестись своими собственными лабораториями».

А ведь не может! Вице-президент неосмотрительно высказывает такие оптимистические прогнозы — в этих лабораториях тоже нужны будут специалисты. Четырнадцать специалистов по Азии, что ли, будут спасать положение? Судя по сообщениям «Сайенс», в лабораторию, скомпрометировавшую себя связью с военщиной, становится трудно заполучить не только крупного ученого, но даже выпускника университета. К слову, в № 3806 помещен драматический рассказ об обструкции, которой подвергся в студенческой среде представитель фирмы, делающей напалм. Этот представитель явился в университет набрать для фирмы молодых специалистов, а кончилось дело скандалом. Оказывается, моральные аспекты работы по специальности волнуют молодых специалистов не меньше, чем их старших коллег.

В одном из февральских номеров нынешнего года можно найти небольшое явление под заголовком «Детрик собирается отметить свое двадцатипятилетие». Через два месяца (№ 3825, 18 апреля) «Сайенс» имеет возможность рассказать нам, какую страницу вписал этот серебряный юбилей в историю славного Детрика.

Я позволю себе привести очень большую выдержку из этого отчета, чтобы сохранить все детали и нюансы в том виде, как они прозвучали в журнале,— пересказ лишил бы их в какой-то мере достоверности.

«Научный симпозиум, посвященный двадцатипятилетию исследовательского центра Армии в области биологического оружия Форт Детрик, расположенного в г. Фридерик, штат Мериленд, возбудил острую оппозицию в биологических кругах и подвергся бойкоту, который, как считают, не имеет прецедента в нынешней бурной истории взаимоотношений между военными и учеными. По крайней мере шестнадцать ученых отказались представить доклады в организованном Детриком симпозиуме по нуклеиновым кислотам, что явилось частью полуспонтанного-полуорганизованного протеста против использования науки для разрушительных военных целей. Некоторые ученые отвергли приглашение Детрика, лишь только получили его; другие приняли приглашение, но затем, получив письма и телефонные звонки от своих коллег, решили взять согласие назад. Четверо ученых сделали это, когда окончательная программа была уже отпечатана, вынудив тем самым Детрика перестраивать программу в последнюю минуту.

С обеих сторон битва вокруг симпозиума велась достаточно горячо. Пикетчики у главных ворот Детрика несли плакаты, на которых провозглашалось: «Форт Детрик — не пристойное научное заведение» и «Ученые из Форте Детрик — проститутки». Несмотря на очевидную для многих наблюдателей «чистоту» симпозиума, материалы которого носили неприкладной и незасекреченный характер, Детрик неожиданно столкнулся с оппозицией научных кругов почти с той самой минуты, когда он начал хлопотать о докладчиках. Детрик разослал письма, приглашающие ученых представить доклады на симпозиуме по нуклеиновым кислотам, еще в июле и августе 1967 года — и получил в ответ несколько резких отказов... В приглашениях обычно упоминались имена выдающихся исследователей, при этом говорилось или намекалось, что эти люди представляют доклады, хотя это не всегда соответствовало истине... Одно письмо, написанное Детриком в августе, сообщало, что симпозиум по нуклеиновым кислотам «включит в качестве докладчиков» шестерых исследователей, имена которых затем перечислялись в письме. На самом деле трое из упомянутых уже отклонили приглашения. Герберт В. Бойер, профессор микробиологии медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско, отказался выступить, «поскольку исследования, ведущиеся в Форте Детрик, морально для меня неприемлемы». Дэвид Денхардт, второй профессор биологии в Гарварде, отклонил предложение из-за недостатка времени... «Они стараются выставить грязное дело в изящной чистой сорочке»,—

сказал Д. Макдональд-Грин, профессор биохимии университета в Нью-Хэмпшире, который снял свое имя из программы симпозиума...

На первых порах ученые, видимо, отклоняли приглашение Детрика в основном сами по себе, хотя многие из них посылали копии своих писем с осуждением Детрика своим коллегам, получившим приглашения. Но в последние недели перед симпозиумом группы из муниципального Института здоровья г. Нью-Йорка (частная организация, работающая для города по контракту) и Рокфеллеровского университета объединились для организованной кампании. Они звонили по телефону, убеждая докладчиков выйти из программы Детрика, публиковали призывы к бойкоту, организовали линию пикетчиков из девятнадцати человек и составили письмо протеста, которое подписало более тридцати ученых.

...Может быть, полностью размеры бойкота Детрика так и не будут известны, поскольку Детрик отказался открыть имена или общее число ученых, которых приглашали выступить с докладами. Тем не менее ясно, что бойкот был широким. «Сайенс» смог установить имена двадцати ученых, отказавшихся дать доклады, и по крайней мере шестнадцать из них связали это с протестом. Некоторые ученые были приглашены в качестве гостей и тоже бойкотировали симпозиум, но размеры этого бойкота неизвестны. В конечном виде программа включала девять докладов приглашенных ученых и один доклад сотрудника Детрика, а также беседу за круглым столом, которую организовали, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся после отказа последних четырех докладчиков.

«...Ученые, принявшие участие в конференции Детрика, приводили ряд объяснений в пользу своих действий, в том числе такие:

— Симпозиумы были незасекреченными и относительно открытыми.

— Работы касались основ науки, а не прикладных проблем и в любом случае стали бы доступными для сотрудников Детрика через открытую литературу. Более того, исследователь в области основ науки не может влиять на то, как другие используют его работу, и не может иметь уверенность, что ее не используют на развитие вооружений. Можем ли мы возлагать вину за Хиросиму на Эйнштейна?

— Бойкот симпозиумов наносит обиду тем самым людям в Детрике, которые более всего нуждаются в поддержке, именно — гражданским ученым, занимающимся фундаментальными исследованиями. Если позиции этих людей будут подорваны, Детрик станет еще более секретным и оборонительным.

— Ученым извне следует поддерживать контакты с Детриком, руководствуясь принципом гражданского контроля над военными.

— Детрик делает и работу, которую большинство ученых должно признать «полезной», — как, например, работа по установлению инфекционных заболеваний до появления клинических симптомов.

— Биологическое оружие — необходимая часть национального арсенала в сегодняшнем мире, и кому-то надо работать над ним...»

Не удивительны сами аргументы — удивительно, что тех, на кого они перестали действовать, было вдвое больше, чем тех, кто еще продолжает так рассуждать!

«Бойкот поразил почти всех, — отмечает журнал, — кто имел к нему отношение. Армия и Американский институт биологических наук не ожидали такой острой оппозиции программе. И большинство протестующих не ожидало, что такое значительное число их коллег откажется выступить с докладами. Этот эпизод, возможно, отражает настроение нации, которая устала от войны во Вьетнаме и в городах».

В наш век, когда военные и политические успехи государств во многом определяются их промышленным и научным потенциалом, в западном мире выработалась примерно такая формула отношений между армией и наукой: военные платят — ученые делают — военные применяют (1).

В Соединенных Штатах, однако, формула эта претерпела заметную эволюцию. Первое и необратимое осложнение вызвала Хиросима, и к формуле прибавилось существенное дополнение: военные платят — ученые делают — военные применяют — ученые хватаются за голову (2)

Но современное положение вещей в США уже не исчерпывается и этой формулой. Хотя американская наука весьма разнородна, все же главенствующие тенденции нынешнего этапа взаимоотношений науки и военной, мне кажется, можно выразить так: военные платят — ученые не делают — военные хватаются за голову (3).

И не нужно больших математических способностей, чтобы понять, что из формулы 3 нетрудно вывести формулу 4: военные не платят.

Это уже началось. Угроза, на которую намекал вице-президент Хэмфри, приводится в действие. В «Сайенс» (№ 3814, 2 февраля 1968 года) помещено сообщение о меморандуме министерства обороны о том, что финансирование университетов сокращается на двадцать четыре процента по сравнению с предыдущим годом. Это только одно из многочисленных сообщений такого рода — по существу начиная с декабря слово «cut» (урезывание), звучащее куда короче нашего «режут!», не сходит с заголовков статей, посвященных финансовому положению академических и университетских исследований.

И все же создается впечатление, что этим способом Пентагону не удастся заставить науку работать на себя. Происходит парадоксальное явление: от долларов Пентагона отказываются даже те, кому он продолжает их давать! В этом смысле большой интерес представляет статья, посвященная науке Японии — страны, в которой финансовая поддержка со стороны Пентагона играла в последние годы очень заметную роль в развитии научных исследований. В течение 1967 года отказы от этих грязных денег приняли массовый характер, настолько массовый, что в процесс оказалось вовлеченным правительство страны и сам премьер-министр (№ 3802).

Быть может, наиболее важным новым явлением, нарастающим к лету нынешнего года, было то, что антивоенные акции научной интеллигенции перекинулись из США в другие ведущие капиталистические страны. Вслед за рядом выступлений во Франции и за разрывом японскими университетами традиционных связей с армией США наступает очередь Англии. Английский научный еженедельник «Нэйчур», сохранявший гораздо дольше, чем «Сайенс», индифферентное отношение к проблеме моральной ответственности ученого, начиная с марта публикует один за другим весьма симптоматичные материалы. Портон, английский исследовательский центр, работающий над проблемами биологической войны, подвергается резким нападкам, а его сотрудники — обструкции. Начавшаяся борьба принимает настолько яростный характер, что ее можно назвать войной. «Война вокруг химического и биологического оружия» — таков заголовок редакционной статьи «Нэйчур» от 8 июня. 22 июня «Нэйчур» предоставляет свои страницы пяти американским ученым, которые рассказывают о событиях, связанных с юбилеем Детрика; со своей стороны, «Сайенс» в № 3834 (21 июня) дает большой обзор событий английской науки, связанных с борьбой против работы на войну.

Неверно было бы думать, что научный журнал «Сайенс» занялся политической публицистикой. То, что он помещает на своих страницах, правильнее называть информацией. В жизни научных работников происходят важные события, в которых одни ученые занимают одну позицию, другие — другую; вы можете узнать, кто за что и каковы их доводы. Порой такая информация звучит сильнее, чем публицистика.

Дм. СУХАРЕВ.



В ПОИСКАХ ЧИТАТЕЛЯ

Италия

«Ринашита» («Возрождение»), еженедельник ИКП, №№ 39—55, 1967; №№ 1—13, 1968. Рим. Год издания 25-й (основан Пальмиро Тольятти). Главный редактор Лука Паволлин.

★

На первый взгляд детски простые и наивные вопросы нередко оказываются при ближайшем рассмотрении как нельзя более сложными. В форме такого обманчиво легкого вопроса сформулирована и тема дискуссии, начавшейся еще в прошлом году и продолжавшейся несколько месяцев на страницах итальянского коммунистического еженедельника «Ринашита»: «Для кого пишется роман, для кого пишутся стихи?»

«Для кого» по существу означает также и «для чего», а этот новый вопрос сразу вводит нас в широкий круг проблем, касающихся и общественного назначения литературы, и ее действенности, и условий ее развития в так называемом «потребительском обществе», и самой социальной структуры этого общества, и т. д. и т. д.

И действительно, все эти проблемы в той или иной мере, в том или ином аспекте затрагивались в выступлениях участников дискуссии — итальянских прозаиков, поэтов, эссеистов и литературных критиков разных направлений. Однако в рамках настоящих заметок мы, естественно, сможем остановиться лишь на узловых пунктах или, если угодно, доминирующих мотивах этой дискуссии.

«Писатель пописывает, а читатель почитывает»... Для писателя, который не пописывает, а пишет — «кровью своих мускулов и соком своих нервов», как сказал Людвиг Берне, — нет ничего ненавистнее, чем положение вещей, которое выражает эта горькая шедринская формула. Он жаждет не случайной и мимолетной связи с читателем, а взаимной любви, трудной и взыскательной, как всякая настоящая любовь. Он мечтает не о потребителе беллетристики, бездумно поглощающем легкое чтение, а о добросовестном сотруднике и неутомимом спутнике в поисках правды. И он, которому от имени читателя предъявляется столько законных и незаконных требований, в свою очередь предъявляет требования к читателю.

«Не думаю, чтобы меня стал читать пресыщенная и скукающая синьора или человек, которому хочется, чтобы его успокоили или утешили, — пишет Джироламо Ломбарди. — Книга — не четки, не амулет, не предмет моды — «мини» или «макси». Книга — это работа... Правда, чем лучше писатель, тем меньшую часть работы он оставляет на долю читателя. Как можно больше ее он берет на себя. Но уровень читателя определяется тем, в какой мере он приемлет эту работу, не сулящую ему утешения».

Молодой поэт и прозаик Карло Вилла идет дальше Джироламо Ломбарди. Он не просто отстаивает право на существование «трудной литературы», а видит в определении «трудная» неотъемлемую часть понятия настоящей, большой литературы. Трудность литературного текста, по его мнению, — условие активности читателя, а активность читателя в свою очередь — неперемное условие того процесса воспитания чувств и развития самой «чувствительности», стимулировать который и призвано всякое художественное произведение.

«Я верю в публику как в сотрудника, — пишет он, — в той мере, в какой писатель умеет побудить ее к сотрудничеству. Если то, что он говорит, вполне ясно и понятно, читателя это утешит, он скажет: «Это верно» — и, закрыв книгу, снова включит телевизор в безмятежной уверенности, что есть некто, думающий за него о его проблемах. В книге нужно там и тут озадачивать и приводить в замешательство читателя, уби-

рать промежуточные ступеньки, делать нелегким доступ к сути, чтобы читатель приобрел более глубокую восприимчивость, которая останется его личным достоянием и позволит ему потом лучше понимать окружающие его явления. Нужно выбить его из привычной колеи, принудить отрешиться от пассивности, от предоставления автору всей полноты полномочий — читатель должен проделывать на странице текста такую же ремесленную работу, что и писатель. Нужно, чтобы он проник в самую технику письма, для чего ему надобно показать все многообразие форм выражения, каждая из которых по-своему правомерна. Когда человек покупает машину, предполагается, что он умеет водить ее, и даже экзамен на получение водительских прав предусматривает ныне более глубокие знания в области техники: они нужны для того, чтобы лучше пользоваться средством передвижения. В еще большей мере это применимо к поэтическому тексту».

Карло Вилла справедливо выступает против попыток преподнести читателям, как протертый суп, готовые решения жизненных проблем, которые оставалось бы только усвоить и применять, подставляя конкретные данные на место общих категорий, как школьники подставляют численные значения на место алгебраических символов в формуле корней квадратного уравнения: решение должно быть найдено, «формула» должна быть выведена самим читателем. Нельзя не согласиться с ним и в том, что итог интеллектуального, морального и эстетического воздействия художественного произведения едва ли не в первую очередь определяется тем, в какой мере оно выводит нас из состояния духовной инертности и побуждает к самостоятельной мыслительной работе.

При всем том бросается в глаза узость и искусственность развернутой Карло Виллой концепции «трудной литературы». Дидактика, выставленная им за дверь, влезает в окно, только место ментора занимает тренер, ибо если, по выражению Ломбарди, «книга — это работа», то в понимании Виллы работа эта сводится к гимнастике ума, и потому все внимание автора должно быть сосредоточено на подборе упражнений, не имеющих по существу никакого отношения к другой, настоящей работе, которой читателю приходится заниматься уже не «на странице текста», а на странице истории. Это в точном смысле слова формалистическая концепция, поскольку Карло Вилла совершенно абстрагируется от проблематики художественного произведения, от его идейного содержания, и трудности, которые он предлагает преодолевать читателю, суть чисто формальные трудности, притом возникающие по произволу автора, а не вытекающие в силу внутренней необходимости из общего идейно-художественного замысла. Слов нет, шахматы — интересная и полезная игра, но вряд ли решение шахматных задач — наилучшая подготовка для решения нравственных или политических проблем. Насколько более глубокое, серьезное и, хочется сказать, человеческое понимание отношений между писателем и читателем находим мы у Либери Биджаретти, известного советским читателям по роману «Конгресс».

«Ту помощь, которую я оказываю самому себе, создавая книгу, я стараюсь оказать также и другим. Каждый день я с трепетом отправляюсь на охоту за правдой и свою добычу делю с читателями. Я не имею возможности предложить им необыкновенные сюжеты, далекие путешествия и великие открытия. Но мой опыт и мое сознание позволяют мне через посредство моих книг давать читателям некоторые советы, делать им некоторые предостережения — те самые, которые я высказываю самому себе на основании моих каждодневных столкновений с фактами и словами. Обрати внимание, говорю я моему читателю с помощью воображаемых примеров, обрати внимание на то, что так называемые твои чувства навязаны тебе или спровоцированы; обрати внимание на то, что твои поступки обусловлены; обрати внимание на то, что твое благополучие — результат стечения обстоятельств, твое стремление к лучшей жизни встречает преграды или эксплуатируется, твоя судьба связана с судьбой (и с интересами) других, твое требование свободы удовлетворяется лишь частично...»

В совсем иной плоскости, нежели Карло Вилла, ставит вопрос о «трудной литературе» Итало Кальвино.

«Для кого пишется роман? Для кого пишутся стихи? Для людей, которые читали некоторые другие романы, некоторые другие стихи, — отвечает Кальвино. — Книга пи-

шется для того, чтобы она вошла в некий гипотетический книжный шкаф и, войдя в него, вытеснила или отодвинула на задний план одни тома и потребовала выдвинуть на первый план другие».

Иначе говоря, по мысли Кальвино, писатель, обращаясь к читателю, должен исходить из его художественного достояния, из наличной литературной традиции, из существующей шкалы моральных и эстетических ценностей, к которой он может относиться критически и даже полемически, но которую он не вправе игнорировать. При этом он должен также учитывать, что в гипотетическом шкафу, на одну из полок которого встанет его книга, хранятся отнюдь не только романы и стихи, но и социально-политическая, философская, лингвистическая и иная литература, отвечающая доминирующим культурным интересам в исторически определенный момент духовной жизни общества. Так, например, в последние годы по многим причинам, среди которых не последнюю роль играет гигантски возросший объем научной информации, в этом гипотетическом шкафу первое место занимают лингвистика, теория информации, социология, антропология, психоанализ в его новом применении — «дисциплины, способные демонтировать литературный факт», из чего, казалось бы, можно сделать вывод, что «романы отныне будут писаться для читателя, который в конце концов поймет, что ему не следует читать романы». Отвергая как заведомо ложную эту точку зрения, которой придерживаются многие нынешние «авангардисты» («антилитература — слишком литературное пристрастие, чтобы быть на уровне современных культурных потребностей»), Итало Кальвино вместе с тем подчеркивает, что в наши дни, работая над новой книгой, писатель должен иметь в виду новую культурную ситуацию, новые запросы читателя, в частности его интерес к вопросам теории познания, методологии, семантики, который определяет и новый угол зрения, новый подход к явлениям литературы.

Тут Кальвино затрагивает одну из важнейших проблем, которую выдвигает анкета «Ринашита». Он сам ставит под вопрос собственную посылку, что писатель должен исходить из «гипотетического книжного шкафа» все более культурного читателя:

«Не абстрагируемся ли мы, принимая эту посылку, от неотложной задачи разрешить проблему неравенства культурных уровней? Ныне эта проблема встает со всей остротой и в развитом капиталистическом обществе, и в бывших колониальных и полуколониальных странах, и в социалистических государствах: неравенство культурных уровней угрожает продлить классовое неравенство, в котором оно берет свои истоки».

Нельзя не согласиться с Кальвино в том, что это действительно важнейшая, действительно узловая проблема — и не только педагогическая, но и политическая, и даже прежде всего политическая. Верно и то, что она остается актуальной и для социалистических стран. Жаль только, что, формулируя ее в столь общей форме, Кальвино не счел нужным подчеркнуть, что в социалистическом обществе она носит совершенно иной характер: здесь есть главная социально-экономическая предпосылка ее решения — отсутствие частной собственности на средства производства, здесь она целеустремленно решается в духе принципов научного коммунизма, хотя, разумеется, не может быть окончательно решена одним «скачком» — ни сегодня, ни завтра.

«Литература, — продолжает Кальвино, — может лишь косвенным образом содействовать решению этой проблемы, в частности безоговорочно отвергая всякое патерналистское решение: если мы будем исходить из представления о читателе менее культурном, чем писатель, и зайдем по отношению к нему позицию педагогическую, популяризаторскую, покровительственную, то этим мы лишь упрочим неравенство уровней; всякая попытка скрасить ситуацию посредством паллиативов (в виде «народной литературы») есть шаг назад, а не вперед... Литература может только играть на повышение, набавлять ставки, нести на перекладных, следовать логике ситуации, которая неизбежно обостряется. Решение проблемы должно найти общество в целом (к которому, разумеется, принадлежит и писатель, несущий в полной мере вытекающую отсюда ответственность)».

Мы не можем не сосуществовать пафосу отрицания «патерналистского» отношения к читателю, псевдемократического конформизма, выражающегося в приравнивании к узкому умственному горизонту, к неразвитому вкусу, наконец к простой необразованности. Мы готовы согласиться и с тем, что литература должна неизменно «играть

на повышение». Но нам представляется необходимым сделать здесь существенную оговорку: эта «игра на повышение» не должна быть спекулятивной игрой, и, следуя «логике ситуации, которая неизбежно обостряется», не надобно впадать в другого рода конформизм — приспособление к превратностям интеллектуальной моды. Мы тоже за литературу без скидок на бедность, ориентирующуюся на читателя высокой культуры. Весь вопрос в том, что понимать под подлинной культурой. На наш взгляд, она во всяком случае не имеет ничего общего ни с гелертерством, ни со снобизмом, и во всяком случае в ее определение входят прежде всего подлинный гуманизм и подлинная демократичность.

Но каков бы ни был читатель идеальный, писатель не может игнорировать реального читателя, от которого в значительной, а по мнению многих участников дискуссии в решающей степени зависит судьба его произведения.

Так кто же он, этот читатель?

Как замечает в своем выступлении один из лидеров неоавангардизма Эдоардо Сангуинетти, в наше время, когда читательская аудитория стала объектом научного социологического анализа, от этого вопроса уже нельзя уклониться с помощью романтического образа «рукописи в бутылке». Когда-то, в героическую эпоху итальянского романтизма, Джованни Берше провозглашал читателем «народ», исключая из этого понятия, с одной стороны, «парижан» (аристократов), а с другой — «готтентотов» (пролетариев). Если тогда это еще имело известное оправдание, то теперь рассуждения о «народе» или о «публике» как о читателе — не более чем мистификация, пишет Сангуинетти.

«То, что на нашем социальном горизонте вырисовывается как «публика» (которая платит за книгу), в действительности есть, как всем известно, класс буржуазии... В эпоху империализма «публику» уже не назовешь народом, теперь это скорее «массы». Весь ход общественного развития, если исключить возможные перипетии, толкает «готтентотов», которые уже перестали быть неграмотными и наконец приобрели вкус к изящной (и гуманной) словесности, в широко раскрытые объятия той платящей «публики», к которой теперь принадлежим мы все, вся нация, и другие нации».

Нетрудно видеть, что демистификация здесь, помимо воли поэта, переходит в новую мистификацию. рассуждения Сангуинетти — отзвук распространенной сейчас (и сознательно распространяемой) теории, которая структурные изменения внутри рабочего класса, связанные с научно-технической революцией, и пролетаризацию так называемых «белых воротничков» и вообще «средних классов» трактует как прогрессирующее обуржуазивание пролетариата, как «растворение» его в «потребительском» обществе, «опровергающее» марксистскую теорию классов и классовой борьбы.

Несостоятельность этой теории не раз убедительно раскрывалась в нашей социологической литературе. Отошлем читателя, в частности, к материалам недавней дискуссии на тему «Рабочий класс в современном обществе и современной литературе», опубликованным в №№ 10 и 11 журнала «Иностранная литература» за 1967 год. Здесь заметим только, что пресловутое «обуржуазивание пролетариата» в известном смысле напоминает «дематериализацию материи», провозглашавшуюся физиками-идеалистами в начале нашего века. «Материя исчезает!» — говорили тогда. Это означало: рушатся наши прежние представления о материи, обнаруживается относительность и приближенность законов классической механики. «Пролетариат исчезает!» — объявляют теперь. Это означает: наши традиционные представления о рабочем уже не соответствуют его социальному облику в современном развитом капиталистическом обществе. Конечно, квалифицированный рабочий образцового «неокапиталистического» предприятия, оборудованного по последнему слову электронной техники, рабочий за пультом управления автоматической линии, у которого есть и холодильник и телевизор, а то и своя машина и который читает не только Сименона, но и Камю, непохож на героев «Жерминаля» и даже на Чарли, завинчивающего гайки. Конечно, с сороковых годов прошлого века, когда была написана книга Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», до шестидесятых годов нашего века много воды утекло и под мостами Темзы, и под мостами По Но в данном случае вопрос не в том, изменилось ли положение рабочего класса — оно, разумеется, изменилось весьма существенно

даже за последние двадцать лет,— а в том, изменилась ли его природа, то есть его место в исторически определенной системе общественного производства, его отношение к средствам производства, его роль в общественной организации труда. Научный анализ дает на этот вопрос однозначный ответ.

Концепция «интегральной буржуазности» современного читателя, имеющая немало сторонников среди нынешних «авангардистов», в частности в итальянской «Группе 63», обычно подкрепляется тем соображением, что так называемые «mass media», то есть средства массовой информации (пресса, радио, телевидение), находящиеся всецело в руках буржуазии, служат проводниками буржуазного влияния, буржуазного образа мышления, буржуазного мировосприятия и что вся «массовая культура», проникнутая буржуазным духом, подсказывает читателю или зрителю соответствующий «код», которым он бессознательно пользуется и в том случае, когда имеет дело с произведением подлинного искусства, антибуржуазным, по замыслу художника, но в силу своей многозначности поддающимся любому прочтению.

Не приходится отрицать, что в известных пределах, определяемых объективным содержанием художественного произведения (и его формой, более или менее императивной), оно действительно может быть прочитано так или иначе, в зависимости от восприятия читателя, которое в свою очередь в значительной мере определяется его социальной психологией, подготовкой, предшествующими влияниями. Но отсюда еще далеко до утверждения, что художник, как пишет Паоло Карузо, «создает лишь стимул, который объективизируется реакциями других», и лишь «способствует генезису произведения, не притязая оказать влияние на читателя в определении его окончательного смысла».

Участники дискуссии из числа «неоавангардистов» злоупотребляют чисто умозрительными построениями, но мы не последуем за ними на эту зыбкую почву, а обратимся к самой литературе, взяв в качестве примера знакомое советскому читателю произведение итальянского автора — скажем, роман Гоффредо Паризе «Хозяин», опубликованный на страницах журнала «Иностранная литература». Можно сколько угодно рассуждать о его многоплановости, о символике, поддающейся различным интерпретациям, и т. д. и т. д., но никому не удастся доказать, что эта обличительная книга может быть прочитана в духе буржуазной апологетики.

Правда, нельзя обойти и другую постановку проблемы. «Хозяин» Паризе выпущен в свет хозяином современной фабрики книг, и, если отвлечься от всегда возможных исключений, естественно предположить, что по своим классовым интересам, по своей жизненной философии, по своей социальной психологии этот издатель, в сущности, и являет собой прообраз доктора Макса, с такой сатирической силой изображенного писателем. Получается, что капиталист распространяет в десятках тысяч экземпляров убийственную карикатуру на самого себя и на те общественные отношения, которые по логике вещей он не может не отстаивать. Не потому ли это, что он уверен в прочности мира, на который «облокотился, как на стол», и видит в обличительной литературе не большую опасность, чем всевластный монарх — в дерзких выходках шута? Или, быть может, это своего рода акция буржуазной пропаганды, использующей даже гневное обличение в апологетических целях: смотрите, у нас каждый свободен обличать? Такими вопросами задаются не только итальянские левые.

В интервью журналу «Бук энд букмен» известный английский писатель Алан Силлитоу сказал: «Писатель должен быть кристально чистым и бескомпромиссно честным. Чем он честнее, тем он опаснее для бесчестного общества. Однако тут есть парадокс. Все мои книги атакуют существующий порядок, но две из них завоевали мне успех и принесли деньги. Это меня просто поражает, и я раздваиваюсь. Кем же быть, художником или революционером?» Французский театральный критик Рене Сорель пишет в журнале «Тан модерн»: «В голлистской Франции беспрепятственно играют Брехта, Гатти, Адамова. «Театр де Шампань», субсидируемый государством, готовит к постановке «Святую Европу», в которой Адамов заклеил малую Европу «Общего рынка». И те, для кого театр не просто развлечение, спрашивают себя, не доставляет ли театр правящему классу средство использовать протест в свою пользу под знаком свободы. Неважно, назовем ли мы его народным, политическим, ангажированным теат-

ром или театром протеста, очевидно одно: он — в западне, а добросовестные деятели театрального искусства и мы вместе с ними до изнеможения бьемся над трагическим противоречием».

Было бы легкомысленно отнестись к такого рода высказываниям как к простому «заскоку». Тем не менее и в этом плане теория «буржуазной интеграции» культуры не выдерживает критики.

Прежде всего, допуская на сцену, на экран, в литературу произведения, обличающие буржуазный строй, и изображая это как свидетельство его демократичности, буржуазия, как говорят французы, *fait de nécessité vertu* — выдает необходимость за добродетель. Не следует забывать, что демократические свободы в той мере, в какой они реальность, а не фраза, не дарованы, а завоеваны, и заслуга в этом принадлежит также и прогрессивной, демократической культуре. Поэтому относительный либерализм властей предержавших отнюдь не говорит о бессилии тех, кто борется против существующего порядка средствами искусства, и не превращает их протест в невольную хвалу.

С другой стороны, необходимо отрешиться от наивного представления об абсолютной классовой сознательности буржуа. Продюсер, выпускающий фильмы, полные эротики, пошлости и ужасов, вовсе не обязательно ставит перед собой задачу отравить сознание масс. Чаще всего он руководствуется узко корыстными интересами и чисто практическими соображениями, ориентируясь на определенные, уже сформировавшиеся вкусы и запросы. Он поступает так, а не иначе прежде всего потому, что лично ему это выгодно. Точно так же и фабрикант книг, как правило, имеет в виду прежде всего ближайшие, непосредственные результаты своей издательской деятельности. И если он находит это коммерчески выгодным, он выпускает среди прочей продукции и книгу, по своему идейному содержанию глубоко враждебную буржуазному строю, что не мешает ему в остальном активно поддерживать консервативные, охранительные силы, например, субсидировать правых во время избирательной кампании. В этом нет никакого парадокса. Скорее парадоксально то, что антибуржуазная литература в современном буржуазном обществе становится коммерчески выгодной.

Другой порок теории «буржуазной интеграции» культуры состоит в недооценке идейной и моральной сопротивляемости читателя и зрителя, принадлежащего к демократическим слоям общества. Слов нет, современные средства массового оглушения и развращения, используемые буржуазией, чрезвычайно многообразны, и эффективность их никак нельзя преуменьшить. Прав талантливый поэт и критик Джованни Джудичи, когда он пишет, что «они действительно любой полицейской диктатуры». И тем не менее это отнюдь не оправдывает тот пессимистический взгляд на вещи, согласно которому широкий читатель по самому строю мышления — буржуазный обыватель.

В своем письме в редакцию «Ринашиты» по поводу выступлений некоторых участников дискуссии литератор-коммунист Альдо де Яко прекрасно сказал: «Поскольку в центре дискуссии — «протестующее искусство», проблема состоит в том, существует ли публика, достижимая для такого искусства, или «превращение всех ценностей в товар» совершенно извращает его, прежде чем оно дойдет до своего адресата. Мне кажется, что речь идет не о новой проблеме, а о новой формулировке (или более острой постановке) старой проблемы, которая по существу сводится к вопросу о том, может ли быть социалистическое искусство в капиталистической стране...»

На мой взгляд, при капиталистическом строе может существовать «протестующее искусство», которое исходит из социалистической точки зрения, и равным образом существует публика, к которой оно обращено, существует, по крайней мере потенциально, «рынок» для этого искусства: масса эксплуатируемых, которая никогда не будет «интегрирована» существующей системой, и прежде всего ее политический, профсоюзный и культурный авангард. Но, разумеется, для того, чтобы прийти к этим выводам, необходимо преодолеть соблазн применять также и к классам теорию «некоммуникабельности» и признать, что рабочий класс способен осуществлять свою гегемонию и во всяком случае сохранять свою самостоятельность и свою враждебность по отношению к системе».

Верить в неодолимую силу буржуазной «субкультуры» — значит заранее капитулировать перед ней, и «неоавангардистская» теория, равно как и художественная практика (в той мере, в какой она отвечает этой теории), по существу и является капитуляцией. В этом плане в высшей степени характерно выступление поэта и драматурга Элио Пальярани, который кладет в основу авангардистской поэтики именно концепцию «интегральной буржуазности».

«Для кого я пишу? Для других (иначе говоря, таково мое ремесло, и в этом отличие профессионала от дилетанта), — говорит Пальярани. — Но кто эти другие? Факт тот, что теперь — и это началось не сегодня — других объективно представляет буржуазия: главным образом буржуазия пользуется литературой и искусством, главным образом буржуазия их направляет и хозяином является в них.

...Пытаться не работать на буржуазию, пытаться помешать ей обводить нас вокруг пальца, то есть с помощью «pass media» превращать нашу речь в ходовой товар, делая ее однозначной, — это типичное и специфическое стремление авангарда (я уже писал в другом месте, что это отличает его от литературно-художественных направлений и течений в узком смысле слова). И это оправдывает трудный язык — до того трудный, что он становится понятным только для посвященных, — многих произведений авангардистов: они не хотят, чтобы их читала, чтобы их понимала буржуазия».

Выступлению Элио Пальярани по крайней мере нельзя отказать в достоинствах ясности и последовательности. В нем, так сказать, кристаллизовано то, что носится в воздухе под «неоавангардистским» небосклоном, в чем можно убедиться, если дать себе, по правде говоря, неблагодарный труд прорваться сквозь дебри устрашающе ученой фразеологии многих других участников дискуссии.

«Неоавангардистов» преследует страх перед «интеграцией» революционного искусства буржуазной культурой, перед выхолащиванием и нейтрализацией его, но именно искусство, которое, в полном соответствии с принципами их поэтики, превращается в тайнопись, в словесную игру, в формалистическое жонглерство, всего легче ассимилируется этой культурой и становится ее неотъемлемым элементом. Отправляясь от политической посылки, «неоавангардисты» парадоксальным образом отстаивают по существу аполитичную литературу, а это и есть, употребляя выражение Марио Люнеты, «коллорационизм в мирное время», оличиваемый официальным признанием:

«Писателю достаточно делать вид, будто его профессиональный долг предписывает ему не касаться политических проблем, хотя бы и в художественно опосредствованной форме, и ему с высочайшего соизволения будет обеспечена литературная жизнь».

И снова нужно отдать справедливость Элио Пальярани. С присущей ему интеллектуальной честностью он не только указывает на опасность перерождения и вырождения «авангардизма» («от этих определенных и чистых устремлений до академизма, до пустой виртуозности — один только шаг, и боюсь, что здесь трудно провести четкую теоретическую границу»), но, в сущности, и признает бесплодность самих принципов поэтики «неоавангардистов», обрекающих их на всеобщее непонимание, ибо можно «оторвать обозначение от обозначаемого», но нельзя разорвать язык на «буржуазный» и «антибуржуазный». И потому такой горечью проникнуты заключительные слова его выступления: «Так, значит, мы работаем для будущего, значит, нас поймут обитатели Венеры? Не будем торопиться: может статься, о нас только и смогут сказать: они не писали дифирамбов, вот и все».

Если от неоавангардистского «новаторства» один только шаг до академизма и пустой виртуозности, то с другой стороны, от неоавангардистской концепции искусства один только шаг до его отрицания. Этот шаг и делает в своем выступлении Роберто Роверси, поэт и драматург, автор антифашистской пьесы «Унтер ден Линден», которая пользовалась в свое время шумным успехом. Отвечая на вопрос, послуживший темой дискуссии, он заявляет: «Не то что писать — надо выбросить в мусорную корзину все написанное, вплоть до собственного свидетельства о рождении».

По мнению Роверси, если литература и может еще иметь какое-то оправдание, то лишь постольку, поскольку она имеет своей целью «произвести операцию демистификации» по отношению к самой себе, «подтвердить эфемерность, зыбкость, несостоя-

тельность, глубокую противоречивость литературной деятельности, ее двусмысленность, ее низость, ее бессилие».

Роверси считает, что нужно не ставить перед литературой, как ему кажется, заведомо неосуществимой задачи, исходя из наличных социально-исторических условий, а, отбросив ее за ненужностью, с головой окунуться в революционную практику, которая одна может создать реальные условия для возникновения литературы, отвечающей не только отрицательным определениям: «На мой взгляд, вместо того, чтобы настойчиво и упорно искать клапаны, лазейки, отдушины при данных условиях, надо готовить и направлять ниспровержение всех органов власти (и пусть это не останется всего лишь намерением); только тогда, только после этого мы сможем обрести свою публику, найти своих собеседников. Тогда появится новый человек, у которого наконец будет новая власть, собеседник, который сможет иметь и будет иметь определенное социальное культурное лицо».

И в заключение Роверси провозглашает: «Я чувствую, что настало время сломать перо и отдаться буре...»

Знакомые мотивы! Мы хорошо знаем, где сейчас — якобы во имя революции! — «выбрасывают в мусорную корзину все написанное, вплоть до собственного свидетельства о рождении». Мы хорошо знаем, кто — и для чего — противопоставляет «революцию» культуре под флагом «культурной революции». Не случайно в подкрепление своей позиции Роверси ссылается на Мао Цзэ-дуна и цитирует пресловутую «красную книжку» — хунвэйбиновский требник. Не случайно и то, что в оправдание своего лозунга «сломать перо и отдаться буре» он подхватывает известную формулу — «революционер должен делать революцию», соответствующим образом истолкованную и взятую на вооружение всякого рода левацкими элементами.

Впрочем, все это не ново даже и для Италии. В уже цитированном выше письме в редакцию «Ринашиты» Альдо де Яко напоминает о вышедшей лет двадцать назад книжке некоего Фабрицио Онофри, в которой он писал, что «невозможно одновременно сражаться на передовой, в штурмующих частях, и служить в артиллерии или в саперных подразделениях» и что нужно сделать выбор между революцией и литературой, между ремеслом профессионального революционера и ремеслом писателя. Теперь, как иронически замечает Альдо де Яко, «Роверси в свою очередь намеревается ринуться на передовую и даже прямо на ничейную землю». Это очень тонкое и точное замечание — именно «на ничейную землю»: ведь Роверси торопится «отдаться буре», не задумываясь над вопросом о том, что показывает барометр, то есть существует ли в данный момент революционная ситуация: ведь «ниспровергать все органы власти» он собирается без широких народных масс, которые, по его словам, «убаюканы, развращены, одурманены, мистифицированы», во всяком случае не вышли еще на исходные рубежи для «последнего решительного боя», и ему не приходит в голову, что помочь им подойти к этим рубежам должна, между прочим, и социалистическая литература. Как не вспомнить тут вместе с Альдо де Яко такие работы В. И. Ленина, как «Марксизм и восстание» и «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в которых он настойчиво предостерегал против авантюризма и «левого» доктринерства, как не оценить их непреходящую актуальность!

«Зачем же превращаться в более или менее стыдливых бланкистов? Возможно ли, чтобы несколько лет левоцентристского правления и теории «процветающего» или «потребительского» общества заставили нас утратить веру в главное действующее лицо революционного процесса, то есть в массы? Жалок тот, кто поддается унынию, порождающему такие идеи».

Этими словами Альдо де Яко заканчивает свое письмо. Закончим этим и мы наш, быть может, несколько пространный комментарий.

Н. НАУМОВ.



АНГЕЛЫ И КИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ

★

СИЛА И ЦЕЛЬНОСТЬ ДУШИ

(Об Эм. Казакевиче)

СОРМОВО

Сорок девятый год. Начало зимы. Александр Фадеев читает на заседании секретариата письмо — приглашение писателям от коллектива знаменитого Сормовского завода принять участие в столетнем юбилее, создать коллективную книгу о заводе.

Фадеев говорит о горьковской традиции коллективных писательских работ, которую надо поддерживать, о возможности прибегнуть к богатейшему материалу, о будущей книге, чья добротность должна измеряться если не веком жизни, то хотя бы половиной заводского юбилейного срока. И это как минимум!

— На заводе вас с нетерпением ждут, товарищи, а дело важное, большое дело! — обращается он к писателям, которые едут в Сормово.

Кажется, Эммануила Генриховича Казакевича не было на этом заседании. Во всяком случае я его там не видел, а встретил только через неделю уже в Горьком, куда я поторопился приехать и оказался первым, кто поселился в старенькой, скромной сормовской гостинице. Окна гостиницы выходили в сторону завода и на теперешнюю улицу Коминтерна, а раньше — «Сормовску большу дорогу, что слезами улита», как пелось в старинной песне.

Вторым из нашей группы, кто приехал и поселился в этой гостинице, был Казакевич. В это время он был уже автором двух широко известных повестей — «Звезда» и «Двое в степи», причем подвергавшиеся

критике «Двое в степи» собрали, мне казалось, не меньшее число рецензий и отзывов, чем «Звезда», отмеченная Государственной премией.

С Казакевичем я не был лично знаком до этой зимы. Читал его произведения, видел его портрет на обложке огоньковской книжки уже в штатском: в пиджаке, в белой рубашке и при галстуке. С фотографии смотрело лицо с большими умными глазами в очках.

Бросалось в глаза некое несоответствие между внешним впечатлением тонкой и чуть меланхолической интеллигентности и богатым набором орденских ленточек на груди. Может быть, по этому несоответствию я узнал сразу же «живого» Казакевича, когда он вошел в маленькую комнату буфета гостиницы, где я завтракал.

Я почему-то внимательно посмотрел на него, он вопросительно на меня, кивнул утвердительно на мой вопрос, не писатель ли он, и когда я назвал свою фамилию, первое, что он спросил — почему я к завтраку не взял фронтových сто граммов?

— Надо обязательно выпить по такому поводу, — сказал он.

— Как, с утра?

— Именно. О, есть знаменитые аполотеги утренней выпивки!

Голос у Казакевича был приятный, с характерной для уроженцев юга России мягкостью и манерой чуть растягивать гласные.

— Выпивший с утра человек менее восприимчив к неприятностям, — продолжал

он,— благодушен, весел и сохраняет, таким образом, в течение дня свои нервные клетки. А они, как известно, не восстанавливаются.

Говорил он с полуулыбкой, за которой скрывалась то ли легкая ирония, то ли просто хорошее настроение вкупе с желанием действительно немного выпить по поводу приезда.

И мы выпили по сто граммов, а затем в состоянии нахлынувшего благодушия отправились на Баррикадную улицу, или, как говорят здесь,— «в завод».

Как часто за последние два десятилетия я шагал по этой узкой, внешне мало чем примечательной улице, но знаменитой тем, что именно здесь, в гнезде бунтарей, как называли до революции Сормово, полиция разгоняла первые рабочие демонстрации, а грозный клич «Долой самодержавие!», прозвучавший на убогих улицах фабричной слободки, прокатился по России раскатом грома.

Прежде чем зайти к директору, мы решили немного побродить между цехами, выйти к скованной льдом Волге, к заводской гавани, где зимовали суда.

— Подышим немного заводом,— предложил Казакевич.

Заводы меняются так же быстро, как и города, если еще не быстрее. Где ныне бывшие приметы сормовской старины? А тогда, в сорок девятом, существовали и законченные паровозные цехи, и старые кузницы, и стена, на которой можно было прочесть слова: «В этом цехе в 1870 году была пущена первая в России мартеновская печь».

Я помню, мы говорили о слинии завода с Волгой, которое столь характерно для Сормова и проглядывало во всем его облике, архитектуре и композиции цехов. Большие и малые заводские улицы и переулочки, где бы они ни начинались, все неизбежно и целеустремленно тянулись к гавани, к берегу главной водной улицы России.

Погуляв по заводу, по зеленым аллеям, которые тогда начинали украшать заводскую территорию, мы пошли в заводоуправление, в кабинет Ефима Эммануиловича Рубинчика.

Директор завода незадолго до этого получил воинское звание генерала инженерно-технических войск, а затем Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.

Я впервые увидел Рубинчика именно в генеральском мундире. Невысокий, седой, подвижный, он производил впечатление человека, чей темперамент каждую минуту готов разрядиться в энергии слов, жестов, даже в походке, в звуках высокого, напряженного голоса.

Казакевич, капитан запаса, невольно собрался, подтянулся перед генералом и приветствовал Рубинчика по-военному:

— Здравия желаю, товарищ генерал! Мы двое из группы московских писателей. Прибыли. Остальные на подходе. Я лично... от военной темы делаю первый шаг к мирной...

Все это походило на рапорт, может быть, не слишком уместный для писателя, но на лице Казакевича не дрогнул ни один мускул.

— И очень хорошо. А как вы устроились, товарищи? — спросил директор и тут же сказал, что на заводе с нетерпением ожидают приезда писателей и что хорошо бы книгу выпустить к юбилею.

Кажется, Казакевич ответил «сделаем» или «постараемся», присовокупив к этому снова свое четкое «товарищ генерал». Мне показалось, что делал он это в силу той строевой закваски, что глубоко укоренилась в нем за время войны, а может быть, и оттого, что, повторяю, в устах писателя эта чеканность речи звучала как-то по-особенному неожиданно и, несомненно, слегка льстила собеседнику.

А он, наш собеседник, увлеченно заговорил о заводе и с указкой в руке прошелся вдоль стен своего кабинета, где висело множество фотографий кораблей, различные графики, схемы, а также портреты людей, в которых угадывались старые сормовские рабочие. Казакевич с интересом разглядывал лица стариков, самому младшему, наверно, было лет семьдесят, не меньше.

— Наша старая гвардия,— произнес директор с гордостью.— Патриархи Сормова! Вот вы зайдете в цех и увидите у станков представителей трех, а то и четырех поколений одной семьи. Вот такими семьями мы богаты. Да, патриархи! — повторил он.— Вот тема.

Я не знаю, в какой мере слова директора повлияли на решение Казакевича написать очерк об одной из сормовских династий. Но тем не менее он написал именно об этом, и, думается, не только потому, что такими династиями действительно богато Сормово, а и в силу своего интереса к теме

исторической преемственности поколений, к теме рабочего класса, интереса, который потом так развился и окреп в его последующих произведениях.

Казакевич выбрал себе рабочую династию Вяловых.

К сожалению, этот очерк («Черты характера») не был опубликован писателем, хотя рукопись сохранилась в архиве. Помню, как он читал мне в гостинице первые наброски. Сам я в ту пору погрузился целиком в увлекший меня драматический, но локальный производственный эпизод, когда ранний паводок на Волге заставил сормовичей в полном смысле слова героически бороться за скорейшую сборку судов, чтобы они не были затоплены в судоуме. Может быть, поэтому стремление Казакевича даже на малой «площадке» очерка мыслить масштабно, исторично произвело на меня сильное впечатление.

Очерк начинался с полемического противопоставления литературы о династиях царских, княжеских, о торговых и банкирских домах рассказу о династии рабочей семьи Вяловых с ее бурлацкими истоками, рабочей выносливостью и трудолюбием, революционной верой в будущее.

Очерк этот Казакевич дописывал уже в Москве. А в Сормове он старался больше видеть, слышать, «дышать заводом». И вот произошел случай, сам по себе печальный, который позволил ему, однако, еще лучше узнать Сормово и его людей. А мне этот случай впервые приоткрыл Казакевича-человека, черты его характера и отношение к жизни.

Примерно дней через десять после того, как мы приехали в Сормово, Эммануил Генрихович заболел. Первые признаки недомогания он обнаружил у себя, когда мы из Сормова поехали в Горький, чтобы выступить по местному телевидению.

В те годы из Сормова в Горький долго тащился трамвай, а день был морозный, ветреный, Эммануил Генрихович заб. иногда знобко поеживался, кашлял.

В радиокомитете, как водится, надо было предварительно написать наши краткие выступления Казакевич по меньшей мере минут тридцать сидел над полстраничным текстом. Он чувствовал себя все хуже, я видел это по его глазам. Тут впору было и вовсе уехать домой, а не мучиться над помарками для трехминутного выступления, но он продолжал упорно работать.

Такси на обратную дорогу мы не доставили, и с пылающим от жара лицом Эммануил Генрихович еще долго трясся в холодном трамвае. Он не позвонил мне ни вечером, ни ночью, я решил, что он спокойно спит в своем номере. Но утром я был поражен известием, что писателя из девятнадцатого номера увезли в больницу!

Это большое, из красного кирпича здание еще дореволюционной постройки стояло тогда в глубине парка. Рядом луг, где стоят обелиски в честь первых революционных демонстраций и столкновений рабочих с полицией.

Не сразу я разыскал больного, которого привезли ночью. А нашел его в большой комнате с множеством кроватей — мне показалось, что там их было не меньше тридцати. На одной из кроватей дремал Казакевич.

— Температура ночью подскочила к сорока, — сказал он, как бы оправдываясь. — Вызвал «неотложку». Сейчас уже меньше.

При этом он слабо махнул рукой, словно бы заранее отводя мои упреки за то, что никому не сказал, не позвонил.

— Все обошлось. Дежурная по этажу оказалась такой милой девушкой, вызвала врача. Ничего, ничего! — успокаивал он меня, как будто это я заболел в командировке, в чужом городе, а не он, — все хорошо, здесь я увижу и узнаю то, о чем нам никогда не расскажут в директорском кабинете. И потом здесь я никакой не писатель, а просто больной. Этим снимается неизбежная фальшивость положения человека, собирающего материал путем наблюдения со стороны и опросов героев. А сейчас я лежу, как все, — думаю, тоскую, немного страдаю, одним словом, как в жизни и как на фронте. — Он улыбнулся. Потом поманил меня к себе поближе и шепнул: — А какие здесь интересные люди! Где-где, а уж в больнице рубят всю правду-матку. Про все.

— Интересные? — переспросил я, полагая, что у Казакевича с температурой сорок было совсем мало времени узнать, каковы здесь люди.

— Очень, — убежденно повторил он.

— А может, попросить, чтобы перевели в палату, где меньше людей? Или в отдельную?

— Не надо! — сказал Казакевич. — Именно здесь я и останусь.

У него не было ни тени уныния, досады, никаких жалоб, никаких просьб, кроме одной: он попросил не сообщать о его болезни домой. Недавно у него родилась дочка. Четвертая. Жена еще не совсем хорошо себя чувствует. Узнает, примчится в Сормове. Не надо ее беспокоить.

Казакевич пролежал в больнице недели две, был коротко знаком со всеми соседями по палате; почувствовав себя лучше и справившись со своим бронхитом, он вел записи и даже попросил меня принести ему в больницу рукопись романа. Он назывался «Весна на Одере».

Известно, что Казакевич начал писать этот роман сразу же после войны, а задумал его еще на фронте, но роман писался трудно, медленно, и раньше него увидели свет и «Звезда» и «Двое в степи». Большая незаконченная работа все время владела мыслями писателя, тянула к себе, тревожила. Эммануил Генрихович сказал мне в Сормове, еще до болезни, что колебался в Москве, брать ли ему в поездку рукопись или не брать. И все-таки взял.

Никто не знает, где ему будет лучше работать — дома ли, в привычном кабинете, в маленькой комнатке Дома творчества, в какой-нибудь сельской гостинице или вот в Сормове, по соседству с шумно дышащим заводом и в компании с другими литераторами, чьи машинки дробно постукивают за стенами гостиничного номера.

В нашу группу входили московские прозаики и очеркисты. Как это обычно водится, многие привезли с собой в Сормове незаконченные рукописи, продолжали здесь над ними работать.

Как-то вечером я зашел в номер к Казакевичу и застал его за письменным столом. Он работал над романом. В тот день он писал одну из глав о Гитлере; и при мне, еще, видно, по инерции работы, продолжал, рассказывая, думать об этой главе.

Эммануил Генрихович ходил по комнате и «мыслил за Гитлера». Да, именно за Гитлера, загнанного нашим наступлением в бетонную нору своего подземного бункера, мятушегося в страхе перед неизбежным возмездием, но все еще надеющегося на «чудо» в облике генерала Венка, командующего 12-й немецкой армией. Именно этой армии Гитлер отдал приказ пробиваться с запада к окруженному кольцом наших войск Берлину.

Эпизод этот вошел в роман, его можно перечитать. Я же вспоминаю о нем потому, что меня в тот вечер удивило это предварительное проговаривание вслух внутреннего монолога Гитлера. Позже я узнал, что Казакевич вообще любил в первой редакции, так сказать изустной, проговаривать вслух то, что он затем, во второй редакции, заносил на бумагу. Некоторые свои вещи в первой редакции он диктовал.

В тот вечер Эммануил Генрихович, да позволительно мне будет так сказать, вживался в образ Гитлера-изувера как художник, стремясь понять, что творилось в этом воспаленном, пропитанном ядом ненависти мозгу.

Рассказывая мне о будущей главе романа, Казакевич выглядел — так мне казалось — счастливо-возбужденным. Только ли оттого, что работа, сам процесс сочинения доставлял ему творческое удовольствие? Конечно, и поэтому. Но вместе с тем Казакевич, гвардии капитан запаса, коммунист, несомненно, испытывал в этот момент радость отмщения, полноту той удовлетворенности судьбой, которая тяжкими годами войны была заработана им, фронтовиком, ставшим писателем.

Он сам сказал мне об этом.

— Когда пишешь о таких, как Гитлер, Геббельс, Гиммлер, невольно встаешь перед дилеммой: как изобразить правду чувствований, всю эмоциональную сферу жизни этих извергов и не впасть при этом в излишнее очеловечивание характеров, что противно нашей совести и представлениям о человечности вообще. Это трудно.

Он задумался, потом добавил:

— Есть у нас литераторы, которые считают, что о Гитлере как о человеке вообще писать нельзя. Вряд ли это правильно. Есть поучительность и в биографии злодея, преступника. Тем более если в нем сконцентрировалось все зло, вся мерзость и опасность фашизма. Во всяком случае художник не может проходить мимо, невозможно делать вид, что таких людей не было. Этого нам не простит история.

Я тоже видел Германию последних месяцев войны. Я был и в рейхсканцелярии Гитлера, о которой мы говорили в тот вечер, был в первые дни и часы, когда туда ворвались наши солдаты. Естественно, нам было что вспомнить.

— Это наша война,— сказал Эммануил

Генрихович,— я говорю наша, имея в виду наше поколение. Все лучшее, благородное, героическое, с чем пришло в мир наше поколение, оно отдало этой войне. И другой у нас уже не будет. И второго поверженного Берлина — тоже. И тех радостей и тех страданий, которые мы пережили.

«Наша» — это означало, что именно наше поколение обязано сказать о минувшей войне весомое и достоверное слово, оставить для истории, для литературы правдивые свидетельства.

— О войне, о разгроме фашизма будут еще писать по меньшей мере лет пятьдесят,— совершенно убежденно произнес Казакевич.— Настоящие книги о войне напишут ее полные герои, те, кто не отделил себя от воевавшего народа. Настоящие — значит, правдивые. И нет правды мелкой и крупной, окопной и стратегической, солдатской и генеральской. Как и мир, правда неделима, правда едина, если это ленинская правда.

Вечерами Казакевич любил погулять по улицам Сормова. Иногда мы гуляли вместе, выходили к берегу Волги. На снежном ее полотне отражались огни завода — яркие всполохи мартеновских плавок. Направо в цепочке протянутых над берегами мерцающих точек угадывался большой волжский мост.

«Издали завод похож на общее собрание действующих вулканов...— скажет позже Казакевич в своем очерке о Магнитогорске, добавив:— Полубите этот пейзаж вечного дела, и вы уже почти можете писать...»

На берегу всегда было ветренее, холоднее, свежий воздух, настоящий на морозном духе сосновых заволжских лесов, обдувал нас. И хотя мы порой удалялись по берегу от завода километра на четыре, все же в воздухе ощущалась и легкая горечь дымка.

— Вот так же пахнет зимой сосновая роща после артналета,— вспомнил как-то Эммануил Генрихович.

Это было точно. И я подумал тогда, что весь он еще во власти фронтовых ассоциаций.

Я и позже не раз убеждался, что Казакевич не только всегда остро помнил фронт, но и пронес через всю свою жизнь любовь к армии. В Сормове, на заводе, он больше тяготел к рабочим — бывшим фронтовикам и вообще ко всем тем, чья судь-

ба так или иначе была в прошлом связана с армией.

— Люблю бывших стриженных ребят,— признался он мне,— люблю солдатское общество и, когда приходится, с удовольствием выступаю перед солдатской и офицерской аудиторией.

Он и сам себя частенько называл «солдатским писателем».

Признаться, меня тогда даже немного удивляло, зачем Казакевич в самый разгар своей работы над военным романом вдруг приехал в Сормово. Он объяснял это тем, что ему хотелось немного отвлечься от фронтового материала,— для контрастности подышать иной жизнью. Но, вероятно, причины здесь были в постоянном стремлении Казакевича к объемному, разностороннему охвату действительности.

* * *

Прошли годы. Давно уже потеряли силу и отошли в область истории мотивы и обстоятельства, которые помешали сборнику — большому коллективному труду писателей — увидеть свет. И будет жалко, если об этом сборнике забудут вовсе, ибо эта работа — яркий документ времени, вместивший в себя ценный историко-революционный и познавательный материал.

Сам Казакевич через девять лет вспомнил об этом в своем очерке «В столице Черной Металлургии». Не называя Сормово, но, несомненно, думая и о нем, он писал:

«Непростительно, что до сих пор почти ничего о Магнитке не написано, как не написано о Кузнецке, о Комсомольске-на-Амуре, о Норильске и многом другом. Великое начинание Горького — «История заводов и фабрик», задуманная им как история человеческих судеб, объединившихся для великих дел,— было прервано в самом начале и развеялось, почти не принесло плодов. Поколение строителей того времени уже постарело и, гляди, вскоре вовсе сойдет с исторической арены.

А великая реальность литературы не заключается ли именно в том, что она запечатлевает свое время?»

Э. Казакевич был одним из тех людей, кто умел взвешивать события и злобу дня на масштабных весах времени, смотреть вперед через барьеры случайного, наносно-

го, преходящего, и эта историческая дальноркость составляла, мне думается, одну из важных особенностей его писательского зрения вообще.

— Это пройдет,— часто говорил он по поводу каких-либо огорчительных событий, занимавших в какое-то время общественное внимание.— Это лишь маленький зигзаг на пути истории.

Органический, глубокий оптимизм Казакевича имел своим истоком высокую революционную меру вещей и событий.

Казакевич был огорчен задержкой с выходом сборника (тогда нам казалось, что это только задержка). Но вместе с тем его занимали уже иные заботы и тревоги, что естественно для много работающего писателя.

В тот день, когда наша группа в последний раз встретилась в издательстве «Советский писатель», Казакевич, я и Заболоцкий отправились погулять по Москве, под вечер забрели в Парк культуры имени М. Горького.

Помню маленький кавказский ресторанчик около пруда. Было уже темно, и часть террасы, где мы сидели, причудливо отражалась в воде.

Заболоцкий читал нам свои чудесные стихи на грузинские темы. Читал он, почти не жестикулируя, спокойно, и бы сказал — раздумчиво, и смотрел при этом на полное электрических бликов темное зеркало озера, словно бы в его отражении видел сейчас и ночной Тбилиси, и сочинский рейд, и «сонный Гурзуф».

Где скалы, вступая в зернальный затон,
 Стоят по колено в воде,
 Где море поет, подперев небосклон,
 И зеркалом служит звезде,
 Лишь здесь я познал превосходство морей
 Над нашу тесной землей,
 Услышал стремительный ход кораблей
 И отзвук равнины морской.
 Есть таинство отзвук. Может быть, нас
 Затем и волнует оно,
 Что каждое сердце предчувствует час,
 Когда оно канет на дно...

Потом, через девять лет, когда не стало Заболоцкого, я вспоминал эти строчки как пророческие.

Казакевич слушал поэта заворожено. Обычно скупой на комплименты, он горячо говорил тогда Николаю Алексевичу о любви к его таланту. Потом речь за сто-

лом, как всегда, перекинулась к отшумевшей всего четыре года назад войне, завязался разговор о военной литературе.

— Когда пишешь большую вещь,— сказал Казакевич,— когда долгое время находишься наедине с романом, то особенно к концу работы мучает чувство неуверенности и тревоги. Вы все это знаете. Несколько лет труда — и вот готова рукопись, ты несешь ее в редакцию. А что получилось, что скажут товарищи? Успех, или провал, или еще хуже — ни то ни се? Средняя, блеклая, как говорится, проходная вещь? Ужасно!

— Ничто так не способствует успеху писателя, как успех,— заметил Заболоцкий.

— А я вот слышал, как про одного писателя сказали: «Он потерпел успех», — улыбнулся Казакевич.— Не дай бог так! Как еще многие плохо и мелко пишут. А надо брать глубже, как можно глубже. От эпизодов, которых было уже достаточно, надо идти к объемным характеристам и философии войны.— Потом, вздохнув, он добавил: — А все же неприятная это штука — ожидание первых отзывов на роман. Я сейчас приближаюсь к таким тяжелым денечкам.

Казакевич имел в виду свой роман «Весна на Одере». Вскоре он закончил работу и начал писать второй роман и новую повесть — одним словом, лет на восемь отойдя от рабочей темы и целиком погружившись в материал войны.

ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ

Казакевич, при всей его большой любви к книгам, менее всего походил на писателя, которого можно было бы назвать книжным. Тяга к жизни, живой и вечно меняющейся, сложной, противоречивой, составляла едва ли не главную суть его природы.

Отсюда его поездки в Сормово, в Челябинск, на Магнитку, его пешие походы с ружьем по Подмоскovie, дальние маршруты за рулем автомобиля.

Казакевич, если можно так выразиться, числил себя в постоянной командировке в жизнь, в ее глубины. Так, он уехал в одну из своих длительных командировок, на этот раз в деревню во Владимирскую об-

ласть. Он прожил там год, писал, охотился, подружился с местными жителями, занимался общественно-литературной работой.

Поздней осенью 1951 года я вместе с писателем Н. Мельниковым поехал навестить Казакевича. До Вязников — на поезде, а оттуда взяли такси и долго добирались сначала по шоссе, затем по размытой дождями грунтовой дороге. Поплутали, но нашли небольшое село с двумя порядками изб, одну из которых снял писатель для всей своей семьи.

Тогда, в конце октября, жена и дети уже уехали в Москву, Казакевич жил один. Увидев гостей, он бурно обрадовался. Обнимая нас, несколько раз повторил:

— Ну, молодцы ребята, что приехали! Ну, просто молодцы!

Он только что пришел из леса, был в галифе и высоких болотных сапогах, в стареньком ватнике, сохранившемся, должно быть, еще с войны, с ружьем на плече. И вся эта охотничья амуниция сидела на нем ладно, пригнанно, ничто не теребенькало, не звякало при быстром, легком шаге, как и полагалось былому офицеру-разведчику, умевшему, подобно героям своих книг, двигаться бесшумно по лесным чащам.

Наш неожиданный приезд вызвал у него прилив бурного оживления, веселости и хозяйственной озабоченности. Он тут же попросил хозяйку приготовить ужин, а пока потащил нас на озеро, чтобы мы увидели, какие здесь чудесные места.

«Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов». — писал он об этой деревне, где родился герой его очерка «Старые знакомые» сержант Петр Алешушкин. Район этот «...славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма... В старину здесь работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России...».

Владимирский край привлек писателя еще и обаянием владими́ро-суздальской старины, исконностью, первородностью этих мест, где зарождалось многое из того, что вошло затем в основы русской культуры. Он считал эти края уже своими, а себя патриотом-краеведом.

Но отдавая много времени поездкам, походам по этим местам, Казакевич еще и привез в деревню целый грузовик книг из своей библиотеки. Я был поражен, увидев в избе знакомые полки, занимавшие, так же как и в Москве, четыре — только меньшие — стены комнаты, и заваленный рукописями, своими и чужими, письменный стол.

Казакевич хотел сделать много, но он еще хотел сделать все очень хорошо, его взыскательность питалась самыми высокими образцами русской классики, которую он отлично знал. Особенно он любил Чехова.

— Давайте, ребята, почитаем Чехова, — предложил он нам в первый же вечер.

Казакевич не был ни сентиментальным, ни излишне чувствительным, был в чем-то суров, порой резок в суждениях. И я уж не знаю, чем объяснить, что, когда мы читали рассказы Чехова («Архиерей», «Невеста» и другие), за стеклами его очков поблескивали слезы...

На следующий день Казакевич читал нам главы из романа «Дом на площади». Сначала прочел вступление — о том, как шестеро солдат, оставленные начальством где-то в районе Гомеля сторожить сено, не дождавшись машин из дивизии, отправляются догонять свою часть, едут и идут через Германию вместе с группами немецких беженцев и наконец где-то на привале, ошеломленные беспорядочной автоматной стрельбой, узнают, что война закончилась!

— Ну, как? — спросил Казакевич.

— Очень хорошо, — сказали мы.

— Хорошо? — недоверчиво переспросил автор. — А не затянута?

Вступление к роману в том черновом варианте мне тоже показалось на слух немного длинноватым, перегруженным деталями, но я не решился сказать об этом.

От слов Казакевича я смутился.

Не то чтобы Эммануил Генрихович таким жестоким способом решил преподать нам урок принципиальной критики. Он сам мог ошибаться в оценке этого куска. И все же это был действительно урок все той же беспощадной взыскательности, с которой он работал и сам, и тогда, когда помогал тем молодым, что тяготели к Казакевичу, ценили и любили его.

А таких было много, обязанных Казакевичу первой книгой, первым напутственным словом в литературу. И владимирский рассказчик Сергей Никитин, калининский

прозаик Александр Парфенов, Наум Мельников, Елена Ржевская, автор этих строк и другие.

...Мы гостили у Казакевича несколько дней. Погода, и без того слякотная, стала еще хуже. Лили дожди. В нашей городской обуви мы не могли сопровождать Эммануила Генриховича ни на охоту, ни на рыбалку, поэтому коротали время в беседах, попивали привезенное нами из Москвы вино, однажды даже тушили небольшой пожар на краю деревни вместе со всеми, кто успел прибежать туда с ведрами. Но главным образом ходили в гости к знакомым Казакевича, а знакомых у него была вся деревня.

Казакевич любил хороших и простых людей. И с теми, кого он считал хорошими, сходиллся быстро, легко, ибо умел и слушать, и вникать в чужую беду и радость, и обладал талантом доброжелательности не только по отношению к своим друзьям-писателям. Он ведь и в Вязниковский район приехал еще и потому, что разыскивал семью погибшего под Берлином своего фронтового товарища сержанта Аленушкина.

«...Я пришел в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день... Мимо прошел мальчик, и я спросил его, где здесь живут Аленушкины, на что он мне ответил, что полдеревни — Аленушкины. Тогда я пояснил, что имею в виду тех Аленушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Аленушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущенный и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушел...»

«Старые знакомые» — очерк Э. Казакевича — едва ли не одна из самых первых у нас художественно-документальных вещей публицистического плана, направленная против неонацизма и реваншизма в Западной Германии. Писатель судит прошлое от имени погибшего солдата и его близких. И не только от имени Петра Аленушкина, его матери, но и от имени всех матерей того самого мало кому известного Вязниковского района, что дал за войну двадцать пять Героев Советского Союза, преимущественно летчиков.

Завершающая очерк маленькая глава — о семье Аленушкина, о прекрасной осени в деревне, о горе матерей, потерявших сынов, о земле, на которой работают «простые

и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса», — написана с мужественной поэтичностью, которая всегда была свойственна Казакевичу. Это всего три странички в книге. Но ради них стоило прожить год в деревне.

Конечно, Казакевич написал там не только эти три странички, он сделал там многое. Но, однако ж, не раз именно такой веской мерю труда мерил сам писатель цену правдивой и сильной строки.

* * *

В последние годы жизни Казакевич много болел, я видел его реже, но каждая встреча оставляла во мне ощущение силы и цельности его природы и творческого жизнелюбия. Не всякая беседа с иным собратом по перу вызывает прилив бодрости — Казакевич же, даже больной, постоянно заражал желанием работать. Это испытали на себе многие. Оптимизм его был необычно устойчив и плодотворен. Может быть, потому, что в нем жил, не слабая, бойцовский, партийный и гражданственный темперамент.

Известно, что его «Синяя тетрадь» долго не могла пробить себе дорогу к читателям. Но Казакевич не отступил, не опустил рук.

— Многие думают, что моя главная тема — война, — говорил он. — Нет, моя главная тема — Ленин.

О любви к Ленину писатель говорил часто и горячо. Все теперь знают, какие планы связывал Казакевич с Ленинианой в своих художественных повестях и рассказах. Мне кажется, что ни одна из вещей, написанных им, не доставляла Казакевичу столько забот и столько радости, как «Синяя тетрадь».

Летом, а часто и зимой, особенно в последнее время, уже болея, Казакевич жил в Переделкине, на даче. На своем участке он поставил отдельный низенький домик из толстых бревен. Мне это сооружение чем-то напоминало блиндаж. Не хватало только нескольких слоев наката на крыше. Здесь Казакевич, отдалившись от всякого шума, работал в тишине.

Я встретил его зимой шестьдесят второго года, кажется, в январе, встретил шагающим по тропке, пробитой им в заснеженном лесу. Он был в меховой куртке, в сапогах и пыхиковой шапке. Шел улыбающийся, бодрый, как-то по-особенному

легкий на ногу, должно быть, оттого, что резко похудел. Я сразу заметил, как обострились его черты, стали казаться еще большими его умные, светящиеся глаза.

Я знал, что он болеет, перенес операцию и уже после нее успел съездить в Италию на конференцию Европейского содружества писателей.

Об Италии он сказал:

— Там было прекрасно. Хотелось бы побывать там еще раз, подольше. И поработать. Теперь, как я увижу какое-либо чудесное место на земле, мне хочется там обязательно поработать.

Догадывался ли он о серьезности своей болезни? Наверно, все же догадывался, но гнал от себя мрачные мысли. Он сообщил мне тогда, что перенес операцию по поводу язвы желудка и теперь все больше втягивается в работу, чтобы наверстать упущенное время. Увлечен романом «Новая земля».

— Ну, роман я во всяком случае закончу. На это хватит времени. Режим такой: два часа работы, полчаса прогулки по лесу. Силы все же не те...— При этом он грустно усмехнулся.

Погуляв по лесу, мы пришли в его домик. Он разделся и тут же, потирая с мороза руки, сел за письменный стол, не потому, что собирался при мне писать, а, должно быть, там, за столом, было для него самое привычное и удобное место.

Речь зашла о его новом романе. Рукопись уже лежала перед ним на столе — довольно высокая стопка бумаги. У Казакевича вдруг появилась застенчивая улыбка очень уставшего, но и удовлетворенного своим трудом человека.

— Трудно, но так интересно писать большой роман. О целой эпохе, когда по сути дела начиналась наша индустрия и наша мощь и складывались черты того народного единства, с которыми мы вышли навстречу войне и выстояли. Тогда начинались и мы сами. Да, увлекательно и очень, очень трудно!

Он произнес это, ничуть не боясь показаться смешным в этой своей непосредственности, поправил пальцами стопку бумаги, первую часть большой задуманной им эпопеи, которая тогда и вдохновляла его, и мучила огромностью задачи, и поддерживала его сильный дух в слабеющем теле.

...Тяжело писать о последнем свидании. Я долго не мог собраться с силами, чтобы пойти к нему, уже обреченному, ибо боялся, что не смогу оставаться спокойным и он это увидит.

Знакомая квартира в Лаврушинском с устойчивым запахом лекарств. Всегда открытые двери — каждый может войти без звонка. В столовой врачи, дежурные сестры и дежурившие по очереди друзья Казакевича. Алигер, Бек шепотом расспрашивают врача под тихое бульканье какой-то жидкости, разогреваемой на электрической плитке.

— Ему немного лучше, — сообщила жена, — он начал понемногу работать.

— Пишет?

— Нет, диктовал.

Я вошел в комнату, где раньше был кабинет писателя и четыре стены до потолка были заставлены книгами. Он и сейчас лежал среди книг, рядом со своим рабочим столом.

Увидев меня, слабо улыбнулся, протянул исхудалую руку. Я не знаю, что он прочел в моих глазах, опережая вопросы, сказал негромко, с уверенностью, которая щемяще резанула меня по сердцу:

— Поправляюсь. Очень медленно после операции, но поправляюсь. Как твои дела?

— Ничего.

Мне захотелось услышать подтверждение того, что он уже работает.

— Да, немного диктовал. Но еще слаб. Мучительно, ужасно мучительно, когда весь роман проворачивается в голове, но не можешь писать. Хочу жить, чтобы закончить вещь.

И вдруг неожиданно вспомнил о Сормове.

— Что в Сормове? — спросил он, когда я подсел на стул, стоящий около кровати. И глаза его оживились.

Признаться, меня удивила тогда заинтересованность смертельно больного человека в том, что происходит на заводе, где он побывал тринадцать лет назад. Нет, болезнь не затянула его сердце серой пленкой равнодушия. Ни на мгновение я не сомневался в искренности его интереса и живо отвечал, когда Эммануил Генрихович расспрашивал меня о заводских людях, которых он помнил, о герое своего очерка Вялове, о его семье. Он поинтересовался, давно ли я был в Сормове.

— В прошлом году, но поеду еще скоро.

— Хорошо,— кивнул он.— А как Рубинчик, где он сейчас?

Я сказал, что бывший директор Сормовского завода вновь работает в Горьком, в тот год он был одним из заместителей председателя совнархоза. Я видел Рубинчика, слышал выступление на одном из совещаний — все тот же пламенный темперамент, ничуть не остывший к шестидесятилетнему юбилею, который как раз справляли в то время.

До последней минуты Казакевич питал живой интерес ко всему, что так или иначе входило в его жизнь, занимало его мысли, вплеталось в его обширные творческие планы. И работал. Если не мог писать, то диктовал, не мог диктовать — думал, «проворачивал в голове» свой роман.

Понистине, он умирал стоя.

Хоронили Казакевича с воинскими почестями, как и подобает «солдатскому писателю». Дубовый зал ЦДЛ, где он лежал, был заполнен до отказа. Люди стояли и на улице Воровского. Было много военных, офицеров и генералов, и не только в почетном карауле. Армия, которую Казакевич так любил, пришла проститься с ним.

Примерно за год до смерти Казакевич, мысленно обращаясь к потомкам, сделал надпись на обложке своей знаменитой «Звезды». Этой очень краткой, простой и вместе с тем трогательной надписью писателя на книге, подаренной им Литературному музею, я и хочу закончить:

«Помните ли вы нас, товарищи потомки, знаете ли о наших свершениях, догадываетесь ли о наших страданиях?»

Эм. Казакевич.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН

★

К СПОРАМ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДОКУМЕНТЕ

I

Интерес к документальному жанру возрастает из года в год. По данным социологических исследований и подсчетов, в ряде стран (например, в США) документальные книги читаются сегодня больше, чем собственно художественные. Многие произведения этого рода: дневники, воспоминания, документальные повести (не говоря уже о документальных фильмах) — приобрели мировую славу. Сегодня уже само понятие «художественная литература» кажется приблизительным, и ее нередко подразделяют на «литературу факта» и «литературу вымысла». Все больше и больше внимания обращает на эти явления и критика — назову хотя бы дискуссию, проведенную в журнале «Иностранная литература» (№ 8, 1966).

Чаще всего популярность документальной литературы объясняют тем, что в ней подлинность факта противостоит его проблематичности, а конкретность — общим построениям. Эти свойства лежат на поверхности, подсказываются уже самим термином — литература факта. В самом деле, если я, читатель, беру в руки документальную книгу, то меня привлекает в ней явление определенное, конкретное и невымышленное.

Есть особая притягательность в том, что бы знать: да, все, о чем я сейчас читаю, было. В каждом из нас сидит не только потаенный художник, но и потаенный историк, и одна из самых властных человеческих потребностей — распутывать подлинную связь причин и событий. Трудно даже сказать, чисто познавательная эта способ-

ность или отчасти и художественная. Если, читая документальную биографию великого человека, я почувствую, что автор «оживляет» повествование вымышленными деталями, «примысливает» сцены, второстепенных персонажей и т. д., то мой интерес к книге сильно понизится. Видимо, сама точность неразлучна здесь с художественным эффектом, а мотивировка событий и поступков совпадает с исследованием их действительных связей и источников.

Но (приходится повторить банальную истину) нет ничего сложнее и переменчивее, чем законы изящного. То, что недопустимо в биографии, ориентированной на строгую подлинность, возможно в биографических романах Ю. Тынянова. Или в автобиографических художественных книгах, где в силу ряда причин (прежде всего личного характера повествования, открывающего прошлое «в дымке» пережитого, вспоминаемого) сфера вымысла много шире. Даже поверхностный анализ обнаруживает в «Былом и думах» Герцена множество хронологических смещений, неточностей, вымышленных деталей. В современных биографических книгах — в «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэя, в воспоминаниях И. Эренбурга, К. Паустовского, В. Катаева и т. д. — найти все это было бы, вероятно, еще легче, да и их авторы, кажется, нигде и не зарекались избегать вымысла. Напротив, Хемингуэй писал во «Введении» к своей книге: «Если читатель пожелает, он может считать эту книгу романом. Но ведь и вымысел может пролить какой-то свет на то, о чем пишу как о реальных фактах».

Если верно, что художник сам выбирает законы, по которым его надо судить, то и читательское сознание мгновенно фиксирует волну, на которой будет идти повествование, — и оно примет в документальном произведении элементы вымысла, если они вызваны к жизни более вескими причинами, чем потребность в «оживлении» и «беллетризации».

Обратившись к документальным произведениям искусства о последней войне, мы найдем, что и во многих из них доля вымысла не мала. В такой строго документальной книге, как «Бездна» Льва Гинзбурга, целая глава построена как вымышленная беседа с эсэсовским генералом. В так называемые монтажные фильмы игровые эпизоды включаются на паритетных началах со снимками и хроникой военных лет — назову фильм Лайонела Рогозина «Хорошие времена, замечательные времена». А что такое «Нюрнбергский процесс» Эбби Манна и Стенли Крамера — вероятно, одно из высших достижений современного антифашистского искусства? Это не тот главный Нюрнбергский процесс, а один из серии последовавших за ним. Какой? Кто его настоящие участники — обвиняемые и обвинители? Какие реальные факты в его основе? Кто поручится за подлинность сцен, диалогов, реплик? Никто, да этого и не нужно. Перед нами произведение «литературы вымысла», принявшее форму и стиль документа.

Сейчас выходят десятки и сотни романов, поэм, пьес, принимающих — полностью или частично — документальную окраску. Едва ли справедливо видеть в этом прегрешение против чистоты жанра или же спекулятивную попытку со стороны «отстающей» литературы вымысла выиграть соревнование с литературой факта. Нет, дело здесь, видимо, серьезнее. Если даже типичнейшие жанры литературы вымысла «работают под документ», то не потому ли, что в самой идее документальности скрыт определенный, до сих пор нами еще полностью не осознанный художественный потенциал? Ведь при известных обстоятельствах для моего читательского восприятия впечатление документальности важнее ее подлинности.

Давно уже было отмечено, что актер, правдиво и естественно играющий растроганного человека, выше того, кто растроган в самом деле, но не умеет заразить сво-

им чувством зрителя. В отношении документа (разумеется, речь идет только о художественной сфере его применения) это звучало бы так: достигает цели не тот, кто привлечет побольше документов, а тот, кто создаст наиболее прочное и естественное впечатление документальности. Справедливо говорят, что некоторые подлинные документы — например, записи и дневники участников Сопротивления — выше по художественному впечатлению, чем романы и повести. Но по-своему справедливо и то, что, скажем, «Нюрнбергский процесс» в отношении документальной точности не ниже иных судебных протоколов.

А как обстоит дело в документальной литературе с соотношением конкретного и всеобщего? Столь же не просто, как и с соотношением подлинности и вымысла.

Говорят, что вымысел ограничивает и сковывает, а художественный документ открыт и разомкнут. Он не подчинен концепциям, нередко искусственным и навязчивым.

П. Палиевский в своем интересном выступлении на дискуссии в «Иностранной литературе» говорил: документальные образы «не имеют замыкающей способности, потому что не связаны ни с какой предуказанной мыслью, не зависят от выравнивающегося стиля и в полном смысле индивидуальны: на них расползается по швам любой стереотип. Они берут свою силу отсюда — если уж говорить о преимуществах, — к чему может только присоединиться мысль: из самодвижения жизни. В их незаконченной сырой форме мерцают тысячи красок и закономерностей, идущих к нам изнутри, — направление, которое в искусстве всегда стоит предпочесть другому, профессиональному, где идет атака на смысл, вместо того чтобы дать ему свободно вылиться. Потому что от нажима смысл может отступить...». О вражде факта и «стереотипа» сказано очень точно. Но о соотношении факта и мысли (в том числе и поданной с нажимом) — не совсем.

Заметили ли вы, какую роль играют в современной документальной литературе мотивы суда? Да, именно суда: следствия, судопроизводства, слушания дела с бухгалтерным, подчас скрупулезным воспроизведением всех формальных моментов.

«Бездна» посвящена краснодарскому процессу 1963 года, делу одной фашистской зондеркоманды.

О «Нюрнбергском процессе» мы уже говорили. Близки к нему по типу такие пьесы, как «Судебное разбирательство» Петера Вейса или «Дело Опленгеймера» Жана Вилара.

Документальная пьеса Д. Аля «Правду! Ничего, кроме правды...», идущая сейчас с большим успехом в театре Товстоногова в Ленинграде, воскрешает процесс над Советской республикой, который был устроен в 1919 году американскими властями. На сцене — столы судей, обвинения, защиты; зрительный зал превращен в судейскую аудиторию, зрители — в свидетелей процесса. Не «по правилам» только присутствие Ведущего, который допрашивает самих судей, обнаруживает скрываемые ими документы, вызывает из прошлого исторических лиц, оживляет исторические прецеденты — и дело о молодой Советской республике, «незаконнорожденных идеях» превращается в суд над самим судом.

Вообще присутствие Ведущего, высшего судьи, чья юрисдикция неограниченна, кто может оживлять умерших, преодолевать историческое время и видеть будущее, — его присутствие ощутимо во многих документальных вещах, в том числе и тех, которые прямо и не носят характер судебного разбирательства.

Но тем самым возникает интересное совмещение противоположных стилей. С одной стороны — только факты, документы, строгая подлинность. С другой — условный образ Ведущего, полный отказ от какой-либо иллюзии правдоподобия. Скажут, что второй момент не типичен для документального жанра. А что делает в документальном фильме, скажем, в «Обыкновенном фашизме» (сценарий М. Ромма, М. Туровской и Ю. Ханютина), авторский голос за кадром, как не судит, не сравнивает, не вызывает из прошлого умерших, не переносит нас на десятилетия вперед? Кто такой почти в любом документальном репортаже, повести и т. д. автор — то самое авторское «я», которое подчас скромно прячется в тени, ничем не хочет выдавать своего присутствия, но в чьих руках документальность служит особым способом повествования? Уже здесь видна важная особенность: незаинтересованность документа сочетается с более чем явной заинтересованностью повествователя. Весь смысл в том, что это естественное, почти незаметное сочетание. Оно не требует от нас ни-

какого допущения, никаких усилий преодолеть порог, который почти неизбежно выдвигает «литература вымысла» (так как, прежде чем принять вымышленный художественный мир, мы должны в него поверить), — мы «только» воспринимаем факты, но вместе с ними и «мысль» автора. Нет ничего естественнее, чем видеть перед собою «очевидца» или «историка» каких-либо событий, который отбирает факты, сравнивает их, меняет хронологическую перспективу и т. д. Понадобились законы сцены (всегда выявляющие условность), чтобы подчеркнуть этот прием до осязаемого символа, то есть до фигуры сверхличного судьи и до действия как судебного разбирательства.

В искусстве всякий прием содержателен — это элементарно. Значит, и к мотивам «судопроизводства» документальный жанр обращается неспроста.

Суд — это поиски решения; вне аналитической мысли факты для него не существуют. Это интенсивные поиски решения; мы знаем, что оно будет, должно быть найдено в определенное время: до окончания «слушания дела». Это наконец четкое и недвусмысленное решение, сопряженное с понятием вины. Половинчатых решений суд не признает; он ставит вопрос резко: виновен или не виновен.

Нет, литература факта далеко не всегда отказывается от обобщения. Часто это подчеркнутое, если хотите, форсированное обобщение. Это «исследование вопроса» во всей глубине и серьезности данного слова.

Любопытные подтверждения этому, в частности, мы находим в современном антифашистском и антивоенном искусстве.

2

Едва мир стал приходить в себя от ужасов фашизма, от газовых камер, абажуров из человеческой кожи, детей, брошенных живьем в печи или зарытых в землю, перед ним неотвратимо встал вопрос: как все это могли делать люди? Каким образом соучастником преступлений стали миллионы?

Все это так угнетало, так противоречило элементарным понятиям о справедливости и добре, что невольно, вероятно даже подсознательно, возникало стремление найти какое-то бросающееся в глаза внешнее отличие фашиста от остальных людей — ну,

вроде того признака, по какому гоголевский Левко узнал ведьму: была она, как и все другие, но «тело ее не так светилось, как у прочих», внутри него что-то чернело.

Но не удавалось найти такой приметы. У Генриха Бёля в романе «Бильярд в половине десятого» офицер союзных войск недоумевает: «Против кого же, собственно говоря, велась эта война, неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных, я бы сказал даже сверхинтеллигентных, людей...»

Документальные книги о минувшей войне тоже обычно начинаются с подобного вопроса. Слово каждый писатель решает его для себя заново.

Ю. Юзовский пишет в «Польском дневнике»: «Я внимательно читал дневник Гесса... и вынужден сказать, к своему (если только тут позволительно так выразиться) разочарованию, что то, что мы называем «аморальной личностью», в данном случае словно бы не получает подтверждения, как ни странно звучит подобный вывод».

Е. Ржевская в книге «Берлин, май 1945» отмечает: «На фронте мне приходилось разговаривать с захваченными в плен немецкими солдатами, психика которых была насквозь пропитана нацизмом. Но редко. Гораздо чаще — они походили на обыкновенных людей. И это их несоответствие чудовищному монолиту, которому они принадлежали еще полчаса назад, было порой странным и ранящим».

Все это так страшно, и отмеченное Е. Ржевской «несоответствие» так ранит, что иногда (наверно, тоже подсознательно) возникает желание придумать какой-нибудь патологический признак.

Лев Гинзбург в «Бездне», книге, в общем-то, трезвой, описывая арест фашистского карателя Сургуладзе, говорит, что взяли его во время свадьбы и что тот прыгнул в машину, «как бы отталкивая от себя невесту, гостей, свадебный стол», потому что все это как-то не сочеталось с настоящим Сургуладзе, палачом и изувером. «И поскольку для человека нет ничего отраднее, чем возможность быть самим собой, Сургуладзе испытывал теперь нечто похожее на облегчение... Это был все же он, а не вымышленная, нелепая в своей неестественности фигура жениха...» Почему же неестественная? И женихами были палачи, и примерными мужьями.

О «частной» жизни фашистских изуве-

ров — от самых крупных до тех, что поменьше, — написано сейчас много, и каждый раз читаешь эти страницы с ощущением невыносимой тяжести. Как примирить описание изощренных пыток в Освенциме или Дахау с этими семейственными идиллическими картинами? Любили своих детей, старались привить им хорошие манеры и дать солидное образование. Были у них свои возлюбленные, свои друзья, свои поверенные в тайнах, свои семейные и дружеские торжества, к которым готовились трогательные подарки, свои традиции, обычаи, свои любимые домашние животные. Говорят, что любовь к животным — признак доброго сердца. У Гитлера, оказывается, была любимая собака Блонди. Гестаповский начальник Кристман опекал несколько собак. Комендант Освенцима Гесс одно время славился удивительной любовью к лошадям...

Для самолюбия человечества было бы лестнее и спокойнее, если бы дело обстояло не так. Но тогда бы и зверства, учиненные фашистами, требовали к себе иного отношения. Убийство, совершенное психически ненормальным, ненаказуемо и не сопряжено с понятием вины. «Беда как раз в том, что они люди», — говорится о фашистах в пьесе А. Миллера. Но в таком случае и задача автора, пишущего сегодня о войне и о фашизме, намного усложняется.

Отвечая на вопрос, почему Гесс стал убийцей пяти миллионов, Робер Мерль в известной книге «Смерть — мое ремесло» подчеркнул автоматизм его действий, слепое повиновение приказу. Ю. Юзовский отметил, что такой диагноз недостаточен и не отвечает на вопрос «как это могло случиться?». «Ибо автомат есть лишь следствие, а не причина... Автомат — это определенная психология, а психологии тут недостаточно для получения ответа».

Автор «Польского дневника» продолжает: «...существует более основательный фундамент, подпиравший самый приказ. Какой же это был фундамент? Какая сила приводила в действие автомат? Как это могло случиться? На это может быть один ответ, и я сформулирую его резко. Идея. Идея». Гесс был предан идее геноцида, захватнических войн, мирового господства арийской расы, уничтожения миллионов людей — всему тому, что составляет фашистскую доктрину. Она стала его долгом — не голько приказом.

Выводы автора «Польского дневника» (на них сходятся сегодня и другие писатели-документалисты, например Л. Гинзбург) глубоки и интересны, но и они не исчерпывают вопроса «как это могло случиться?». Материал, представляемый сегодня документальными произведениями, толкает к дальнейшим выводам.

Во-первых, ответ Юзовского не до конца объясняет поведение самого Гесса.

Автор «Польского дневника» приводит следующий эпизод из книги Робера Мерля. До прихода гитлеровцев к власти Гесс совершил политическое убийство и был заключен в тюрьму. Когда же влиятельные друзья предложили ему свою помощь, чтобы добиться сокращения срока заключения, Гесс отверг ее. «Почему? — недоумевает начальник тюрьмы». «Потому что в этом заинтересован только я». На это начальник тюрьмы заметил:

«— ...Вы опасный человек... А знаете, почему вы опасный человек?»

— Нет, господин начальник.

— Потому что вы честный человек... Все честные люди опасны, только подлецы безопасны... Хотите знать почему?.. Потому что подлецы действуют только в своих интересах...»

Ю. Юзовский в данном случае принимает трактовку эпизода Р. Мерлем, видя в «честности» Гесса подтверждение своего тезиса об «идее». Однако надо уточнить, какого рода эта «честность». Был ли Рудольф Гесс настолько последователен, что ставил служение фашистскому принципу выше служения определенным лицам? Среди поборников зла история демонстрирует и такую разновидность; к ней, вероятно, следует отнести некоторых участников «заговора генералов», которые ради спасения фашистского порядка выступили против Гитлера и заплатили за это своей головой. Ни разу Гесс (как, впрочем, и большинство фашистов) не попадал — или, лучше, не создавал для себя хоть отдаленно похожую ситуацию. Его «честность» с самого начала была урезана и ограничена дозволенным. Гнулся «принцип» — гнулся вместе с ним Рудольф Гесс.

Во-вторых, вывод Ю. Юзовского не объясняет участия в фашистских преступлениях множества людей. Ибо даже и урезанная «честность» и прагматическая последовательность Гесса были незаурядным явлением, и илиш не смогли бы похва-

статься (если употребить слова писателя) «многотысячные гессы».

Ф. Бурлацкий писал в «Правде» в статье «Это не должно повториться»: «Какая сила толкала миллионы немцев, которых не без основания считали представителями высококультурной страны, на самые жестокие преступления? Выгода? Да, безусловно... Страх? Безусловно, и это.. Но дело не только в этом. Кроме страха и выгоды, была вера — слепая, фанатичная, неистовая вера, которая подогревалась стремительным распространением фашизма в 30-х годах, его военными успехами...»¹.

К этому надо добавить, что «слепая вера» предполагает определенный жизненный стереотип. Определенную устойчивость образа жизни, который принят и разделяется многими. Участие сознания в этом стереотипе не исключено, но не обязательно.

Фашистский режим в данном случае довел до изощренности то проанализированное еще Карлом Марксом разделение труда в буржуазном обществе, при котором доля участия индивидуума в общих действиях фетишизировалась. Осуществляя специализацию и отбор человеческого материала, фашизм втягивал в преступления множество «средних», «нормальных», по своим задаткам неплохих людей. Проходило разделение труда, при котором тот, кто совестился, не ведал, что творит, а тот, кто творил, не ведал движений совести.

Известно, что Гитлер всемилоостивейше освободил своих подданных от «химеры совести». Расчет по отношению к маленьким людям, к солдатской массе был прост: заставить ее привыкнуть к убийствам как грязному, но необходимому делу, подобно тому, как студент-медик привыкает к виду анатомички и препарированию трупов. Обязанность отвечать перед богом и совестью Гитлер возложил на себя и своих присных. И надо сказать, они несли свой груз на редкость легко — как пушинку. Но специализация шла и вширь и вглубь — и в пределах общества, и в психике одного индивидуума.

Говоря о художественных вкусах фашистов, Л. Гинзбург пишет: «Меня, признаюсь, всегда удивляло одно обстоятельство. Эти мерзавцы, которые готовили себя для убийств... требовали от искусства ка-

¹ «Правда», 14 февраля 1966 года.

кой-то нечеловеческой благопристойности...» Казалось, «они должны были бы и в искусстве любить дисгармонию, нарушение пропорций, мистическую экзальтацию». Так нет: любили сентиментальную музыку, «скучнейшие пейзажи с изображением немецких лесов, гор, зеленых полей, по которым бродят откормленные стада», и т. д. Вероятно, можно вспомнить и иные примеры, когда тот или другой фашист обнаруживал «модернистские» склонности. Но нас интересует сам факт противоречия, которое автор «Бездны» назвал удивительным.

В сущности, оно не так уж удивительно. Убийства — «дисгармония», это работа, будничное. А кому приятно и в часы отдыха думать и переживать то же самое, что и при исполнении служебных обязанностей. Так иногда какой-нибудь сугубо мирный по нраву и по профессии человек вдруг окажется страстным любителем мрачного шпионского детектива.

Пожалуй, более странным и более ранящим выглядит другое несоответствие. По школьным представлениям, плохие дела несовместимы с хорошими традициями. Увы, фашистам случалось читать и хорошие книги. Конечно, самые сильные раздражители были убраны. Книги Маркса, Ленина, старых социалистов, немецких, русских и многих других классиков были брошены в костер. Но ведь что-то и осталось — Шиллер, например. Многие поколения заражались от Шиллера гуманизмом и верой в человека, любили в нем «благородного адвоката человечества» (Белинский). Нацисты же читали Шиллера... и ничего.

Но в рамках отмеченной специализации такая аномалия объяснима. Говорила же фрау Гесс супругу, когда он ласкал своих детей: «Не думай все время о своей службе, думай также о своей семье». Как любовь к своим детям, так сохранилась в каком-то уголке сердца восприимчивость (чтобы не сказать — понимание) к Шиллеру или Моцарту.

Фашизм регламентировал чувства, как и поступки. Ни понятие «приказа», ни понятие «идеи» не объясняет нам его функционирования. Важно понять, что это взаимодействие множества людей. Это «идея» и «приказ», запущенные в машину. Фашизм — это уклад, отработанный и расчлененный, выросший из предшествовав-

ших общественных укладов и унаследовавший от них все худшее.

Сейчас в буржуазной литературе нередко можно наблюдать попытки «понять и простить» руководителей третьего рейха. «Ничего нет ошибочнее и более неточного, — пишет один исследователь, — чем считать, что Гитлер был особенно жестоким человеком... Лично он едва ли имел что-либо против хоть одного еврея. Он хотел лишь найти такие акции, которые бы соответствовали его мировоззрению. И когда ему это впервые стало ясно, Гитлер был скорее смущен — к евреям он испытывал чуть ли не сострадание: «Это ужасно, но нельзя не видеть, что именно евреи, в огромной массе своей, самой природой предназначены для этого позорного дела»¹. Независимо от субъективных намерений автора в отношении Гитлера его выводы обвиняют весь фашистский уклад. «Сочувствующий» евреям Гитлер хватается за антисемитизм как удобную политическую идею. Идея запускается в машину, и вот результат невиданной жестокости: шесть миллионов человеческих жертв. В чем их вина? Те, кто убивал, не задумывались над этим вопросом, а тот, кто «знал», лично не убивал.

В «Нюрнбергском процессе» фрау Бертольд говорит судье Хейвуду: «Вы полагаете, мы знали обо всем этом? Вы думаете, мы хотели, чтоб убивали женщин и детей?.. Неужели вы думаете, что нам все это было известно?» Ее утверждение равнозначно другому: так как мы были только частицами огромной машины, не знали (по крайней мере полностью) о ее ходе и целях, лично не участвовали (по крайней мере многие из нас) в убийствах, то мы не виноваты.

Если бы не следовательский пафос художников, не судейская позиция, не документальная фиксация взаимозависимости людей, то как доказать фрау Бертольд, что она по меньшей мере заблуждается?

3

Документ в антифашистском искусстве часто исследует то, что получило название «фашистской романтики». В «Обыкновенном фашизме» мы видели факельное шествие, сотни тысяч людей от подростков

¹ August Nitschke. Der Feind. Erlebnis. Theorie und Begegnung. W. Kohlhammer Verlag. 1964.

до академиков, приветствующих Гитлера. В ряде фильмов повторяются кадры: молодой солдатик, почти мальчик, с восторгом, с обожанием смотрит на фюрера, обходящего воинский строй. Сегодняшний документ хладнокровно рассекает эту «романтику», обнажая механизм возникновения фашистской любви и почитания.

Свою тему в документальной литературе нашла Е. Ржевская. Бывшая военная переводчица, член специальной группы по обнаружению тела Гитлера, она прочитала и изучила горы бумаг: личный архив фюрера, дневники и письма Геббельса, Бормана и других. С документом в руках показывает Е. Ржевская интеллектуальный уровень фашистских заправил.

Разумеется, нужно учитывать и их своеобразную «незаурядность» (на которую Е. Ржевская, пожалуй, не обратила достаточного внимания) и ту аберрацию, при которой одни выдающиеся качества снизу принимались за другие: безмерное коварство — за смелость, огромная хитрость — за дальновидность и т. д. Но права Е. Ржевская в том, что личность фашистского лидера в целом непроизвольно укрупнялась. «Власть обладает магией безмерно укрупнять властелина в глазах его подданных», — отмечает писательница.

Е. Ржевская приводит запись Раттенхубера, начальника телохранителей Гитлера, в которой тот передает свое впечатление от фюрера: «Быстрая смена настроения, нервные жесты, богатая мимика, голос, неожиданно переходящий от глухой монотонности к резким выкрикам, были настолько удивительны, что я охотно признал в нем исключительного человека. Это был «мой фюрер», и я был горд тем, что он оценил меня и приблизил к себе». Впоследствии, продолжает Раттенхубер, он разглядел в Гитлере «проявление нечеловеческой жестокости», «самодовольство», производившие «отталкивающее впечатление»... Увы, разительная перемена взглядов была вызвана не долговременным наблюдением, не работой аналитической мысли Раттенхубера, а тем, что он писал свои воспоминания уже в качестве военнопленного Советской Армии.

Летчица Ганна Рейч, которую Е. Ржевская характеризует как фанатичную нацистку, видела Гитлера и Еву Браун накануне их свадьбы и осталась недовольна невестой: она и не умная, и пустая, и занята мелочными заботами. Интересно, что

бы подумала Рейч, если бы она наблюдала за женихом и невестой не в сотрясаемом взрывами бункере, а в светлых апартаментах гитлеровской резиденции.

Документ показывает, как фашистское мировосприятие фиксирует субординационные и иные перемены и мгновенно срывает на них изменение количества «любви».

Любовь регламентируется: столько-то любви непосредственному начальнику, столько-то начальнику повыше и столько-то — безграничная мера! — самому фюреру.

Ю. Юзовский приводит одно место из выступления Гитлера: «Народы, не остерегшиеся евреев, были обречены на гибель. Примером являются персы, которые были когда-то великим и гордым народом, а теперь влачат жалкое существование в качестве армян». «Феноменальная эрудиция Гитлера, — комментирует писатель, — получает здесь лишнее доказательство, но кажется, что в данном случае Гитлер и не говорил всерьез, он смеялся над своими слушателями, которые примут разумом и совестью любую чушь, раз в ней зафиксирован «вывод».

Надо добавить, однако, что «чушь» принималась не только в силу своей категоричности, но и потому, что она исходила от фюрера. Человека со средним интеллектом достало бы, чтобы заподозрить неладное, но в том-то и дело, что перед лицом высказывающейся «важной особы» интеллект и знания, автоматически отключаются. Убедительность «вывода» прямо пропорциональна высоте, с которой он падает.

4

Мы подходим к ответу на вопрос, какое значение в антифашистском искусстве получает сама документальная манера, идея документальности, и с этой целью обращаемся к «Нюрнбергскому процессу». Читатель помнит, что обвиняемыми в нем является группа фашистских судей — не маленьких по своему рангу, но и не самых высших: над ними есть еще ряд чинов и инстанций. Обвиняемые — подчиненные. Факт, который в тактике защиты приобретает особый вес.

Адвокат Рольфе говорит своему подзащитному Яннингу: «Я намерен вести вашу защиту, сохраняя абсолютное достоинство. Никаких попыток разжалобить. Никаких

призывов к милосердию. Я буду настаивать на точном и беспристрастном установлении меры ответственности. Игра будет вестись в соответствии с их собственными правилами».

Рольфе имеет в виду американский суд, ведущий процесс. Но «правила» тут понимаются шире, чем только процессуальные или юридические нормы. Это понятие о самой структуре современного западного цивилизованного общества с его специализацией, разделением труда и иерархическим подчинением людей. Посредственный адвокат смягчал бы факты или апеллировал бы к милосердию. Рольфе приближает ход своих рассуждений к психологии и понятиям обвинителей и судей.

Если открываются страшные преступления, упор делается на том, что обвиняемые об этом не знали. Если выясняется, что знали, утверждается, что не участвовали. Если участвовали, то по приказу, не по своей воле. Если и этот аргумент отпадает, то выдвигается вина других — целых стран и народов. Например, западных держав: «Разве им не были известны намерения третьего рейха? Разве не слышали они речи Гитлера, которые радио разносило по всему миру?..»

Вина «равномерно» распределяется по цепи опосредствований и связей, топится в детерминизме человеческих поступков и воле.

Возникает даже парадоксальная ситуация: виноватый становится более правым, чем невиновный.

На одном из заседаний суда допрашивали свидетеля обвинения Карла Вика. Вик — «живая легенда», совесть честных людей Германии. Оставив с приходом Гитлера пост министра юстиции, он показал, что можно было не склониться перед нацистами и выжить. Своим примером Карл Вик обвиняет Яннинга и других.

Но вот адвокат Рольфе спрашивает, успел ли Вик дать присягу лояльности Гитлеру в 1934 году. Да, он принял эту присягу, ее принимали все в принудительном порядке. «Как же вам не удалось сообразить, что если бы вы и люди, подобные вам, отказались принять присягу, Гитлер не смог бы достичь всей полноты власти?»

Одним ударом Рольфе поразил две цели. Совесть Карл Вик сконфужен, подавлен. Считавший себя незапятнанным, он видит, что «на совести его — позорная пятно. И самое страшное то, что забыть об этом теперь никогда не удастся». Зато подсуди-

мые морально возвышены: они «не понимали» и не несут ответственности.

С человека, который, рискуя жизнью, сделал смелый шаг, взыскивается за то, что он не пошел дальше. Людям, причастным к преступлениям государства, вина отпущается на том основании, что с них нечего взять. Честность тоже становится предметом специализации.

Адвокат Рольфе лишь облекал в юридические термины то, что говорили и думали многие его современники. Немцы, которых судья Хейвуд настойчиво спрашивал: «Как вам жилось, при нацистах?» — отвечали оскорбленно: «Мы ничего не знали. Ничего. Как вы можете спрашивать об этом». Отвечали «оскорбленно», потому что они искренне отделяли себя от всего, что произошло, и искренне хотели бы начать новую жизнь. «Мне до сих пор не удалось встретиться ни с одним из ваших соотечественников, который бы признал, что это ему было известно», — приходит к выводу Хейвуд.

И тогда в произведении, построенном как документ, вступает в свои права подлинный документ, так сказать, документ в документе. Теоретик искусства двадцатых годов назвал бы это «обнажением приема».

В фильме два важнейших документальных узла: в середине, когда полковник Лоусон демонстрирует ленты, снятые в Бухенвальде и Бельзене, и в конце, когда на экране возникает газетное сообщение, что все осужденные на нюрнбергских процессах нацисты к 1958 году освобождены западными властями.

Понадобился ли документ — я говорю о кадрах кинохроники — для того, чтобы усилить позицию обвинения? Едва ли: к этому времени суду уже было предъявлено несколько веских улик. Чтобы привести к раскаянию «ничего не знающих» посетителей процесса? Хейвуд следит за ними: многие «плакали так, словно смотрели драму, воздействовавшую на их чувства, но в которой они сами не принимали никакого участия». Люди отделяют себя от раскаяния, как раньше отделяли от преступлений.

Но через голову и обвиняемых, и наблюдателей, и судей, которые в конце концов лишь условные персонажи фильма, документ обращается к миллионам зрителей. В художественном строе произведения документ получает ударную роль.

Прежде всего бросается в глаза, что документ берется не формально. На ленте не

узнаешь конкретно тех лиц, которых осудил Яннинг или Ханн. Наконец, они лишь приговаривали, а не убивали, были судьями, а не исполнителями приговора. С тактикой защиты «прием документа» просто не корреспондирует, и характерно указание Рольфе на его непроцессуальность (фрау Бертольд гоже возмущена: дескать, полковник Лоусон готов показывать свои фильмы «под любым предлогом...»). Но как раз в этой «непроцессуальности» — весь эффект.

От подлинного документа художественный документ берет точность и непреложность факта. От искусства — свободу владения им и неформальность связей.

Ту длинную цепь опосредствований, по которой Рольфе хотел бы своих слушателей вести до бесконечности, художественный документ форсирует мгновенно. Перед нами — крупным планом — последнее звено. С ним не поспоришь, его не опровергнешь. От него — в обратном порядке — мысль художника ведет нас к поступкам персонажей.

Так и в фильме «Хорошие времена, замечательные времена» вслед за сценами из современной английской жизни, коктейлем, невинной беседой обывателей, репликами: «Война — способ уменьшения населения», «Удивительно возбуждающе видеть человека на мушке» и т. д. — вслед за всем этим возникают подлинные кадры жизни варшавского гетто, шеренги обреченных на смерть детей.

Сокращая стадии процесса, отбрасывая лишнее, сжимая время и пространство, документ мыслит. «Чистого» документа вы в антифашистском искусстве не найдете, всегда это документ плюс отношение к нему.

Представление о «неконцептуальности» документа, вероятно, возникло потому, что способы его «мышления» очень просты и ненавязчивы. «Посмотрите на это правильное арийское лицо», — говорит авторский голос в «Обыкновенном фашизме», и на экране обозначается тупая физиономия солдата «А вот это неправильные, не арийские черты», — и возникают Маркс, Ленин, Эйнштейн, Пушкин, умные, интеллигентные лица других, неизвестных людей.

В этих кадрах — целая философия, хотя перед нами лишь документ, монтаж и две три скупых реплики.

И почти всегда, во всем документ стремится придвинуть к нам «последнее звено»

процесса. Помните в фильме «Хорошие времена, замечательные времена» огромные глаза ребенка перед тем, как его сажают в поезд смертников?

Есть аргументы, перед которыми бледнеют все оправдания и объяснения. Они не отменяют эти объяснения, так как в них может быть субъективная доля истины, — они просто переводят разговор на другой уровень.

В конце концов можно понять все: личную судьбу каждого обвиняемого, его зависимость от обстоятельств, среды, своего характера и т. д. «Но как я могу понять, герр Яннинг, — говорит судья Хейвуд, — гибель миллионов мужчин, женщин и детей в газовых камерах? Как я могу понять это? Как могу я сказать вам, что я это понимаю?»

5

Если прочитать высказывания многих современных художников-документалистов о своем творчестве и вынести за скобку общее, что в них есть, то результат получится очень определенным. «Вопрос личной ответственности каждого за свои поступки кажется мне сейчас одним из самых важных»¹, — говорит Лайонел Рогозин. На этом сходятся все его коллеги.

«Вопрос личной ответственности» организуется сегодня поэтикой антифашистской документальной литературы. Под его напором документ ищет безотказных средств воздействия на миллионы и подчас восстает против традиций и норм классического искусства.

У Герцена есть небольшой очерк «Мимоездом». В нем рассказывается о том, как автор встретил старого приятеля, теперь судью в одном губернском городе. «Честнейший человек в мире», он всегда досконально знакомится с делом, судит честно, но, по его словам, как огня, боится отыскивать «облегчающие причины». «Да помилуйте, возьмите любое дело да начните отыскивать облегчающие обстоятельства, от одного к другому, от другого к третьему, так к концу-то и выйдет, что виноватого вовсе нет. Что же за порядки?» Тот украл по одним причинам, другой по этим, так конца и не найдешь. Лучше уж не мудрствовать.

¹ «Советский экран», № 6, 1968, стр. 16.

Однако круг замыкается тем, что находят «облегчающие обстоятельства» и для «немудрствующего» судьи: «Ну, что скажет министр или особа какая». Поступи судья так один, другой раз — живо лишишься своего места.

Ирония Герцена направлена против всего «невидимого строя» вещей и не желает персонализировать зло в одном конкретном человеке, будь он любого звания и чина. Целые художественные течения реализма вдохновлялись этой идеей, например в русской литературе — «натуральная школа» сороковых годов прошлого века.

Мы уже знаем, какое место занял в современном документальном искусстве суд. А вот высказывание Чехова: «Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем».

В жизни не так-то просто указать на «правого» или «виноватого». Отказываясь от позиции «судьи», Чехов избегал категоричности выводов и переносил акцент на запутанность обстоятельств.

Но бывают ситуации, которые принуждают отказываться от идеи запутанности.

Произошло интересное в теоретическом смысле событие: в современном антифашистском искусстве документ прорвал «круговую поруку», замкнутый круг оюсредствований. Именно этим чаще всего вызывается и потребность в вымышленной документализации, то есть введение документальной окраски в «литературу вымысла». С помощью документа писатель предъясвляет четкий иск своим персонажам. В ответ на безличие и спаянность людей в фашистском укладе документ выдвинул понятия вины и долга каждого.

Разумеется, настоящее искусство никогда не было полностью свободно от морального элемента, но все дело в форме и степени. Документ, о котором мы говорим, конкретизирует его до понятия личной вины, до конкретных лиц и событий. Значит ли это, что он перечеркивает традиции психологически более сложной манеры письма? Конечно, нет. В современной литературе живут и будут развиваться и полифонический строй романа, и идея детерминизма, исключаяющая категоричность вывода о вине персонажа, встречается в ней и подчеркнута незаинтересованная манера повествования. Но, как известно, сфера изображения не безразлична к его формам. Печальный опыт

нашего времени усилил потребность в активных формах искусства. Одна из них — художественный документ.

Произведение о фашизме предполагает острое сознание незаурядности изображаемого, меняет обычные представления. «Людам свойственно беспокоиться только о том, что происходит сегодня, в данную минуту, сейчас», — говорит авторский голос в «Обыкновенном фашизме», и перед нами — оживленно обсуждающие что-то женщины, спорящие юноши, пестрота и текучесть людских будней. Чтобы взорвать инерцию, сдвинуть нас с привычной точки зрения, в фильм врываются кошмарные видения прошлой войны. Но, с другой стороны, подумайте, читатель, могло бы существовать искусство без забывчивости человека, его способности отдаваться настоящему? Если вы пережили свое, узнали горе утрат, потерю близких, то как вы можете переживать, в романе или фильме, какую-нибудь ссору по недоразумению или же муки неразделенной любви? А ведь переживаете, и еще как! Будто ничего страшнее этой ссоры или неразделенной любви в мире не существовало...

Очевидно, можно забыть все — и обиду и личное горе, — но не фашизм.

Идея относительности пронизывает сегодня все научное мышление. Современный человек знает, что нет такой научной истины, которая бы не имела теневых сторон, и нет такого абсурдного предположения, которое бы не скрывало в себе долю истины. Эта идея не минула и людей, далеких от научного мышления, выражающих ее в своих понятиях: все на свете коловратно. Говорят, что сама неопределенность является стимулом развития сегодняшнего знания и что с критерием неопределенности следует подходить к любому явлению.

Может быть. Только — не к фашизму.

Неофашизм, кстати, прекрасно сориентировался с привычкой современного мышления к относительным понятиям. Лозунги, выдвигаемые западногерманскими фашистскими теоретиками, обновляются и приспособляются к сегодняшнему дню (это, кстати, хорошо показывает Эрнст Генри в своих «Заметках по истории современности», которые печатались в «Литературной газете»). Из деятельности Гитлера вычитаются кое-какие «темные моменты», а в остальном он объявляется «положительной личностью». Признается тактической ошиб-

кой жестокое обращение с населением на оккупированных советских землях, но сохраняется идея захвата чужих земель и национального превосходства одного народа над другим. Фашизм перестраивается, движется, чтобы самим фактом движения сказать: и во мне есть доля истины. Не случайно, что среди современных фашистов в Западной Германии около половины молодых: старые вещи они способны воспринимать в ореоле новизны. Тактикой же возрождающихся мракобесных теорий всегда было стремление показать, что они новы, не несут никакой ответственности за прошлое и предлагают современникам неskomпрометируемые средства.

Документ служит средством против забывчивости. Он мешает применять критерии относительности к тому, что абсолютно ясно. Какие бы хитросплетения ни придумали новые юдофобы, их всегда будет перекрывать слабый голос одной девочки—Анны Франк.

Ю. Юзовский вспоминает, что художественные произведения на освенцимские темы, выставленные в блоках концлагеря, перестают действовать. Они не выдерживают соревнования с окружающими, реальными «детальями» — например, горой кисточек для бритья или кипами женских волос. Реальный факт — это то, что перекрывает фантазию. Это боль и жуть самой жизни. Отсюда, между прочим, также видна трудность, но и законность документальной окраски в литературе вымысла. Неправоммерно требовать от художника обуздания фантазии, но пусть перед лицом реально пережитого его вымысел остерегается малейшей примеси сюсюканья, мелодраматизма и надуманности.

Таким образом, документальность — сильно действующее средство. Оно применимо не всегда, не во всех случаях. Особенно документальность в соединении с «приемом суда», который вносит в изображение следовательский момент и локализует вину на определенных лицах. Собственно, произведений такого рода, не связанных с темой фашизма, мы можем указать не много. Вспоминается, например, сценарий М. Туровской и Ю. Ханютина «...Без смягчающих обстоятельств» («Журналист», № 1, 1967).

Но характерно: обычно в таких произведениях говорится о смерти главного персонажа и ретроспективно расследуются причины, повлекшие ее.

В обыкновенной жизни, в ссорах и столкновениях людей факт многозначен, обладает множеством значений и оттенков, и всякая категоричность привела бы к смешному доктринерству и схоластике. Смерть меняет картину и располагает всех персонажей в одной перспективе — в отношении вины к человеку, которого уже нет. Но не то ли самое заставляет делать осмысление фашизма? Ибо у смерти есть с фашизмом одно общее свойство: она непоправима.

Коротко говоря, крайние ситуации рожают подъем крайних форм художественной выразительности.

Одно из самых сильных и плодоносных тсчений современного документализма рождено потребностью осмыслить тяжелый опыт новейшей истории, дать отпор явлениям неофашизма. Оно рождено стремлением к ясности. К тому, чтобы усилить в теле современного человечества иммунитет против страшной болезни прошлого. Чтобы не допустить непоправимого.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кондратович. Дневники военных дней.— **Мирон Петровский.** Возвращение Даниила Хармса.— **В. Соколов.** По совести.— **И. Ярославцев.** Веселый гений смеха.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Рабина. Еще о двенадцатом годе.— **Е. Гнедин.** Механизм фашистской диктатуры.— **И. Виноградов.** Экзистенциализм перед судом истории.

Литература и искусство

ДНЕВНИКИ ВОЕННЫХ ДНЕЙ

Борис Полевой. В большом наступлении. Дневники военного корреспондента. «Советская Россия». М. 1967. 352 стр.

Борис Полевой пришел в литературу из газеты и остался верен газете. И это прежде всего потому, что он любит факт и знает ему цену. Даже в его прозе отчетливо видна фактическая основа. В сюжете лучшей его вещи — «Повести о настоящем человеке» — доля вымысла столь мала, что оказалось достаточным изменить всего лишь одну букву в фамилии главного героя — Маресьев на Мересьев.

Но ошибочно было бы думать, что такая верность факту облегчает писателю работу. Скорее наоборот. Существует множество по виду документальных очерков и так называемых «документальных повестей», в которых реальность искажена до неузнаваемости. Чаще всего это случается, когда очерк обильно расцвечивается всякого рода чисто внешними атрибутами художественной прозы. Иным читателям и, увы, даже авторам представляется, что так куда лучше и классом выше скромного, незатейливого жизнеописания или суховатого, точного и обстоятельного изложения. Добро, если это наивное заблуждение... На самом же деле мимо художественная расцветка, равно как композиционные и

прочие ухищрения, с очевидностью выдает слабость автора, недостаточное знание жизненного материала, скудость его запасов или недоверие к реальной силе факта, понуждающее к подкрашиванию. А порой и простое неумение писать, маскируемое нехитрой заемной беллетризацией.

Беллетризация в документальной литературе становится в последние годы прямо-таки угрожающей, и работа Бориса Полевого, которому всегда важно узнать и увидеть все своими глазами, на таком фоне особенно поучительна.

Борис Полевой видел на свете много, и это, кажется, хорошо известно. И, однако, читая его новую книгу, представляющую собой дневники военной поры, точнее лишь часть дневников, то, что связано с наступлением наших войск от Курска и Белгорода по дорогам Украины, через Днепр, все дальше и дальше, к государственной границе и уже за ее черту, в Румынию, — читая страницу за страницей и уже как бы включаясь вместе с автором в стремительное течение зафиксированных им событий, я был удивлен одним обстоятельством. Почти двадцать пять лет этим дневникам. Тогда автору ка-

залось, что «дневники эти вряд ли когда-нибудь будут опубликованы и в лучшем случае могут послужить сырьем для каких-нибудь моих послевоенных сочинений». Но исполнилось как раз первое, а не второе: дневники теперь опубликованы и по ним видно, что автор, захлестнутый новыми событиями, которые он тоже не мог пропустить, так мало использовал в своих послевоенных вещах из того, что считал «сырьем».

А в дневниках там и сям встречаются наблюдения бесценные. Начиная с мелочей: «На этой дороге мы видели металлический верстовой столб. Верхняя часть его казалась просто нористой. Мы насчитали на нем восемнадцать пулевых вмятин и две рваные осколочные пробоины. На одном столбе!» Как можно еще короче выразить напряжение боев на Корсунь-Шевченковском плацдарме, где в нашем огневом кольце оказались более полутора десятка вражеских дивизий, безуспешно пытавшихся вырваться из окружения, о сражении, получившем название второго Сталинграда?

Или надписи на стенах. Кто о них только не писал, а вот Полевой увидел и занес в свой дневник такие великолепные «памятки» боевых будней:

«Кучеренко! Мы в Ямполье. Въезжай скорей, хозяин ругается».

«Сидоров и Зубков! Мы здесь, в третьей хате у колодца».

«Савин с сыновьями у Днестра! Торопитесь, черти!»

«Роза и Деготь в селе Березовке, сворачивайте направо!»

«Везущие огурцы! Зайдите в крайнюю хату на выезде».

Наконец, на самом крайнем доме углем: «Кучеренко, черт, сколько можно ждать? Майор тебе всыплет».

И опять не надо лишних слов, чтобы понять по этой настенной «литературе», что идет наступление, быстрое, как половодье, и некогда мешкать в это время, и несчастный Кучеренко, застрявший где-то, может просто вывести из терпения.

Таких блесков в дневниках Полевого немало, но не в них, конечно, суть,—они лишь штрихи той картины большого наступления, которая постепенно вырисовывается со страниц книги, картины не упрощенной, не однолинейной, а сложной, многоплановой и многофигурной. Не в обиду будь сказано автору, но его корреспонден-

ции военных лет дают об этом наступлении представление куда более бледное, чем лежавший до поры, до времени в столе дневник. И в этом нет ничего странного и удивительного. Дело тут не только в ограниченных рамках газетной корреспонденции или очерка. Оказывается, такая сугубо личная форма, как дневник, в иное время позволяет сказать больше и шире, чем другой, более «представительный» жанр, рассчитанный на немедленное чтение. Во время войны, когда миллионный читатель ждал скорейших вестей о том, как идут дела на фронте, важно было как можно быстрее сообщить: Кировоград взят — и как взят! Теперь это уже история, и ею занимаются специалисты. Но нам бесконечно дорог тот вроде бы давно отшумевший, однако продолжающий жить в памяти быт войны, его героика и повседневность. Короче говоря, нам важно знать, как и чем жил советский человек на войне. И это уже тема неисчерпаемая и не ограниченная пределами времени. Был бы интересный рассказчик, которому есть что вспомнить.

В дневниках Борис Полевой и предстает таким рассказчиком. И нам уже — помимо того, о чем он говорит, — становится интересным и он сам — его успехи и злоключения, его тоже боевая и тоже трудная и опасная журналистская работа, и мы не видим никакой нескромности в том, как он без всякой шутки и смягчающей иронии, а всерьез, с еще не изжитым до конца испугом рассказывает, как два раза попадал в авиационные катастрофы и под бесчисленные бомбежки и обстрелы. Вот началась переправа на правый берег Днепра, только что форсированного: «Потоптавшись в кустах, преодолев в себе тягучую нерешительность, мы с Павлом Ковановым, стараясь идти как можно увереннее и беззаботнее, зашагали по скрипучему песку к наскоро сколоченным кладям причала. Скоро подвалил паром. С группой гвардейцев-автоматчиков мы спрыгнули на его помост, и он, солидно покачиваясь на прозрачной волне, медленно отвалил от берега». Мы знаем, что такое переправа, и представляем, как нелегко бывает преодолеть «тягучую нерешительность».

В этой атмосфере дневниковой доверительности слова становятся сердечнее, им начинаешь больше верить и даже обычная боевая зарисовка приобретает особый смысл.

«Снаряд падает неподалеку. Всех нас обдает водой. Столб буро го дыма и водяная пыль взметываются высоко вверх, паром подпрыгивает и начинает тревожно качаться на волне.

— Тяжелыми жалуется, не жалеет угощения, — усмехается паромщик, стирая широкой ладонью воду с лица и перебирая канат. — Чудак он, немец. Разве нас теперь спихнешь? Мы сейчас на ногах стоим... Если мы вперед пошли, не остановишь. Раз красноармеец на берег встал — все, пятыся, ноги уноси, коль живым хочешь быть».

Казалось бы, обычные слова, пригодные и в ту пору для любой проходной корреспонденции. Но мы уже знаем обстановку, в какой говорятся эти слова, и верим и этим словам, и автору, когда он продолжает:

«Я не люблю хвастовства. Много горьких дней стоило нам наше довоенное шапкозакладательство, все эти фильмы и песенки. Но тут другое. Тут глубоко пережитое. Тут подкрепленное жизненным опытом. Тут — итог этих трех нечеловечески тяжелых лет. Не хвастовство, нет. Просто житейский вывод».

А это уже вполне актуальное рассуждение, потому что и сейчас еще находятся охотники воспитывать молодежь на бодреньком и появляются уже соответствующие песенки. Словно не было уроков той многострадальной войны.

Об этих уроках дневники Полевого напоминают нам вереницей своих записей — то горьких, почти стонающих, когда идет речь о расследовании злодеяний гитлеровцев в Харькове, то сурово осуждающих, когда автор размышляет о том, как немецкое командование безрассудно и жестоко погубило десятки тысяч своих солдат в Корсунь-Шевченковском котле, не пожелав принять наше предложение о капитуляции. А то мы слышим лихую солдатскую удаль, возбуждение трижды трудных наступательных боев, и это тоже урок — урок доброго расположения духа, когда дела идут на лад и нечего, как говорят, бога гневить.

Дневники вобрали в себя массу самых разнохарактерных впечатлений и щедро отдают их теперь читателю. Эта «незапланированность» и «неподотчетность» дневника обернулась для Полевого и его читателей и другой стороной — большей, чем обычно у него, энергией стиля, четкостью характеристик. Вот, например, как начинается рас-

сказ о маршале Коневе: «Рабочий кабинет генерала Конева — это просторная комната обычной крестьянской хаты. На стенах, попеременно со старинными выгоревшими олеографиями, стайками висели фотографии родственников хозяев. В углу, обрамленные рушниками с затейливой вышивкой, старые иконы в фольговых ризах, с заткнутой за них уже посередевшей вербой. Все это, как всегда у Конева, осталось таким, как было у хозяев, подчеркивая тем самым временность бивачного жилья».

И это тоже нигде не вычитаешь, а между тем такое описание многое говорит о солдатском характере маршала Конева.

А вот о другом человеке:

«Автор стоит у порога, скрестив руки на груди в энергичной, скульптурной позе. Ни дать ни взять — монумент. И вдруг говорит:

— Я уже несколько ночей не сплю. Я думаю о космосе. Космос!.. Вы можете представить себе бесконечность?

Признаюсь, что не могу. Я из мира, где все ограничено, все имеет свои начало и конец.

— А я стараюсь. Кольцо бесконечно. Это просто. Это уразумели еще древние... А вот беспредельность... Давайте представим беспредельность...

Еще слышна стрельба. Над Харьковом поднимается багровое зарево Украины еще в огне»

Это Довженко. Лучше, пожалуй, о нем не скажешь.

Смешно было бы предъявлять какие-либо требования к дневникам: как они сложились, такими их и читайте, не подновлять же их — нет ничего хуже подчищенных дневников. Но одну претензию все же хотелось бы предъявить автору. Несколько раз на протяжении дневников он пронизывает: «Происшествие, в общем-то, не очень выдающееся, но поучительное для Пьеров, какие еще имеются в трудолюбивой семье военных корреспондентов...», «Есть у нас здесь два «варяжских гостя», приехавших к нам из Москвы... как раз из тех самых Пьеров.» И даже: «Только Пьеры, воюющие по штабным картам, наступают без жертв, с громкими криками «ура»...» Как выясняется при этом, Пьеры — это штатские люди, не знающие войны. Но автору следовало бы помнить, что Толстой совсем не случайно при описании Бородинского сражения выдвинул

на первый план «штатского» Пьера и что толстовское понимание войны и самой истории неотделимо от тех бородинских впечатлений Пьера. Не зову автора убирать эти места, но дать здесь сноску нужно

было бы, как это сделано в других случаях.

Но это частности. А в целом дневники Бориса Полевого читаются и с пользой и с удовольствием.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАНИИЛА ХАРМСА

Д а н и и л Х а р м с. Что это было? «Малыш». 1967. 96 стр.

На вопрос, поставленный в названии книжки «Что это было?», следует ответить решительно: игра. Это была игра.

У Даниила Хармса игра пронизывает все: лексику, ритм, интонацию и образ автора. Даниил Хармс как нельзя лучше знал своего маленького читателя — ребенка. И даже не знал, а по самой природе своей был наделен пониманием этого человека.

Одно из лучших стихотворений Хармса так и называется — «Игра». В нем игра становится более заметной, так как является темой. Но и в остальных стихотворениях Хармса, а также в его прозе для детей игра не менее реальна, потому что у Хармса важна не «тема», а игровое отношение к действительности, игровой принцип ее изображения.

По счастью, уже миновали времена, когда игра в детской книжке казалась подозрительной. Сейчас все больше и больше людей (в том числе педагоги и редакторы детских книг) начинают понимать, что игра не только очень приятная, но и очень полезная, а в некотором возрасте даже универсальная духовная пища для детей. Она универсальна, так как включает и «науку» (дитя познает мир в игре) и «искусство» (играя, ребенок выражает себя в своем отношении к миру).

Даже цифры, любезные, по уверению Сент-Экзюпери, одним лишь взрослым, Хармс превращал в веселую игру-«считалку» для детей:

Шел по улице отряд —
сорок мальчиков подряд:
раз,
два,
три,
четыре,
и четыре
на четыре,
и четырежды
четыре,
и еще потом четыре.

(«Миллион»)

И разговор о количестве братьев Хармс тоже превращал в забавную игру:

— А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
Что у папы моего
Было сорок сыновей?
Было сорок здоровенных —
И не двадцать,
И не тридцать,—
Ровно сорок сыновей!

(«Врун»)

С особенным удовольствием Хармс превращал в игру именно то, в чем, казалось бы, нет ничего игрового, или то, о чем по традиции принято было говорить только серьезно («Миллион», например). Из множества псевдонимов, которыми Хармс подписывал свои произведения, самым точным следует признать псевдоним Хармс — за его близость к английскому слову со значением «прелесть», «обаяние»: веселые стихи и проза Хармса обладают обаянием, воистину неотразимым для маленького читателя.

Начиная в двадцатых годах свою литературную работу, Хармс едва ли думал о детской литературе. Он искал стилистические средства для выражения бессмысленного и бесцельного обывательского существования. Он передавал его в своих вещах — стихах, рассказах, пьесах — абсурдностью ситуаций, алогичностью диалогов, смещением причин и следствий, обратной временной последовательностью событий, различного рода сдвигами, перестановками. Его стилистический эксперимент ни в коем случае не был самоцельным, чисто «словесным», напротив — потребность в словесном эксперименте жестко обуславливалась необходимостью выразить доселе не выраженное, «заставить сиять заново» лишние слова, чтобы за словами обнаружались вещи и отношения во всей их чувст-

венной реальности. У Хармса и его друзей — А. Введенского, Ю. Владимирова и других — были основания назвать свое полужуточное сообщество «Обериу»: «Объединение реального искусства (смеха ради в этом названии, по словам обериутов, было только неведомо что обозначающее «у»). Хармс начинался как талантливый последователь Велемира Хлебникова.

Написанные для взрослых вещи Хармса не пользовались издательским успехом, и лишь немногие из них были напечатаны, несмотря на то, что, начатые как шутка, как игра, они все решительней становились настоящим искусством.

Но случилось так, что Хармс столкнулся с литературой для детей, и столкновение это было необыкновенно счастливым, потому что детская литература предстала перед ним в образе Самуила Яковлевича Маршака. Штатный консультант детской редакции Ленгиза (а фактически создатель целой школы в детской литературе), Маршак сразу разглядел не только незаурядную талантливость произведений Хармса, но и то, что делало их особенно привлекательными в глазах Маршака — «классическую основу» его стихов. Маршак многому научил Хармса и сам (по его собственному неоднократно высказанному признанию) многому научился у него.

И оказалось, что детская литература прекрасно вмещает Хармса со всеми его образами и приемами, причудами и поисками. И не только вмещает, но прямо требует как раз вот такого Хармса — игривого без кокетства, обаятельного без приторности, пылкого и непредвзято взглядывающегося в мир.

Детская литература не изменила, но переосмыслила излюбленные приемы Хармса: абсурд стал восприниматься как нелепица, цифровая «заумь» — как считалка, различного рода сдвиги и перестановки — как перевертыши, ритмическая изощренность — как игра. Перевертыш, нелепица, считалка, игра в ту пору — в конце двадцатых — начале тридцатых годов — только-только начинали входить в поэзию для детей и встречались главным образом в произведениях ее корифеев — Чуковского и Маршака. Но все эти жанры издавна культивировались фольклором — русским и зарубежным. Великий художник и мудрый педагог, народ с давних пор питал детей этими превосходными вещами. Таким обра-

зом, творчество Хармса не производно от литературы, не вторично, а возникает естественным путем на скрещении своеобразного поэтического взгляда на мир и прекрасной фольклорной традиции.

Активная творческая жизнь ребенка — нового героя Хармса — стала для него своего рода антитезой ужасу прозябания, изображенному в его «взрослых» вещах. В произведениях, написанных для детей, отзвуки этого ужаса можно встретить разве что в переводах — например, в стихотворной повести «Плих и Плюх» (по Вильгельму Бушу). Главное же почетное место в детских вещах отведено ребенку, для которого превыше всего духовные ценности: чувство общности с другими детьми, возможность видеть и узнавать, игра, даже вранье, если наврано затейливо.

Новый герой произведений Хармса изменил и образ автора, «рассказчика», «лирического героя» (как бы это ни называлось). Для характеристики этого сдвига нужно учесть одно, казалось бы, малозначительное обстоятельство: Даниил Иванович Ювачев (таково настоящее имя поэта) всегда подписывал свои произведения псевдонимами, стилизуя их по большей части под иностранные имена. Одно — будто бы английское: Чармс (или Хармс). Другое — вроде немецкое: Карл Иванович Шустерлинг. Третье — словно французское: Шардам. Четвертое — неведомо какое: Дандан. Важна была не национальность этого вымышленного иностранца, а сам факт, что он иностранец. Экзотическая подпись становилась частью произведения, входила в систему его образов, освещала их «странным» светом. Это была игра, которая имеет точное литературное название — маска, и нужна она была для сугубо литературной цели.

Маска «иностранца», чужака-чудака, призвана была мотивировать причудливость произведений Хармса. Прием был найден точно, ибо ребенок видит только то, что иностранец странен, а не то, что он «иностранен». А кто для ребенка привлекательней доброго чудака? «Люблю англичан! — совсем по-детски воскликнул как-то Маршак. — У них каждый четвертый — чужак». В детской литературе Даниил Хармс был «четвертым англичанином». Скажем, герой Маршака просил «у трамвала вокзай остановить» — такая необычная просьба мотивировалась тем, что герой — Рассеянный.

Подобные странности Хармс могиврирует тем, что он — Хармс. А уж Хармсу (Шустерлингу, Шардаму и т. д.) естественно недоумевать, глядя, как дети катаются на лыжах и коньках: «Какие сгранные дощечки и непонятные крючки!» Или прийти в изумление от обыкновенной коровы: «Настоящая корова с настоящими рогами...» Или настолько поразиться величиной пионерского отряда, чтобы утверждать, будто детей там — «почти что миллион!».

Маска помогала выразить ощущение человека, обладающего дивным даром видеть все словно бы впервые, свежими, неприсмотревшимися глазами, как видит мир художники и дети.

При жизни поэта ни одного сборника его произведений для детей не было — они публиковались в периодике и тоненькими (по одному стихотворению) книжечками. Впервые они были собраны Л. Чуковской и вышли в 1962 году под названием «Игра». Нынешний сборник добавляет к одиннадцати стихотворениям «Игры» еще десятков и впервые включает прозу. Нужно отметить заслуги тех, чьими стараниями книжка Хармса попала к читателю, — прежде всего заслуги Н. Халатова, составителя сборника. Он проделал большую работу: разыскал остатки архива Хармса, извлек затерявшиеся было в периодике произведения поэта, расшифровал неизвестные его псевдонимы, определил авторство Хармса по отношению к вешам, публиковавшимся анонимно, уточнил тексты и написал для сборника интересное послесловие.

Художник Ф. Лемкуль выполнил для

книжки очень красивые рисунки с прелестными подробностями, порой реалистически меткими, порой ироничными. Хороша дача, которую хозяева, владеющие ею исполу, окрасили разными колерами — каждый своим; и береза с черным квадратом выкроенной из нее бересты; и то, что «сорок сыновей» из стихотворения «Врун» оказались близнецами; но, в общем, характер рисунков Ф. Лемкуля гораздо более «спокойный», «быговой», чем характер текста. Рисункам не хватает той «чуждинки», без которой нельзя себе и представить произведения Хармса.

Произведения Хармса в последние годы оказали заметное влияние на часть литературной молодежи, пишущей ныне для детей. В противоположность плоско-серьезному, уныло-догматическому отношению к жизни, утверждаемому порой как единственно возможное и обязательное, стихи и проза Хармса заявляют себя носителями иного, прямо противоположного отношения к ней — празднично-игрового, свободного и освобождающего.

Теперь, когда поэт возвращен нашей детской литературе, следует ожидать и всячески торопить опубликование «взрослого» Хармса: тогда еще ясней станет, каким своеобразным художником он был.

За три с половиной десятка лет, прошедших со времени создания стихов и прозы, составивших сейчас сборник «Что это было?», эти произведения не умерли, не истлели.

Мирон ПЕТРОВСКИЙ.

Киев.

★

ПО СОВЕСТИ

А. Борщаговский. Ноев ковчег. Рассказы. «Советский писатель». 1968. 268 стр.

С одной из шести новелл, составивших новую книгу Александра Борщаговского, сегодня знакомы многие: еще до выхода книги она превратилась в фильм «Три тополя» на Плющихе». Впрочем, следя за игрой полюбившихся артистов — Татьяны Дорониной и Олега Ефремова, — зрители в кинозале едва ли вспоминали о литературном первоисточнике этого будничного, непритязательного киноповествования, очень похожего на «случай из жизни». Колхозница Нюра приехала за триста километров

в Москву — продать повыгоднее зарезанного борова, по дороге с вокзала познакомилась с чудаком-таксистом, который разглядел в ней что-то такое, чего никто раньше не замечал, пригласил в кино, а она не пошла — смотрела исподтишка, как топтался он под ее окнами больше часа, вздыхала, жалела себя, но годами накопленная рассудительность взяла верх... Ну и что? Случается такое, конечно, но что тут особенного? В чем предмет для общественно-литературного вмешательства?

Размышляя о А. Борщаговском-прозаике, слова «общественное» и «литературное» без колебаний пишешь через запятую — для него это однородные определения. Новая книжка его рассказов, пожалуй, наиболее четко выявляет, как многое в работе писателя зависит от его общественных, жизненных позиций.

В чем виновата его Нюрка, почему ее осуждаешь в этой расчетливой осторожности? Все ведь она делает вроде как надо, и никто, разумеется, не осудит замужнюю женщину за то, что она не пустилась в рискованное знакомство с первым встречным. Так почему же нам все-таки неудобно и даже чуточно стыдно за Нюрку?

Вспомним детали этой истории. К «близкому и неизбежному столкновению с шоферами такси» Нюрка готовилась еще в поезде — еще бы, знала, с кем имеет дело: «Шоферы стояли кучками, будто не их было время работать... И все заговаривали с ней на «ты», не как с другими пассажирами, все знали, что она деревенская, что в чемодане у нее не есней, не вещи, а товар, знали, что она будет хитрить, пока хватит сил, отчаявшись, вытасит из тайника сложенную четверо теплую зеленую трешку». Словом, Нюрка убеждена, что кругом — игра, и главное в каждый момент — не проиграть, не дать, чтобы тебя облапошили. А стоит усвоить эту несложную истину, как все в жизни становится «по местам». Согласился один долговязый все-таки доставить ее за рубль в дальний конец Москвы — и Нюрка тут же привычно смекнула: «Сразу увидал — деревня, пожить можно. Ага? А я тоже хитрая, в обмен денег оставила».

Но шофер попался какой-то чудак. С удовольствием вдыхая «попынный, горьковатый запах трав», принесенный ею из деревни, он молчит, а потом спрашивает:

«— Звать тебя как?»

— Как и прежде, — пошутила она. — Нюрой.

— Анна, значит.

— Анна Григорьевна полностью. Один у нас в деревне меня так и величает: Анна Григорьевна.

— Почему один?

— По-родственному, может. От убогости. Или еще почему.

— Знаю я почему.

— Не можешь ты знать!

— Нравилась ты ему.

— Тю! — Нюра прыснула, наморщила нос. — Старик он и без руки.

— Он красоту твою чтит».

Чудак этот по дороге просит разрешения остановиться: ливень переждать. Сидит — дождем любитесь, а вернее — время тянет. «Уж ладно, постоим, — великодушно сказала Нюра. — Только деньги со мной потеряешь. Муж говорит, ваши деньги — в скорости, а ты стоишь».

Чему служат все эти детали: осуждению современной «деловой женщины», превыше всего ставящей деньги, материальную выгоду? Нет, Борщаговский, в сущности, говорит о другом. Постоянная оглядка его героини на деньги свидетельствует не столько о ее своекорыстии, сколько о трезвой реальности авторского подхода к жизни. Не надо многого домысливать, чтобы представить себе, кто и как рано научил деревенскую Нюру считать и пересчитывать рубли и копейки. И было бы наивным видеть в Нюриной расчетливости только злое влияние Григория, ее мужа, дотошно и строго поучающего, как выгодней продать свинину в столице. Да и сама поездка на Даниловский рынок едва ли может быть воспринята как моральный упрек героине.

Тогда в чем же упрек? Писатель нигде и ни разу не выскажет его вслух, и все происходящее в рассказе напоминает тот самый «конфликт хорошего с лучшим», против которого так решительно и так безоглядно, словно себе во вред, выступал лет двадцать назад Борщаговский-критик («проработанный» тут же со всей несправедливостью тех лет). И все же конфликт в рассказе есть, и конфликт серьезный — конфликт человека с самим собой.

От того, что Нюра так и не встретилась с таксистом, никто вроде бы не пострадал — никто, кроме самой Нюры.

Да, на московском вокзале вполне возможно нарваться на таксиста-ханугу, способного содрать втридорога с деревенской бабы. Да, за случайным знакомством может скрываться и легкомыслие, и пошленькие приставания. Все это верно, и всему этому давно научила Нюрку привычная, житейская мудрость. Ну, а то, что бывает и так, что случайная встреча с хорошим человеком может все в тебе перевернуть, разорвать замкнутый круг представлений о жизни-игре с ее бесконечными расчетами, проигрышами и выигрышами, открыть глаза на себя, свою человеческую, душевную

ценность и на другую жизнь, в которой «стояли светлые, нарядные и снаружи дома, падали капли с желтеющих листьев тополя, куда-то торопились люди, и в этом потоке все было просто и все можно», все было полно доверия и бескорыстной отзывчивости души. Про все это Нюра, конечно, слышала или читала, но особо не верила. »Кизнь успела научить ее только правилам и не успела рассказать об исключениях из правил.

«Он долго ждал ее. Так долго, что Нюра впервые подумала о том, что ему тяжелее, чем ей, и едва эта мысль зримо предстала ей, она распахнула окно, чтобы крикнуть, позвать его». Но она не крикнула, не позвала, не дала ходу тоске, неожиданно-негаданно зашемившей ее добрую, но не слишком развитую душу, — «страхом, расчетом, здравым смыслом она хотела забить тоску, но уже знала, что это неправда, а правда все, что он говорил ей, от той минуты, когда углядел ее на вокзале, до прощального взмаха руки, которому она не придала значения».

Я потому так подробно остановился на этом рассказе, что в нем Борщаговский, пожалуй, глубже всего «докопался» до той «недоразвитости души», которая занимает и тревожит его на протяжении всей этой книги. Конфликт с откровенными мещанами, людьми непорядочными обнаружен и обнажен давно; время от времени обыватель меняет маску, и литература всякий раз непримиримо и решительно срывает ее. Ну, а если в привычном разговоре о мещанстве двинуться в другую сторону — к людям, у которых есть вроде и честность и порядочность, только спрятаны они где-то слишком глубоко и к жизни обыденной, ежедневной почти не «применяются». Разве не так появляется если не равнодушие, то молчаливая пассивность, если не прямая ложь, то полуправда?..

В рассказе «Любовь Петровна. Сергей Иванович» не сразу почувствуешь, где началась, зачем понадобилась немолодой и умной женщине — Любви Петровне Паниной — эта полуправда о ее умершем муже, знаменитом изобретателе. А может, виной всему настырность Соковнина, журналиста, пришедшего к ней «собирать материал» о Панине? Но ведь и Соковнин, принимаясь за книгу, твердо решил для себя, что «не допустит никаких компромиссов, никакой лжи», — за жизнь он слишком устал от по-

денщины, от приблизительного и теперь будет точен, жестоко точен, как настоящий художник». Банальному портрету «знаменитости на котурнах» он — правды ради — готов противопоставить антиштамп: «знаменитость в халате», в семье, с женой — «муж, отец, понимаете, нежность его сердца... Соковнина понесло, и она не перебивала его».

Увидел на шкафу теннисную ракетку — «Панин играл в теннис!.. Многие очень значительные люди увлекаются им. Это гармонические люди, я бы сказал, люди ясного, устроенного внутреннего мира...». Это была ее ракетка, муж никогда не играл в теннис («Панин считал теннис блажью, пустой тратой времени. Он был человеком дела, и на такое у него просто не оставалось и часа»), но по душевной лености ей не захотелось разрушать благородную схему, так горячо и искренно предложенную журналистом, и она пошла на первую безобидную полуправду: она поддакнула. Сначала поддакнула с усмешкой, с удивлением, почувствовав неестественность, придуманность журналистской схемы («Здоровое общество, здоровые люди, здоровые отношения»), но кто знает правила их игры — может, только так и пишутся биографии знаменитых людей?

Соковнин узнает, что всю жизнь они с мужем были на «вы» — Любовь Петровна и Сергей Иванович. И вот журналист «уже пылал, фантазировал, перекладывал новость на строки. «...— Хорошо! Что-то в этом есть панинское. И суровость времени тоже. Это прекрасно ложится, просто отлично ложится, такого не придумаешь...»

Он все придумывал и быстро раскладывал по полочкам заготовленной схемы. А она? Она все охотнее подыгрывала ему. «Любил ли Сергей книги? Да. Правда, он любил приключения, книги о шпионах и разведчиках, но Паниной не хотелось говорить об этом, а нетерпеливый Николай Спиридонович уже подсказывал: Корчагина, да?

— И Корчагина, конечно.

— И «Овод»?

— Кажется... Да, определенно «Овод».

— И Горького?

— Горького тоже...

Только когда Соковнин заговорил о Ромене Роллане, Панина поняла, что зашла далеко. Нет, она не помнит, чтобы Сергей Иванович увлекался Ролланом. Вероятно, читал («Еще бы, «Кола Брюньон» — это же

паннинская книга!»), но чтобы увлекался, не помнит».

Она уже не сторонний наблюдатель в этой чужой игре, она — соавтор лжи. Лжи вроде бы и совсем безобидной, бескорыстной для нее. «Отчего не сказать ему правду?! Сказать, что Панин был тружеником всю жизнь, но ее не любил или любил так аскетически скуп, что вся ее жизнь с ним была одним так и не сбывшимся ожиданием тепла и душевности. Ведь ничего в этом страшного нет, просто сказать ему, что они не были той парой, которую разумная природа создала друг для друга. Отчего не сказать? Ведь это так просто! И еще сказать, что ей нужен Лаврентьев, молчаливый, скромный Лаврентьев, и пусть Соковнин кончает свои поиски, пусть, черт возьми, закругляется, потому что ей стало трудно из-за него жить...

Но сказать не хватало мужества».

Мужества обыкновенной правды — не той героической, гражданской, которая проявляется на людях, а глазах окружающих, а своей личной, «домашней», совестливой правды, которая, конечно же, тоже не менее героическая и гражданская, потому что совестливый человек остается гражданином и героем всегда, с глазу на глаз тоже, и даже в полном одиночестве, когда его никто не видит. И Панина расплачивается за свою невинную маленькую ложь не где-то там, на общественной трибуне, а тут же, дома: «молчаливый, скромный Лаврентьев», ее нынешний сослуживец, ее новая и, быть может, первая настоящая любовь, все реже и реже переступает ее порог, а по выходе книги Соковнина и вообще уезжает. Так, без всякой корысти и расчета, просто от слабости души, выстроив «за компанию» искусственную биографию, сегодняшняя Любовь Петровна разрушает свое настоящее, живое счастье.

Не оставляет Борщаговский и разговора об излишне деловых людях, о тех, кто «для пользы дела» глушит в себе «беспользные» эмоции. В данном рассказе проблема эта косвенно задета в образе Панина, образе, получившем необычайную рельефность от двойной ретроспективной «подсветки»: восторженных разысканий Соковнина и жестких, утаиваемых даже и от себя воспоминаний Любви Петровны.

Панин, как и Нюра, еще наивен в этой «недоразвитости души» — он просто не подозревает о существовании более богатого

мира эмоций. Зато другой герой Борщаговского — профессор-дачник в рассказе «Без имени» — уже отлично знает, что «цифры — полезная вещь, но не во всем и не всегда. Есть и принципы, и сердце, они тоже чего-то стоят...». Все-то наш умница-профессор знает, все помнит, а все-таки... Еще один «случай из жизни»: профессор с горячностью вызвался было помочь мальчишке Лешке в его горе (мог погибнуть жеребенок, полюбившийся мальчику беспредельно). Но то ли забыв про обещание, то ли поддавшись уговорам жены «не влезать не в свои дела», отстраняется от всего — и вот уже веселого жеребенка не стало. Когда Лешка услышал об этом, его обожгло словно током, его душе нанесена тяжелая травма. А что же профессор? Он кричит, возмущается, но... «Он покричать любит, а так — смирный, — спокойно и с чувством исполненного долга говорит о нем жена... — Пошумит... — и за работу. У него работы много».

Действительно, много кругом работы, будничной, ежедневной. По тому, как каждый из нас ее выполняет, мы судим о человеке. Но, кроме своей работы, существует еще и наша общая жизнь, которая в любую минуту может потребовать и забот, и волнений, и усилий не меньше, чем любая «положенная» работа. А вот как отнестись к этим дополнительным, обязательным требованиям жизни — это уже вроде бы личное дело каждого, дело его совести.

Большинство героев этой книги А. Борщаговского живет неторопливо, буднично, в трудах и заботах; может, и в самом деле эта ежедневная и трудная жизнь не оставляет времени подумать о душе, о принципах, о себе и своей позиции?

«Кто ее знает, нашу меру!» — философствует кто-то из мужиков, застрявших возле парома, определяя этим словом как раз основу поведения людей (рассказ «Ноев ковчег»).

«Я так полагаю — тут она! — Полешук погладил себя по тощему животу... В брюхе. Нашего мужика нельзя с заграничными мешать. Нашему фигли-мигли не нужны, ему одно требуется — сытым быть, и все, всего дела. Чтоб и он сытый, и дети с приварком... А то кто же на Луну-то полетит? Туда квелого не толкнешь, расстояние не то».

Цена Полешуку со всеми его рассуждениями невелика — он, как его называют

здесь, «мужик пыльный», хоть и рвется давно деревню поднимать: «в разное время ведал хлебоприемным пунктом, баней, чайной, конторой «Заготскот», сдвинув рыжие брови, мирился и со славой, и с поражениями». Беда в одном: сам-то Полещук уверен, что он и есть совесть народная, что он выражает волю тех, на ком «государство держится».

«— А оно народом и держится,— донесся с палубы голос...— Иначе на чем? На болоте и сухая изба не устоит. Засосет.

— Не о том я,— снова вильнул Полещук.— Недовольства у нас много, вражды, критики... К чему это?»

Можно бы и поспорить, выяснить с Полещуком, откуда и «к чему это»,— так ведь если б Полещук мог задержаться на этом как на убеждении, на обдуманной позиции. А то ведь только так, нахватавшись фраз про Луну и заграничную жизнь, а в остальном — влиет: «Я за старое не держусь и, сколь живу, не держался: велено было иконы все выкинуть, я их первым и выкинул. Верно? — Никто не откликнулся.— Должны бы помнить! — сказал он, сокрушаясь о человеческой неблагодарности.— И к портретам иным хоть как привык, а тоже вынес мигом, никто вперед меня не поспел».

В этом споре Полещук произносит и правильные, в общем-то, вещи — отчего же люди с откровенной усмешкой, с неуважением слушают его? Видимо, и на то, чтобы произносить правильные вещи, должно быть моральное право, должна быть совесть, а не только стремление, чтобы «никто вперед меня не поспел».

Тихо течет Ока, неторопливо переговариваются между собой люди в ожидании парома — ничего другого в рассказе «Ноев ковчег» не происходит, одни разговоры. И в разговорах этих постепенно проясняется, чего стоит тот или иной человек, есть у него за душой ощущение родной земли и своего места на ней или плывет он по течению, не задумываясь, не оглядываясь, куда вынесет.

Это нелегкое дело — пристально всмат-

риваться в будничное течение жизни, в нем обнаруживать проблемы, исследовать характеры. Шесть рассказов в книге Борщаговского объединены именно этими стремлениями. Выдержать этот принцип до конца писателю не всегда удается: то ему уже «все ясно», и он торопится высказать свою идею раньше, чем нас подвело к ней неторопливое движение сюжета, развитие характеров и взаимоотношений; то, наоборот,— он боится быть непонятым, конфликт ему кажется недостаточно проясненным, выпуклым, и тогда по хорошо испытанной традиции начинается искусственное обострение сюжета — так вводится шторм, решительно выявляющий характер героя в «Седой чайке». Вообще жизненную контрастность идейных и человеческих позиций А. Борщаговский порой исследует скорее умозрительно, логически, нежели психологически. Эта излишняя рационалистичность особенно видна в некоторых более ранних произведениях автора. В цикле же «окских» рассказов, где деловая рассудительность и расчетливость сплошь и рядом оказываются прямыми антитепами отзывчивости души,— смягчилась, «потеплела» и сама манера повествования. Очевидно, от этого более ранняя «Седая чайка» выделяется в сборнике не только камчатской экзотикой и океанскими стихиями — в ней заметнее прежняя, резкая, «черно-белая» манера и в обличии «злодеев», и в повышенном (порой до прямой сентиментальности) сочувствии к «герою»: «Сердце механика дрогнуло. Хотелось протянуть руку к биноклю, что болтался на груди капитана, но он сдержался. Посмотрел вдаль, но то ли от волнения, то ли от набевашей на ветру слезы ничего не увидел на горизонте».

Скромная Ока — один из главных героев других рассказов этой книги — не вызывает такого буйства страстей. Тем дороже впервые, пожалуй, так явственно проявившееся у Борщаговского умение увидеть и показать борение чувств в самом спокойном ежедневном течении жизни.

В. СОКОЛОВ.

ВЕСЕЛЫЙ ГЕНИЙ СМЕХА

Л. Евстигнеева. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы.
«Наука». М. 1968. 454 стр.

Отношение к юмору и сатире всегда показывает уровень духовной зрелости общества, степень его нравственного развития. Очень точно сказал об этом В. В. Воровский: «Если отмечать в человеке или в каком-нибудь обществе, так сказать, историю его смеха — как он смеется, над чем смеется, когда смеется, — мы получим богатейший материал для изучения его психологии».

В России смеялись в разное время по-разному, в зависимости от усиления или ослабления правительственной реакции. В годы революционных подъемов смех достигал убийственной силы, находя воплощение в бессмертных творениях Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, поэтов «Искры». Смех этот был слышен не только в столицах, но и в самых отдаленных уголках Российской империи. В годы спадов общественной активности смех уходил в подполье или принимал различные завуалированные формы проявления, надевал маски. Сатирики использовали иносказания, исторические аналогии и т. д. В фольклоре сатира и юмор проявлялись в сказках, частушках, анекдотах. Так или иначе смех существовал всегда. И никакая цензура, чикакие меры царского правительства не в состоянии были остановить, заглушить, запретить смех. Недаром Василий Курочкин писал сто лет назад:

Над цензурою, друзья,
Смейтесь так же, как и я:
Ведь для мысли и для слова,
Откровенно говоря,
Нам не нужно никакого
Разрешения царя!

Нанбольшого расцвета русская сатирическая журналистика достигла в годы революции 1905—1907 годов, когда в стране выходило около 450 сатирических журналов, подвергавших осмеянию чуть ли не все стороны общественной и политической жизни самодержавной России, вплоть до нападков на царя и его ближайшее окружение. После поражения революции почти все эти издания, задушенные цензурой и полицейскими репрессиями, прекратили существование. Началась полоса самой мрач-

ной реакции, известной под именем «столыпинской».

Именно в это время, в апреле 1908 года, вышел первый номер журнала «Сатирикон», ставшего основным сатирическим изданием последующего десятилетия. О месте и значении журнала в идейно-эстетической борьбе этого напряженного и бурного периода и рассказывает в своей монографии Л. Евстигнеева. Следует сказать, что ее работы внесли определенный вклад в «сатириконоведение». В 1960 году вышел сборник стихов Саша Черного, в 1966 году — книга «Поэты «Сатирикона», в которых были помещены вступительные статьи Л. Евстигнеевой, биографические справки и примечания.

Долгие годы сатириконцев у нас не издавали и не писали о них и если вспоминали о журнале, то только в связи с участием в нем молодого Маяковского. Русская сатира предреволюционных лет вообще мало изучена у нас, как, впрочем, и само это время, полное противоречий, мучительных исканий смысла жизни прогрессивной интеллигенцией. Книга Л. Евстигнеевой несомненно пробудит интерес у читателей и к «Сатирикону», и к его поэтам, и к самой эпохе между двумя революциями, зачастую несколько упрощенно освещаемой в нашей историографии.

Для рецензируемой книги как раз характерно, что автор объективно показывает творческую эволюцию сатириконцев со всеми ее изгибами и спиральями, взлетами и падениями, в тесной связи с политической обстановкой в стране. Знаменательно, что журнал появился в самое неподходящее для сатиры время и от его редакторов требовалось определенное мужество, чтобы полицейскому и цензурному террору противопоставить журнал, уже в первом номере заявивший: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни...» Заслугой редакторов Аверченко, Радакова и Ремизова было создание в условиях столыпинской России популярного сатирического журнала, буквально с первых номеров завоевавшего признание читателей. Редакция сумела, правда недолго, выдержать изда-

ние в традициях прогрессивной журналистики шестидесятых годов и первой русской революции.

В то время В. В. Воровский писал: «Правда, наши условия мало благоприятствуют развитию политической сатиры, хотя и дают ей обильную пищу, но сатира на общественные нравы возможна и у нас». Издание «Сатирикона» подтверждает эти оптимистические слова. Еще свежи были в памяти народа недавние массовые репрессии, связанные с политикой «насильственного успокоения России». И «Сатирикон» из номера в номер дает сатирические портреты кровавых усмирителей — генерал-губернаторов, министров и самого царя.

Л. Евстигнеева на материале журнала показывает, как сатириконцы «настойчиво воспитывали в читателях повышенную чувствительность к откликам на злобу дня». Все материалы были направлены на обличение. Даже хроника театральной жизни, которую талантливо вел Аверченко, служила поводом для размышлений о политической жизни России.

Анализируя содержание журнала, автор монографии рисует тяжелые условия работы редакции, вынужденной под давлением политической реакции постепенно сдавать свои позиции. В те смутные времена поистине зловещую роль играла цензура, своими постоянными нападками, запрещениями и урезываниями поставившая в конце концов журнал перед необходимостью «совсем отказаться от политической сатиры».

В книге приведено свидетельство В. Бочановского, вспоминавшего о тяжелых условиях работы сатириков в те годы: «Подготавливая номер, редактор всегда должен был иметь в запасе двойное количество рисунков и готовых клише, потому что никогда, ни в одном случае не было уверенности, что пронизательная цензура не усмотрит чего-нибудь «ошибочного» или преступного в любом из рисунков».

Л. Евстигнеева отмечает в связи с этим падение к 1911 году политической остроты «Сатирикона» и среди других причин основной называет цензурный террор, который был в России формой борьбы деспотизма с передовыми направлениями в искусстве, литературе, общественной жизни и политике. Художник А. Бенуа писал по этому поводу: «Если бы знать еще точно, что можно и что нельзя, тогда было бы пол-

беды. Но ведь именно этого-то у нас никто и не знает. С одной стороны, как будто и все дозволено, а с другой, как будто все и запрещено».

В результате журнал часто выходил с белыми пятнами на месте «зарезанных» цензурой произведений. Чаше других подвергался «ампутациям» Аркадий Аверченко, хотя его рассказы были любимым чтением Николая II. Царь даже пригласил однажды Аверченко во дворец, но писатель отказался, сославшись на болезнь. Визит к царю сразу же скомпрометировал бы литератора в глазах общества. Сатириконцы никогда не заискивали перед властями и при удобном случае не упускали возможности посмеяться на страницах журнала над министрами и членами Государственного совета. Русская литература вообще всегда избегала покровительства царских властей, поскольку была прогрессивной силой, а правительство представляло порядок, который неподвижен. «Если эти силы заключат союз,— писал Н. В. Шелгунов,— то неизбежным следствием должны быть—деспотизм в государственном управлении и раболепие — в литературе».

Сатириконцы разработали целую систему недомолвок, намеков, вели своего рода «перестрелку с чиновниками цензурного ведомства». Одним из способов борьбы с цензурой было постоянное высмеивание цензора. Его карикатурная фигура кочевала из номера в номер, а в 1913 году цензуре и русской прессе был посвящен специальный выпуск «Сатирикона».

Особенно сложным было положение журнала в годы первой мировой войны, когда цензурный гнет вышел за все возможные рамки. Дело доходило до того, что виновных в антиправительственной пропаганде заключали в тюрьму «от двух до восьми месяцев». Конечно, в таких условиях журнал не мог оставаться органом политической сатиры и постепенно превратился в чисто юмористический. Все это, разумеется, отражалось на творчестве талантливого коллектива. Возмущенный Аверченко, который всегда был невысокого мнения об умственных способностях цензоров, высказывал свое мнение в печати: «Какое-то сплошное безысходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской металлургии».

В книге приводятся курьезные случаи подозрительности цензуры: «Стоило сатири-

концам написать в журнале слово «дурак», как бдительная цензура тут же «расшифровывала»: «Если дурак, так знаем кто — министр Протопопов — и вычеркивала слово... Естественно, что острота и злободневность журнала в таких условиях снизились».

Главной мишенью «Нового Сатирикона», пришедшего на смену «Сатирикону», стала фигура российского мещанина.

Последовательно прослеживая эволюцию журнала от сатирического к юмористическому, Л. Евстигнеева справедливо указывает, что трагедия сатириконцев заключалась в том, что «они были творцами сатиры, нередко безжалостной, но всегда отказывающейся от социальных выводов». Сатириконцы, продолжает далее автор, боролись с мещанством с позиций интеллигентского радикализма, подменяя гражданский пафос веселым, порой беззаботным смехом. Следует добавить, что эти недостатки, особенно в части социальных выводов, были свойственны не только сатириконцам, но и многим русским литераторам в различные периоды истории страны.

Л. Евстигнеева совершенно справедливо пишет: «В русской литературе поэты «Сатирикона» шли своей узкой тропой, пролегающей где-то у обочины большой дороги. Их наследие... далеко не равноценно и не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым к искусству идейно значимому, художественно совершенному. Однако это не должно заслонить от нас критическое отношение сатириконцев к мещанству, к низменным буржуазным нравам, к произволу самодержавия. В их чувствах и настроениях — неопределенная тоска по идеалу, туманная греза о личности свободной, сильной и духовно красивой».

Монография Л. Евстигнеевой несомненно окажется полезной и интересной при изучении русской сатиры и юмористики 1908—1917 годов. В те сложные, противоречивые годы творческая интеллигенция столкнулась с очень сложными проблемами, и главной из них был выбор правильного пути. Многие вопросы были доступны только крупным талантам, «обладающим недоступной для сатириконцев широтой взгляда и проницательностью». Такой фигурой в «Сатириконе» явился Маяковский, которого от остальных

сотрудников отличало главное — «мноропонимание и взгляд на будущее».

Сотрудничеству Маяковского в «Сатириконе» посвящена отдельная глава, в которой Л. Евстигнеева рассказывает о взаимоотношениях поэта с сатириконцами, о их влиянии на выработку Маяковским своего творческого метода. «В контакте и в полемике с такими поэтами, как Саша Черный, Потемкин, Горянский, Радаков, Князев, отчасти Воинов, Маяковский вырабатывал высокую культуру сатирического стиха. В «Новом Сатириконе» Маяковский приобрел навыки профессионального сатирика». Среди поэтов журнала Маяковский выделялся целеустремленностью. Он знал, чего хотел. Уже в советское время поэт совершенно определенно выражал свое кредо сатирика: «Что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет, — у меня такой агитационный уклон, я не люблю, чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь». Вот этого сатириконцы как раз сказать и не могли, то есть не смели.

Смех всегда был страшен для поборников лжи и несправедливости, как огня боящихся сатирических разоблачений. Герцен недаром придавал смеху огромное значение. Он писал: «...без сомнения, смех — одно из самых мощных орудий разрушения; смех Вольтера бил и жег, как молния. От смеха падают идолы, падают венки и оклады и чудотворная икона делается почернелой и дурно нарисованной картинкой. С этой революционной, нивелирующей силой смех страшно популярен и прилипчив; начавшись в скромном кабинете, он идет расширяющимися кругами до пределов грамотности...»

Наследие сатириконцев, работавших в одно из самых мрачных десятилетий русской истории, разумеется, не равноценно. Что-то в их творчестве устарело, но многое и сейчас представляет интерес. Во всяком случае традиции «Сатирикона» в какой-то степени нашли продолжение в творчестве И. Ильфа, Е. Петрова, М. Зощенко и сегодняшних советских юмористов.

Интерес к юмору и сатире талантливых сатириконцев в наше время возрастает. Причиной тому — веселый гений смеха, постоянный спутник «Сатирикона» и его авторов.

И. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Политика и наука

ЕЩЕ О ДВЕНАДЦАТОМ ГОДЕ

А. Г. Тартаковский. Военная публицистика 1812 года. «Мысль». М. 1967. 222 стр.

1812 год прочно вошел в наше сознание как одна из основополагающих вех русской истории.

В конце прошлого года библиография Отечественной войны пополнилась еще одной интересной книгой. Автор ее среди множества опустошенных рудников фактического материала сумел найти плодотворную и почти нетронутую жилу — армейскую публицистику 1812 года. Это издания походной типографии при главнокомандующем русской армией: летучие листки, брошюры, прокламации, официальные известия из главной квартиры, представляющие собой литературу военно-пропагандистского характера.

Еще за две недели до начала Отечественной войны на имя военного министра Барклая де Толли двумя либеральными профессорами А. Кайсаровым и Ф. Рамбахом был подан проект учреждения военной походной типографии при главной квартире командующего. Этот проект правительством был одобрен, типография вступила в действие. К числу редакторов походной типографии А. Г. Тартаковский относит, помимо двух уже упомянутых профессоров Дерптского университета, ряд значительных деятелей русской общественной мысли начала прошлого столетия: известного поэта Василия Андреевича Жуковского, будущего декабриста М. Ф. Орлова, крупного историка Отечественной войны А. И. Михайловского-Данилевского.

Исследование материалов военной публицистики и того резонанса, который они вызывали в западных странах, позволило А. Г. Тартаковскому сделать правомерное заключение об «оперативности и гибкости» русской военной пропаганды, о том, что «летучие издания походной типографии своевременно утверждали точку зрения своего командования на ход боевых действий, опережая иногда и сами наполеоновские бюллетени». Указанная литература рассчитана была на активное пробуждение высокого морального духа всего народа, на популяризацию идеи общенародной войны против захватчиков, на про-

буждение гражданского, национального достоинства во всех слоях населения.

Обширный круг новых нетронутых источников, впервые введенных автором в научный оборот, имеет определенное значение для изучения истории 1812 года.

В работе имеется специальная глава о Бородинском сражении. Автор рассматривает здесь листовку «Официальные известия» из армии от 27 августа. Она оказалась единственным русским документом, который давал непосредственную и точную оценку Бородинского сражения, благодаря анализу ее в книге аргументированно подтверждаются намерения главнокомандующего русской армией продолжить битву на следующий день и вынужденность отказа от этого плана.

В 1912 году французский историк Шюке впервые опубликовал документ из той же серии армейских «Официальных известий» о переговорах Кутузова с Лористоном в Тарутинском лагере, но этот документ остался не замеченным нашей историографией. А. Г. Тартаковский же, оперируя им, дал свою трактовку причин, которыми руководствовался Кутузов, вступая в переговоры. По мнению автора книги, они открывали возможность прощупывания замыслов противника и обеспечения условий для переустройства и укрепления русской армии. «Отведя по существу все попытки заключить мир, Кутузов в то же время поддержал таившиеся у Наполеона иллюзии о дальнейших переговорах и заставил его пробыть в Москве еще некоторое время. Столь искусный дипломатический маневр русского полководца существенно повлиял впоследствии на судьбы кампании».

Ценность изданий походной типографии состоит, однако, не только в этом. Как замечает А. Г. Тартаковский, «в поле зрения предшествующей историографии, в том числе и советской, оказались преимущественно военные и дипломатические аспекты событий 1812 года. Внутренняя жизнь русского общества в целом известна значительно хуже... Именно в этой мало обследованной пока сфере и таится возможность плодотворных поисков, свежих

находок и пересмотра утвердившихся точек зрения». Основной задачей своего исследования автор как раз и считает анализ через документы армейской публицистики внутренней жизни русского общества на разных этапах военной кампании 1812 года.

Интересна в связи с этим плоскость, в которой А. Г. Тартаковский рассматривает вопрос о московском пожаре. Отметив, что пожар Москвы расценивался в упомянутых «Известиях» как показатель высокого патриотизма и готовности ради сокрушения врага пожертвовать самой драгоценной национальной святыней, он пишет далее, что такая оценка «знаменовала собой становление совершенно иной по сравнению с официальными взглядами традиции в истолковании этого события... Подобные воззрения были весьма типичными для представителей передовых кругов общества, в частности, для Д. Давыдова, А. Герцена, В. Белинского».

Как же реакционное, абсолютистское правительство Александра I могло допустить появление в печати точки зрения, противоречащей официозным воззрениям на одно из важных событий войны?

Дело в том, что, когда вторжение Наполеона вызвало народную войну, правительство Александра I встало перед необходимостью ее использования для разгрома врага. «Правительство стремилось... законодательно оформить и подчинить своему влиянию стихийно возникшее общепатриотическое движение...» Но чтобы проводить успешно такую политику, носители ортодоксальных монархических взглядов уже не подходили. Надо было опереться на людей совсем иного толка, свободных от господствующих предрассудков и пользующихся авторитетом искренних поборников свободы и независимости. А. Кайсаров и Ф. Рамбах были как раз такими людьми. «Убеждения авторов проекта в неодолимой силе «народного мнения» вытекали,— пишет А. Г. Тартаковский,— из истинных представлений об общественном устройстве, исходили из подлинно освободительных намерений и самого существа просветительской идеологии. Но эти принципиальные расхождения на относительно ранних ступенях развития антифеодальной общественной мысли не были еще достаточно размежеваны и находились зачастую в скрытом состоянии. На

поверхность же выступали иногда совпадающие элементы двух идеологий, антагонистичных друг другу лишь в отдаленной исторической перспективе».

Итак, нам представлены и убедительно объяснены особенности эпохи: общенародный патриотический подъем, стремление царского правительства его использовать и, что особенно важно, вызванное острой военной ситуацией временное совпадение элементов двух идеологий — просветительской и охранительной, монархической. Но автор книги не только отметил временное единство народа, просветителей и правительства Александра I на ответственной стадии, когда России угрожала опасность национального поражения, — на материале военной публицистики 1812 года он сумел вскрыть существо, мотивы и характер развития двух очень разных видов патриотизма, наблюдавшихся в то время: патриотизма государственного, официозного и патриотизма тогдашней передовой дворянской интеллигенции.

А. Г. Тартаковский на конкретных документах (афишах Ф. Ростопчина, писаниях С. Глинки, манифестах А. Шишкова) продемонстрировал атрибуты официозного патриотизма: разжигание шовинистических инстинктов, демагогию, за которой пряталось презрение к тем, к чьей помощи апеллировала царская власть в лихую годину, умолчание и ложь своему народу при освещении военных событий. Он пишет: «Утаивание от населения истинного положения дел, изображение его в духе казенно-восторженного патриотизма в высшей степени свойственно самодержавной власти, отчужденной от народа, преисполненной к нему недоверия и вражды. Такой стиль информации был рассчитан на то, чтобы в возможно более выгодном свете выставить деятельность правительства по подготовке кампании, снять с себя ответственность за неудачи в войне, отвлечь от них внимание общества».

Официальную пропаганду отличало стремление изобразить Наполеона и его армию в нарочито оглуленном, вульгарно-комическом виде. Вот, например, как расценивает А. Г. Тартаковский афиши Ростопчина — московского генерал-губернатора: «Цель этих афиш, равно как и прежних публицистических опусов Ростопчина, состояла в том, чтобы возбудить в жителях слепую ненависть ко всему иностранному,

главным же образом к «злодеям»-французам, «карлекам да щеголкам», внушить хвастливое отношение к наполеоновской армии, которая будет разбита при первом же соприкосновении с «силой христианской». «Не бойтесь ничего — нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет», «француз не тяжеле снопа ржаного» — его одолеть можно и топором, и рогатиной, и вилой-тройчаткой. Писанные, по выражению одного из современников, «наречием деревенских баб» с желанием нарочито подделаться под народный говор, в духе вульгарных и плоских прибауток, афиши Ростопчина были рассчитаны на малограмотного обывателя, зывали к его суеверию и шовинистическим инстинктам.

В противоположность патриотизму правительственных верхов, патриотизм просветительский, продукцией коего явились официальные известия из армии, несколько номеров газеты «Россиянин», брошюры «Отступление французов» и «Размышления одного русского военного», поэтические произведения В. А. Жуковского военной поры и т. д., — этот патриотизм отличали черты антисословности, демократизма, тираноборческое истолкование борьбы с нашествием, уважение к народу, боль за него, антикрепостнические тенденции. Характер информации, исходящей из походной типографии, определялся указанными принципами.

«Мы надеемся, — говорилось в газете «Россиянин», — заслужить доверие наших соотечественников и заверяем их, что мы также не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимые действия и быть ко всему готовым». Этот гезис — гражданин должен знать истинное положение вещей, — как показывает А. Г. Тартаковский, оказался лейтмотивом всех изданий походной типографии.

В армейских летучих листках силы противника не преуменьшались, Наполеон изображался как талантливый, опытный военачальник, редакторы походной типографии обращались не к дворянству, а к народу в целом, неустанно подчеркивая неотвратимость и необходимость народной войны. Армейские известия поощряли партизанское

движение, проповедовали вооруженную самодеятельность народа.

Естественно, что подобная позиция, проглядывавшая весьма явно сквозь характер отчетов о военных действиях и событиях войны, была нежелательна официальным кругам, близким к императору, и армейские известия, прежде чем появиться в столичной прессе, подвергались серьезным коррективам. «Приглаживались тексты журналов, трактующие о силе и высокой еще боеспособности неприятельских войск. Вымарывались трезвые оценки сражений, данные о лишениях и трудностях русской армии, о настроениях жителей в районах, охваченных боевыми действиями».

Но если в момент опасности самодержавие еще как-то вынуждено было сомкнуться с демократическими силами, терпело и даже поощряло народную войну, то, когда народ добыл победу, правительство Александра I круто сворачивает вправо.

«С конца войны в русской публицистике возрастает внимание к личности царя и назойливое прославление его необыкновенных заслуг в войне становится лейтмотивом всей официальной печати». Что касается А. Кайсарова, то в период заграничных походов он был отстранен от руководства типографией и направлен в партизанский отряд. Однако «разбуженные в Отечественной войне чувства сознательного патриотизма с окончанием ее уже «не могли уничтожиться», а должны были «обратиться от внешних врагов к внутренним бедствиям» — таков вывод автора книги, который он доказательно подтверждает, приводя материалы из следственных дел декабристов А. Бестужева, И. Якушкина, А. Розена, М. Лунина и других.

Впрочем, здесь можно бросить и некоторый упрек А. Г. Тартаковскому: аргументируя свою мысль, он отсылает нас к монографии М. В. Некиной «Движение декабристов», воспроизводя высказывания декабристов по цитатам из этой монографии. Думается, что для подтверждения одного из кардинальных положений своей серьезной работы он мог бы воспользоваться анализом самих первоисточников.

Так или иначе, на основании документальных материалов, представленных в книге А. Г. Тартаковского, можно сделать

вывод, что именно из названных двух истолкований чувства родины вырастают после войны две резко противостоящие друг другу идеологии: из просветительского патриотизма 1812 года — идеология будущих декабристов, из патриотизма официального — пресловутая уваровская триада.

Всем сказанным не исчерпывается значение исследования А. Г. Тартаковского. изучая материалы военной публицистики 1812 года, автор сумел обнаружить среди них и первые опыты историографии Отечественной войны. К ним он относит прежде всего брошюру «Ретирующийся Наполеон».

Автор ее — офицер прусской армии Эрнст Пфуль, перешедший в русскую службу под фамилией Гильсдорфа, либерал по политическим убеждениям, патриот (не путать с генералом-от-инфантерии К. Фулем, создателем Дрисского укрепленного лагеря), находился при главной квартире Кутузова с сентября 1812 года, осуществляя связь патриотической немецкой эмиграции с русской армией. Затем Э. Пфуль — начальник штаба партизанского немецкого корпуса, а после низвержения Наполеона — комендант Парижа с прусской стороны. Вот он-то, согласно А. Г. Тартаковскому, оказался автором брошюры об отступлении Наполеона, где отступление это освещено «в духе стратегической концепции Кутузова». Брошюра Э. Пфуля, которая подверглась впервые обстоятельному разбору в книге А. Г. Тартаковского, была издана в декабре 1812 года и явилась, по определению автора книги, «первым общим очерком Отечественной войны 1812 года и первой целостной историей разгрома наполеоновской армии в России».

В работе А. Г. Тартаковского исследован также забытый и считающийся ныне библиографической редкостью источник — «Размышления одного русского военного». Этот талантливый политический памфлет автор показательно причисляет к произведениям военно-пропагандистской литера-

туры походной типографии и считает его плодом пера крупного политического деятеля эпохи, известного дипломата и будущего декабриста М. Ф. Орлова.

Обращение к брошюре М. Ф. Орлова позволило А. Г. Тартаковскому внести поправку в бытующее мнение о том, что первым критиком версии о морозах, будто бы погубивших армию захватчиков, оказался Денис Васильевич Давыдов, выступивший в 1835 году со статьей «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?». Теперь мы можем вполне основательно утверждать, что и сама эта версия, и критика ее возникли в печати почти одновременно: первая — в середине декабря 1812 года с опубликованием 29-го наполеоновского военного бюллетеня, вторая — в остром памфлете М. Ф. Орлова в январе 1813 года.

Подводя итоги, можно еще раз повторить, что благодаря освоению новой группы источников А. Г. Тартаковскому удалось добавить существенные подробности к освещению важнейших вопросов военно-политической истории 1812 года, отыскать и исследовать первые опыты русской историографии Отечественной войны. наконец автор сумел оригинально и свежо взглянуть на некоторые стороны внутренней жизни общества в 1812 году, выявить значительные элементы его политической философии. И хотя, случается, обильный фактический материал захватывает своего первооткрывателя в плен и авторская мысль иногда теряет точность и мельчится (особенно в конце работы), книга о военной публицистике 1812 года, на наш взгляд, представляет достойный вклад в изучение эпохи Отечественной войны.

Тема внутренней жизни общества периода наполеоновского нашествия, интерпретированная художественным гением Толстого, заслуживает всестороннего, полного исследования. Книга А. Г. Тартаковского — удачное начало этого полезного труда.

Н. РАБКИНА.



МЕХАНИЗМ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ

А. А. Галкин. *Германский фашизм*. «Наука», М. 1967. 397 стр.

Германский фашизм — тема далеко не исчерпанная и, к сожалению, не теряющая злободневности. Особенно если к ее исследованию подойти с подлинно марксистских позиций — не довольствуясь перечнем и моральной оценкой того или другого ряда фактов, а подвергая их углубленному историко-социологическому анализу. В этом случае с очевидностью выступает то общее, что есть во всех фашистских движениях и режимах и что составляет их общественно-политическую суть, как бы ни различались их конкретные политические, идеологические и иные формы. Именно таким трудным, но наиболее плодотворным путем и идет в своей книге А. А. Галкин, рассматривая историю фашистской диктатуры в Германии под социологическим углом зрения.

Автор сгруппировал материал книги по проблемам в трех разделах: «Фашизм и правящие классы», «Фашизм и народные массы», «Идеология и практика фашизма».

Исторические уроки гитлеризма не будут учтены надлежащим образом, если упустить из виду, что до 1933 года нацисты не сумели добиться широкой поддержки со стороны рабочего класса и близких ему слоев. На всех важнейших выборах, предшествовавших передаче власти гитлеровцам, обе рабочие партии (социал-демократы и коммунисты) вместе сохраняли стабильное число сторонников (около 13,3 миллиона избирателей).

Тем не менее после прихода Гитлера к власти его политика до самого конца войны не встречала внутри Германии массового сопротивления и даже пользовалась поддержкой. Это объясняется двумя основными факторами: во-первых, значительная часть немецкого народа была отравлена националистическим дурманом, находилась под влиянием империалистических лозунгов, подкрепляемых временными военными и экономическими успехами фашистской Германии; во-вторых, жестокий террор подавлял не только антифашистские выступления, но и всякое проявление оппозиционности.

А. А. Галкин прослеживает, как изменялось отношение к гитлеровскому режиму в различных общественных слоях страны, и в первую очередь в немецком рабочем клас-

се. Автор пишет: «По мере рассасывания безработицы и некоторого повышения фактической заработной платы среди части рабочих, в том числе относившихся прежде резко отрицательно к национал-социалистам, стало прокладывать себе дорогу мнение, что НСДАП в какой-то мере выполняет свои обязательства. То обстоятельство, что это оживление было искусственным и связанным с подготовкой войны, было слишком абстрактным для многих изголодавшихся по работе людей... Они, конечно, знали, что до кризиса жизнь была лучше. Однако докризисный период отстоял уже достаточно далеко; он стал забываться, и отсчет, как правило, велся от более близкого и памятного периода всеобщего экономического краха». Нужно иметь в виду и другое: «В нацистской Германии возможности более или менее правильной оценки рабочим классом своего положения оказались предельно ограниченными. Во-первых, абсолютная унификация печати при одновременной ликвидации самостоятельных рабочих политических и профессиональных организаций делала невозможным критическое сопоставление своего материального положения с материальным положением рабочих в других промышленных развитых капиталистических странах... В результате среди немецких рабочих возникло сознательно культивируемое нацистами представление... что немецкий рабочий значительно превзошел в том, что касается жизненного уровня, своих коллег в других странах. Во-вторых, действительная оценка рабочими своего материального положения существенно затруднялась в связи с манипуляциями, производимыми национал-социалистами. Так, например, явное несоответствие заработной платы возросшей стоимости рабочей силы маскировалось искусственным уменьшением роли зарплаты в формировании жизненного уровня рабочего класса... За счет увеличения различного рода вычетов, как обязательных, так и «добровольных», была развернута система благотворительности, создававшая иллюзию щедрой социальной политики нацистского государства».

Анализ политики фашистской диктатуры в отношении рабочего класса А. А. Галкин суммирует следующим образом: «В целом можно сказать, что рабочий класс Герма-

нии проявил наибольшую устойчивость против фашистской инфекции, поразившей германское общество, последним из всех классов и прослоек поддался ей и первый начал выздоравливать. Тем не менее было бы неверным замалчивать, что на определенном этапе большинство рабочего класса Германии, в том числе и его организованной части, став в условиях победы нацизма объектом обработки, как практической, так и идеологической, потеряло ориентировку и, пусть на небольшое время, склонилось к поддержке режима, являвшегося самым смертельным врагом трудящихся». Разумеется, подчеркивает автор, эта «реалистическая оценка позиции большинства рабочего класса в период нацистского господства и в коей мере не умаляет значения той героической, самоотверженной борьбы, которую вели все эти годы лучшие представители немецкого пролетариата, его авангарда».

А. А. Галкин подвергает конкретному анализу отношения нацистского режима с различными группами населения, входящими в так называемое среднее сословие (торговцы, ремесленники, мелкие предприниматели), которые, как известно, еще до прихода Гитлера к власти составляли наиболее массовую социальную опору фашизма. Гитлеровский режим не осуществил чаяний своих мелкобуржуазных сторонников. Он начал с зажима их политической активности, и если в дальнейшем были приняты некоторые меры по охране ремесла и торговли, то, как показано в книге, «все эти мероприятия не могли привести к коренному улучшению условий жизни и труда средних слоев населения», а во время войны и особенно после объявления тотальной мобилизации гитлеровское правительство нанесло сильнее удары по материальному и правовому положению мелкобуржуазных слоев.

Такая же судьба постигла в «третьей империи» и крестьянство. Бюрократическая машина лишила крестьянина права по своему усмотрению определять профиль его хозяйства и свободно распоряжаться произведенными продуктами. Вместе с тем, пишет А. А. Галкин, «расширение аппарата открывало большие возможности для мелкобуржуазной и прежде всего крестьянской молодежи», позволив ей наиболее энергичным и ловким представителям выдвинуться. В этой связи автор цитирует слова Ленина о том, что мелкая буржуазия привлекается

из стороны крупной в значительной мере посредством чиновничьего и военного аппарата, «дающего верхним слоям крестьянства, мелких ремесленников, торговцев и проч. сравнительно удобные, спокойные и почетные местечки, ставящие обладателей их *над* народом»¹.

Разумеется, определяющими силами в руководстве «третьей империи» были нацистская верхушка, монополистическая олигархия и генералитет. Их историческое и социальное лицо известно. Однако их относительная роль и влияние в механизме фашистской диктатуры не изучены до конца.

А. А. Галкин значительно углубил освещение этих проблем. Так, рассматривая взаимоотношения между фашистским правительством и монополистической буржуазией, которая способствовала приходу Гитлера к власти, автор в отличие от некоторых «своих предшественников не представляет сотрудничество нацистских заправил с монополиями в таком упрощенном виде, будто последние диктовали свою волю правительству либо, наоборот, фашистский диктатор попросту навязывал промышленникам собственные планы.

Те группировки крупной буржуазии, которые помогли нацистской партии прийти к власти, стремились наряду с установлением террористического режима, направленного против рабочего класса, усилить аппарат государственно-монополистического регулирования, чтобы укрепить экономические позиции монополий и создать предпосылки для внешнеполитической экспансии. В дальнейшем, когда созданная фашистским режимом забюрократизированная система государственного регулирования оказалась громоздкой и дорогой, между правительством и монополиями возникали разногласия, но они отступали на второй план по сравнению с главным — ведением войны, приносившей германским монополиям колоссальные прибыли.

Лишь когда война оказалась проигранной, интересы партнеров разошлись. В 1945 году крупные промышленники рассчитывали избежать крупной катастрофы, сохранив принадлежащие им предприятия; поэтому, когда война вступила на территорию Германии, гитлеровский лозунг «выжженной земли» уже не встретил поддержки со стороны монополий.

¹ В И Ленин Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 30.

Исторически установлена бесспорная и полная ответственность германского генералитета за развязывание второй мировой войны, за все преступления фашизма. В рецензируемой книге она подтверждена рядом новых материалов, обнаруженных автором в архивах ГДР. А. А. Галкин пишет по этому поводу: «В «чистом» виде, без переплетения с милитаризмом, фашизм вообще не существует. Ни зарождение фашизма, ни установление фашистской диктатуры невозможно, если в этом не принимают участия милитаристские силы. Все известные формы фашизма представляют собой сочетание фашистских и милитаристских элементов. И различия между этими формами очень часто определяются степенью преобладания в них либо одних, либо других. В случае если в союзе задают тон милитаристы, возникают военно-фашистские режимы. Если же определяющую роль играют политические фашистские силы, режимы носят «классический» фашистский характер».

Мне представляется, что в этом интересном рассуждении первая фраза неточна. Ведь и сам автор оперирует понятием «политические фашистские силы»; видимо, может существовать и «фашизм в чистом виде», то есть фашизм как политическое течение, как политическая идеология и организация. Связь с милитаризмом реализуется или выступает на первый план, когда дело доходит до осуществления общих политических целей фашизма, предусматривающих, по определению А. А. Галкина, создание агрессивного диктаторского государства с террористическим режимом, направленным против организованного рабочего класса, против демократических и социалистических сил.

Касаясь известной оппозиции части генералитета Гитлеру, автор показывает, что эта оппозиция, продиктованная лишь чисто профессиональным учетом опасности военного авантюризма, была непоследовательной и беспомощной. Интригуя и трусливо отступая, генералы рейхсвера предавали своих единомышленников. Еще в 1932 году генерал Шлейхер предал генерала Гренера, затем в 1933 году генералы Бломберг и фон Фрич нанесли удар в спину ему самому, в 1937 году уже Бломберг и фон Фрич стали жертвой предательства, а также провокаций, предпринятых Гиммлером.

Говоря о заговоре против Гитлера в июле

1944 года, А. А. Галкин подчеркивает, в особенности на примере положения, сложившегося в Париже, что командование вермахта не только повинно в провале попытки свергнуть гитлеровское правительство, но именно вермахт, его генералы и офицеры в конечном итоге и подавили выступление 20 июля.

А. А. Галкин поступил совершенно правильно, посвятив отдельную главу самому механизму фашистской диктатуры. Когда речь идет о проблемах управления общественными процессами, то, как заметил советский социолог Ю. А. Левада, вполне оправдана попытка исследовать не только вопрос о том, «кто делает», но и «как это делается». Книга А. А. Галкина дает возможность разобраться в том, как функционировала кровавая диктатура нацистов.

Автор вскрывает специфику фашистского режима. Это была, говорит он, «особая организация общества, характеризовавшаяся стремлением к максимальному контролю над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан». Принципы организации фашистской диктатуры вытекали и из общей оценки национал-социалистами роли государства. Один из «теоретиков» фашизма — Шпалель писал в своей книге, вышедшей в 1933 году: «Теперь государство без оглядки вторгается во все частные отношения и ставит себе на службу все стороны жизни: экономику, профессию, семью, союзы... Тотальное включение всех сторон жизни в государственную деятельность имеет активизирующий смысл: оно служит наращиванию немецкой мощи».

Механизм фашистской диктатуры, пишет А. А. Галкин, «был весьма разветвленным. С одной стороны, это был аппарат террора, основной задачей которого было подавление и физическое уничтожение всех действительных и потенциальных противников нацистского режима. С другой — это был аппарат организационного воздействия на население, который обеспечивал контроль над всеми формами общественной деятельности. С третьей — это был аппарат пропагандистской обработке широких народных масс, занимавшийся формированием общественного мнения и идеологии. Функции этих трех аппаратов тесно переплетались. Палачи и тюремщики выступали в роли руководителей общественных организаций и занимались пропагандой. Пропа-

гандисты принимали участие в террористических акциях и т. д.».

При фашистском режиме имело место далеко зашедшее сращивание партийно-общественного и государственного аппарата. «Практически,— замечает А. А. Галкин,— уже через несколько лет после захвата власти нацистами государственные, партийные и общественные учреждения и организации представляли собой неразрывное целое. В результате давление по государственной линии сразу же подкреплялось давлением по «общественной», а давление по «общественной» получало немедленную поддержку «государственного авторитета».

Автор обращает внимание на специфический характер фашистских представлений о пропаганде и вскрывает ее истинный характер. С точки зрения фашистов, пропаганда, как писал один из бывших фашистских деятелей Раушнинг,— «это не средство связи; перед ней не стоит задача приведения в соответствие руководства сверху с импульсами критики и поддержки снизу. Она представляет собой односторонний инструмент господства, эффективность которого обеспечивается одновременно методами террора и жестокого насилия». А. А. Галкин справедливо указывает, что «такая пропаганда не могла быть рациональной и не была ею. Нацистские лидеры отрицали принцип доказательности пропаганды, необходимость подтверждения, аргументирования выдвигаемых тезисов, издевались над «интеллигентской» апелляцией к разуму, к рассудку масс».

В своей пропагандистской деятельности фашисты исходили из циничных продуманных расчетов, хладнокровных злодейских замыслов. Лживость была возведена ими в систему. «...Брань в адрес противника всегда сопровождалась у нацистских пропагандистов неумеренным превозношением целей и задач своей политики... Немецкий народ в их изображении выступал в качестве самого благородного, самого бескорыстного, самого терпимого. Акции нацистского правительства всегда вызывали «всеобщее восхищение и поддержку». Заявления нацистских лидеров «потрясали мир», «прокладывали новые пути», оставались навеки в «анналах истории»... Заранее отобранные примитивные лозунги вбивались в сознание населения последовательно и методично. Они

бросались в глаза со страниц утренних газет, присутствовали в любой радиопередаче, преследовали на улице в виде плакатов и листовок, непременно фигурировали в любой официальной речи, на бумажных салфетках и картонных подставках для пива.

Все это, разумеется, рассчитано было на обывателя. «Своих сознательных противников она (фашистская пропаганда.— Е. Г.) убеждать не собиралась. Для них существовал аппарат террора». Между геббельсовской «культуркаммер» и гиммлеровскими лагерями уничтожения существовала несомненная связь.

Пока Советская Армия не нанесла тяжелых ударов по гитлеровской военной машине, фашистская пропаганда опиралась на использование успехов в агрессии. Это ускоряло процесс снижения уровня культуры, одичания. Впрочем, «геббельсовским чиновникам из министерства пропаганды не нужны были ни культура, ни искусство. Рассматривая и то и другое с позиций мелкобуржуазных недоучек и полунинтеллигенту, они видели в них всего лишь специфическую форму распространения той самой примитивной пропаганды, которой занимались унифицированные печать и радио».

А. А. Галкин указывает в своем заключении, что для правильной оценки уроков, вытекающих из истории германского фашизма, важно «прежде всего установить действительное место фашизма в жизни современного буржуазного государства, его роль в политике правящих классов капиталистического общества и прежде всего монополистической буржуазии». Но какое бы место в жизни общества ни занимал фашизм, каков бы ни был его удельный вес, можно на основании исторического опыта сказать, что важнейшим элементом борьбы против фашизации является защита демократических форм политической и культурной жизни.

Антифашистское движение не ограничивается рамками какой-либо одной страны, оно имеет такое же международное значение, как и борьба против империализма вообще. Сегодня, как и прежде, решающую роль в этом движении играют коммунистические и рабочие партии — последовательные борцы за мир, демократию и социализм.

Е. ГНЕДИН.



ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и научное познание. «Высшая школа». М. 1966. 156 стр.

Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм (Историко-критический очерк). Статья первая — «Вопросы философии», № 12, 1966; статья вторая — «Вопросы философии», № 1, 1967.

Авторы, пишущие об экзистенциализме, часто вспоминают слова американского философа Дж. Коллинза: «Сегодня существует уже целый океан экзистенциалистской литературы, и всей жизни человека не хватит для ее анализа».

Слова эти будут выглядеть, конечно, явным преувеличением, если отнести их к экзистенциалистской литературе в переводах на русский язык, равно как и к нашей литературе об экзистенциализме. Но все же и у нас — особенно за последнее десятилетие — написано немало работ, посвященных тем или иным аспектам экзистенциалистской философии. В этом нет ничего удивительного: экзистенциализм («философия существования») — одно из самых влиятельных философских течений современного Запада, живой интерес к нему характерен для умонастроений весьма широких кругов западной интеллигенции, в том числе и прогрессивной, так что пристальное критическое внимание советских исследователей к «философии существования» вполне понятно и закономерно. Так же как понятен интерес к ней и со стороны «рядового» читателя-неспециалиста, его желание разобраться наконец, что же такое этот загадочный экзистенциализм, без упоминания о котором сейчас уже не обходится, пожалуй, ни одна работа, посвященная проблемам современной западной культуры.

Обратившись к статьям и книгам об экзистенциализме, появившимся у нас за последние годы, такой читатель найдет в них для себя немало интересного. Правда, для этого ему придется преодолеть и немалые трудности, потому что по большей части перед ним будут работы, посвященные отдельным проблемам экзистенциализма, а изложение этих проблем чаще всего будет вестись на том, увы, традиционном для нашей философской литературы «особом» языке, который словно специально рассчитан на то, чтобы напугать «непосвященных» и отбить у них желание вслушиваться в разговоры, которые ведут между собой члены почтенной корпорации философв-специалистов. Но в конце концов терминологические трудности даже и читатель-неспециалист вполне может при желании

преодолеть, а то, что выходит за рамки конкретной темы одной статьи, можно найти, по-видимому, в других.

И все же я рискну утверждать, что, даже если читатель проявит самое большое терпение и добросовестность, его знакомство с литературой об экзистенциализме может и не оправдать его главных ожиданий.

Перед нами — книга Э. Ю. Соловьева «Экзистенциализм и научное познание». Это серьезное, добротное исследование, и, что тоже выгодно отличает ее от многих других работ по экзистенциализму, в ней сделана попытка дать именно общий очерк «философии существования»: в предисловии к книге автор специально подчеркивает, что стремился отобрать уже и исходную тему так, чтобы в ней было представлено «учение в целом»; «такой темой, — пишет он, — по видимости частной, а на деле вибрирующей в себя весь комплекс экзистенциалистских идей — является вопрос о понимании истины».

Э. Соловьев начинает с констатации того факта, что для экзистенциализма категория истины связана не с отношением мысли к действительности, а скорее с субъективной искренностью и правдивостью внутреннего самосознания и самоощущения человека: об истине, с точки зрения экзистенциализма, можно говорить лишь тогда, когда человек становится искренним и открытым как в отношении себя самого, так и в отношении других людей.

Воспроизведя этот важный экзистенциалистский тезис, Э. Соловьев раскрывает его на характерном для экзистенциализма противопоставлении подлинно человеческих контактов, предполагающих подобного рода искренность и открытость, тем формам общения и связи между людьми в современном буржуазном обществе, которые основаны на господствующей конформистской идеологии этого общества, на устойчивых и закрепленных в качестве общепринятых «норм» стандартах морали, нравов, культуры, социальных представлений и житейских идеалов. Э. Соловьев напоминает, что весь этот мир «массовой веры» именно потому и является для экзистенциализма «неподлинным», «лживым», что лишь по видимости

связывает людей в единое целое, создавая иллюзию контактов и взаимопонимания, тогда как на деле разобщает их, отчуждает друг от друга: люди предстают друг перед другом в пределах этой унифицированной системы верований и общения не в их индивидуальной, действительной сущности, а в безликих масках стандартных фраз, поступок, действий, интересов, морали, вкусов и т. п. И эта «закрытость» их друг от друга тем больше, чем искреннее они верят в «правильность», «нормальность», «истинность» общепринятого.

Короче говоря, Э. Соловьев начинает свое исследование с действительно очень важного, как видим, действительно принципиального для экзистенциализма положения. Посмотрим, однако, какие же задачи ставит перед собой автор, приступая к рассмотрению этого положения.

Главные усилия Э. Соловьев сосредоточивает на том, чтобы показать, насколько неглубок, часто просто ненаучен подход экзистенциализма к проблеме идеологического конформизма, насколько поверхностна экзистенциалистская критика массового сознания. Он убедительно показывает, что, выводя «разобщенность» людей из слепого следования безликим стандартам «массовой веры», экзистенциализм принимает, в сущности, следствие за причину: он оставляет в тени ту фактическую разобщенность индивидов, которая заложена в первичных, общественно-экономических их отношениях в современном буржуазном обществе с его внутригрупповой конкурентной борьбой за «получение» к сложившейся системе распределения и власти — борьбой, где каждый выставляет против другого систему лицемерных фраз и способов поведения, свидетельствующих о его гражданской «лояльности», преданности «общим интересам» и т. д. Поэтому-то и предлагаемое экзистенциализмом преодоление «разобщенности» путем простого отказа от стандартов «массовой веры» и перехода к искренним и открытым межличным контактам не устраняет фактической основы отчуждения людей друг от друга, а сведение общественных отношений к проблеме межличных непосредственных контактов приводит экзистенциализм к резкому сужению его социологического кругозора. И это тоже показано Э. Соловьевым развернуто, убедительно, точно.

Но вот что любопытно: чем убедительнее

эта критика, чем очевиднее становится для читателя отстраненность экзистенциализма от задач подлинно научного социологического анализа, тем настойчивее перед читателем встает вопрос: а чем же объясняется эта отстраненность? Имеем ли мы здесь дело просто с научной «близорукостью» или, может быть, дело гут в каком-то ином, сознательном и принципиальном отстранении от подобного рода задачи как несущественной для решения тех философских проблем, которые, с точки зрения экзистенциализма, являются основными? Что это за проблемы, каков вообще собственный смысл экзистенциалистского учения в целом — его логика, его направленность? Откуда вообще это характерное для экзистенциализма противопоставление «подлинности» и «неподлинности» человеческих связей, «закрытости» и «открытости», «искренности» и «неискренности» человека перед собой и другими?

Однако на все эти вопросы читатель так и не получает ответа — автор как бы выносит их за скобки. Не отвечает, в сущности, на эти вопросы он и в двух последующих главах своей книги, где разбирается экзистенциалистская критика науки, а также экзистенциалистское понимание философии. В пределах тех задач, которые ставит здесь перед собой исследователь, его анализ опять-таки весьма основателен — так, например, рядом весьма резких и едких, но отнюдь не безосновательных параллелей Э. Соловьев показывает, как удивительно совпадает порой тот способ экзистенциалистского «философствования», при помощи которого человек проясняет свою природу, свое истинное «я», с особенностями патологического, аномального сознания. «Философия убежденного беспамьятства» — эта жесткая итоговая формула, которую Э. Соловьев адресует, в частности, экзистенциализму Хейдеггера, — выглядит, увы, не таким уж незаслуженным приговором.

Но от этого еще более непонятной и таинственной становится необычная популярность этой философии, погружающей человека «в темноту невротического самоослепления», — в том числе и среди тех людей на Западе, которых никак как будто бы не отнесешь к категории невротиков...

Увы, оставлять читателя в подобном недоумении стало уже своего рода традицией в нашей литературе об экзистенциализме (как, впрочем, и о других

влиятельных течениях современной философии). Важная и актуальная задача критики современной буржуазной идеологии слишком часто реализуется у нас так, что читателю остается иной раз лишь заключить, что он имеет дело просто с несерьезными людьми, рассчитывающими на слишком доверчивых простаков.

Книга Э. Соловьева — при всех безусловных ее достоинствах, при всем том, что уровень критики в ней несравним с типическими упражнениями лиц, подвизающихся в сфере «разоблачения» буржуазной философии, — все-таки в этом важнейшем пункте не разрывает печальной традиции, не выходит за ее пределы.

Вот почему мне представляются принципиальным явлением в нашей литературе об экзистенциализме две статьи того же автора — Э. Соловьева, опубликованные в журнале «Вопросы философии». Не берусь судить, как это произошло, но на этот раз перед нами существенно иное, чем в книге, осмысление предмета исследования, иной подход к нему, и новая работа Э. Соловьева знакомит нас с экзистенциализмом гораздо серьезнее и основательнее, чем прежняя.

Очерк Э. Соловьева тем и отличается и от его собственной книги, и от множества других работ по экзистенциализму, что на этот раз исследователь встречается с экзистенциализмом действительно в его кардинальном, главном содержании. Ему не приходится уже уверять нас, как раньше, что взятая им тема лишь «по видимости» является частной, а «на деле» включает в себя «все учение в целом»: тема, взятая автором очерка, ни с какой стороны не может выглядеть частной, ибо это, как справедливо пишет Э. Соловьев, — сквозная, узловая тема экзистенциализма во всех его вариантах. Эта тема — «личность в ситуации», и благодаря тому, что именно она поставлена здесь в центр внимания, читатель и получает наконец возможность уяснить собственную логику экзистенциализма.

Каким же предстает перед нами экзистенциализм в этой новой работе Э. Соловьева и чем поучителен его анализ?

Ядро экзистенциалистской концепции личности состоит, как известно, в том, что человек понимается здесь как существо, способное и должное подчинить свою жизнь — и даже принести ее в жертву —

своему предназначению. «На первый взгляд, — пишет Э. Соловьев, — кажется, что это определение не содержит чего-то нового для буржуазной философии последних столетий. Ведь представление о человеке как о подвижнике, то есть как о существе, жертвующем собой ради «высших интересов», присутствовало во всех традиционных концепциях историзма».

Но это только на первый взгляд, и Э. Соловьев хорошо показывает, в чем состояли своеобразие и новизна экзистенциалистского подхода к проблеме. Традиционный взгляд основывался на предположении, что готовность к самопожертвованию рождается у человека именно из признания истинности, справедливости и притягательности этих «высших интересов»: индивид понимает, что идеал (например, всеобщая историческая цель) стоит того, чтобы ради него поступиться ближайшими стремлениями и потребностями, и это понимание принуждает его к самоотречению. Экзистенциализм отстаивает иную точку зрения — в известном смысле прямо противоположную. В экзистенциализме «речь идет уже не о том, — пишет Э. Соловьев, — что в мире существует идеал, стоящий жертвы, и поэтому у человек готов на самоотречение. Экзистенциалисты хотят сказать, что человек просто не может существовать, не посвящая чему-то свою жизнь. Такова его фундаментальная предрасположенность, первичная по отношению к наличию любых целеуказаний»: «идеалы, программы, нормы сами имеют силу лишь потому, что человек «обладает ни из чего другого не выводимой внутренней изготойкой к их признанию». Той внутренней изготойкой, которая особенно ясно обнаруживается, когда рушится привычное, устоявшееся мировоззрение и человек начинает вдруг испытывать «тоску по безусловному», — искать для себя нового достойного бремени, как ищут хлеба насущного. И эта изначальная человеческая потребность в идеале, эта «тоска» по «безусловному принципу» и есть, согласно экзистенциализму, тот главный внутренний стимул, который заставляет человека неустанно искать истинную «безусловность» и надеяться, что в этом своем стремлении он действительно доберется наконец до истины.

В чем же состоит эта истина и каков путь к ней? Ответ экзистенциализма на этот вопрос достаточно широко освещен в нашей

литературе, и Э. Соловьев излагает его в основном в согласии с традицией. Он напоминает, что экзистенциализм видит этот путь к истине лишь в обращении человека к самому себе — в доверии и внимании к тем первичным и непосредственным нравственным убеждениям, которые и есть, согласно экзистенциализму, его подлинная, внутренняя, неуничтожимая вера — его истинная природа. «Это человек, как он есть, в его отличии от того, что думают о нем другие и чем он кажется себе самому. Это экзистенция. Настроения и безотчетно-безусловные действия даны человеку как ее знамения» — в них возвещается его «подлинное предназначение», которому он обязан «посвятить себя». «Быть самим собой, быть верным себе, выбрать самого себя» — эта центральная экзистенциалистская идея первичности нравственной позиции человека и есть тот ответ, который предлагает экзистенциализм человеку, жаждущему удовлетворить свою «тоску по безусловному».

Воспроизведя эти основные экзистенциалистские установки, Э. Соловьев не ограничивается, разумеется, их констатацией. Но и не спешит с их критикой. Прежде всего он хочет их объяснить и, следуя известному совету «не плакать, не смеяться, а понимать», пытается отомкнуть загадку тем, что вводит экзистенциализм в конкретный исторический контекст времени.

Что же дает этот хотя и не новый, но зато испытанный и, скажем сразу, гораздо более перспективный метод?

Э. Соловьеву удается убедительно показать, что как самостоятельная и цельная философская установка, возникшая в двадцатые годы нашего века, экзистенциализм сформировался в прямой полемике с прогрессистски-оптимистическими буржуазными теориями истории — в ответ на их кризис. Он возник в ситуации, когда доверие к историческому прогрессу, ставшее к началу XX века прочным достоянием массового либерального сознания и основанное на вере в скрытый гуманистический «разум» истории, оказалось опрокинутым той новой исторической реальностью, которая пришла на смену прежней — такой, казалось, устойчивой и последовательной в своем «восхождении» от «низшего» к «высшему». Этой реальностью была первая мировая война, нанесящая сокрушительный

удар традиционному либеральному сознанию не столько даже небывалыми, апокалиптическими масштабами своих жертв, сколько очевидной бессмысленностью этих жертв. Они не укладывались ни в одну из привычных конструкций исторического развития, исходивших из представления о безусловной конечной оправданности любых исторических жертв и нацеленных на то, чтобы выявить скрытый гуманистический «план» истории. Война показала, что все эти модели — не более чем прекраснотушные гуманистические фикции.

Именно с этим крахом традиционной системы верований, подчеркивает Э. Соловьев, и была связана та, может быть, еще более непонятная и жуткая для традиционного сознания легкость, с которой войну забыли, — тот беззаботно-цинический стиль жизни, который установился в двадцатых годах в буржуазной и мелкобуржуазной среде, всеми силами стремившейся уйти от исторического самоотчета в бездумие и беспринципность обывательского опьянения начинающимся послевоенным процветанием. Эти патологические изменения массового сознания, эта деморализация целых слоев населения (особенно в Германии, потерпевшей поражение в войне и пережившей тяжелый послевоенный кризис) — факт, отмеченный многими серьезными наблюдателями. Однако традиционный историзм уже не мог противостоять этим тенденциям и оказался не способен вернуть себе былое влияние, концептуально осмыслив войну и послевоенный кризис в прежней системе отсчета.

Именно в этой ситуации и возник экзистенциализм, давший, как пишет Э. Соловьев, «новый и неожиданный диагноз послевоенного массового сознания».

Содержание этого диагноза Э. Соловьев развертывает на примере той же книги немецкого философа Карла Ясперса «Духовная ситуация эпохи» (1931), к которой он не раз обращался и в предыдущей своей работе. Но в отличие от прежнего он и на этот раз опять-таки не спешит указать на достаточно очевидную социологическую поверхностность ясперсовского анализа «массового сознания» или на обнаруживающуюся в этом анализе ложность экзистенциалистского понимания истины. Отвлекаясь от этих важных, но все-таки вторичных моментов, он хочет понять экзистенциалист-

скую критику послевоенного «массового сознания» в ее главной, стержневой направленности. И это и позволяет ему зафиксировать тот чрезвычайно важный для понимания экзистенциализма факт, что «в историческом релятивизме, цинизме и нигилизме двадцатых годов Ясперс видит неизбежную расплату за некритическое доверие к истории», за воспитанную XIX веком привычку «к обожествлению исторического прогресса, к мысли, что история в конечном счете все правильно рассудит, окупит и устроит наилучшим образом». Только человек, напоминает Э. Соловьев мысль Ясперса, привыкший смотреть на вещи сквозь призму «гарантированного прогресса», искать всякий раз в истории «санкцию» для своих поступков, мог прийти в условиях крушения ясной исторической перспективы до отчаяния, духовного опустошения, утраты нравственных критериев и чувства личной ответственности. И если с точки зрения либерального историзма, рассуждая последовательно, о войне 1914—1918 годов следовало бы сказать только то, что в этом пункте история вообще перестает быть историей, «изменяет своему понятию», то «Ясперс делает,— подчеркивает Э. Соловьев,— противоположный вывод. Он полагает скорее, что мировая война была первым соборенно историческим событием нового времени, ибо впервые за многие столетия люди — особенно те, кто побывал в окопах,—получили нагляднейшую возможность убедиться в той фундаментальной истине, что историческому процессу нет до них никакого дела» и что «сам по себе он не содержит гарантий гуманности».

Вот на этих-то решительных и суровых выводах, извлеченных экзистенциализмом из уроков первой мировой войны и последовавших за ней катастрофических изменений в «массовом сознании» послевоенного западного мира, и сосредоточивает теперь свое внимание Э. Соловьев. Он настойчиво акцентирует ту связь, которая с несомненной очевидностью обнаруживается между предложенной экзистенциализмом концепцией личности и этим новым, выдвинутым им осмыслением природы исторического процесса. Действительно, — если история слепа, неразумна, неподвластна воле человека и нет никаких гарантий тому, что она не пойдет в катастрофический тупик, то не значит ли это, что как раз и бессмысленно искать в истории свое предназначение, рассматривать

себя как ее вечного данника, а ее — как некоего трансцендентного заказчика, познавая «тайные требования которого», человек только и получает возможность обрести «высшие цели жизни», возвыситься «над принуждением повседневных обстоятельств, над эмпирической ситуацией своей жизни»? Не правильнее ли предположить, что история — сама ситуация (до размеров общества разросшееся обстоятельство человеческой жизни) и в качестве свободной личности человек «просто пребывает в ней» — «стихийно вовлечен, «заброшен» в историю, а не конституирован ею»? И следовательно, если он хочет найти действительно прочный и нерушимый принцип, оправдывающий его жизнь, придающий ей какой-то безусловный смысл, не должен ли он искать его как раз вне сферы целенаправленного исторического действия?

Именно на этой логике, как хорошо показывает Э. Соловьев, и настаивает экзистенциализм: человек не имеет права вообще не считаться с тем, что сообщает ему объективное историческое исследование, но он не имеет права принимать эти сообщения и прогнозы в качестве целеуказаний, заглядывать в будущее для того, чтобы заполучить жизненные идеалы. Иначе говоря — «внутренняя убежденность первична по отношению к любой стратегии исторического действия», и только осознав это, «человек обретает стойкость, необходимую для того, чтобы воспринять любой, даже самый жуткий исторический прогноз, не впадая в отчаяние и цинизм», то есть не теряя в себе человека.

Решительное отстаивание экзистенциализмом принципа «верности самому себе», первичным, экзистенциальным, нравственным убеждениям и было, таким образом, не чем иным, как его практической программой преодоления суррогатов «подлинной веры» в конформистском массовом сознании послевоенного буржуазного общества, растерянности, неверия, цинизма и духовной опустошенности людей, переживших кризис традиционной системы взглядов. «Важно понять,— подчеркивает Э. Соловьев,— что по своему основному замыслу экзистенциализм уже в 20-е годы представлял собой антирелятивистскую, антинигилистическую доктрину», и если эта «программа стоического преодоления неверия и цинизма», рожденного послевоенной мировоззренческой катастрофой, и производит впечатление «упаднически-пессимистической» концепции, то лишь

потому прежде всего, что «придает проблеме исторической ориентации гипотетически заостренную форму»: основной постулат экзистенциализма состоит в том, что «даже если бы история пришла к концу (к мировой катастрофе, к прогрессирующему вырождению человеческого рода, к состоянию полной стабильности в рамках какого-либо тоталитарного режима), то и это не могло бы служить оправданием духовного упадка и беспринципности. Подлинный человек и в этих условиях остался бы верен однажды принятому нравственному убеждению».

Так развернута в очерке Э. Соловьева стержневая тема «философии существования». И, как видим, на этот раз мы действительно получаем наконец возможность представить себе именно «учение в целом». А получаем мы эту возможность именно потому, что Э. Соловьев ставит экзистенциализм в тот конкретный исторический контекст, который только и позволяет выявить его реальную логику.

И в этом и состоит, может быть, самое важное достоинство статей Э. Соловьева — в том, что они обращены прежде всего к той реальной проблеме, разрешение которой попытался дать экзистенциализм. Это действительно очень важное, я бы сказал даже — принципиально важное достоинство исследования Э. Соловьева, ибо по большей части мы встречаемся, увы, совсем с иным способом критики экзистенциализма — способом, когда нетерпеливое стремление вскрыть «классовые корни» и «реакционную сущность» опережает сколько-нибудь отчетливое понимание сущности выдвигаемых проблем, а то и прямо скрывает за собой растерянность перед лицом их реальной жизненной сложности, боязливое желание обойти их как-нибудь стороной, ибо открытое, честное и нелицеприятное их рассмотрение гребует слишком высокого уровня научного анализа, да и научного мужества тоже.

Э. Соловьев стремится отсоединить достоинство иных традиций — лучших традиций научной марксистской критики. Он не боится встретиться с экзистенциализмом действительно лицом к лицу и принять его вызов на осмысление той реальной проблемы, которую экзистенциализм ставит в центр своего внимания. И он отвечает на этот вызов тем, что проверяет экзистенциализм той же самой реальностью, на осознание которой «философия существования» сама же и пре-

тендует, — он ставит ее лицом к лицу с реальной историей.

Что же дает эта проверка и как она проводится?

Условия рецензии не позволяют мне проследить этот анализ сколько-нибудь подробно. Отмечу поэтому только главное.

Э. Соловьев напоминает ситуационный прогноз, сделанный К. Ясперсом в 1931 году в его книге «Духовная ситуация эпохи»: неминуемое, неотвратимое наступление тоталитарного «массового порядка», в системе которого «индивид становится рабом своих социально-эгоистических интересов: забота о витальном существовании поглощает его целиком, делает трусом, циником, интеллектуально-изворотливым холопом»; «люди претерпевают отвратительную душевную метаморфозу — превращаются в выродков» и оккупируют тех, кто хочет сохранить свое человеческое достоинство. Этот прогноз, справедливо пишет Э. Соловьев, «несомненно, относится к числу пророчеств о закате цивилизации» и ничем принципиально не отличается от шпенглеровских прозрений.

Но нельзя не видеть, замечает он, защищая стоический этос борьбы за «экзистенцию», К. Ясперс воспитывал в своих читателях готовность к сопротивлению «выродкам», к отказу сотрудничать с ними в системе «массового порядка», когда он восторгается. Иначе говоря, Ясперс готовил к тому, что действительно наступило уже через несколько лет — к тоталитарному нацистскому режиму, в условиях которого отставившая им жизненная позиция тоже стала вполне конкретной реальностью: судьбою тысяч немцев, которые хотя и не поднимались до активной борьбы с гитлеризмом, но мужественно отказывались от сотрудничества с ним.

Еще более показательная ситуация возникла через несколько лет в оккупированной немцами Франции — в тот первый период Сопротивления (1940—1942), когда тысячи французов, которым сложившаяся обстановка казалась безысходной, а тоталитарный порядок «выродков» — упрочившимся и неодолимым, отказывались тем не менее участвовать в творимой оккупантами и национальными предателями «истории», саботировали «новый порядок», боролись с ним — боролись «без надежды на успех», отстаивая лишь свое человеческое достоинство, воспитывая в себе нравственное мужество готовности даже к смерти, если то-

го потребует «верность себе», — в полном согласии с экзистенциалистской этикой трагического стоицизма. И Э. Соловьев хорошо показывает, как не случайно было то, что основная экзистенциалистская установка сложилась во французской культуре тех лет самостоятельно и стихийно — сплошь и рядом она формулировалась людьми, далекими от философии и совершенно неизвестными с работами Кьеркегора, Ортеги-и-Гассета, Ясперса и Хейдеггера».

Короче говоря, Э. Соловьев показывает, что экзистенциализм именно тогда приобретал широкое влияние и даже до известного предела способствовал борьбе с историческим регрессом, когда сложившаяся обстановка как бы оправдывала в глазах тысяч людей экзистенциалистское понимание истории, — в этих обстоятельствах экзистенциализм казался «ситуационно достоверным». Но в силу этой же зависимости он — со своей решительной проповедью стоического неучастия в истории — сразу же становится доктриной искусственной и натужной, как только историческая обстановка менялась и история обнаруживала, что если в ней нет фатальной разумности, то нет и фатального безумия, — когда ситуация зывала к ответственности людей и зависела в своем разрешении именно от меры их активной и целенаправленной исторической борьбы. Для тех же французов, которые стоически боролись в 1941 и 1942 годах не во имя истории, а во имя своего человеческого достоинства, после победы под Сталинградом снова открылась реальная гуманистическая перспектива: эта победа превращала Соппротивление в исторически оправданное и исторически целесообразное действие. В этих условиях экзистенциализм терял свою «ситуационную достоверность», его лозунги «борьбы без надежды на победу», «смерти в согласии с собой» и т. д. начинали звучать истерически. «История, — справедливо говорит Э. Соловьев, — вернула право на обличение этих лозунгов как волюнтаристических и авантюристических».

Вот почему, как показывает Э. Соловьев, и в самом экзистенциализме начинается с этого времени явный кризис — утрачивая «ситуационную достоверность» и теряя тем самым значительную долю своей притягательности, он начинает вырождаться: одни его представители — в поисках «уютной картины вселенского кошмара», необходимой для оправдания идеи стоического антиисто-

ризма, — хватаются за миф о «советской угрозе», о грядущем коммунистическом тоталитаризме; другие начинают примирять экзистенциализм с иными школами мысли — вплоть до марксизма, в результате чего экзистенциализм перестает быть цельной и внутри себя последовательной теорией.

Так объективная историческая проверка обнаруживает самое уязвимое звено экзистенциалистской концепции. Она показывает, что «экзистенциализм, главная претензия которого состояла в том, чтобы осознать историю в качестве ситуации безусловного личного действия», оказался несостоятельным «именно в вопросах ситуационного прогноза», в своем общем понимании истории. Реальное движение исторического процесса — даже и в самых трагических ситуациях XX века — не давало и не дает все-таки оснований заключать о решительной «неподвластности» исторического движения воздействию объединенной и целенаправленной воли людей. Вот почему Э. Соловьев вправе сделать вывод, что стоический антиисторизм экзистенциализма приобретает до известных пределов исторически прогрессивное значение лишь в обстановке, которая по тем или иным причинам выглядит в глазах людей безнадежной — и только до тех пор, пока она сохраняет видимость этой безнадежности. По отношению же к позитивным возможностям, которые заключены в реальном развитии истории, экзистенциализм выступает как философия общественной пассивности. И этот резкий и суровый приговор оправдан точным и неопровержимым анализом. Он оправдан фактами, опровергающими экзистенциалистский пафос стоического неучастия в истории, а факты — самая упрямая вещь на свете.

Но именно потому, что они — самая упрямая вещь на свете, Э. Соловьев не считает возможным не подчеркнуть и правоту экзистенциализма в его критике традиционных прогрессистских концепций, основанных на вере в фатальный «разум» истории, в ее «гарантированный» прогресс. Он показывает — и убедительно показывает, — что предложенная экзистенциализмом концепция истории представляет собою, в сущности, всего лишь дурную альтернативу традиционным теориям и так же фаталистически абсолютизирует «безумие» истории, как те — ее «разум». Но он не хочет закрывать глаза на то, что первая

мировая война и другие трагические ситуации XX века действительно ставят историческое сознание перед серьезнейшей проблемой и не допускают какой-либо недооценки тех исторических тенденций, которые в них так явственно и грозно выявились.

Вот почему, отстаивая идею исторического предназначения человека, Э. Соловьев специально акцентирует то обстоятельство, что подлинно научный марксистский историзм не может понимать это предназначение так, как понимают его вульгарно-детерминистские, фаталистические и провиденциалистские доктрины. История в ее реальном движении обязывает к представлению «об исторических тенденциях как об объективных противоречиях, которые нам, людям, предстоит понять и разрешить на собственный страх и риск». Иначе говоря, Э. Соловьев отстаивает, если можно так выразиться, тот «стоический историзм», который не снимает проблемы «вероятности» прогресса, а, напротив, подчеркивает необходимость осознания личной ответственности людей за судьбы мира — как единственной возможной «гарантии» гуманистического развития истории, защищает стоический этос борьбы за историю — без всяких иллюзий на тот счет, что «все обойдется», «история сама вывезет» и т. п. «Не обойдется», «не вывезет» — и этот акцент, как видим, настолько существен, что можно пожалеть, что эта тема, к которой сумел подойти Э. Соловьев в своей критике экзистенциализма, лишь затронута, но не развита еще с необходимой обстоятельностью. Будем надеяться, что в последующих работах исследователя она будет рассмотрена основательнее — как, впрочем, и некоторые другие проблемы, к которым обязывает анализ экзистенциализма, ибо, при всех достоинствах очерка Э. Соловьева, никак нельзя, конечно, сказать, что проведенное им исследование исчерпывает тему критики экзистенциализма. Напротив, можно утверждать скорее, что по отношению к тем реальным проблемам, которые обязывает рассмотреть исследование экзистенциализма, Э. Соловьев находится еще только в начале пути — он сделал только первый,

хотя и чрезвычайно важный, принципиальный шаг.

Так, нельзя, в частности, не заметить, что, поставив в центр своего внимания проверку претензий экзистенциализма на осмысление истории, Э. Соловьев оставляет пока в тени ту реальную проблему, которая встает за утверждаемой экзистенциализмом способностью человека найти «безусловный принцип» своей жизни в следовании первичным, «экзистенциальным» требованиям своей нравственной природы. Чтобы выявить эту проблему и проверить установки экзистенциализма, недостаточно, очевидно, указать только на тот факт, что экзистенциализм неправоммерно отказывает человеку в возможности искать свое предназначение в историческом действии. Гипотетическая форма обоснования экзистенциализмом его центральной идеи о безусловности нравственной позиции человека («даже если бы история пришла к концу» и т. д.) обязывает проверить этот вызов — проверить анализом тех фактов, на которые и опирается экзистенциализм, выдвигая свою гипотезу. И здесь никак нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что способность человека действительно находить в «верности самому себе», своим «экзистенциальным» нравственным убеждениям устойчивую жизненную опору в тех кризисных ситуациях, где ему приходится действовать «без надежды на успех», — это уже не гипотеза, а реальность, подтвержденная тысячами и десятками тысяч человеческих судеб. О чем говорит эта реальность, что в действительности представляют собой эти первичные нравственные ценности, не являются ли они исходной основой и самого исторического сознания человека — той основой, из которой только и могут вырасти истинные исторические цели, достойные человека? Все эти вопросы марксистская научная критика не имеет права обойти, если она хочет дать действительную критику экзистенциализма, — они требуют своего разрешения.

Но все это, повторяю, — задачи дальнейшего исследования.

И. ВИНОГРАДОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Б. Г. КУЗНЕЦОВ. Физика и экономика. «Наука». М. 1967. 87 стр.

На восьмидесяти семи страницах этой книжки содержится столько новых идей и интересных соображений, что их с лихвой хватило бы для иной «капитальной» монографии. На некоторые из этих идей мы хотим обратить внимание читателя, опасаясь, как бы он не принял небольшую по объему работу Б. Г. Кузнецова за еще одну популярную брошюру, которых так много появляется сейчас на нашем книжном рынке.

Последние годы характеризуются процессом «математизации» экономики, постепенным распространением математических методов в сфере планирования и управления народным хозяйством, применением вычислительной техники и т. д. Б. Г. Кузнецов поднимает не менее важный вопрос о «физикализации» экономической науки, о необходимости применения физических понятий в экономической теории, о поисках «социологических и экономических эквивалентов фундаментальных понятий современной физики».

В конце пятидесятих годов прошлого столетия Маркс прозорливо указал на тенденцию к превращению «всеобщего общественного знания» — науки — в «непосредственную производительную силу». Уже развитие капитализма приводит к тому, что процесс производства превращается в технологическое применение науки, а труд все в большей степени становится научным трудом, деятельностью, управляющей силами природы. Б. Г. Кузнецов убедительно иллюстрирует указанную Марксом закономерность, показывая усиление непосредственного влияния физики на развитие производства в нашей стране, на темпы технического прогресса. Отсюда вытекает объективная необходимость исходить в планировании народного хозяйства из тенденций развития науки. При этом оперативное, текущее планирование должно учитывать тенденции развития эксперимента, тогда как перспективное планирование должно исходить из перспектив развития теории. Б. Г. Кузнецов вводит понятие «фундаментального экономического индекса», измеряющего уровень производительных сил, а также скорость и ускорение его возрастания.

Б. Г. Кузнецов совершенно правильно пишет, что в экономической науке должны

существовать «бескорыстные» разделы. Они здесь нужны не меньше, чем в естествознании. Большой ущерб экономической теории (а потому и экономической практике) был нанесен появившимся с начала тридцатых годов обыкновением требовать немедленных практических выводов от каждого теоретико-экономического исследования.

Превращение науки в непосредственную производительную силу привело, пишет автор, к тому, что антиинтеллектуализм во всех его формах становится я в н ы м тормозом прогресса. Там, где интеллектуальный потенциал мысли сжат мистическими прогнациями и антиинтеллектуалистической реакцией, там возможны частные применения науки, но невозможен ее фундаментальный прогресс.

Автор справедливо стремится указать на глубокую внутреннюю связь, существующую между естествознанием и общественными науками, в частности экономической наукой. В настоящее время это, в частности, проявляется в том, что как для физики, так и для экономической науки характерно размышление о возможных путях своего собственного развития; «прогнозному» характеру современного естествознания соответствует «прогнозный» характер современного экономического мышления. Необходимо отметить, что эта плодотворная традиция в экономической науке идет от Маркса.

Не приходится сомневаться в том, что исследование Б. Г. Кузнецова окажет влияние на развитие нашей экономической науки.

В. Выгодский,

кандидат экономических наук

★

А. МЭДДИСОН. Экономическое развитие в странах Запада. Перевод с английского. Под редакцией и с предисловием А. А. Манукяна. «Прогресс». М. 1967. 373 стр.

«Данное исследование, — пишет автор, — возникло не из простого желания теоретизировать проблемы роста, а в связи с практической заинтересованностью в прогнозе будущего развития промышленных стран Запада. Основная наша задача — объяснить, почему произошло ускорение темпов роста в развитых странах, которые в течение нескольких десятилетий испытывали относительный застой, с тем, чтобы отве-

гить на вопрос, насколько вероятно, что силы, вызвавшие это ускорение роста, будут действовать и впредь».

Конкретизируя исходное утверждение об успешном послевоенном развитии экономики рассматриваемых государств (США, Канада и десять стран Западной Европы), английский экономист строит первую главу своей книги как систему сопровождаемых пояснениями статистических сведений о темпах роста объема продукции, производительности труда, занятости и прочем. Главной причиной сравнительно быстрого роста производительности труда автор считает высокий уровень капиталовложений. Детально рассматривая роль этого фактора, он приводит большое количество интересных данных о соотношении между капиталовложениями и приростом продукции, о влиянии различных видов капиталовложений на экономический рост.

Обеспечивать оптимальный уровень капиталовложений, высокий спрос и прочие ускорители развития экономики призвано, по мнению А. Мэддисона, государство. В специальной главе о роли правительства в поддержании экономического роста автор с самого начала заявляет: «...Экономический цикл является в наши дни не более, чем отражением различных стадий развития государственной политики». Своевременные мероприятия правительства, полагает он, способны не только предотвратить спады, но и открыть возможность стабильного роста экономики.

Естественно, столь ответственное утверждение требует убедительного обоснования. Тем более что безусловно отвергается идея жесткого управления хотя бы в силу ее малой привлекательности для предпринимателя. Автор перечисляет множество прямых и косвенных методов воздействия на современную экономику, имеющих в распоряжении буржуазного государства. Учитывается эффект пособий по болезни и безработице, общественных работ, пример национализированного сектора промышленности. Громадную роль играет, по мнению Мэддисона, правильная налоговая и кредитно-денежная политика правительства (обобщая опыт исследуемых стран, автор приходит к выводу о недостаточной ее активности в США). Не оставлен без внимания и психологический фактор. Правительствам усиленно рекомендуется добиваться понимания и сочувствия к государственной политике со стороны рядовых людей и бизнесменов, ибо это повышает стимулы к капиталовложениям.

В заключительной главе рассматривается влияние международной обстановки на исследуемую систему в целом, взаимодействие и взаимозависимость стран внутри нее. Либерализация торговли, режим свободного движения капиталов являются, по мнению А. Мэддисона, резервами экономического роста.

Книга завершается перечислением источников статистической информации, описанных «максимально подробно, с тем чтобы

всемерно облегчить задачу критиков и дать возможность вести дальнейшую разработку». В издание входит также написанная позднее статья А. Мэддисона «Насколько быстрым может быть экономический рост Англии?». Болезненные явления, переживаемые ныне английской экономикой, свидетельствуют о том, что прогнозы буржуазного ученого были слишком оптимистическими.

Тем не менее проведенный в книге А. Мэддисона детальный разбор хотя бы видимого влияния различных факторов на темпы экономического роста может способствовать углублению в проблемы развития экономики капиталистических стран.

И. Ульяновца.

★

А. ТАЛАНОВ. Большая судьба. Политиздат. М. 1967. 208 стр.

Яркая личность Марии Федоровны Андреевой, одного из старейших членов Коммунистической партии, жены А. М. Горького, друга В. И. Ленина, привлекает внимание историков и художников.

Актриса большого драматического дарования, вступившая в труппу Художественного театра вскоре после его организации, она была исполнительницей главных ролей почти во всех первых постановках. И все же М. Ф. Андреева порывает с театром и полностью посвящает себя революции. Она собирает деньги для партийной кассы, укрывает в своем доме Баумана и Красина, принимает активное участие в московском декабрьском восстании 1905 года.

После Октября назначается комиссаром театров и зрелищ Петрограда, работает на хозяйственном и дипломатическом поприще.

О нелегкой, но необыкновенно богатой судьбе этой удивительной женщины и рассказал писатель А. Таланов в биографической повести «Большая судьба».

Не все главы книги написаны одинаково удачно, есть в ней упущения, а порой и неточности. Нельзя согласиться с утверждением автора, будто в революционное движение М. Ф. Андреева пришла только благодаря своему знакомству со студентом Московского университета Д. И. Лукьяновым, который привлек ее в марксистский кружок. Сама Мария Федоровна писала об этом: «Ввел меня в партийную работу и окончательно прикрепил к большевикам тов. «Игнат» — П. А. Краснов».

Слишком скупое А. Таланов рассказывает о начальной поре артистической деятельности М. Ф. Андреевой.

Отдельные недостатки не могут, однако, умалить достоинств книги, которая написана живо и интересно и дает возможность читателю ближе познакомиться с замечательной женщиной, вся жизнь которой была крепко связана с историей нашей партии, с русской и советской культурой.

Л. Пинчук.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ». «Библиотека поэта» (Большая серия). «Советский писатель». Л. 1967. 539 стр.

Новый сборник, посвященный «Слову о полку Игореве», включает переводы, сделанные в XVIII—XX веках — неизвестным автором, В. Капнистом, Н. Карамзиным, В. Жуковским, М. Деларю, А. Майковым, К. Бальмонтом, советскими переводчиками, — и вариации на темы «Слова». В это издание, кроме множества средних и неудачных переводов «Слова», не вошли переводы Л. Мея, Н. Гербеля, Н. Алябьева, Е. Барсова, А. Югова, И. Еремина, Е. Бирковой — переводы, присутствие которых в издании научного типа, претендующем на избранность или полноту, мне кажется, было бы необходимым, так как они «сказали свое слово» в традиции перевода «Слова». Если имелось в виду собрать только самые лучшие переводы, то, вероятно, можно было бы обойтись без переводов неизвестного автора и В. Капниста, а в разделе вариаций — без антихудожественного пересказа «Слова», сделанного М. Тарловским: ведь в сборнике все равно не прослеживается традиция перевода «Слова» со всеми ее неудачами и удачами. Вероятно, целесообразнее было бы издать или уж действительно сборник избранных переводов, или полное собрание переводов и вариаций. Второе, на мой взгляд, интереснее, так как «Слово о полку Игореве» в «Библиотеке поэта» должно занимать одно из главных мест — как народные песни, баллады и былины, как произведения Пушкина, Лермонтова или Блока. Томика в 539 страниц явно мало!

Каждый по-своему интересны переводы С. Шервинского, Г. Шторма, И. Новикова, В. Стеллецкого, С. Ботвинника, Н. Заболоцкого, А. Степанова. Перевод «Слова», сделанный Н. Рыленковым, должен быть отнесен к вариациям: ведь это хотя и отличный, но весьма вольный перевод, «стихотворный пересказ», как квалифицировал его сам Н. Рыленков. Впервые советские читатели прочтут перевод К. Бальмонта, напечатанный им в парижском журнале «Рос-

сия и славянство» в 1930 году. Этот перевод полон особого, бальмонтовского изящества.

В разделе «Поэтические вариации» мы находим стихи русских поэтов, написанные с «оглядкой» на «Слово». Здесь Ф. Глинка, Н. Языков, И. Козлов, М. Волошин, П. Антокольский, А. Прокофьев, В. Соснора и другие поэты. В начале раздела помещена «Задонщина», которую, мне кажется, нужно было поместить в особый отдел, но никак не в раздел вариаций. Это крупное и достаточно оригинальное произведение древнерусской литературы, о котором справедливо сказал Д. С. Лихачев: «Сложный художественный замысел «Задонщины» отчетливо свидетельствует о высокой литературной культуре Москвы. Это замысел, в котором тонкая историческая мысль находит исключительно оригинальное художественное разрешение». Несмотря на все то, что объединяет «Задонщину» со «Словом», вряд ли ее можно причислить к сонму «вариаций». Зато среди вариаций, думаю, стоило бы поместить либретто оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», написанное самим композитором.

Научный аппарат книги — статьи, примечания, написанные Д. Лихачевым, Л. Дмитриевым, О. Твороговым, — отражает последние достижения в изучении «Слова». Интересные мысли высказывает во вступительной статье к сборнику Д. Лихачев. Это, в частности, мысль о том, что «поражение» обычно служило в древней Руси стимулом для подъема общественного самосознания, размышления о пережитках в «Слове» религии родового строя, соображения о языковом богатстве «Слова» и другое.

Издание «Слова о полку Игореве» в составе «Библиотеки поэта» своевременно и необходимо. Значение «Слова» для русской литературы огромно. Оно воспитывает все новых и новых русских поэтов. Пока существует русский язык, будут пополняться и раздел переводов, и раздел вариаций, не ослабнет благотворное влияние «Слова» на русскую поэзию.

Виктор Афанасьев



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О пролетарском интернационализме. 636 стр. Цена 1 р. 23 к.

Г. Волков. Социология науки. Социологические очерки научно-технической деятельности. 328 стр. Цена 69 к.

А. Лауринчюкас. Третья сторона доллара. Перевод с литовского. 334 стр. Цена 1 р. 7 к.

Организационно-уставные вопросы КПСС (Справочник в вопросах и ответах). 191 стр. Цена 25 к.

К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. 62 стр. Цена 7 к.

«МЫСЛЬ»

Американские просветители. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с английского. Том I. 519 стр. Цена 1 р. 80 к.

Платон. Сочинения. В 3-х томах. Том I. 623 стр. Цена 2 р. 29 к.

В. Селунская. Рабочий класс и Октябрь в деревне (Рабочий класс во главе Октябрьской социалистической революции в деревне. Октябрь 1917—1918 гг.). 286 стр. Цена 1 р. 22 к.

Б. Урланис. История одного поколения (Социально-демографический очерк). 269 стр. Цена 88 к.

«ЭКОНОМИКА»

Л. Кунельский. Зарплата, доходы, стимулирование. 184 стр. Цена 58 к.

В. Медведев. Общественное воспроизводство и сфера услуг. 206 стр. Цена 93 к.

В. Пугачев. Оптимизация планирования (Теоретические проблемы). 168 стр. Цена 57 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Араксманян. Много дорог, много... Роман. Авторизованный перевод с армянского. 347 стр. Цена 55 к.

Х. Бехзожин. Сказания о славных. Поэмы. Перевод с казахского. 154 стр. Цена 41 к.

А. Бусуйок. Один перед лицом любви. Роман. Авторизованный перевод с молдавского. 168 стр. Цена 25 к.

М. Грешнов. Все начиналось... Рассказы. 248 стр. Цена 40 к.

И. Зверев. Второе апреля. Рассказы, повести, публицистика. 447 стр. Цена 89 к.

О. Лисовска. Между летом и осенью. Стихи. Авторизованный перевод с латышского. 72 стр. Цена 25 к.

М. Лисянский. Такое время. Стихи. 127 стр. Цена 34 к.

Л. Славин. Предвестие истины. Рассказы. 304 стр. Цена 64 к.

М. Слуцник. Улыбки и судьбы. Рассказы и повести. Перевод с литовского. 432 стр. Цена 79 к.

Уйгун. Мой родник. Стихи и поэма. Авторизованный перевод с узбекского. 208 стр. Цена 74 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Браун. Стихотворения. 222 стр. Цена 60 к.

Н. Вагнер. В поисках друга. 607 стр. Цена 1 р. 11 к.

И. Гринберг. Пути советской поэзии. 384 стр. Цена 1 р. 14 к.

М. Зоценко. Избранные произведения. В 2-х томах: Вступительная статья П. Громова. Том I. Рассказы и повести. 536 стр. Цена 1 р. 2 к. Том II. Возвращенная молодость. Голубая книга. 463 стр. Цена 89 к.

Я. Ивашевич. Красные щиты. Роман. Перевод с польского. 399 стр. Цена 1 р. 31 к.

Кеминэ. Стихотворения. Перевод с туркменского А. Тарковского. 86 стр. Цена 10 к.

Песни разлук и встреч. Народная поэзия пушту. Перевод Н. Гребнева. Предисловие Р. Гамзатова. 184 стр. Цена 15 к.

Э. Хемингуэй. Собрание сочинений. В 4-х томах. Переводы с английского. Под общей редакцией Е. Калашиниковой, К. Симонова и А. Старцева. Том I. 719 стр. Цена 2 р. Том 2. 671 стр. Цена 2 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Александрова. Подробности двух минут. Очерки. 192 стр. Цена 27 к.

И. Зубенко. Тополя в соломе. Повести и рассказы. 127 стр. Цена 13 к.

А. Имерманис. Самолеты падают в океан. Приключенческий роман. 288 стр. Цена 57 к.

В. Симоненко. Избранная лирика. Перевод с украинского Л. Смирнова. 32 стр. Цена 11 к.

Л. Стура. Деревья в городе. Стихи. Авторизованный перевод с грузинского. 64 стр. Цена 18 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Вебер. Вторник, 7 мая. История одного изобретения. 240 стр. Цена 53 к.

Е. Дробица. Баллада о большевистском подполье. 304 стр. 68 к.

Рассказы об Орджоникидзе. Сборник воспоминаний. 191 стр. Цена 51 к.

Г. Фиш. Мои друзья скандинавы. 303 стр. Цена 58 к.

«ИСКУССТВО»

Э. Бурдель. Искусство скульптуры. Перевод с французского. Вступительная статья и составление В. Прокофьева. 312 стр. Цена 2 р. 25 к.

А. Мачерет. Реальность мира на экране. 312 стр. Цена 1 р. 30 к.

Л. Муратов. Александр Иванов. 176 стр. Цена 75 к.

«НАУКА»

М. Беленький. Трагедия Уриэля Акосты. 151 стр. Цена 50 к.

В. Брудный. Обряды вчера и сегодня. 200 стр. Цена 66 к.

Новейшая история Турции. 396 стр. Цена 1 р. 89 к.

Славянские литературы. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968). Доклады советской делегации. 647 стр. Цена 2 р. 73 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Е. Добровольский. Почерк Капицы. 216 стр. Цена 34 к.
В. Емельянов. О времени, о говарицах, о себе (Воспоминания). 368 стр. Цена 90 к.
Е. Карпов. Повести. 368 стр. Цена 72 к.
А. Кирюхин. Земля и вода. 176 стр. Цена 34 к.
А. Луначарский. Воспоминания и впечатления. 376 стр. Цена 86 к.
Русский крестьянин Сборник 256 стр. Цена 1 р. 22 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Бушуев. Исправительные работы. 200 стр. Цена 66 к.
Гражданский кодекс РСФСР Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. 272 стр. Цена 59 к.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. 232 стр. Цена 53 к.
Е. Кленов, В. Малов. Материальная ответственность рабочих и служащих на предприятии. 152 стр. Цена 49 к.

«ПРОГРЕСС»

О. Ланге. Введение в экономическую кибернетику. Перевод с польского. 208 стр. Цена 76 к.
Х. Маринельо. Современники. Записки и воспоминания. Перевод с испанского. 319 стр. Цена 1 р. 23 к.

Л. Сэв. Современная французская философия. Исторический очерк: от 1789 г. до наших дней. Перевод с французского. 391 стр. Цена 1 р. 54 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Алексеев. Испытание. Роман. Минск. «Беларусь». 448 стр. Цена 85 к.
Т. Алимкулов. Белый конь. Роман и рассказы. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 156 стр. Цена 42 к.
Р. Алланазаров. Дочь моего села. Повести и рассказы. Перевод с туркменского. Ашхабад. «Туркменистан». 158 стр. Цена 26 к.
В. Бернадский. Ветры с севера. Стихи. Алма-Ата. «Жазушы». 72 стр. Цена 21 к.
Л. Воронин. Светлица. Стихи разных лет. Одесса «Маяк». 80 стр. Цена 14 к.
Т. Гончаров. Хлеб и любовь Роман Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 398 стр. Цена 82 к.
В. Захаржевский. Страницы из несожженного дневника. Рассказы. Киев. «Радянський письменник» 242 стр. Цена 38 к.
И. Ким. Бурятская советская поэзия двадцатых годов. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 257 стр. Цена 1 р. 27 к.
Р. Лунгу. Марцишоры Повести и рассказы. Перевод с молдавского. Кишинев. «Картя молдовеняскэ». 419 стр. Цена 76 к.
Мордовские пословицы и присловья. Составитель и переводчик К. Самородов. Саранск. Мордовское книжное издательство. 87 стр. Цена 37 к.
М. Нурмаев. Маныч-река Роман Перевод с калмыцкого. Элиста. Калмыккнигоиздат. 204 стр. Цена 46 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес Москва. К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/V 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/X 1968 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/4} 27,95 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. печ. л.)
 А 09923 Зак. 1688. Тираж 120.900 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте
своевременно подписаться на журнал
«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
на 1969 год

Журналу передают свои новые произведения:

- В. АСТАФЬЕВ.** Рассказы.
К. БОЙХЛЕР. Поединок с дьяволом. Детективный роман. Перевод с немецкого.
Н. ЗАДОРНОВ. Амур-батюшка. Роман. Кн. III.
Л. ИВАНОВ. Очерки.
Г. КОМРАКОВ. До осени полгода. Повесть.
В. КОЛЫХАЛОВ. Кесарю кесарево. Повесть.
Г. КУБЛИЦКИЙ. Очерки.
Л. КРАВЧЕНКО. Преодоление границы. Роман.
Е. КОРОНАТОВА. Жизнь Нины Камышиной. Роман.
Г. МАШКИН. Поражение. Роман.
М. НАЗАРЕНКО. Иду к себе. Роман.
А. НИКУЛЬКОВ. На планете, мало оборудованной. Роман о В. Маяковском. Кн. II.
П. ПРОСКУРИН. Шестая ночь. Повесть.
Ю. САЛЬНИКОВ. В неумирающих мечтах. Повесть о Ф. Лыткине.
Г. ФЕДОСЕЕВ. Таежная рапсодия. Повесть.
О. ХАВКИН. Дом на Семеновской. Роман.
В. ШУКШИН. Рассказы.

Подписка на журнал принимается с 1 сентября
повсеместно и без ограничений.